

ИИ (О) ВЪ ИИ ИИ  
ИИ ИИ ИИ

ИИ (О) ВЪ ИИ ИИ ИИ ИИ

ИИ (О) ВЪ ИИ ИИ ИИ ИИ

ИИ



ИИ (О) ВЪ ИИ ИИ ИИ ИИ

# НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 11

Ноябрь, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (Март — октябрь 1917 года). Обзор составлен Б. Яков- левым	3
ПЕТРУСЬ МАКАЛЬ — Яблоня, Не хитрость..., стихи. Авторизованный пере- вод с белорусского Бориса Ирнинна	32
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Книга скитаний, повесть. Окончание	33
И. ГРЕКОВА — Дамский мастер, рассказ	89
ВАДИМ ШЕФНЕР — Рисовавший на скалах, Погребение радуги, Бессон- ница, стихи	121
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Новичок. Из блокнота	123
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ — Брянские, рассказ	142
МОРИС ҚАРЕМ — Стихи. Перевел с французского М. Кудинов	146
Дж. Д. СЭЛЛЕНДЖЕР — Голубой период де Домье-Смита. Перевела с англ- ийского Ю. Жукова	149
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
БОЛЬШАЯ ХИМИЯ. В. Азерников — Химия и плодородие. П. Волин — Полимеры в станкостроении	167
В. СМОЛЯНСКИЙ — Экономика и идеология	178
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ОБ АРТЕМЕ ВЕСЕЛОМ. Анатолий Глебов — Молодой Артем. О. Миненко- Орловская — Мандат Артема Веселого. И. И. Подвойский — Он верил в народ. М. О. Пантюхов — Из воспоминаний. А. Костерин — «Слово должно сверкать»	191
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Т. МОТЫЛЕВА — В спорах о романе	206
АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ — В прекрасном и яростном мире (О рассказах Андрея Платонова)	227
	(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	235
Ф. Светов. Утоление жажды.— Л. Лебедева. Рахманкулов боится здоровых людей... — Ст. Рассадин. Надо ли любить литературу? — Н. Коржавин. Образ Тютчева. — В. Герасимова. Звезды Севера. — А. Анастасьев. На прочной основе фактов.	
<i>Политика и наука</i>	254
В. Дмитриев, Е. Перовский. Парламент революционной Балтики. — Софья Виноградская. Сестра Ильича. — Л. Зак. Летопись современности. — С. Окунь. Ценный сборник. — В. Попов. Открытие континента.	
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ЕВГЕНИЯ ТАРАТУТА — Э. Л. Войнич и департамент полиции	268
КОРОТКО О КНИГАХ	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

## ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

*Автобиографические высказывания В. И. Ленина  
(Март — октябрь 1917 года) \**

...25-го октября... Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России...

*В. И. Ленин. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции.*

Раньше западные народы рассматривали нас и все наше революционное движение, как курьез. Они говорили: пускай себе побалуется народ, а мы посмотрим, что из всего этого выйдет... Чудной русский народ!

И вот этот «чудной русский народ» показал всему миру, что значит его «баловство»... Все увидели, что это только начало всемирной великой революции. И это начало великой революции положили мы...

*В. И. Ленин. Речь на III съезде рабочей кооперации.*

### ШВЕЙЦАРИЯ (март 1917)

Первые вести о революционных событиях в России застают Ленина в Цюрихе. 2(15) марта он пишет Инессе Арманд:

— Мы сегодня... в агитации: от 15.III есть телеграмма в «Züricher Post»<sup>1</sup> и в «Neue Zürcher Zeitung»<sup>2</sup>, что в России 14.III победила революция в Питере после 3-хдневной борьбы... Я в не себя, что не могу поехать в Скандинавию!! Не прощу себе, что не рискнул ехать в 1915 г.!

В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 35, 1950.

Между 2 и 6 марта 1917 года Владимир Ильич обращается и к Я. С. Ганецкому. Последний вспоминает:

— Получаю вдруг телеграмму от Владимира Ильича с сообщением, что мне выслано важное письмо, получение которого он просит подтвердить по телеграфу. Дня через три получаю по почте книгу из Швейцарии. Я догадался, что в переплете найду письмо Ильича. Так и оказалось. Я нашел маленькую записку Ильича и... его фотографию. В записке было написано приблизительно следующее: «Ждать больше нельзя,

Первые три обзора ленинских автобиографических высказываний — «Начало пути», «В канун рождения партии» и «Годы «Искры» — опубликованы в № 4, 6 и 7 «Нового мира» за этот год. Они охватывают 1881—1903 годы жизни Владимира Ильича. Данный обзор составлен, как и предыдущие, Б. Яковлевым.

<sup>1</sup> «Цюрихская почта» (нем.).

<sup>2</sup> «Новая Цюрихская газета» (нем.).

тщетны все надежды на легальный приезд. Необходимо во что бы то ни стало немедленно выбраться в Россию и единственный план — следующий: найдите шведа, похожего на меня. Но я не знаю шведского языка, поэтому швед должен быть глухонемым. Посылаю вам на всякий случай мою фотографию».

Я. Ганецкий. О Ленине. Отрывки из воспоминаний. М. 1933.

Один из проектов своего конспиративного возвращения на родину Ленин 6 марта излагает в письме к В. А. Карпинскому:

— Я всячески обдумываю способ поездки. Абсолютный секрет — следующее... Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я проеду по ним через Англию (и Голландию) в Россию.

Я могу одеть парик.

Фотография будет снята с меня уже в парике, и в Берн в консульство я явлюсь с Вашими бумагами уже в парике.

Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии): на это время Вы должны запрятаться архисурезно в горах...

«Правда», 22 апреля 1926 года.

Большевикам, возвращающимся в революционную Россию из стран Скандинавии, Ленин телеграфирует из Цюриха 6 (19) марта. По этому поводу он вскоре направляет такое заявление в цюрихскую социал-демократическую газету «Народное право»:

— Различные немецкие газеты опубликовали в искаженном виде телеграмму, посланную мною в понедельник, 19 марта, в Скандинавию отдельным членам нашей партии, отправлявшимся в Россию и просившим моего совета относительно тактики, которой должна придерживаться социал-демократия.

Я телеграфировал следующее:

«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую думу (городской совет); никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград».

Я послал эту телеграмму от имени заграничных членов Центрального Комитета, а не самого Центрального Комитета.

«Volksrecht», 29 марта 1917 года. Перевод с немецкого впервые напечатан в томе 23 четвертого издания Сочинений В. И. Ленина (1949).

В середине марта Ленин выступает на заседании Цюрихского Комитета по организации возвращения политических эмигрантов на родину. Речь шла о проезде в Россию через Германию. А. В. Луначарский рассказывает, что после того, как некоторые участники заседания высказали опасения, не скомпрометирует ли это эмигрантов, Владимир Ильич заявил:

— «Вы хотите уверить меня, что рабочие не поймут моих доводов о необходимости использовать какую угодно дорогу для того, чтобы попасть в Россию и принять участие в революции. Вы хотите уверить меня, что каким-нибудь клеветником удастся сбить с толку рабочих и уверить их, будто мы, старые, испытанные революционеры, действуем в угоду германского империализма. Да это — курам смех».

А. В. Луначарский. Приезд Ленина (Несколько воспоминаний). «Красная газета», 16 апреля 1926 года.

Более полно воссоздает текст той же речи С. Ю. Багоцкий:

— Все мы убеждены, что мы — интернационалисты — не сможем ехать через Англию. Ни Милюков, ни Петроградский Совет рабочих депутатов, в своем большинстве состоящий из социал-патриотов, нам в этом не захотят помочь. Они заинтересованы, чтобы мы подольше здесь сидели и не мешали им вовлекать российский пролетариат в продолжение начатой царизмом империалистической войны. Наш долг не допустить этого. Чего вы боитесь? Будут говорить, что мы воспользовались услугами немцев. Все равно и так говорят, что мы — интернационалисты — продались немцам, так как мы не хотели поддерживать империалистической политики царизма. Откладывая поездку, мы нанесем вред рабочему движению, а проехав через Германию и проводя в России последовательную борьбу с империализмом, как с российским, так и с германским, мы всем докажем, чем мы руководствовались при проезде через Германию.

После собрания Владимир Ильич говорит Багоцкому:

— Ни один разумный человек не усомнится, что мы едем в Россию не по поручению немцев. Вся наша многолетняя работа служит доказательством этого, дальнейшая работа еще подтвердит это. Ведь просто преступно сидеть здесь сложа руки, когда мы так нужны пролетариату в России.

С. Ю. Багоцкий. Из Швейцарии в Россию. Сборник «Ленин в Октябре. Воспоминания». М. 1957.

Четырнадцатого марта Ленин выступает в Цюрихском Народном доме с докладом «О задачах РСДРП в русской революции». Для газеты «Народное право» он пишет автореферат, в котором сам так рассказывает рабочим-читателям о своем выступлении:

— Реферат Ленина, продолжавшийся 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа, состоял из двух частей. В первой части Ленин дал очерк тех исторических условий, которые могли и должны были породить такое «чудо», как падение царской монархии в 8 дней... Изучая имеющиеся в газетах сведения о Совете рабочих депутатов, Ленин пришел к выводу, что в нем есть три течения. Первое — ближе всего к социал-патриотам... Второе направление — ЦК нашей Российской социал-демократической рабочей партии... Третье направление — Чхеидзе и его друзей. Они колеблются, что явно отражается в отзывах «Times» и «Le Temps»<sup>1</sup>, то хвалящих, то бранящих Чхеидзе... Ленин напал также на социал-пацифистское воззвание Горького и выразил сожаление, что великий художник берется за политику, повторяя предрассудки мелкой буржуазии.

Во 2-ой части Ленин поставил своей задачей показать, какова должна быть тактика пролетариата. Он обрисовал своеобразие исторической ситуации данного момента, как момента перехода от первого этапа революции ко второму, от восстания против царизма к восстанию против буржуазии, против империалистической войны... Наши условия мира, — говорил Ленин, — такие: 1) Совет рабочих депутатов, как революционное правительство, заявил бы тотчас, что никакими договорами ни царизма, ни буржуазии он не связан; 2) он опубликовал бы тотчас эти подлые, грабительские договоры; 3) он открыто предложил бы в сем воюющим перемирие тотчас; 4) он предложил бы мир на условии освобождения всех колоний и всех неполноправных народов... За такие условия мира и мы согласны вести революционную вой-

<sup>1</sup> «Таймс» (англ.) и «Тан» (франц.).

ну! Ленин напомнил, что в «Социал-Демократе» № 47 (от 13.X.1915) было уже заявлено, что от революционной войны такого рода не зарекается социал-демократия... Да здравствует русская революция! — закончил референт. — Да здравствует и а ч а в ш а я с я всемирная рабочая революция!

«Volksrecht», 31 марта и 2 апреля 1917 года. «Пролетарская революция», 1929, № 10.

Семнадцатого марта снова Ленин пишет Я. С. Ганецкому:

— Сегодня я телеграфировал Вам, что единственная надежда вырваться отсюда это — обмен швейцарских эмигрантов на немецких интернированных. Англия ни за что не пропустит ни меня, ни интернационалистов вообще... Вы можете себе представить, какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время.

«Пролетарская революция», 1921, № 2.

Из Цюриха Владимир Ильич уезжает 24 марта. Н. К. Крупская так вспоминает об этом дне: «Когда пришло письмо из Берна, что переговоры Платена пришли к благополучному концу, что надо только подписать протокол и можно уже двигаться в Россию, Ильич моментально сорвался: «Поедем с первым поездом». До поезда оставалось два часа. За два часа надо было ликвидировать все наше «хозяйство», расплатиться с хозяйкой, отнести книги в библиотеку, уложиться и пр. «Поезжай один, я приеду завтра». Но Ильич настаивал: «Нет, едем вместе». В течение двух часов все было сделано: уложены книги, уничтожены письма, отобрана необходимая одежда, вещи, ликвидированы все дела. Мы уехали с первым поездом в Берн»<sup>1</sup>.

Быть может, именно в эти два часа Владимир Ильич разбирает свой личный литературный архив, сопровождая его конверты, папки и тетради такими надписями:

— Дореволюционный и начало революции.

((Заграничный и в России)) литературный материал записки...

— К истории новейшего (1915—6) социализма (особенно швейцарского)...

— Разные (большой частью старые) литературные материалы.

Старые материалы  
до революции 1917.

— В архив (интересное)...

— Это тетрадка 1917 года в Цюрихе перед отъездом в Россию.

«Ленинский сборник» XXI. М. 1933.

За эти же два часа Владимир Ильич встречается и с Р. В. Харитоновой — казначеем Цюрихской секции большевиков. Она пишет:

— В последний день пребывания в Цюрихе Владимир Ильич вручил мне свою сберегательную книжку, в которой значился остаток вклада в 5 франков и 5 сантимов, с просьбой «реализовать» эти деньги и принять их в уплату членских взносов за себя и Надежду Константиновну за апрель... «Простите, что обременяю вас этим поручением, но не хватило времени сделать это самому», — с извиняющейся улыбкой сказал Владимир Ильич... Я была ошеломлена. В такой волнующий момент

<sup>1</sup> Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Части I и II. М. 1933.

В. И. Ленин подумал об уплате членских взносов... Никто из отъезжающих товарищей не вспомнил об этом. Да и я, как казначей Цюрихской секции большевиков, не напомнила им об этом, так как считала, что еще в апреле они будут в Петрограде.

Р. Б. Харитонова. В. И. Ленин в Цюрихской секции большевиков (1913 год — март 1917 года). Сборник «О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы». М. 1963.

Но вот все собрано, упаковано, уложено. Ленин прощается со своим цюрихским квартирохозяином — сапожником Каммерером. Впоследствии тот так пересказывает немецкому журналисту Эгону-Эрвину Кишу беседу с Владимиром Ильичем:

— На прощанье я пожелал ему счастья и сказал: «Надо надеяться, что в России Вам не придется так много работать, как здесь, г-н Ульянов!» Он ответил задумчиво:

— Я думаю, г-н Каммерер, мне придется работать в Петербурге еще больше!

— Ну, ну,— сказал я,— больше, чем здесь, Вы так или иначе не сможете писать. Найдете ли Вы там сразу комнату? Ведь там, наверное, сейчас жилищный кризис?

— Комнату-то я получу в любом случае,— ответил г-н Ульянов,— только я не знаю, будет ли она такой же тихой, как Ваша, г-н Каммерер!

Морис Пианзола. Ленин в Швейцарии. М. 1958.

С 24 марта 1917 года Ленин в Берне. Председательствуя на созванном в связи с отъездом в Россию собрании бернских большевиков, он читает проект «Прощального письма к швейцарским рабочим». Собрание единогласно утверждает проект и поручает Владимиру Ильичу подписать письмо. Ряд его положений освещает многолетнюю ленинскую деятельность в швейцарском рабочем движении:

— Товарищи швейцарские рабочие!

Уезжая из Швейцарии в Россию для продолжения революционно-интернационалистической работы на нашей родине, мы, члены Российской социал-демократической рабочей партии, объединенной Центральным Комитетом (в отличие от другой партии, носящей то же самое название, но объединенной Организационным комитетом), шлем вам товарищеский привет и выражение глубокой товарищеской признательности за товарищеское отношение к эмигрантам... Мы должны заявить, что со стороны революционных социалистических рабочих Швейцарии, стоящих на интернационалистской точке зрения, мы встречали горячее сочувствие и извлекли для себя много пользы из товарищеского общения с ними.

Мы были всегда особенно осторожны, выступая по тем вопросам швейцарского движения, для ознакомления с которыми нужна долгая работа в местном движении. Но те из нас, которые, в числе едва ли больше, чем 10—15 человек, были членами швейцарской социалистической партии, считали своим долгом по общим и коренным вопросам международного социалистического движения решительно отстаивать нашу точку зрения, точку зрения «Циммервальдской левой», решительно бороться не только против социал-патриотизма, но и против направления так называемого «центра»... Мы работали солидарно с теми революционными социал-демократами Швейцарии, которые группировались отчасти вокруг журнала «Freie Jugend»<sup>1</sup>... Мы посылаем братский привет

<sup>1</sup> «Свободная молодежь» (нем.).



этим товарищам, с которыми мы работали рука об руку, как единомышленники...

По поручению отъезжающих товарищей, членов Российской с.-д. рабочей партии (объединенной Центральным Комитетом), принявших это письмо на собрании 8 апреля (нов. стиля) 1917 года,

Н. Ленин.

«Jugend-Internationale», 1 мая 1917 года; «Единство»,  
21 сентября 1917 года.

### ИЗ ШВЕЙЦАРИИ В РОССИЮ (март — апрель 1917)

Сразу после приезда в Стокгольм Ленин передает редакции газеты «Politiken» коммюнике, озаглавленное «Проезд русских революционеров через Германию». Оно гласит:

— ...Английское правительство не пропускает в Россию живущих за границей русских революционеров, которые выступают против войны. После того как это было бесспорно доказано... часть русских партийных товарищей приняла решение попытаться вернуться из Швейцарии в Россию через Германию и Швецию... Русские партийные товарищи требовали для своего поезда права экстерриториальности (никакого контроля паспортов или багажа; недопущение кого бы то ни было из чиновников в их вагон). В числе едущих мог быть любой человек, независимо от его политических взглядов, при условии, что русские сами одобряют его кандидатуру... Немецкое правительство приняло условия, и 9 апреля из Готтмадингена выехали 30 русских партийных товарищей, мужчин и женщин, в том числе Ленин и Зиновьев, редакторы «Социал-Демократа», Центрального Органа русской социал-демократии... На протяжении трех дней проезда через Германию русские партийные товарищи не покидали вагона. Немецкие власти совершенно лояльно выполнили соглашение. 12-го сего месяца русские прибыли в Швецию.

«Politiken», 14 апреля 1917 года. Перевод со шведского<sup>1</sup> впервые полностью напечатан в томе 31 Полного собрания сочинений В. И. Ленина (1962).

Истории поездки Ленин посвящает и статью «Как мы доехали». В ней Владимир Ильич заявляет:

— В наших руках имеется ряд документов, которые мы огласим, как только получим их из Стокгольма (мы оставили их потому, что на шведско-русской границе хозяйничают представители английского правительства), и которые обрисуют пред всеми печальную роль названных «со-

<sup>1</sup> Получивший это коммюнике Ленина шведский журналист Отто Гримлунд здравствует и поныне. Недавно он побывал в Советском Союзе и передал редакции «Известий» свои воспоминания о встрече с Лениным в Трёллеборге, Мальмё и Стокгольме. В них воспроизводятся и малоизвестные высказывания Владимира Ильича. «После обеда,— пишет автор,— нам удалось уговорить Ленина прогуляться по городу. Мы собирались купить ему костюм... Ленин ворчал, считая, что старый костюм мог бы ему послужить еще некоторое время. Купить ему еще что-нибудь было совершенно невозможно. «Я еду домой, в Россию, не за тем, чтобы открывать там какое-нибудь ателье, а делать революцию!»— шутил он...» (Отто Гримлунд. На перевале. «Известия», 13 сентября 1963 года). 6 марта 1919 года, в дни I конгресса Коммунистического Интернационала, Ленин подарил Отто Гримлунду свою фотографию с такой надписью: «Дорогому товарищу Отто Гримлунду. Москва, 6 марта 1919. Владимир Ульянов (Ленин)».

кузных» правительств в данном вопросе. По этому пункту прибавим только следующее: Цюрихский комитет по эвакуации эмигрантов, в который входят представители 23 групп (в том числе Центральный Комитет, Организационный комитет, социалисты-революционеры, Бунд и т. д.), в единогласно принятой резолюции публично констатировал тот факт, что английское правительство решило отнять у эмигрантов-интернационалистов возможность вернуться на родину и принять участие в борьбе против империалистической войны.

Уже с первых дней революции для эмигрантов выяснилось это намерение английского правительства. Тогда... возник план (его выдвинул Л. Мартов) добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных... Прождав две недели ответа из России, мы решились сами провести названный план (другие эмигранты решили пока ждать еще, считая еще недоказанным, что Временное правительство так и не примет мер для пропусков всех эмигрантов).

Дело находилось в руках швейцарского социалиста-интернационалиста Фрица Платтена. Он заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии. Текст условий мы опубликуем. Главные его пункты: 1) Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. 2) Вагон, в котором следуют эмигранты, пользуется правом экстерриториальности, никто не имеет права входить в вагон без разрешения Платтена. Никакого контроля ни паспортов, ни багажа. 3) Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных.

Все попытки германского социал-демократического большинства вступить в общение с едущими последние решительно отклонили...<sup>1</sup>

«Правда», 5 апреля 1917 года.

Утром 2 апреля 1917 года Ленин в Торнео — на тогдашней русско-шведской границе. Он заполняет «Опросный лист пассажира русского подданного, прибывшего из-за границы через пограничный пункт Торнео». В ответ на традиционные вопросы об имени, возрасте, национальности, цели выезда за границу и профессии Ленин пишет:

— Владимир Ильич Ульянов... Родился 10 апреля 1870 г. в Симбирске, русский... Политический эмигрант. Выехал за границу нелегально... Журналист.

<sup>1</sup> Беседуя еще 31 марта с Отто Гримлундом, Владимир Ильич сообщает: «Вильгельм Янсон из Берлина пытался встретить нас в Лингене у швейцарской границы. Но Платтен отказал ему, сделав дружеский намек на то, что он хочет избавить Янсона от неприятности такой встречи» («Politiken», 14 апреля 1917 года. Перевод со шведского впервые опубликован в томе 31 Полного собрания сочинений В. И. Ленина. 1962).

Выступая с докладом о текущем моменте на Апрельской конференции большевистской партии, Ленин вспоминает: «Когда мы ехали в вагоне по Германии, то эти господа социал-шовинисты, немецкие Плехановы, лезли к нам в вагон, но мы им ответили, что ни один социалист из них к нам не войдет, а если войдут, то без большого скандала мы их не выпустим. Если бы к нам впустили, например, Карла Либкнехта, то мы бы с ним поговорили» (Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений, т. XIV, ч. II. М. 1921).

Названный Лениным Вильгельм Янсон — известный в то время немецкий социал-опортунист, один из редакторов «Корреспондентского листка генеральной комиссии профсоюзов Германии».

Отвечая на вопросы о пункте выезда в Россию, возможности остановки в Финляндии и предполагаемом домашнем адресе, Владимир Ильич сообщает:

— Из Стокгольма (Швеция) (Hotel Regina, Стокгольм)... Не предполагаю останавливаться... Петроград, адрес сестры Марии Ильиничны Ульяновой: Широкая ул., д. 48/9, кв. 24.

Сборник «Ленин и Красный флот». Л. 1924.

По этому петроградскому адресу в 18 часов 12 минут Ленин телеграфирует из Торнео:

— ПРИЕЗЖАЕМ ПОНЕДЕЛЬНИК НОЧЬ 11 СООБЩИТЕ ПРАВДЕ. УЛЬЯНОВ.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Поезд из Торнео в Петроград идет через Оулу, Кокколу, Таммерфорс, Рихмяки, Лахти, Выборг. В пути Ленин встречается с русскими и финскими рабочими и солдатами. В вагоне Владимира Ильича окружают фронтовики. Один из ленинских рассказов о его встрече с ними воспроизводит Н. И. Подвойский. Вспоминая о первой беседе Ленина с петроградскими большевиками, он пишет:

— Беседа начинается с рассказа Владимира Ильича о том, как трудно было ему с группой других русских политэмигрантов выбраться из Швейцарии... Вспомнив что-то, видимо, очень интересное, Ильич улыбнулся, глаза его загорелись, и он рассказал о встрече с солдатами во время следования по Финляндии. Солдаты ехали в том же вагоне, и между ними и Лениным завязался разговор.

— Надо было слышать, с какой убежденностью они говорили о необходимости немедленного окончания войны, скорейшего отобрания земли у помещиков.

— Один из них, — продолжал Ленин, — наглядно показал, как надо окончить войну. Он сделал очень энергичное движение рукой, как бы с силой вбивая что-то глубоко в пол, и сказал: «штык в землю — вот как окончится война!» И тут же прибавил: «но мы не выпустим винтовок из рук, пока не получим землю». А когда я заметил, что без перехода власти к рабочим и крестьянам невозможно ни прекратить войну, ни наделить крестьян землю — солдаты полностью со мной согласились!

Рассказав об этом, Ленин стал расспрашивать о положении в Петрограде...

Н. И. Подвойский. В. И. Ленин в 1917 году. «Исторический архив», 1956, № 6.

На услышанное им по дороге в Петроград меткое выражение фронтовика Ленин неоднократно ссылается в своих работах. В законченной 10 апреля брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции» Владимир Ильич так отвечает на вопрос: «Как можно кончить войну?»:

— Войну нельзя кончить «по желанию». Ее нельзя кончить решением одной стороны. Ее нельзя кончить, «воткнув штык в землю», упребрляя выражение одного солдата-оборонца.

Н. Ленин. Задачи пролетариата в нашей революции (Проект платформы пролетарской партии). П. 1917. Сентябрь.

### В ПЕТРОГРАДЕ (апрель — июнь 1917)

Вечером 3 апреля в Белоострове Ленина встречает прибывшая специальным поездом делегация рабочих Петрограда и Сестрорецка. Беседа в Белоострове

с товарищами, Ленин еще не знает, какая встреча ожидает его в Петрограде. Н. К. Крупская вспоминает:

— ...когда мы приехали, товарищи встретили нас в Белоострове... Владимир Ильич, разговаривая с ними, спрашивал:

— А как вы думаете, нас арестуют или не арестуют?

Ему никто не отвечал, все только улыбались. И вот, когда приехал Ильич в Питер, увидел он, что встречают приехавших революционные войска, устроили почетный караул, вся площадь залита народом. В этот момент Ильич почувствовал, что его заветная мечта о социальной революции близка к воплощению. Его поставили на броневик, и он, обращаясь к массам, говорил:

— Да здравствует социалистическая революция!

Н. К. Крупская. За власть Советов. «Известия»,  
20 января 1960 года.

В дворце Кшесинской для Ленина и его спутников петроградские большевики устраивают товарищеский ужин. Один из его участников — депутат Петроградского Совета П. Смирнов — рассказывает:

— Ужиная, Владимир Ильич нервничал и торопил остальных поскорее кончать трапезу... острил, что в «пломбированном» вагоне не подавали такой вкусной дичи, как здесь. Похвалил:

— Молодцы, накормили, теперь можно в бой идти.

Петр Смирнов. Вся власть Советам!  
«Новый мир», 1958, № 11.

«Апрельские тезисы», определяющие основные политические задачи большевистской партии на путях к Октябрю, Ленин разъясняет 4 апреля в Таврическом дворце большевикам — участникам Всероссийского совещания Советов. Начиная доклад, Владимир Ильич говорит:

— Я наметил несколько тезисов, которые снабжу некоторыми комментариями. Я не мог за недостатком времени представить обстоятельный, систематический доклад...

Далее докладчик характеризует свою политическую позицию:

— Вы, товарищи, относитесь доверчиво к правительству. Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве... Я слышу, что в России идет объединительная тенденция, объединение с оборонцами. Это — предательство социализма. Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт: один против 110.

«Правда», 7 ноября 1924 года.

В тот же день Ленин повторяет доклад на объединенном заседании большевиков и меньшевиков — участников совещания Советов.

Напечатанную в Полном собрании сочинений В. И. Ленина запись его доклада дополняют воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича. Он пишет о Владимире Ильиче:

— С полной откровенностью заявил он..., что он имел и очень мало времени, и очень мало материала для наблюдения. — «всего один рабочий попался мне в поезде», — сказал он... — «вот почему мои рассуждения будут несколько теоретичными, но полагаю, в общем и целом, правильными, соответствующими существу всей политической обстановки страны»... Когда он отрывисто произнес слово «братание», относившееся к солдатам, находившимся в окопах, — кто-то из особо взвинченных депутатов с фронта почувствовал себя, очевидно, уязвленным до

глубин своих высокопатриотических чувств, взвился с своего места, сделал несколько шагов по направлению к трибуне и стал ругаться самым отчаянным образом... Владимир Ильич примолк и спокойно, улыбаясь, выжидал, когда страсти улягутся.

— Товарищи,— начал он снова,— сейчас только товарищ, взволнованный и негодующий, излил свою душу в возмущенном протесте против меня, и я так хорошо понимаю его. Он по-своему глубоко прав. Я прежде всего думаю, что он прав уже потому, что в России объявлена свобода, но что же это за свобода, когда нельзя искреннему человеку,— а я думаю, что он искренен,— заявить во всеуслышание, заявить с негодованием свое собственное мнение о столь важных, чрезвычайно важных вопросах? Я думаю, что он еще прав и потому, что, как вы слышали от него самого, он только что из окопов, он там сидел, он там сражался уже несколько лет, дважды ранен... Ему все время внушали, его учили, и он поверил, что он проливает свою кровь за отечество, за народ, а на самом деле оказалось, что его все время жестоко обманывали, что он страдал, ужасно страдал, проливая свою кровь за совершенно чуждые и безусловно враждебные ему интересы капиталистов, помещиков, интересы союзных империалистов... Как же ему не высказывать свое негодование? Да ведь тут просто с ума можно сойти! И поэтому еще настоятельной мы все должны требовать прекращения войны, пропагандировать братание войск враждующих государств, как одно из средств к достижению намеченной цели в нашей борьбе за мир...

В. Д. Б о н ч-Б р у е в и ч. На боевых постах Февральской и Октябрьской революции. М. 1930.

Вышедший 6 апреля № 25 «Правды» открывается двумя редакционными объявлениями, составленными, быть может, не без личного участия нового главного редактора газеты:

— Вернувшиеся из эмиграции члены редакции Центрального органа... Н. Ленин и Г. Зиновьев вступили в редакцию «Правды».

— Вследствие поломки машины мы лишены возможности напечатать сегодня тезисы Ленина, развитые им в докладе его 4 апреля, и опровержения ряда искажений, сделанных буржуазными газетами, в том числе «Единством» господина Плеханова. Сделаем это завтра.

«Правда», 6 апреля 1917 года.

«Апрельские тезисы» Ленин отстаивает и в напечатанной на другой день статье «О задачах пролетариата в данной революции». Он пишет:

— Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности, выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата.

Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе,— и добросовестным оппонентам,— было изготовление письменных тезисов. Я прочел их и передал их текст тов. Церетели. Читал я их очень медленно и дважды: сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков и меньшевиков... Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как редкое исключение, «случай» добросовестных оппонентов, приглашаю сравнить с этими тезисами следующее возражение господина Гольденберга: Лениным «водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии» (цитировано в «Единстве» г-на Плеханова, № 5)... Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добросовестности широких слоев мас-

совых представителей революционного оборончества... ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснить им их ошибку...»

А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не принадлежащие ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборончества, с ясным лбом передают мои взгляды, излагают их так: «водружено (!) знамя (!) гражданской войны» (о ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе!) «в среде (!!)

революционной демократии...»... Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов, как на редкое исключение.

Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, шеловки и недогадливы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели «бред» сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению «брета»? Некругло, совсем некругло у вас выходит.

«Правда», 7 апреля 1917 года.

Не раз вспоминает Ленин о своем апрельском выступлении после Октября. Осенью 1918 года в книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский» он подчеркивает:

— ...всем известно, что я в первый же день своего приезда в Россию, 4.IV.1917, прочел публично тезисы, в которых заявил о превосходстве государства типа Коммуны над буржуазной парламентарной республикой. Я заявлял это потом неоднократно в печати...

Н. Ленин (Вл. Ульянов). Пролетарская революция и ренегат Каутский. М.—П. 1918.

В докладе о внешней и внутренней политике Совета Народных Комиссаров на заседании Петроградского Совета, состоявшемся 12 марта 1919 года в Таврическом дворце, Владимир Ильич говорит:

— Этот зал... напоминает мне первое мое выступление в Петроградском Совете, в котором тогда царствовали еще меньшевики и эсеры. Мы слишком скоро забыли о недавнем прошлом. Теперь же ход развития революции в других странах освежает в нашей памяти недавно нами пережитое.

«Северная коммуна», 14 марта 1919 года.

Лишь в 1959 году впервые опубликована речь Ленина, произнесенная 11 июля 1921 года на совещании немецких, польских, чехословацких, венгерских и итальянских делегатов III конгресса Коммунистического Интернационала. Владимир Ильич рассказывает:

— В начале войны мы, большевики, придерживались только одного лозунга — гражданская война и притом беспощадная. Мы клеймили как предателя каждого, кто не выступал за гражданскую войну. Но когда мы в марте 1917 г. вернулись в Россию, мы совершенно изменили свою позицию. Когда мы вернулись в Россию и поговорили с крестьянами и рабочими, мы увидели, что они все стоят за защиту отечества, но конечно совсем в другом смысле, чем меньшевики, и мы не могли этих простых рабочих и крестьян называть негодьями и предателями. Мы охарактеризовали это как «добросовестное оборончество». Об этом я хочу вообще написать большую статью и опубликовать все материалы. 7 апреля я напечатал тезисы, в которых говорил — осторожность и тер-

пение... Мы не стеснялись перед лицом наших врагов называть наших левых «авантюристами». Меньшевики торжествовали по этому поводу и говорили о нашем банкротстве. Но мы говорили, что каждая попытка быть немножко, хотя бы чуточку, левее ЦК является глупостью и кто стоит левее ЦК, тот уже утратил простой здравый смысл.

«Ленинский сборник» XXXVI. М. 1959.

Буржуазная печать пытается оклеветать Ленина. 13 апреля Владимир Ильич пишет для «Правды» статью «Союз лжи». Вот как она начинается:

— Один прием буржуазной печати всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останется».

«Шумит Ленин во дворце Кшесинской, шумит воесю», — пишет «Речь». «Ленин говорит на митинге Модерн с крыши», — пишет ряд газет.

И все — неправда. На митинге Модерн Ленина не было. Шуметь Ленин вовсе не шумел, ибо имел один доклад перед большевиками и меньшевиками и ряд небольших статей в маленькой газете «Правда».

«Правда», 14 апреля 1917 года.

В середине апреля меньшевистско-эсеровская исполнительная комиссия Петроградского Совета солдатских депутатов, принимая резолюцию «о пропаганде так наз. ленинцев», объявляет ее не менее вредной, «чем всякая контрреволюционная пропаганда справа». 17 апреля Ленин приходит на заседание солдатской секции Петроградского Совета и, судя по сохранившейся протокольной записи,

— ...заявляет, что берет всю ответственность за пропаганду ленинцев на себя...

Полностью впервые напечатано в томе 31 Полного собрания сочинений В. И. Ленина (1962).

Один из участников заседания — М. С. Жаворонков — так воспроизводит основные положения неза stenографированной ленинской речи:

— Я пришел к вам разъяснить цель выступления желтой прессы, которая старается исказить сущность моих выступлений и борьбы нашей партии. Желтая пресса пишет, что существует ленинская партия, или ленинцы. Должен вам заявить, что нет партии ленинской, а есть РСДРП(б), к которой имею честь принадлежать и я.

Желтая пресса пишет, что я, Ленин, призываю солдат сложить оружие и разойтись по домам. Не так, товарищи. Я призываю солдат крепче держать в руках винтовку и направлять ее туда, откуда грозит опасность нашей революции... Желтая пресса пишет, что я, Ленин, призываю народ к свержению английского короля Георга, а про германского Вильгельма умалчиваю. Не так, товарищи, я призываю народ к свержению всех коронованных разбойников и к захвату власти рабочими и крестьянами.

М. С. Жаворонков. На заседании солдатской секции. Сборник «Ленин в Октябре».

Неделю спустя открывается VII Всероссийская конференция большевистской партии. Ленин выступает на ней с докладами о текущем моменте, пересмотре партийной программы и по аграрному вопросу. Начиная первый из названных докладов, Владимир Ильич так раскрывает его содержание:

— Товарищи, мне приходится по вопросу о текущем моменте, об его оценке, захватить чрезвычайно широкую тему, которая, насколько я могу судить, распадается на три части: во-первых, оценка собственно полити-

ческого положения у нас, в России, отношение к правительству и создавшемуся двѣевластию; во-вторых, отношение к войне, и, в-третьих, создавшаяся международная обстановка рабочего движения... Я думаю, что мне придется на некоторых пунктах остановиться только кратко.

Далее Ленин вспоминает о своих первых выступлениях после возвращения в Россию и выводах, сделанных им из речей рабочих и крестьян:

— Многим, в том числе и мне лично, приходилось выступать, особенно перед солдатами, и я думаю, что если разьяснять все с классовой точки зрения, то для них всего более неясно в нашей позиции, как именно мы хотим кончить войну, как мы считаем возможным ее кончить. В широких массах есть тьма недоразумений, полного непонимания нашей позиции, поэтому мы должны быть здесь наиболее популярными... Я кончу ссылкой на одну речь, которая произвела на меня наибольшее впечатление. Один углекоп говорил замечательную речь, в которой он, не употребив ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию.

Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений, т. XIV, ч. II. М. 1921.

Речь шахтера, на которую Владимир Ильич сослался в докладе, он услышал 5 апреля на собрании большевистской фракции Всероссийского совещания Советов. М. М. Костеловская вспоминает: «...слово получил шахтер из Донбасса, высокий brunet, с проседью, коренастый, лет под 50, с большой черной бородой. Он... сказал примерно следующее: «Все, что тут товарищ Ленин предлагает, все это правильно. Надо брать нам фабрики и заводы... На нашем руднике 10 тысяч рабочих, и мы теперь работаем сами, без хозяина. Поставили охрану рудника, поддерживаем порядок. Но только ораторов у нас нет, и объяснить все обстоятельства некому. Когда соберется народ, требует, чтобы я, как я есть большевик, объяснил им все. Ну, я только одно могу сказать и говорю им всегда: «Братцы, держитесь крепче»... И вот я прошу вас, товарищи, пришлите нам более образованных людей, которые могли бы лучше объяснить всем нашим шахтерам про политику и как дальше пойдут дела. А товарищ Ленин во всем, что он говорил, во всем прав».

Во время этой речи Ильич вскакивал, садился, подавал реплики, улыбался.

Это выступление шахтера из Донбасса было первым ответом большевика-пролетария на призыв вождя<sup>1</sup>.

В прочитанной 14 мая в актовом зале Морского кадетского корпуса публичной лекции «Война и революция» Ленин опирается на впечатление, накопленные к середине мая, за первые полтора месяца его пребывания в революционной России:

— Насколько мне пришлось на митингах и на партийных собраниях следить за тем, как ставится у нас вопрос о войне, я пришел к убеждению, что масса недоразумений на этой почве возникает именно потому, что сплошь и рядом мы говорим, разбирая вопрос о войне, на совершенно различных языках... Они не правы, эти авторы многочисленных резолюций, потому что они представляют себе дело так, будто бы война ведется ими... Я никогда не забуду того вопроса, который после одного митинга задал мне один из них: «Что вы толкуете все против капиталистов? Да разве я капиталист? Мы — рабочие, мы защищаем свою свободу». Неправда, — вы воюете потому, что вы слушаетесь вашего правительства капиталистов...

«Правда», 23 апреля 1929 года.

<sup>1</sup> М. М. Костеловская я. Живой Ильич. «Советская авиация», 16 апреля 1957 года.



В начале июня — Ленин на I Всероссийском съезде Советов. 4 июня меньшевистский лидер Церетели демагогически утверждает, что в России якобы нет политической партии, согласной взять на себя всю полноту власти в стране. Ленин с места восклицает: «Есть!» В речи об отношении к Временному правительству он по этому поводу заявляет:

— ...предыдущий оратор, гражданин министр почт и телеграфов... говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».

«Правда», 15 июня 1917 года.

Позднее Владимир Ильич вспоминает об этом в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»:

— ...решатся ли большевики взять одни в свои руки всю государственную власть? Я уже имел случай на Всероссийском съезде Советов ответить категорическим утверждением на этот вопрос в одном замечании, которое мне довелось крикнуть с места во время одной из министерских речей Церетели... Я продолжаю стоять на той точке зрения, что политическая партия вообще — а партия передового класса в особенности — не имела бы права на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы жалким нолем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить власть.

Противопоставляя большевистскую точку зрения на захват власти мелкобуржуазным воздыханиям «людей, опечаленных и испуганных революцией», Ленин в той же статье приводит «два маленьких личных воспоминания». Вот первое из них, относящееся, видимо, к концу июня:

— Разговор с богатым инженером незадолго до июльских дней. Инженер был некогда революционером, состоял членом социал-демократической и даже большевистской партии. Теперь весь он — один испуг, одна злоба на бушующих и неукротимых рабочих. Если бы еще это были такие рабочие, как немецкие, — говорит он (человек образованный, бывавший за границей), — я, конечно, понимаю вообще неизбежность социальной революции, но у нас, при том понижении уровня рабочих, которое принесла война... это не революция, это — пропасть.

Он готов бы признать социальную революцию, если бы история подвела к ней так же мирно, спокойно, гладко и аккуратно, как подходит к станции немецкий курьерский поезд. Чинный кондуктор открывает дверцы вагона и провозглашает: «Станция социальная революция. Alle aussteigen (всем выходить)!».

«Просвещение», 1917, № 1—2.

### НЕЙВОЛА — ПЕТРОГРАД (июль 1917)

С 29 июня по 4 июля Ленин — на даче В. Д. Бонч-Бруевича в деревне Нейвола, неподалеку от станции Мустамяки. В написанной после 22 июля статье «Ответ» Владимир Ильич сообщает:

— Я уехал из Петрограда по болезни в четверг 29 июня и вернулся только во вторник 4 июля утром... На мое отсутствие мне необходимо было указать, чтобы объяснить мою неосведомленность насчет некоторых деталей...

«Рабочий и солдат», 26-июля 1917 года.

В Нейволе Ленин встречается с Демьяном Бедным и В. Д. Бонч-Бруевичем. Последний предупреждает гостя о коварстве здешнего озера и просит далеко не заплывать. В ответ Владимир Ильич шутливо замечает:

— Тонут, говорите... Ну, мы не потонем... Холодные течения, говорите,— это неприятно... Ну, ничего, мы на солнышке погреемся... Глубоко?.. Надо попробовать достать дно... Здесь прекрасно! Очень хорошо... Дна не достал, там шибко глубоко. Хо-р-р-о-о-шо!

В. Д. Бонч-Бруевич. На боевых постах...

Вести об июльских событиях вынуждают Ленина прервать отдых и вернуться в столицу. 4 июля он выступает перед демонстрантами с балкона дворца Кшесинской. Двадцать дней спустя в той же статье «Ответ» Владимир Ильич так излагает содержание своей речи:

— Я лично, вследствие болезни, сказал только одну речь 4-го июля, с балкона дома Кшесинской... Ее содержание состояло в следующем: (1) извинение, что по случаю болезни я ограничиваюсь несколькими словами; (2) привет революционным кронштадтцам от имени питерских рабочих; (3) выражение уверенности, что наш лозунг «вся власть Советам» должен победить и победит несмотря на все зигзаги исторического пути; (4) призыв к «выдержке, стойкости и бдительности».

«Рабочий и солдат», 26 июля 1917 года.

В ночь с 4 на 5 июля, вскоре после того как Ленин посещает редакцию «Правды», туда врываются контрреволюционные погромщики. С утра 5 июля Ленин скрывается на конспиративной квартире М. Л. Сулимовой, расположенной у набережной реки Карповка. Видимо, в эти часы, отлично сознавая опасность, которая ему угрожает, Владимир Ильич пишет Л. Б. Каменеву о своем конспекте «Марксизм о государстве»:

— Entre nous<sup>1</sup>: если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку: «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная. Собраны все цитаты из Маркса и Энгельса... Есть ряд замечаний и заметок, формулировок. Думаю, что в неделю работы можно издать... Условие: все сие абсолютно entre nous!

Н. Лени н. Государство и революция. М. 1924.

М. Л. Сулимова — тогдашний секретарь Бюро по созыву конференции большевистских организаций фронта и тыла — вспоминает:

— Рано утром 5 июля в моей квартире раздался звонок. Открыв дверь, я увидела Я. М. Свердлова, а за ним стоял Владимир Ильич. Появление Свердлова меня не удивило, но приход Владимира Ильича был для меня неожиданным... Владимир Ильич догадался, что мне еще ничего не известно о происшедшем за ночь, и поспешил рассказать о разгроме редакции «Правды» и о том, что особняк Кшесинской оцеплен войсками Временного правительства... Владимир Ильич высказал предложение, что ко мне могут явиться с обыском. Вспоминаю его слова: «Вас, товарищ Сулимова, возможно, арестуют, а меня могут и «подвесить»... Утром за ним пришла Надежда Константиновна... Побрившись, он в достаточной степени изменился и взял у нас палочку или зонтик в передней (точно не помню). Помахивая этим посторонним для него предметом, Владимир Ильич приобретал совершенно беззаботный вид.

М. Л. Сулимова. О событиях 1917 года. «Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник воспоминаний участников революции в Петрограде и Москве». М. 1957.

<sup>1</sup> Между нами (франц.).

Утром 7-го Ленин уже на квартире С. Я. Аллилуева — в доме 17-а по 10-й Рождественской улице. Здесь члены ЦК и партийные работники Петрограда обсуждают вопрос о явке Ленина на суд, инсценируемый Временным правительством. На следующий день Владимир Ильич в статье «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров» формулирует свое мнение по этому поводу:

— Судя по частным беседам, есть два мнения по этому вопросу.

Товарищи, поддающиеся «атмосфере Советов», нередко склоняются к явке.

Более близкие к рабочим массам склоняются, по-видимому, к неявке... Если считать, что в России есть и возможно правильное правительство, правильный суд, вероятен созыв Учредительного собрания, тогда можно прийти к выводу в пользу явки.

Но такое мнение насквозь ошибочно. Именно последние события, после 4 июля, нагляднейшим образом показали, что созыв Учредительного собрания невероятен (без новой революции), что ни правильного правительства, ни правильного суда в России нет и быть (теперь) не может... Действует военная диктатура. О «суде» тут смешно и говорить. Дело не в «суде», а в эпизоде гражданской войны. Вот чего напрасно не хотят понять сторонники явки...

«Я не сделал ничего противозаконного. Суд справедлив. Суд разберет. Суд будет гласный. Народ поймет. Я явлюсь».

Это — рассуждение наивное до ребячества. Не суд, а травля интернационалистов, вот что нужно в власти. Засадить их и держать — вот что надо гг. Керенскому и К<sup>о</sup>... Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!

«Пролетарская революция», 1925, № 1.

Это решение Ленин принимает не сразу. Н. К. Крупская пишет:

— 7-го мы были у Ильича на квартире Аллилуевых вместе с Марией Ильиничной. Это был как раз у Ильича момент колебаний. Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинична горячо возражала ему. «Мы с Григорием решили явиться... — сказал мне Ильич... — Давай попросимся... может, не увидимся уж»... Мы обнялись... Вечером у нас на Широкой был обыск... Спросили, не знаю ли я, где Ильич, из чего я заключила, что он не объявился.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине.

О трехсуточном пребывании на квартире С. Я. Аллилуева Владимир Ильич рассказывает в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»:

— После июльских дней мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочий. В далеком рабочем предместье Питера, в маленькой рабочей квартире подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит: «Смотри-ка, какой прекрасный хлеб. «Они» не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба. Мы забыли, было, и думать, что могут дать в Питере хороший хлеб».

Меня поразила эта классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации проистек этот зигзаг истории и какую ситуацию он создаст, как должны мы изменить наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменившемуся положению. О хлебе я, человек, не выдавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. К основе всего, к классовой борьбе за

хлеб, мысль подходит через политический анализ необыкновенно сложным и запутанным путем.

А представитель угнетенного класса, хотя из хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет прямо быка за рога, с той удивительной простотой и прямоотой, с той твердой решительностью, с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату интеллигенту, как до звезды небесной, далеко. Весь мир делится на два лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», эксплуататоры. Ни тени смущения по поводу происшедшего: одно из сражений в долгой борьбе труда с капиталом. Лес рубят — щепки летят... «Мы «их» нажали, «они» не смеют охальничать, как прежде. Нажмем еще — сбросим совсем» — так думает и чувствует рабочий.

«Просвещение», 1917, № 1—2.

К событиям тех дней Ленин возвращается и почти четыре с половиной года спустя. 20 декабря 1921 года он сообщает Центральной комиссии по проверке личного состава партии, как помогла ему в июльские дни семья Аллилуевых:

— До меня дошло известие об исключении из партии Надежды Сергеевны Аллилуевой. Лично я наблюдал ее работу как секретарши в Управлении делами СНК, т. е. мне очень близко. Считаю, однако, необходимым указать, что всю семью Аллилуевых, т. е. отца, мать и двоих дочерей, я знаю с периода до Октябрьской революции. В частности, во время июльских дней, когда мне и Зиновьеву приходилось прятаться и опасность была очень велика, меня прятала именно эта семья, и все четверо, пользуясь полным доверием тогдашних большевиков-партийцев, не только прятали нас обоих, но и оказывали целый ряд конспиративных услуг, без которых нам бы не удалось уйти от ищеек Керенского.

«Ленинский сборник» XXXVI.

О тревожных днях, которые Ленин проводит в его семье, вспоминает и С. Я. Аллилуев. Он сообщает:

— ...Ленин вошел в наш дом. Осмотревшись, он стал со своей обычной непринужденной манерой расспрашивать Ольгу Евгеньевну о членах нашего семейства, об их занятиях, о том, как мы живем и что делаем... Убедившись, что он действительно никого не стесняет, Владимир Ильич выбрал себе маленькую комнатку в конце коридора с окнами во двор... Я после первых взаимных приветствий осведомился о его самочувствии. Он весело улыбнулся и ответил, что самочувствие его в данный момент самое чудное... По его настоянию я стал подробно рассказывать о настроении рабочих... Нельзя было умолчать и о грязных слухах, распространявшихся по его личному адресу. Только я заговорил об этих сплетнях, как вернулась из дачной местности Левашово, от друзей, наша старшая дочь Анна. Она тоже наслушалась этих сплетен по дороге от Левашова до Петрограда и по требованию Владимира Ильича детально повторила ему все слышанное. Заразительно и весело хохоча, узнал Владимир Ильич о новом приписываемом ему варианте «бегства». Анна рассказывала, что в поезде наперебой обсуждали, как Ленин, переодевшись матросом, бежал на подводной лодке (!!) в Кронштадт... Владимир Ильич... сохранял неизменно бодрое и спокойное настроение, много и весело шутил, смеясь громко и заразительно. С большим юмором, а то и с едким сарказмом острил по адресу незадачливого правительства Керенского... В один из дней, когда я вернулся с работы, Ленин спросил меня, смогу ли найти для него другое безопасное убежище...

— Не следует засиживаться в одном месте. И необходимо также достать план города. Было бы хорошо, если бы вы еще добыли парик, чтобы меня никто не узнал, если я выйду на улицу...

Утром стало известно, что для Владимира Ильича найдено безопасное убежище в одном из дачных поселков — на границе с Финляндией... Владимир Ильич попросил прежде всего достать ему план города, по которому он мог бы наметить ближайший и наименее рискованный путь к Новой Деревне, где находился Приморский вокзал. Я попытался было сказать, что путь в Новую Деревню к вокзалу знаю отлично и что можно свободно обойтись без плана.

— Охотно верю, — возразил Ильич, — что вы прекрасно знаете путь, но можем ли мы быть уверенными, что по дороге нас никто не потревожит? Тогда ведь придется разойтись кому куда попало. Вот ввиду такой возможной случайности я хочу иметь план города, чтобы столь же хорошо, как вы, ознакомиться с предстоящей нам дорогой. Я хочу быть уверенным, что и один не собьюсь с пути...

К вечеру план Петрограда был добыт. Вместе с Владимиром Ильичем мы уселись за его изучение. Показывая на карте улицы и переулки, я предлагал маршрут. Ленин внимательно слушал, задавал вопросы, и наконец маршрут был окончательно разработан и утвержден...

С. Я. Аллилуев. Незабываемое. «Советская женщина», 1947, № 1.

#### РАЗЛИВ — ДИБУНЫ — УДЕЛЬНАЯ (июль—август 1917)

С 10 июля — Ленин в Разливе. Сначала — на чердаке сарая во дворе дома Н. А. Емельянова, в поселке, расположенном неподалеку от станции Разлив, потом — в шалаше на берегу одноименного озера. Н. А. Емельянов рассказывает о первых днях пребывания Владимира Ильича в его конспиративном убежище:

— Мой дом — в пяти минутах ходьбы от станции Разлив... Ленин поздоровался с женой и сказал:

— Надежда Кондратьевна, прошу вас никому обо мне не говорить. Абсолютно никому! И не защищайте меня в разговорах и не спорьте обо мне...

Помню, в газетах встречались заметки, описывающие, каким образом Ленин скрылся за границу: фигурировали и подводные лодки и аэропланы... Читая подобные заметки, Владимир Ильич от души смеялся и называл буржуазных писак «гороховыми шутами»...

Н. А. Емельянов. В последнем подполье.  
«Ленинградская правда», 20 апреля 1955 года.

О своей жизни в шалаше у озера Разлив Владимир Ильич вспоминает, беседуя с младшей сестрой через пять с половиной лет после тех дней. М. И. Ульянова пишет:

— В марте 1923 г. за несколько часов до потери Ильичем речи мы сидели у его постели и перебирали минувшее:

«В 1917 г. — говорит Ильич, — я отдохнул в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 г. — по милости выстрела Каплан. А вот потом — случая такого не было...»

М. Ульянова: Ранение. См. в книге:  
«Д. И. и М. И. Ульяновы. О Ленине». М. 1934.

Одним из первых к Ленину в Разлив приезжает Серго Орджоникидзе. Он вспоминает:

— ...подходит ко мне человек бритый, без бороды и усов. Подошел и поздоровался. Я ответил просто, сухо. Тогда он хлопает меня по плечу и говорит: «Что, т. Серго, не узнаете?» Оказалось, что это тов. Ленин. Я восторженно пожал ему руку. Пошли разговоры... Когда я передал Ильичу слова одного товарища, что не позже августа—сентября власть

перейдет к большевикам и что председателем правительства будет Ленин, он совершенно серьезно ответил: «Да, это так будет».

Г. К. Орджоникидзе. Ильич в июльские дни.  
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». Часть I. М. 1956.

В конце июля у Владимира Ильича побывал А. В. Шотман:

— Перед тем, как ехать к Ленину, я зашел в Петербургский комитет партии большевиков, в то время помещавшийся на Выборгской стороне; там шла беседа о дальнейшем развитии революции, и Лашевич, между прочим, сказал: «Вот посмотрите, Ленин в сентябре будет премьер-министром!»

Сидя у стога и сообщая Ленину... петербургские новости, я передал...и слова Лашевича, на что Ленин очень спокойно ответил: «В этом ничего нет удивительного». От такого ответа я, признаться, немного опешил и поглядел на него с изумлением. Заметив мое удивление, Владимир Ильич стал обстоятельно мне объяснять, как будет развиваться русская революция.

А. В. Шотман. Ленин в подполье. Л. 1924.

В конце июля — начале августа в Петрограде заседает VI съезд большевистской партии. Скрывающийся в Разливе Ленин не может присутствовать на съезде. Он, однако, готовит и редактирует важнейшие политические резолюции. Об этом говорит председательствующий на съезде Я. М. Свердлов. Имея в виду Владимира Ильича, он заявляет: «...сделано все, чтобы получить резолюции отсутствующих товарищей и выяснить их отношение к предлагаемым резолюциям»<sup>1</sup>. 31 июля утреннее заседание открывается речью Веры Слуцкой. Она сообщает, что собрание большевиков — рабочих одного из петроградских заводов «выражает глубокое соболезнование об невольном отсутствии товарища Ленина и крепко верит, что все его идеи, мысли послужат основанием для всех работ съезда, в особенности по наиболее животрепещущим и важным вопросам переживаемого нами момента...»

Делегаты единогласно избирают Владимира Ильича почетным председателем, обсуждают и одобряют розданную всем участникам ленинскую брошюру «К лозунгам», призывающую большевиков «оперировать не со старыми, а с новыми, послеиюльскими, классовыми и партийными категориями». 3 августа съезд тайным голосованием избирает Ленина в состав Центрального Комитета партии. За него, как сообщает Г. К. Орджоникидзе, голосуют 133 делегата из 134.

Со специальным поручением приезжает в Разлив Д. И. Лещенко — один из секретарей VI съезда партии. Он должен был сделать фотоснимок, необходимый для оформления Владимиру Ильичу нелегальных документов. Д. И. Лещенко пишет:

— Владимир Ильич рассказывал, что к ним как-то забрели какие-то дачники, а потом еще приходили какие-то подозрительные люди, но все это бывало днем... Чтобы снять портрет, проще и удобнее всего усадить модель, но... здесь не было решительно ничего, на что можно было бы усадить... Владимир Ильич увидел, что я нахожусь в затруднении, и когда узнал, в чем дело, то сказал мне: «А если я стану на колени, то тогда ведь мое лицо будет находиться как раз на одном уровне с объективом?» И ведь как это просто! Именно так я его и снимал... Фотографическая карточка была ему нужна для определенной и важной цели: ему нужно было получить с Сестрорецкого оружейного завода удостоверение — билет, по которому он потом и жил нелегально... Вот точный текст удостоверения, которое было выдано Владимиру Ильичу:

<sup>1</sup> См. Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года. Протоколы. М. 1958.

## СЕСТРОРЕЦКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

№

Предъявителю сего Константину Петровичу Иванову разрешается вход в магазинную мастерскую завода до 1 января 1918 г.

А слева наклеена сделанная мною карточка Владимира Ильича...

Д. И. Лещенко. Как я фотографировал В. И. Ленина.  
«Ленин в Октябре».

## ЯЛКАЛА — МАЛЬМ — ГЕЛЬСИНГФОРС — ВЫБОРГ

(август — сентябрь 1917)

С 10 августа Ленин в Финляндии. Доставивший его туда машинист Гуго Ялава сообщает: «Ленин сошел на станции Териоки. Перед тем, как сесть в коляску, которая увезла его на надежную квартиру в деревню Ялкала, Ильич горячо поблагодарил меня...»<sup>1</sup> О пребывании Ленина в Ялкале вспоминает жена Эйно Рахья — Л. П. Парвиайнен:

— В один из своих приездов в Ялкалу мы с Эйно спросили Ильича, как ему здесь нравится, не скучно ли.

— Хорошо,— ответил Ильич.— Такого спокойного места я еще нигде не встречал. Еще никогда мне не приходилось так спокойно жить.

Владимир Ильич очень подружился с моими родителями, расспрашивал их о жизни крестьян-финнов, старался запомнить наиболее часто встречающиеся финские слова. Он сожалел, что не знает финского языка.

Сборник «Ленин — вождь Октября. Воспоминания петроградских рабочих». Л. 1956.

Накануне приезда в Гельсингфорс Ленин встречается с депутатом финского сейма Карлом Вийком. Эту встречу на даче у станции Мальм Владимир Ильич использует для организации транспорта большевистской литературы из Швеции. 27 сентября он пишет председателю Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии И. Т. Смильге:

— ...на вас ложится еще одно важнейшее, хотя и скромное по задаче, дело: наладить транспорт литературы из Швеции нелегально... организовав правильные поездки хотя бы одного надежного человека в одну местность, где я начал налаживать транспорт при помощи того лица, у коего я жил один день до въезда в Гельсингфорс...

«Правда», 7 ноября 1925 года.

В середине августа, уже в Гельсингфорсе, Ленин составляет заметки для памяти, связанные с обстоятельствами его жизни в финском подполье:

- || — Лента для шляпы (черная лента)
- порошок зубной (белый, мел)
- || машинка для стрижки волос (с нолевым номером)
- кисточка для бритья
- чашка (металлическая) для бритья
- порошок (мыльный) для бритья
- зубочисток (из перьев)
- хлеба
- план Гельсингфорса
- клей: маленькая трубочка

<sup>1</sup> «Ленинская правда» (Петрозаводск), 21 апреля 1956 года.

- || иголку и черные нитки
- конвертов простых
- || «Социал-Демократ» № 47
- красный и синий карандаш
- перочинный ножик
- химический карандаш
- перья
- ручка
- мои тезисы о политическом положении (съезду)
- || полиглот шведский и финский
- речь на съезде Советов о войне...
- «Anti-Dühring»<sup>1</sup>...
- 1) еженедельно: адрес в Haparand'e<sup>2</sup>
- 2) шифр
- 3) условные открытки

«Ленинский сборник» XXI. Полное собрание сочинений, т. 34. 1962.

Отмеченный Лениным № 47 «Социал-демократа» содержит его статью «Несколько тезисов». Его «тезисы о политическом положении», видимо, предназначались для VI съезда партии. «Полиглот» — это особенно необходимый в Гельсингфорсе шведско-финский словарь общеупотребительных выражений. Текст речи на I съезде Советов и книга Энгельса «Анти-Дюринг», вероятно, нужны для работы над «Государством и революцией». В заключение Владимир Ильич намечает пути конспиративной связи. В августе 1917 года, уже из Гельсингфорса, он пишет младшей сестре:

— Дорогая Маняша! Шлю большущий привет и наилучшие пожелания. Я живу хорошо и засел за работу о государстве, которая меня давно интересует.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

То была книга «Государство и революция», над которой Ленин работает в августе—сентябре. Различные планы и заметки к этому труду датируются предположительно июлем — сентябрем 1917 года. В первом из этих планов Владимир Ильич ставит перед собой такой вопрос:

— Учение марксизма о государстве

Историко-догматический (а) порядок изложения выбрать или логический (б)?

В последующих заметках к плану он пишет:

— Не добавить ли главы (или §§ в VII главе): конкретизация задач пролетарской революции опытом русской революции 1917 года? Это необходимо!

Планируя далее разбивку на главы, Ленин замечает:

— Может быть, §§ 1—3 соединить как введение (или отдел 1?): «Общетеоретические взгляды марксизма на государство» (то, что до сих пор только и хотели знать оппортунисты и каутскианцы). Затем: Конкретное развитие взглядов Маркса и Энгельса на роль государства в революции и в переходе к социализму...

<sup>1</sup> «Анти-Дюринг» (нем.).

<sup>2</sup> Хапаранда (шведск.).



Наконец, окончательно определив содержание книги, Владимир Ильич подчеркивает:

— Заглавие должно быть: «Государство и революция». Подзаголовок: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции.

«Большевик», 1931, № 17. «Ленинский сборник» XXI. М. 1933.

Содержание и композиционное построение «Государства и революции» Ленин характеризует в предисловии к первому изданию:

— Мы рассматриваем сначала учение Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению сторонах этого учения. Мы разберем затем специально главного представителя этих искажений, Карла Каутского, наиболее известного вождя второго Интернационала (1889—1914 гг.), который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей войны. Мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 1917 года.

Н. Ленин. Государство и революция. П. 1918.

В сентябре Ленин пишет о своей тогда еще не вышедшей книге в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»:

— ...Маркс учил, на основании опыта Парижской Коммуны, что пролетариат не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей, что пролетариат должен разбить эту машину и заменить ее новой (об этом подробнее я говорю в брошюре, первый выпуск которой закончен и выходит скоро в свет под заглавием: «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции»). Эта новая государственная машина была создана Парижской Коммуной, и того же типа «государственный аппарат» являются русские Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На это обстоятельство я указывал много раз, начиная с 4-го апреля 1917 года, об этом говорится в резолюциях большевистских конференций, а равно в большевистской литературе.

«Просвещение», 1917, № 1—2.

Накануне Октябрьской революции Ленин начинает заключительную — седьмую — главу книги, озаглавленную «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». Позднее — уже после победы советской власти — Владимир Ильич сообщает в послесловии к первому изданию:

— Настоящая брошюра написана в августе и сентябре 1917 года. Мною был уже составлен план следующей, седьмой, главы: «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». Но, кроме заглавия, я не успел написать из этой главы ни строчки: «помешал» политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой «помехе» можно только радоваться. Но второй выпуск брошюры (посвященный «Опыту русских революций 1905 и 1917 годов»), пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать.

Петроград.

А в т о р.

30 ноября 1917 года.

Н. Ленин. Государство и революция.

В конце августа, еще в Гельсингфорсе, Ленин, видимо, пишет или редактирует «Листок по поводу взятия Риги», обличающий предательскую политику

Временного правительства, меньшевиков и эсеров. Настаивая на нелегальном издании листка, Владимир Ильич обращается в ЦК партии с таким письмом, впервые опубликованном лишь в 1962 году:

— Этот листок, конечно, нельзя издать легально, но необходимо добиваться его издания нелегально. Было бы архиглупо, если бы мы вздумали подвергать опасности закрытия наши легальные газеты (и без того с громадным трудом сохраняемые и страшно для нас важные) и не сумев сделать то, что умели в 1912—1914 гг.: использовать легальные возможности. Ни печатать легально, ни портить статьи (листка), переделывая под легальность, не следует... Я знаю, что косность наших большевиков велика и что много труда стоит будет добиться издания нелегальных листов. Но я буду настаивать и настаивать, ибо это требования жизни... Надо издавать нелегально свободные, полным голосом говорящие, не урезывающие себя, листки и листовки. Надо подписывать их: «Группа преследуемых большевиков». Можно ограничиться этой подписью, можно добавить на ней, внизу, мелким шрифтом: «Группа преследуемых большевиков составила из тех большевиков, коих преследования правительства заставили работать нелегально». Или еще так: «Группа преследуемых большевиков составила из большевиков, вынужденных преследованиями правительства и отнятием свободы печати издавать нелегально свободные листки, действуя вне рамок легальной большевистской партии».

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, 1962.

Есть все основания предполагать, что листовка, о которой идет речь, написана именно Владимиром Ильичем. В статье «Политический шантаж», в которой большевистская партия охарактеризована как «ум, честь и совесть нашей эпохи», Владимир Ильич заявляет:

— Царизм преследовал грубо, дико, зверски. Республиканская буржуазия преследует г р я з н о, стараясь запачкать ненавистного ей пролетарского революционера и интернационалиста клеветой, ложью, инсинуациями, наветами, слухами и прочее и прочее.

Большевики в особенности имели честь испытать на себе эти приемы преследования республиканских империалистов. Большевик вообще мог бы применить к себе известное изречение поэта:

Он слышит звуки одобренья  
Не в сладком ропоте хвалы,  
А в диких криках озлобленья.

Дикие крики озлобленья почти тотчас вслед за началом русской революции несутся против большевика со страниц всей буржуазной и почти всей мелкобуржуазной печати. И большевик, интернационалист, сторонник пролетарской революции, по справедливости, может в этих диких криках озлобления «слышать» звуки одобрения, ибо бешеная ненависть буржуазии часто служит лучшим доказательством правильной и честной службы пролетариату со стороны оклеветанного, травмированного, преследуемого.

«Пролетарий», 24 августа 1917 года.

Среди написанного Лениным в Гельсингфорсе выделяется обширное письмо Заграничному бюро Центрального Комитета партии, находившемуся в Стокгольме. Начатое еще 17-го, оно заканчивается лишь 25 августа. 17 августа Ленин характеризует гнусную кампанию клеветы, поднятую буржуазией как подлое прикрытие «похода на интернационалистов со стороны наших храбрых «республиканцев», желающих «выгодно отличить» себя от царизма клеветничеством». 20 и 25 августа он добавляет:

— 20 августа. Письма все еще не удалось отправить, и, пожалуй, не так скоро удастся. У меня выходит поэтому нечто вроде дневника вместо письма! Ничего не поделаешь. Вы должны иметь много терпения и настойчивости, если вообще хотите сносятся с интернационалистами в «самой свободной» империалистской республике...

25 августа (7 сентября). Кажется, завтра удастся отправить письмо. Приложите все усилия, чтобы наладить доставку от вас. Отвечайте обязательно т о т ч а с хотя бы вкратце, на тот адрес (внутри в а ш е й страны), который вам сообщит товарищ, передающий вам это письмо (или его друг). Он же передаст вам шифр; для опыта пишу этим шифром несколько слов и прошу ответить на них тем же шифром...

«Ленинский сборник» XIII. М. 1930.

Первого сентября Ленин работает над статьей «О компромиссах». Два дня спустя он отмечает:

— Предыдущие строки писаны в пятницу, 1-го сентября, и по случайным условиям (при Керенском, скажет история, не все большевики пользовались свободой выбора местожительства) не попали в редакцию в этот же день. А по прочтении субботних и сегодняшних, воскресных, газет я говорю себе: пожалуй, предложение компромисса уже запоздало... Остается послать эти заметки в редакцию с просьбой озаглавить их: «Запоздалые мысли»... иногда, может быть, и с запоздалыми мыслями ознакомиться небезынтересно.

«Рабочий путь», 6 сентября 1917 года.

В Гельсингфорсе Ленин поселяется у начальника городской милиции — финского социал-демократа Густава Ровно. Готовивший эту конспиративную квартиру А. В. Шотман в шутку говорил, что он «поместил Ленина у гельсингфорского полицмейстера». Г. Ровно пишет:

— У меня была квартира: одна комната и кухня на Хагнесской площади, дом 1, кв. 22. Так как ко мне никто не приходил, а моя жена в то время была в деревне, то мы и нашли самым удобным и безопасным сначала поселить Ленина у меня... Когда Ленин узнал все необходимое для его работы, он мне сказал, чтобы я лег спать, а он еще сядет... за работу... Когда я днем, часа в четыре, пришел домой, Ленин говорит мне:

— Я просмотрел ваш книжный шкаф. У вас много хороших книг, мне они как раз нужны.

Г. Р о в и о. Как Ленин скрывался у гельсингфорского «полицмейстера». «О Ленине». Кн. I. М. 1924.

Из Гельсингфорса Ленин 17 сентября переезжает поближе к революционному Петрограду — в Выборг. Первый день он проводит на квартире редактора рабочей газеты «Туё» («Труд») Э. Хуттунена, а вечером перебирается в рабочее предместье Выборга — Таликкала, поселяясь у финского журналиста Юхо Латулки. Тот рассказывает:

— «Привезти» Ленина из Гельсингфорса должен был тогдашний главный редактор местной рабочей газеты Хуттунен, на квартиру которого я и направился... Владимир Ильич сидел у стола и завтракал... «Меня зовут Ивановым», — потихоньку сказал он мне. Причем по его глазам можно было прочесть: «Не спутайте меня, Иванова, с кем-нибудь другим, разыскиваемым по всей России Керенским и его компанией»... Вечером, забрав «багаж» (три кипы газет и кое-какой скарб) и наняв извозчика, мы отправились по направлению к моей квартире... Книжный шкаф и

полка с большим количеством русской подпольной партийной литературы понравились Владимиру Ильичу. Получив утвердительный ответ на свой вопрос: «Значит, эту квартиру вы, товарищ, предоставляете мне?», Ленин пожал мне руку и сказал: «Здесь я смогу хорошо поработать»... Рабочий день был распределен у него точно. Установлены были определенные часы, когда вставать утром, для обеда и ужина, для бесед и дневного отдыха. Только время, когда ложиться спать, не определялось. «Ну, это будет зависеть от продуктивности истекшего дня, чтобы не осталось чего-либо недоделанного», — сказал Ленин, добавив: «Хотя мы и требуем для рабочих восьмичасового рабочего дня и даже шестичасового в некоторых отраслях, мы, как партийные работники, не считаемся со своим рабочим временем»... Интересно и поучительно было слушать его рассказы про свою жизнь в эмиграции. При этом Ленин говорил: «Быть может, и вам, товарищи (т. е. финнам), придется еще в жизни своей жить в подполье или эмигрантами». И он, как это показали последовавшие в 1918 г. события, не ошибся...

Встречается Ленин с финским журналистом и после Октября. 30 июля 1918 года они около полутора часов беседуют в Кремле. Ю. К. Латукка пишет о Ленине:

— «У меня найдется всегда время для друзей», — сказал он, когда я, покончив свое дело, хотел уйти, зная, что он занят более важными государственными и другими делами... «Посещайте меня, звоните номер 36-182, вас я всегда приму. Ведь теперь наша очередь помочь вам...» — говорил мне Владимир Ильич.

Ю. К. Латукка. Ленин в подполье в Финляндии.  
Сборник «Ленин в Октябре».

Беседует Ленин с Латуккой и 19 августа того же года. Тогда же Владимир Ильич обращается к Г. В. Чичерину:

— Податель — тов. Латукка, финский социал-демократ, помогавший нам много, когда мы прятались в Финляндии. Надо теперь в с я ч е с к и помочь ему.

«Ленинский сборник» XXXVI.

О своих переживаниях и наблюдениях в сентябре 1917 года Ленин рассказывает два месяца спустя, выступая 4 ноября на заседании ВЦИК:

— Разве мы в декабре прошлого года могли с точностью знать о грядущих февральских днях? Разве мы в сентябре знали достоверно о том, что через месяц революционная демократия в России совершит величайший в мире переворот? Мы знали, что старая власть находится на вулкане. По многим признакам мы угадывали о той великой подземной работе, которая совершалась в глубинах народного сознания. Мы чувствовали в воздухе накопившееся электричество. Мы знали, что оно неизбежно разразится очистительной грозой. Но пророчествовать о дне и часе этой грозы мы не могли.

«Правда», 7 ноября 1917 года.

#### ПЕТРОГРАД (октябрь 1917)

В начале октября Ленин нелегально возвращается из Выборга в Петроград и поселяется на уже известной ему с июльских дней конспиративной квартире М. В. Фофановой. Пять лет спустя — в январе 1922 года — он просит Секретариат ЦК помочь дочери М. В. Фофановой, большой тяжелой формой туберкулеза. Мотивируя свою просьбу, Владимир Ильич пишет:

— М. В. Фофанову я знаю как энергичную и преданную большевичку с лета 1917 года. Осенью того же года, перед октябрём, в самые опасные времена, она меня прятала у себя на квартире.

«Ленинский сборник» XXXV. М. 1945.

М. В. Фофанова приводит одну из бесед с Владимиром Ильичем о конспиративных преимуществах ее квартиры:

— Когда мы остались вдвоем, он попросил меня показать ему всю квартиру, чтобы ориентироваться, на случай, если придется воспользоваться окном, а не дверью... Вначале я даже не поняла, что этим хотел сказать Ильич. Показываю квартиру. Когда пришли в третью комнату и я указала на балкон, смотрю, Ильич радостно улыбнулся и сказал:

— Прекрасно, теперь можно точно определить, как идет водосточная труба, близко ли от моей комнаты,— на случай, если придется по ней спускаться.

Зашел на балкон, просчитал окна и сказал:

— Комната выбрана правильно, удачно.

М. В. Фофанова. Ильич перед Октябрем 1917 года.  
«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». Часть I. М. 1956.

Ленин по-прежнему в подполье. Но 12 октября он подписывает заявления о согласии баллотироваться в Учредительное собрание от большевиков Северного фронта и Балтийского флота. При этом Владимир Ильич указывает в первом случае свой бывший адрес у А. И. и М. Т. Елизаровых, а во втором — одну из комнат в том самом Смольном, куда он войдет две недели спустя в качестве Председателя Совета Народных Комиссаров:

— Я, нижеподписавшийся, Ульянов Владимир Ильич, сим изъясняю согласие баллотироваться в Учредительное собрание от Северного фронта и не возражаю против порядка помещения в списке, предложенном армейской организацией РСДРП (большевиков).

В л а д и м и р И л ь и ч У л ь я н о в.

Адрес: Петроград, Широкая ул., д. 48, кв. 24.

— Я, нижеподписавшийся, Ульянов Владимир Ильич, сим изъясняю согласие баллотироваться в Учредительное собрание от Балтийского флота и не возражаю против порядка помещения в списке, предложенном флотской организацией РСДРП (большевиков).

В л а д и м и р И л ь и ч У л ь я н о в.

Адрес: Петербург, Смольный институт, комната 18.

«Ленинский сборник» XVIII. М. 1931.

Шестнадцатого октября ЦК РСДРП(б) принимает предложенное Лениным историческое решение о вооруженном восстании. Из-за конспирации Владимир Ильич не может сообщить в печати, что он присутствовал на этом заседании ЦК и непримиримо осудил трусливую позицию Зиновьева и Каменева. 18 октября в «Письме к членам партии большевиков» Ленин, не указывая по тем же конспиративным соображениям, что он в Петрограде, заявляет:

— Я не имел еще возможности получить питерские газеты от среды, 18 октября. Когда мне передали по телефону полный текст выступления Каменева и Зиновьева в непартийной газете «Новая Жизнь», то я отказался верить этому. Но сомнения оказались невозможны, и я вынужден воспользоваться случаем, чтобы доставить это письмо членам партии к четвергу вечером или к пятнице утром, ибо молчать перед фактом такого неслыханного штрейкбрехерства было бы преступле-

нием... Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии.

На другой день Ленин направляет письмо в ЦК РСДРП(б). В нем говорится:

— Уважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства и штрейкбрехеров в своей среде. Это очевидно. А чем больше вдуматься в выступления Зиновьева и Каменева в непартийной прессе, тем более бесспорно становится, что их поступок представляет из себя полный состав штрейкбрехерства... Ответ на это может и должен быть один: немедленное решение ЦК:

«Признав полный состав штрейкбрехерства в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной печати, ЦК исключает обоих из партии».

Мне нелегко писать это про бывших близких товарищей, но колебания я считал бы здесь преступлением, ибо иначе партия революционеров, не карающая видных штрейкбрехеров, погибла... На угрозу раскола я отвечаю объявлением войны до конца, за исключение обоих штрейкбрехеров из партии... я требую исключения обоих штрейкбрехеров, сохраняя за собой право (ввиду их угрозы расколом) в с е опубликовать, когда можно будет опубликовать.

«Правда», 1 ноября 1927 года.

Наступает 24 октября. Ранним утром юнкера занимают типографию большевистского «Рабочего пути». Днем красногвардейцы устанавливают посты у мостов через Неву. Вечером «Аврора» подходит к Николаевскому мосту. Ленин считает необходимым явиться в Смольный для непосредственного руководства уже начавшимся восстанием. Опасаясь за жизнь Владимира Ильича, ЦК не разрешает ему покинуть конспиративную квартиру.

В 9 часов вечера 24 октября Ленин направляет М. В. Фофанову в Выборгский комитет партии с письмом о том, что дальнейшее промедление «в выступлении смерти подобно». М. В. Фофанова воспроизводит записку от Владимира Ильича, обнаруженную ею после возвращения из Выборгского комитета. Она пишет:

— Провожая меня, Ильич сказал:

— Я жду вас до 11 часов...

Я приехала за десять минут до срока, назначенного Ильичем... Зашла в столовую. Когда я прикоснулась к стеклу лампы, висевшей над столом, оно было еще горячим... Глубокая тарелка отодвинута, в ней узенькая, длинная записка:

«Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания». И подпись — «Ильич».

Записка сначала меня удивила, а потом обрадовала. Если, уходя из конспиративной квартиры, Ленин подписался своим именем, значит, он был уверен в успехе задуманного... Двадцать пятого я поехала в Смольный и не уходила оттуда три дня подряд. Мельком увидела Ильича, упрекнула его:

— Как же это вы ушли раньше времени?

Ильич хитро прищурился и ответил:

— И сколько вы еще будете помнить об этих десяти минутах?..

М. В. Ф о ф а н о в а. Решающие дни. «Октябрь», 1956, № 11.

В ночь с 24 на 25 октября, едва не схваченный по дороге юнкерами, Ленин — вместе с Эйно Рахья — приходит в Смольный и принимает на себя руководство вооруженным восстанием. По ленинским приказам бойцы революции атакуют Зимний.

Несколько месяцев спустя — 28 июня 1918 года, — выступая с заключительным словом по докладу о текущем моменте на IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы, Ленин говорит:

— Мы в своей стране, где пережили две революции, знаем и видим, что нельзя предсказать хода революции, что нельзя ее вызвать. Можно только работать на пользу революции. Если работаешь последовательно, если работаешь беззаветно, если эта работа связана с интересами угнетенных масс, составляющих большинство, то революция приходит...

Протоколы 4-й конференции фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов г. Москвы. М. 1918.

В первую ночь после победы революции, служению которой Ленин посвятил три десятилетия своей жизни, он составляет заметки об организации Советского правительства. Приведем некоторые из них:

— Назначения

Председатель комиссии революционного порядка Бонч-Бруевич — заведующий делами или «Народный комиссар революционного порядка»...

председатель «комиссии законодательных предположений» ) (при министре председателе)

Надежда Константиновна — товарищ министра (при Луначарском)...

ограничение жалованья 500 рублями в месяц.

2 стенографистки для диктовок и диктовальная машина...

«Ленинский сборник» XXI.

На квартиру «народного комиссара революционного порядка» В. Д. Бонч-Бруевича Владимир Ильич едет в 4 часа утра 26 октября. Здесь он пишет декреты о мире и земле. В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает:

— ...Я постарался предоставить все для отдыха Владимира Ильича; еле уговорил его занять мою комнату, причем подействовал лишь аргумент, что в этой отдельной небольшой комнате к его услугам письменный стол, бумага, чернила, книги... Он сел за стол, открыл чернильницу и, опершись на локти, углубился в работу... Утром я предупредил домашних, чтобы они не шумели, так как Владимир Ильич работал всю ночь и, несомненно, крайне утомлен. И вдруг открылась дверь, и он вышел из комнаты, как всегда энергичный и свежий, бодрый и радостный.

— С первым днем социалистической революции! — поздравил он всех... Владимир Ильич вынул из кармана переписанные листки и прочел нам свой «Декрет о земле».

— Вот только бы объявить его, широко опубликовать и распространить. Пускай попробуют тогда взять его назад! Нет, никакая власть не в состоянии была бы отнять этот декрет у крестьян и вернуть земли помещикам. Это — важнейшее завоевание нашей Октябрьской революции. Аграрная революция будет совершена и закреплена сегодня же, — радуясь, говорил Владимир Ильич.

В. Д. Бонч-Бруевич. Из воспоминаний о Владимире Ильиче. «Знамя», 1955, № 4.

В ночь с 26 на 27 октября Владимир Ильич выступает на съезде Советов с докладами о мире и земле. Съезд принимает ленинские декреты. 30 октября

Ленин направляет такую радиограмму Совета Народных Комиссаров, адресованную «Всем. Всем»:

— Сообщаем для сведения, что съезд Советов, который разъехался уже, приняты два важных декрета: 1) о немедленном переходе всех помещичьих земель в руки крестьянских комитетов и 2) о предложении демократического мира.

Председатель Советского правительства  
В л а д и м и р У л ь я н о в (Л е н и н).

«Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства».  
30 октября 1917 года.

Через несколько дней, отвечая во время заседания Всероссийского Исполнительного Комитета на запрос левых эсеров, Ленин заявляет:

— ...Второй Всероссийский съезд Советов, отбросив все формальные затруднения, принял в одном большом заседании два закона мировой важности.

«Правда», 7 ноября 1917 года.

Особенно часто Ленин возвращается к Декрету о земле. 13 марта 1919 года, выступая на I съезде сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии, он вспоминает:

— ...вы знаете, что всякая собственность на землю была отменена требованием громадного большинства крестьян 26 октября 1917 г., в первую ночь после нашей советской революции.

Н. Ленин (В. У л ь я н о в). Собрание сочинений, т. XX,  
ч. II, М. 1926.

В статье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» Владимир Ильич пишет:

— Сразу, одним революционным ударом, сделано то, что вообще можно сделать сразу: например, в первый же день диктатуры пролетариата, 26 октября 1917 г. (8 ноября 1917 г.), отменена частная собственность на землю...

«Правда», 7 ноября 1919 года.

Декрет о мире и — по выражению Ленина — «первый в мире закон об отмене всякой собственности на землю» были первыми законодательными актами возглавленного им Советского правительства. Пройдут четыре года, и Владимир Ильич напишет в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции»:

— ...мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистских войн.

«Правда», 18 октября 1921 года.





---

ПЕТРУСЬ МАКАЛЬ

★

## ЯБЛОНЯ

Яблоньке у самого крылечка  
Для посадки выбрал я местечко.  
— Пусть растет.

Мне работать туча помогала —  
Кропотливо почву поливала..  
— Пусть растет.

Укрывал я саженец в метели,  
С солнышком его мы в стужу грели.  
— Пусть растет.

Скоро я отсюда перееду.  
Видно, урожай снимать соседу.  
— Пусть растет.

Мне ж, быть может, где-то в день воскресный  
Яблоньку посадит друг безвестный.  
— Пусть растет.

\* \* \*

Не хитрость —  
По ровной дороге идти,  
Пусть потом намокнет спина гимнастерки,  
На ветреном, трудном, далеком пути  
Пусть будут долины, и пади, и горки,  
Пусть туча обложит все небо кругом.  
Дороги другой не ищу я отныне:  
Ведь только устав  
на подъеме крутом,  
Смогу отдохнуть я  
на самой вершине.

*Авторизованный перевод с белорусского  
Бориса Иренина.*



---

## КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

### КНИГА СКИТАНИЙ\*

#### «Малый Конотоп»

**З**ахолустный городок Конотоп я видел несколько раз только из окна вагона. Я ничего о нем не знал, кроме того, что в нем умер вымышленный эренбургский герой Хулио Хуренито.

Говорили, что «в свое время» городок этот был знаменит лужами. В них каждый год тонули многострадальные конотопские кони. Выражение «в свое время» казалось таинственным. Что значит «в свое время»? Очевидно, во время расцвета, хотя во все времена ни о каком расцвете Конотопа не могло быть и речи.

Лужи эти давно высохли. В наши дни Конотоп славился только замечательными блинчатыми пирожками с мясным фаршем. Ими торговал буфет на конотопском вокзале.

К приходу каждого пассажирского поезда на стойку в буфете выносили большие противни с этими раскаленными пирожками. Делом чести для каждого пассажира было пробиться к стойке и съесть, обжигая пальцы, хотя бы один сочный и хрустящий пирожок.

Самый же Конотоп казался довольно уютным со своими чистыми домиками, плетнями и тополями. На пути из Москвы в Киев это были первые тополя. Пассажиры всегда радовались им, как предвестникам юга.

Непонятно почему, но этот городок дал имя одному московскому писателю содружеству.

Почти каждый день у Фраермана в его маленькой квартире на Большой Дмитровке собирались друзья: Аркадий Гайдар, Александр Роскин — знаток Чехова, писатель и пианист; молодой очеркист Михаил Лоскутов, редактор детского издательства добрейший Ваня Халтурин и я.

Сборища эти Роскин неизвестно почему назвал «Конотопами».

Объяснить происхождение этого названия он надменно отказался, ссылаясь на то, что существовал же во времена Пушкина литературный кружок «Арзамас», и никто толком не знал, почему он был назван именем этого маленького и такого же захолустного, как и Конотоп, городка.

У каждого из нас были по этому поводу свои соображения. Но, пожалуй, самым пронизательным оказался Гайдар. (Он вообще был чертовски пронизателен и лукав.)

Одно время жена Фраермана Валентина Сергеевна угощала нас блинчатыми пирожками. А поскольку Конотоп славился ими и Роскин

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

об этом знал, то поэтому он, по мнению Гайдара, и придумал такое странное название нашему содружеству.

Собирались мы почти каждый день, читали друг другу все вновь нами написанное, спорили, шумели, рассказывали всяческие истории, пили дешевое грузинское вино и водку и в один присест съедали по три огромных банки свино-бобовых консервов.

Мы были как будто беспечны и веселы, очевидно, потому, что литературные планы не только переполняли нас, но и постепенно осуществлялись. Тут же, как говорится, «на глазах», Гайдар писал свою великолепную «Голубую чашку», Фраерман — не менее прекрасную «Дикую собаку Динго, или Повесть о первой любви», Роскин со скрупулезной талантливостью работал над книгой о Чехове, Лоскутов, как бы стесняясь собственной наблюдательности, рассказывал о Средней Азии.

О Гайдаре и Фраермане я писал много и не хочу повторяться. Но об остальных участниках «Конотопа» надо сказать несколько слов, в особенности о Роскине.

Он был человеком сложным и выдающимся как по обширности своих познаний, так и по остроумию и насмешливому уму.

Он великолепно играл на рояле и снисходительно презирал нас за отсутствие тонкого музыкального вкуса.

Когда на него находила хандра, он играл отрывки из «Хованщины», чаще всего сцену гадания, и пел щемящие слова о «великой страде печали» и «заточении в дальнем краю».

Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости, и к необыкновенной нежности. Среди нас он считался самым взрослым, самым серьезным и требовательным ко всему, что бы мы ни писали. Нам он не давал спуска. Его статьи о писателях настолько отличались от сырой критической писанины того времени, что сразу выдвинули его в число лучших исследователей советской литературы, в ряды ее знатоков.

Он первый начал писать очень короткие — в одну-две страницы — очерки о западных писателях. Они, к сожалению, забылись.

Я помню его очерк о Флобере, где писатель, человек и эпоха были даны чуть ли не на одной странице и оживали перед глазами в лаконичных и безошибочных подробностях. Так, например, вместо того, чтобы, как водится, подробно рассказывать об изнурительной, просто каторжной работе Флобера над рукописями, Роскин сообщил только одну частность.

Флобер, как известно, работал в Круассе, в своем маленьком доме на берегу Сены. Он просиживал за письменным столом до рассвета. На столе горела лампа с зеленым абажуром. Всю ночь светилось единственное окно в кабинете Флобера.

Свет в окне был таким постоянным, что капитаны морских пароходов, подымавшихся по Сене из Гавра в Руан, ориентировались по окну Флобера, как по надежному маяку.

Среди моряков существовало правило: «Держать на освещенное окно в доме господина Флобера». Говорят, что это правило было даже внесено в лоцию Нижней Сены и вычеркнуто из нее только после смерти писателя.

Зимой 1962 года я был во Франции и решил съездить из Парижа в Круассе — в этот приют, увековеченный в письмах Флобера, в этот маленький дом на самом берегу реки, где у Флобера гостили Тургенев, Жорж Санд, братья Гонкуры, Мопассан — почти весь цвет тогдашней литературы.

Но в день, назначенный для поездки в Круассе, из Руана сообщили, что через Ламанш из Англии пришел тяжелый «смок» — непроницаемый

и смертоносный туман. Всякое движение по дорогам Нормандии было прекращено, и поездку пришлось отложить.

Французский критик Пикон, устраивавший эту поездку, был огорчен. Он старался утешить меня довольно печальным сообщением, что хотя после войны разрушенный бомбежками дом Флобера восстановлен, но он уже не тот, что был при его старом и громогласном хозяине. От сада почти ничего не осталось, а кроме того, Руан, разрастаясь, стиснул усадьбу Флобера заводами и новыми зданиями и лишил его прежнего деревенского очарования.

Роскину, чтобы рассказать этот эпизод о Флобере, понадобился один абзац, а мне, как видите, пришлось исписать целую страницу. Очевидно, поэтому мы и называли статьи Роскина «стальными» — за их краткость, отточенность и холодноватый блеск.

Роскин оставил небольшое, но ценное литературное наследство.

Он написал книгу о замечательном нашем ботанике Вавилове («Караваны, дороги, колосья»). Вавилов поставил себе задачу: «Мобилизовать растительный капитал всего земного шара» и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком.

Эту исполинскую задачу Вавилов выполнил благодаря неукротимой энергии и большим своим познаниям.

В те годы у нас очень увлекались интересными, но несколько броскими очерками Поля де Крюи об ученых-новаторах. Книга Роскина о Вавилове была серьезнее и живее, чем работы де Крюи. Она была лишена того несколько фамильярного пафоса, с каким де Крюи говорил о величайших ученых своего времени.

Эта книга Роскина сейчас совершенно забыта. Он писал ее для юношества. Ее, конечно, следовало бы переиздать. Написана она была со знанием дела, так как Роскин прекрасно изучил биологию и ботанику, помогая в свое время своему брату — биологу Г. И. Роскину. Этот последний стал широко известен своими поисками путей лечения рака.

После книги о Вавилове Александр Роскин написал превосходную биографическую книгу о Чехове и много статей по литературе, главным образом о молодой советской прозе.

Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности власть в книжную экзотику и нарядную «оперность» стиля. Он напечатал это предупреждение в одной из своих статей.

К счастью, эта статья совпала для меня со временем глубокого недовольства своими первыми («молодыми») рассказами, заставила уйти от литературных прикрас и стремиться к ясности и простоте. Вскоре Роскин первый — и так же по-дружески — приветствовал появление в печати «Кара-Бугаза» и «Мещерской стороны».

Я часто жил с Роскиным в Мещерских лесах и в Ялте и хорошо узнал его.

Его присутствие придавало каждому дню особое, «роскинское» своеобразие. Он был человеком азартным, несмотря на кажущееся «английское» хладнокровие. Азартным во всем — в литературных спорах, музыке, рыбной ловле (это занятие он почему-то не презирал, хотя и относился к нему скептически), в игре в покер и в других своих увлечениях.

Как большинство азартных людей, он любил всякие пари и состязался в этом с изобретательным и хитрым Гайдаром. Выиграв пари, он ликовал, как мальчик.

У него было пристрастие к удивительным подсчетам. Например, он подсчитывал, сколько страниц мог бы написать за день без всякого

утомления. Выходило, что две страницы, не больше. Роскин множил эти страницы на число дней в году: триста шестьдесят пять. Получалось примерно семьсот страниц. Лучшим размером он считал книгу в среднем в двести пятьдесят страниц.

Итак, каждый год он мог бы выпускать по три больших книги, по три полновесных романа, если бы он работал, как Дюма и Бальзак.

Мы говорили, что беда только в том, что он не Дюма и не Бальзак, но Роскин презрительно пропускал эти замечания мимо ушей. В оправдание своих выкладок он любил рассказывать о некоем французском писателе (имени я его не помню), который, кроме своей «большой» работы, ежедневно втайне писал по утрам всего пять минут прозы (что дает десять печатных строк).

Так, шутя, к концу года он заканчивал рассказ в восемьдесят страниц — для рассказа это немало — и дарил его ко дню рождения своей жене.

— Редкий случай супружеского счастья! — восклицал Роскин.

Мы соглашались, но не хотели следовать примеру французского писателя. Это обстоятельство Роскина не огорчало, хотя он и обзывал нас бездельниками и дилетантами.

Рыбу с нами Роскин (это было в Мещерском крае, в селе Солотче) ловил только «на очки».

С долгими препирательствами разрабатывалась сложная система этих «очков». Рыбы распределялись по величине и породе. Самое большое очко давалось за леща, самое пустяковое — за ерша.

После рыбной ловли обычно тут же на берегу шел шумный спор, сколько у кого очков. Выигрывал обыкновенно Фраерман. Ему почему-то везло на лещей, мы же с Гайдаром ловили больше окуня и плотву. За окуня Роскин не хотел давать больше четырех очков на том основании, что эта жадная и глупая рыба сама подсекается и ловить ее не такое уж большое искусство, тогда как лещ очень осторожный и глазастый и чтобы поймать его, нужно не двигаться, не кашлять, не сморкаться и не курить. Поэтому за леща Фраерман получал по двенадцати очков, что было, между нами говоря, совершенно несправедливо.

Наши споры на берегу затягивались почти до темноты, до первого сияния далеких звезд или до того времени, когда низко в небе повисал месяц. Он приносил с собой медлительные волны речной сырости и всегда немного таинственную ночную тишину.

Все эти пари, «очки» и подсчеты были передышками, легкой и беззаботной стороной жизни. Все остальное время Роскин много и трудно работал.

Он делал для каждой своей работы огромное количество выписок, целую библиотеку цитат из книг, статей, газет, из частных писем, из записей разговоров, услышанных на улицах, в трамваях, в редакциях. Работая, он заваливал весь стол книгами и выписками, сделанными бисерным, каким-то чеховским почерком.

Он рылся в них, находил нужные и так смело и ново вставлял в свой текст, что появление некоторых даже знакомых цитат напоминало внезапный взрыв, вскрывающий огромные пласты нетронутой литературной породы. Как бы возвращенный блеск погасшей звезды падал на давно забытые, потускневшие страницы.

В руках Роскина цитаты становились его собственным творчеством. Я был уверен, что при таком остром «чувстве цитат» можно было бы соединить их в некую замечательную и цельную книгу, несмотря на разницу авторов, которыми они были написаны, и несхожесть эпох, когда они появились на свет.

Роскин не мог работать вглухую, как многие из нас. Он никогда не прятал свои вещи «до времени» от чужих глаз. Сдержанный и даже скрытный во всем, что касалось его личной жизни, он ничего не скрывал в своей работе. Ему не только хотелось знать, что и как пишут другие, но и знакомить других со своей работой в самом ее движении.

В своих оценках он был жесток, но требовал такой же жестокости и по отношению к себе.

Однажды тихой и свежей черноморской зимой в Ялте, в писательском доме, съехались несколько москвичей. В их числе был и Роскин.

Все работали по своим комнатам, встречались только в столовой, и только в общих чертах, из неохотных признаний мы знали, кто над чем работает.

Эта кротовая жизнь не нравилась Роскину. Он предложил нам собираться, по примеру «Конотопа», каждый вечер и прочитывать друг другу только то, что было написано за один сегодняшний день — никак не больше. И очень коротко поговорить о каждом таком маленьком куске.

Поднялся шум. Как это можно разговаривать по поводу нескольких оторванных от целого абзацев. Абсурд!

Больше всего сердился «последний символист на земле» Георгий Чулков — маленький изящный старик, похожий на композитора Листа. Он считал это предложение Роскина профанацией искусства.

— Все равно попробуем, — сказал Роскин, — и вы увидите, что пиши для разговоров хватит. Особенно если принять во внимание, что среди нас есть непревзойденные болтуны.

С этим все согласились.

Эти вечерние собрания Роскин назвал «Американками» — так же странно, как и встречи у Фраерманов были названы «Конотопами».

Дело в том, что в те годы в Москве было много маленьких пивных заведений, где посетители стоя выпивали свою кружку пива и уходили. Сидеть было не на чем. Тогда эти пивнушки назывались «Американками». Сейчас такие заведения получили новое название — «забегаловок» или «шалманов».

Наши чтения были своего рода литературными «Американками». Каждый прочитывал свой отрывок (как бы выпивал свою кружку пива).

Традиции «Американок» держались потом в Ялте несколько лет.

Первая же «Американка» прошла шумно и интересно. Роскин прочел отрывок из своего очерка об Альфонсе Додэ. Потом каждый вечер кто-нибудь читал свое.

Арбузов читал отрывки из пьесы «Таня», над которой он работал в Ялте, Атаров — из рассказа «Араукария», я — из рассказа «Созвездие Гончих Псов». Читали еще Гехт, Письменный, Лавренев, Малышкин, Гайдар и Дерман — словом, все, кто тогда жил в Ялте.

Мы разжигали камин. За окнами туго гудели от ветра кипарисы. Споры достигали жестокого накала.

В конце концов сдался и старик Чулков. Он пришел на «Американку» и прочел одну картину из своей новой пьесы.

Пьеса была чрезмерно символической и потому для нас совершенно старомодной и манерной. Поэтому, несмотря на уважение к богатому прошлому Чулкова и его возрасту, пьесу «раздраковали». Особенно сердился Арбузов.

Но старик Чулков выказал такой свирепый запал в споре с нами, так ловко и изящно отбивался от нападений, швырял в нас таким количеством познаний из любых областей литературы и психологии, что мы в конце концов сдались (кроме Арбузова) и даже приняли Чулкова в почетные члены «Американки».

Чулков был, конечно, стариком совершенно удивительным. Символист, вечно и шумно ссорившийся с символистами, особенно со своим бывшим другом Александром Блоком, бывший политический ссыльный, исследователь Тютчева, мистик, знаток Италии, любитель отчаянных зимних поездок на Ай-Петри (вопреки запрещению врачей), всликопейнейший эрудит в области поэзии и философии, выдумщик, создатель поэтических теорий, прелестнейший чудак — он вносил в нашу жизнь постоянное интеллектуальное беспокойство, а по манере себя держать — галантность восемнадцатого века.

Он как-то разбудил меня ночью и с неподдельным ужасом рассказал, что его сосед, какой-то никому не известный угрюмый человек, — конечно, явный суккуб или инкуб (в этой мистической иерархии Чулков разбирался великолепно), он не дает Чулкову ни на одну минуту уснуть ночью, так как ползает по стенам, как муха («Очевидно, у него есть какие-то присоски на пальцах», — говорил возмущенно Чулков), доползает до потолка, срывается и падает с таким шлепающим звуком, будто падает большая тряпичная кукла. Сорвавшись, он снова лезет на стену, снова срывается — и так всю ночь, до утра.

— Я только что выходил в парк и смотрел, — сказал шепотом Чулков. — Окно в его комнате освещено и все видно. Это очень страшно.

Мы вместе пошли в парк, но опоздали — инкуб погасил свет, и я так ничего и не увидел. Ветер подымал на голове у Чулкова его седые длинные волосы, и мне стало не по себе.

Наутро Чулков, выбритый, свежий, элегантный, пошел к директору дома, к широко известному среди писателей Якову Федоровичу Хохлову, бывшему боцману Черноморского флота, и попросил перевести его, Чулкова, в другую комнату, подальше от инкуба.

— Раз этот инкуб, или как его там зовут, вас беспокоит, то, пожалуйста, я переведу вас, — сказал со скифским спокойствием Хохлов. — Покой писателей для меня важнее всего.

По всему своему складу и образу жизни Роскин был типичным горожанином («урбанистом», как мы его насмешливо называли). Он любил музыку, театры, работу в залах больших библиотек, кино, книги, яркий свет и шум городских улиц, но к природе относился с некоторым предубеждением.

По его мнению, природа причиняла много беспокойств. Терпеть неудобства, а порой и мучения от дождей, холода, ветра, грязи, комаров и темных осенних вечеров в Солотче, тех вечеров, когда приходилось читать и писать при кухонной керосиновой лампочке, он не любил.

В Солотче мы с Фраерманом и Гайдаром досиживались обыкновенно до глубочайшей осени. Роскин считал нас сумасшедшими.

В первый же сырой и холодный осенний день, когда начинали быстро обнажаться леса и сады, он уезжал в Москву.

Но постепенно природа начала исподволь брать его в плен и в конце концов переломила. Он сдался и все чаще вспоминал среди московской сутолоки какой-нибудь вечер в лесах или тихий день на старице.

Однажды мы сидели с ним под вечер на пустынном берегу Оки около избы паромщика. За нашей спиной зеленели крутые обрывы правого берега. То был древний, крепко связанный с историей России берег с его обветшалыми крепостными монастырями — оплотами против татарских набегов, старыми ветлами и яблоневыми садами, с деревнями, носившими удивительные имена — Окоемово, Аграфенина пустынь, Иоанн Богослов, — отдаленным мычанием стад, бляением овец, петушиным ором, запахом отцветающих лип и пением женщины, возвращавшихся с сенокоса.

Перед нами на левом берегу темной стеной стояли близкие Мешерские леса. Над лугами, над заливными озерами и старицами уже подымался, свиваясь, туман.

К нам подошел обыкновенный деревенский петух. Он сверкал чернью, пурпуром и золотом, но, несмотря на свой богатый наряд, выглядел круглым дураком. Подняв одну ногу, он долго смотрел на нас, потом оглушительно и сердито закричал нам прямо в лицо.

Я бросил в него щепкой. Он вскрикнул, сразу потерял заносчивый вид и побежал прочь, приседая и спотыкаясь. Я засмеялся, а Роскин с укором сказал:

— Ну зачем? Он вправе гордиться собой. Необыкновенно красивая птица. Я впервые это заметил. И вообще я в последнее время каждый день замечаю новые вещи — хоть бы вот эти плоты и то, как ивы постоянно меняют цвет листы от ветра. Я мог бы просидеть на этом бревне весь день напролет.

С этого времени он постепенно перестал дичиться природы и все чаще начал ходить с нами в длинные, утомительные, но заманчивые походы, которые Гайдар называл «вылазками рыбацкого патруля».

Роскин погиб в народном ополчении осенью 1941 года под Вязьмой. Всегда внешне невозмутимый, он приходил в состояние холодного негодования, как только начинал говорить о фашизме.

Его ненависть к фашизму, к бесноватому диктатору Гитлеру, к тотальному режиму была полна глубокого отвращения, какое мы испытываем перед гадиной, которую нужно раздавить.

Перед смертью жизнь подарила ему — одинокому и замкнутому — последнюю свою улыбку — любовь прекрасной и преданной женщины.

Уходя в ополчение и попрощавшись с ней, он не оглянулся. Это было выше его сил.

Есть испытания, какие никогда не должен был бы переносить человек, настолько они безжалостны и противоречат тому возвышенному и дорогому, чем он жил все годы и к чему упорно и постоянно звал людей. Звал своими мыслями, книгами, всем строем своего внутреннего мира.

Он ушел, а женщина долго, ничего не видя вокруг, смотрела с отчаянием на его чуть согнутую спину.

И я почему-то вспомнил, как моя мать, когда разошлась с отцом, после того, как она осудила его за легкомыслие и прокляла за свою разбитую жизнь и неизбежно горестное будущее своих детей, разрыдалась, когда увидела сгорбленную, виноватую спину уходящего навеки отца.

В спине этой было столько беспомощности, что мама не могла не разрыдаться. Еще мгновение — и она позвала бы его, побежала бы за ним, и он бы, конечно, вернулся. Но гордость, обида, нетерпимость не позволили ей этого сделать.

Может быть, взгляд в спину уходящего навсегда человека — самое страшное, что приходится переживать.

Я слышал, что, уходя в ополчение, Роскин взял с собой яд (морфий). Он не боялся смерти, был к ней как-то весело равнодушен. Единственное, чего он не мог бы перенести, по его словам, — это попасть в руки фашистам и позволить им издеваться над собой.

Под Вязьмой часть Роскина попала в кольцо. Немцы начали опрашивать пленных и отбирать евреев.

Переводчик из ополченцев сказал им, что Роскин армянин. Казалось, он был спасен. Но какой-то негодяй выдал Роскина, и часовые отшвырнули его в сторону, где стояли евреи. Тогда Роскин принял яд. Говорят, он мучился недолго.



### «Не выйдет!»

С каждым годом у Фраермана становилось все больше друзей. Поэтому «Конотоп» начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием.

Пришлось в конце концов установить три разряда «Конотопов» — малый, средний и большой.

«Малый Конотоп» собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер. В «Средний Конотоп» вошли новые «общники» — Василий Гроссман, Семен Гехт, Андрей Платонов, старый наш друг по Батуму архитектор Миша Синявский и его жена Люсьена. Собирался «Средний Конотоп» вместе с «Малым» раз в неделю. И наконец примерно раз в месяц собирался «Большой Конотоп» — громоздкий и шумный.

На «Большом Конотопе» можно было встретить самых разношерстных людей — от сибирского восторженного поэта Вани Ерошина («Душа горит!») до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами историка Тарле и от корректного до последней пушинки, снятой с пиджака, писателя Георгия Шторма до волгара и «окальщика» книголюба Шуры Алимова — косовороточного вечного студента.

Гайдар писал шуточные стихи про каждого участника «Конотопов», но, к сожалению, их никто не записывал, и сейчас они забыты. Он сочинил гимн «Конотопа». В этом гимне трогательно изображалась смерть Гайдара в Конотопе от неизвестной причины:

Конотопские девушки свяжут  
На могилу душистый венок.  
Конотопские девушки скажут:  
«Отчего это вмер паренек?»

Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара:

Ах, давайте машину скорее!  
Ах, везите меня в Конотоп!

В стихах о Фраермане были совершенно точные строки:

В небесах над всей вселенной,  
Вечной жалостью томим,  
Зрит небритый, вдохновенный,  
Всепрощающий Рувим.

Тарле был похож на Эрнеста Репана и в нашей компании выглядел несколько экзотично.

Стихи эти Гайдар писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно.

Однажды на «Малом Конотопе» я прочел короткий рассказ о той книге, какую собирался писать, — о «Кара-Бугазе».

Это был, собственно, не рассказ, а свободный план книги, украшенный авторскими отступлениями и цитатами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов и лодии Каспийского моря, из энциклопедии и монми размышлениями, выданными за чужие цитаты. Мне нравилось, что ни один ученый и литературовед не мог изобличить меня в неправильности этих цитат, так как и сами цитаты и их авторы были вымышлены.

Я прочел на «Конотопе» свой план и отдал на всеобщее обсуждение. Но обсуждать особенно не стали, так как никто не знал, что такое Кара-Бугаз. Только Роскин сказал, что охотно согласился бы вместе со мной написать книгу о Кара-Бугазе, но это — бессмысленно, так как он уверен, что ни в какой Кара-Бугаз я не поеду и книгу о нем не напишу.

Конечно, Роскин предложил пари. Если через год я не напишу книгу, то должен буду купить Роскину школьный микроскоп, а если напишу, то Роскин обязуется подарить мне хороший спиннинг. Понятие о хорошем спиннинге было чрезвычайно растяжимым и колебалось в пределах от пяти до тысячи рублей. Из-за цены этого спиннинга шли постоянные распри.

Мне хотелось написать книгу чисто географическую, суровую, строго, похожую на отчет о путешествии — такой же живописный, как самодельная и грубая карта, набросанная углем на куске оберточной бумаги.

С детства я досадовал, что вся земля исследована и описана, а в тот год эта досада была особенно сильной. Должно быть, оттого, что я вынужден был сидеть в Москве и ежедневно вариться в вязкой скуке телеграфного агентства РОСТА. Скука эта была для меня даже окрашена в грязновато-желтый цвет.

Особенно было досадно, что земля была зачастую исследована и описана совсем не теми людьми, которые могли бы передать ее сложную красоту и таинственность.

Все описано! Все! Все изучено! Почему какой-нибудь картограф капитан Бутаков не оставил мне хоть небольшое Аральское море, чтобы я мог его объездить и описать? Я бы сделал это с величайшим наслаждением.

Я бы вспомнил до последней мелочи все обстоятельства, которые имели касательство к этому морю. Вспомнил бы даже проект французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, пытавшегося устроить на берегах Арала республику для политических изгнанников из всех стран мира. Но белобрысая трезвая немка Екатерина Вторая отвергла этот проект без всяких оснований.

Все на земле было описано, за исключением таких редких и адских мест, как Кара-Бугаз. Поэтому он особенно меня привлекал и тревожил.

Я — человек совершенно несусеверный — все же помнил предупреждение геолога Алексея Дмитриевича Шацкого о том, что Кара-Бугаз грозит мне гибелью. Предупреждение это мне тоже очень нравилось.

Я решил весной непременно поехать в Кара-Бугаз.

Денег, конечно, не было, да и надежд на деньги тоже не было. Единственный способ добыть деньги состоял в том, чтобы предложить какому-нибудь издательству еще не написанную книгу о Кара-Бугазе и получить под нее аванс.

Я пошел к директору одного из издательств. Директор смотрел на меня с досадой, как на нечто наскучившее и насквозь известное.

Я рассказал ему вкратце о Кара-Бугазе.

— На берегах этого залива, — сказал я, — непрерывно накапливаются гигантские, единственные в мире залежи мирабилита — глауберовой соли. Иначе она называется английской.

Директор раздраженно повертел в пальцах отточенный карандаш, ударил острием карандаша по столу и сломал его.

— Безобразие! — сказал он. — И то и другое — безобразие! И дрянный карандаш, и ваш замысел воспеть в романе слабительную соль и полу-

чить под эту соль хорошенький аванс. На фоне пынешнего бурного индустриального роста Советского Союза ваша тема, если взглянуть как следует, является прямым издевательством и глумлением над народом и советской властью. Не вый-дет! — сказал он внятно и твердо, как будто говорил с жуликом, подсунувшим ему гнилой товар. — Не вый-дет! Этот номер не пройдет!

Он снова ударил карандашом по столу и теперь уже сломал его окончательно.

— Не вый-дет! — прокричал он, глядя не на меня, а куда-то за мою спину круглыми остановившимися глазами.

Я встал и, не попрощавшись, ушел.

В этом месте я на минуту прерву повествование, чтобы рассказать о том, как я единственный раз в жизни видел и слышал Сталина.

Было это примерно в середине тридцатых годов. В Кремле заседал съезд комсомола.

Я обрадовался, когда в Детгизе мне предложили гостевой билет на последнее заседание комсомольского съезда. Кремль в те времена был наглухо закрыт для народа.

После двадцати лет перерыва я снова мог увидеть Кремль, пройти по огромным плитам его площадей, посмотреть соборы в почернелом дряхлом золоте, в их угрюмом и боязливом молчании.

Я вошел в Кремль через Спасские ворота. Часовой, цепко и недоверчиво поглядывая мне в лицо, проверил документы.

Я прошел через площадь к Большому Дворцу вдоль нескольких будок с часовыми. Каждый раз, когда я подходил к очередной будке, в ней требовательно трещал звонок, и часовой выходил из будки и снисходительно отдавал честь, не меняя каменного, застывшего выражения лица.

Сталин на съезде еще не выступал. Участники съезда надеялись, что он выступит хотя бы на последнем заседании. Но никто не мог сказать, случится это или нет. Даже председатель съезда Косарев не знал этого.

Участники съезда то дружно, то вразброд кричали: «Просим товарища Сталина, Сталина, Сталина!»

По временам этот крик: «Товарища Сталина!» — сменялся возгласом: «Слава гениальному Сталину — нашему родному отцу!»

Этот возглас тонул в грохоте аплодисментов и топоте ног. Время шло. Весь президиум ждал стся появления Сталина.

И вот — свершилось! Из стены за столом президиума, из ореховой панели внезапно и незаметно возник Сталин.

Я не уловил, да, очевидно, и никто в зале не заметил того мгновения, когда он вышел, или, вернее, отделился от стены.

Все вскочили. Яростно загремели аплодисменты. То и дело слышались отдельные выкрики.

Сталин неторопливо подошел к столу, остановился и, сцепив руки на животе, смотрел на зал.

Я сидел вблизи и хорошо рассмотрел его. Прежде всего меня поразило то обстоятельство, что он был мало похож на многотысячные свои приукрашенные портреты и парадные фотографии. Это был низкий, коренастый человек с тяжелым лицом, рыжеватый, с низким лбом и толстыми усами.

Одет он был в ту форму, какую, видимо, придумал для себя до того, как начал носить мундир генералиссимуса, — в серый френч и серые брюки, как всегда, заправленные в блестящие, начищенные сапоги.

Зал сотряснулся от криков. Люди аплодировали, воздев руки над головой. Казалось, сейчас обрушится потолок.

Сталин поднял руку.

Сразу упала мертвая тишина. И в этой тишине Сталин отрывисто выкрикнул хрипловатым голосом с сильным грузинским акцентом:

— Да здравствует советская молодежь!

И так же таинственно и внезапно исчез в стене, как и появился.

### Старинная карта

*(Некоторое отступление от темы)*

Когда я был в Ливнах, геолог Алексей Дмитриевич показал мне старую карту восточного побережья Каспийского моря. Я срисовал ее и даже кое-что к ней добавил, но очень осторожно.

Добавил я на карте, или, вернее, отметил на ней, те воображаемые места, где хорошо бы сделать привал во время столь же воображаемых будущих моих скитаний по берегам Кара-Бугаза. Места эти всегда чем-нибудь отличались от общего характера пустыни и ее известковых нагорий.

Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней.

Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей к Кара-Бугазу, я нашел отметку: «Несколько высохших деревьев». Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул — дерево, о которое можно ушибиться, как о ломаное железо.

Эти мои отметки были, конечно, игрой. Поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как Фраерман.

Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпанной сиренью, а здесь — о том, как мальчишками бродили мы по лесам в Ревнях, разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сирень и ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей закаспийской пустыни.

Оправдание для этой мальчишеской игры пришло позже, когда я попал на берега Кара-Бугаза и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав.

Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей.

С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу.

Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, о моей расеянности и провинциальном французском городке в Провансе.

История эта началась в 1956 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах Сены около лавок букинистов жестокое огорчение.

Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль Сены, колыхал эти карты, и они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешенные для просушки на теплой гранитной набережной.

Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтожные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, как будто их делали из швейцарского сыра.

О крупных кúпюрах — нарядных трескучих ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту осталась только приятная память. Так же, как и о бородатом и вызывающем боязливое почтение Викторе Гюго на пятифранковых бумажках.

В общем, я не мог купить ни одной карты и свою досаду по этому поводу высказал в очерке «Мимолетный Париж», напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории.

В то время в Париже в Сорбонне учился на славянском отделении студент-француз — некто Имар родом из города Монтобана на юге Франции.

Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбонну для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились.

Окончив Сорбонну, Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтобан. Он случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» «Мимолетный Париж», проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу.

Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов.

В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщал мне, что недавно переехал из Монтобана в маленький городок где-то между Марселем и Экс-ле-Провансом.

В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно приехать к нему в провансальский городок и по возможности скорее, так как у Имара только что родились близнецы — две девочки — и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие.

В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии красивым широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей и добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для праздника в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров.

Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса.

Толпа любопытных, но вежливых школьников — учеников Имара собралась около его дома. Над калиткой развевался трехцветный флаг.

Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей — загорелых и шумных провансальцев, ценителей знаменитого марсельского блюда «буйябесс» (в него кладут все, что водится съедобного в Средиземном море — креветок, лангустов, омаров, мидии, разную рыбу и водоросли).

Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами, молодой отец — учитель и спортсмен — смущался, а эр городка — жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый провансальский поэт Мистраль и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Додэ, — много

шутил по поводу русско-французской дружбы, принявшей такую неожиданную и осязательную форму в их городке.

Накрывали столы. На очагах на французский манер жарили на вертеле мясо. Откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед — человек чувствительный и разговорчивый — уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию и до сих пор в такие изрядно надоевшие ему солнечные дни грустит по облакам. Соседа не смущали взрывы хохота. Да, мсье-дамм, он грустит по прекрасным облакам России. Он видел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ламанша. Правда, молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Эгальер, но это не имеет значения.

Но, вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на него.

Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара. Поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи.

Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов. Хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей с их набившей оскомину красотой.

Сначала был средневековый папский Авиньон. Могучие и вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался как бы выросший из диких скал папский дворец. Быстрая Рона струилась за окнами кафе с милым названием «Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки подвыпившим шоферам грузовиков-камионов. Шоферы осторожно гладили их черными от автола пальцами по золотым и тугим, скрипучим на ощупь крылышкам и ласково дышали на них перегаром вина.

За Авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт Святого Андрея — заповедник крепостной мощи и тишины.

В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а между камней в стенах росли тоненькие, как ниточки, побеги диких озябших ирисов (был декабрь, но, к счастью, не было мистрала — бича этих мест).

Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой.

Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконными решетками и бронзовыми дверными молотками.

На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник Виктор Некрасов разобрал на одной табличке неожиданную для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный.

Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше подходят для сновидений, чем для реальности.

Таким городом для сновидений казался Арль. Свет дня — к тому же чистый и резкий — делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города, его римскую арену, где теперь происходят корри-

ды, его скупые по линиям, пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван-Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала.

В Лувре в галерее импрессионистов хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван-Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой лиловой тяжестью только что перепаханной земли.

Деревья, завязанные в медные узлы руками неведомых исполинов, отвечивают сизой корой.

Все густо, плотно, краски как бы шарахаются одна от другой, не в силах выдержать напряжения и блеска своих соседок.

В арльской гостинице, обитой пунцовым штофом, сонной и настолько старой, что в ней даже как-то неловко было жить современному человеку, тщеславные владельцы привинтили к дверям многих комнат медные таблички с надписями: «Комната Мистралья», «Комната Пикассо», «Комната императора Наполеона III». Очевидно, стоило хотя бы раз остановиться в этой гостинице мало-мальски известному человеку, чтобы на следующий же день старый арльский гравер-ворчун уже начинал нарезать новую дощечку для гостиничных дверей.

Нам отвели комнату Мистралья.

Рассматривая обстановку этой комнаты, я почему-то подумал (действительно, — почему? — я сам не знаю), что Мистраль, наверно, был весьма почтенным и старомодным поэтом-говорунуном. Ему легко было жить. От него ничего не требовали, кроме того, чтобы воспевать в гладких стихах общепризнанные красоты Прованса.

Почему-то в комнате Мистралья я чувствовал себя неловко, будто я нарушаю стариковский распорядок жизни прославленного поэта. Нарушаю тем, что Мистраль не может понять, что мне от него нужно, почему я попал в эту комнату, кто я такой и о чем, собственно, ему следует со мной разговаривать.

Это состояние мучило меня всю ночь сквозь непрочный сон, должно быть, потому, что за стенами задувал с недалеких Альп тезка поэта — настоящий бешеный и невежливый ветер мистраль. А он, как известно, путает человеческие мысли, раздражает людей и заставляет их делать несообразности. Очевидно, поэтому местный суд смягчает наказание людям, совершившим какие-либо проступки во время мистралья.

Задолго до поездки во Францию я от кого-то слышал или где-то читал о красоте уроженок Арля — арлезианок. Но, как всегда, не придаешь слышанному вскользь никакого значения, пока не столкнешься с ним лицом к лицу. Так случилось и теперь.

Мы зашли в гесное и уютное кафе под стеной римской арены (так зовут в Арле сохранившийся римский цирк, своего рода арльский «колизей»).

В кафе не было ни души. Портреты знаменитых торреро в разноцветных традиционных костюмах висели на стенах.

В кофейной теплоте и тишине сверлил под сурдинку сверчок. От его пения делалось особенно уютно, тем более что за окнами сверкало холодное и ясное декабрьское предвечерие и лучи солнца, падая на стены кафе, не давали тепла. Тепло шло от газовой печки.

Только через минуту после нашего прихода из задней комнаты вышла на звон колокольчика хозяйка — молодая арлезианка.

Как жаль, что поэтическая смелость поведения, свойственная таким

людям, как Гейне, давно оставила нас, давно перестала быть свойством нашего времени.

Конечно, Гейне встал бы перед вошедшей арлезианкой, как перед испанской инфантой или Жорж Санд, отвесил бы ей низкий поклон и сказал бы что-нибудь вроде того, что шелест ее платья прекраснее и тревожнее для его сердца, чем шуршание самых дорогих королевских шелков.

Он, конечно, сказал бы это тонко и остро — мы уже давно разучились так говорить. Сказал бы и вызвал внезапный румянец на щеках прелестной арлезианки.

Мгновение назад ее еще не было. Но вот она вошла, она есть, и уже ясно, что твой мир, конечно, не мог существовать без нее, что она давно жила в нем и владела твоей покорной душой.

Она не была даже очень молода. Ей было, должно быть, лет тридцать. Узкое лицо было покрыто тонкой смуглостью, какая существует только в Арле. Темнота и ясность ее глаз, немного сумрачных и суровых, ее взгляд прямо в глаза — и внезапно этот сумрак глаз арлезианки вспыхивает до самого их золотистого дна сиянием взволнованной и таинственной улыбки. И улыбка эта сливается с легкостью ее движений и легкостью ее голоса, ясного, как во сне.

Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность. С годами это знание перешло в глубокую любовь к этому языку и в более или менее ясное знание его (знать весь русский язык одному человеку, конечно, не под силу).

Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо знания, нужно еще чувство своего родного языка. Зачастую оно бывает врожденное, органическое. Оно не позволяет нам нарушать благозвучие языка и его необъяснимый, но явственный ритм.

Но несмотря на свою приверженность русскому языку, мне временами казалось, что он уступает по певучести, четкости другим языкам, в частности французскому и итальянскому, древнееврейскому и даже голландскому.

Очевидно, я, как и все мы, слишком привык к своему языку, чтобы услышать его как бы со стороны и полностью оценить.

И вот в Арле, на бульваре Де-Лисс, в вечернем пустом кафе нас еще раз убедил в красоте нашего языка кельнер — «гарсон» средних лет — типичный арлезианец с насмешливыми глазами.

Он долго почтительно стоял невдалеке от нашего столика, слушал наш разговор, потом подошел и спросил, на каком языке мы разговариваем.

— А почему вы это спрашиваете? — спросили мы в свою очередь гарсона.

— Какой-то, — ответил он, — необыкновенно красивый язык. Я такого еще никогда не слышал. Это венгерский?

— Нет!

— Польский?

— Нет!

— Чешский?

— Нет!

— Какой же все-таки?

— Это русский язык.

— Погодите! — воскликнул гарсон и ушел за перегородку.

Оттуда он привел другого гарсона — сидящего и благожелательного.



— Вот! — сказал он и с торжеством показал нам на своего товарища.

Тот смутился и вдруг произнес скороговоркой, но почти без акцента:

У попа была собака,  
Он ее любил.  
Она съела кусок мяса —  
Он ее убил.

Мы онемели.

— Откуда вы это знаете?

— Я изучаю русский язык, — ответил сидящий гарсон с некоторой гордостью. — По старому учебнику. По такому же учебнику я уже выучил испанский язык. Но у меня нет практики в русском языке. Он неслыханно трудный. В Арле русские не бывают. За несколько лет вы — первые.

— Зачем же вы изучаете этот язык?

— Он мне нравится, — ответил, смущаясь, гарсон. — Я холостяк. Я совершенно одинокий и трачу все свободное время на изучение языков. Я бы мог поговорить с вами по-русски, но я стыжусь своего произношения. И неправильных ударений.

— Но все-таки!

Гарсон оперся кончиками пальцев на столик и сказал с трудом:

Румяно зарею  
Пожрился восток.  
Селе за рекою  
Погас огоньек!

Он достал из кармана белой куртки маленькую, но толстую книгу — учебник русского языка, выпущенный каким-то неведомым издательством в Марселе.

Это был смешной и неуклюжий учебник вроде пресловутого учебника нашего детства Марго, над которым принято было всячески издеваться. Особенно хороши в учебнике Марго были примеры: «Золотые зайцы не желают скакать по зеленым канатам», «Этот день, не понедельник ли он?», «Усыпляйтесь, моя дорогая бабушка, перед теплым огоньком из камелька».

Этот же гарсон привел к нам седого и сердитого на вид арльского таксиста мсье Мориса. Таксист, неожиданно оказавшийся приветливым добряком, охотно согласился проехать с нами по Камаргу и по западному побережью Прованса, идущему в сторону Испании.

Камарг — это дельта Роны, огромная заболоченная низина, заросшая высоким тростником и покрытая множеством озер и лагун.

В Камарге пасутся черные быки для корриды в Арле и Ниме и одномостные белые лошади. Должно быть, многие читатели видели французскую кинокартину «Белая грива» — о трогательной дружбе сельского мальчика — жителя Камарга с дикой и вольной лошадей Белой гривой.

Низина подходит к морю. Там на дюнах среди шума сухих тростников живут маленькие рыбацьи поселки — пустынные, немного хмурые, совсем непохожие на близкие отсюда ослепительные и пряные курорты — на все эти Сен-Тропезы, Ниццы, Канны и Ментоны.

В поселке Сент-Мари-де-ля-Мер у полосы прибоя вздымается, как глыба камня, старая церковь — серая, холодная и пустая.

Под алтарем сопит, всасываясь в пустоты берега, море. В церкви пахнет крезегками. Горит несколько свечей и висят по стенам ленты, бу-

бенцы и детские неумелые рисунки кораблей и пароходов, похожих на корыта.

Ленты и бубенцы здесь оставляют цыгане. Раз в несколько лет сюда съезжаются представители цыган из всех стран Европы и выбирают в этой церкви цыганского короля.

Он «царствует» несколько лет.

Женщина в толстом теплом платке зашла вслед за нами в церковь и рассказала, что избранный недавно цыганский король родом, кажется, из Австрии или Венгрии полюбил молодую цыганку откуда-то из-под Риги и уехал к ней. Женщина — простая рыбацка — все же пошутила и посмеялась, что и в нашей революционной стране живет, оказывается, король.

Неумелые рисунки кораблей и пароходов (даже колесных) вывешивают на стенах родственники рыбаков и матросов, ушедших в море, чтобы охранить своих родных от бурь и прочих морских опасностей.

Второй интересный городок лежал к западу от первого, за руслом Малой Роны и назывался Ле-Гро-дю-Руа.

То был рыбацкий порт с двумя маяками, молами, тишиной, дремлющими барками и рыбаками в оранжевых брезентовых робах.

Мы прожили в Ле-Гро-дю-Руа два дня — два безмятежных дня среди ступа деревянных сабо, слабого пения худеньких девочек, баюкавших кукол на пороге домов, среди простонародных кафе и как бы поминутно засыпающего звона пустой церкви.

Узкая лагуна перерезала город и уходила вдаль, в песчаную низменность, где в пятнадцати километрах от берега на краю лагуны стоял третий загадочный город — Эгморт (по-провансальски это значит «Мертвые воды»).

В Ле-Гро-дю-Руа через эту лагуна был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики.

По словам старожилов, в Ле-Гро-дю-Руа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызвало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения.

Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной («бр-р!!») Москве.

В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Ле-Гро-дю-Руа, которому посчастливилось побывать в России.

Это оказался маленький, багровый от смущенья старичок, заросший, как старый еж, белой страшной щетиной — ее, должно быть, не брала никакая бритва.

Старичок сильно смущался и только поглядывал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце «Жан Барт» и во время гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе.

В Ле-Гро-дю-Руа все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов. По ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам белые и красные, очень чистые маяки.

На рассвете рыбацки барки уходили в море, а возвращались в полдень. Две-три гостиницы — приют летних туристов — были закрыты на зиму.

Одну из них специально открыли для нас, четырех человек, протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили два дня, питаясь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни.

И наконец последний городок — Эгморт.

Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое сильное отступление от хронологии и от прямой темы предыдущих глав. Единственным ненадежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим (так ему казалось) хорошее настроение у читателя.

Я сильно в этом сомневаюсь, но материал очень часто берет пишущих в плен, и избавиться от давления материала можно, только записав его.

В средние века король Людовик Святой выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря к этому замку, могли подходить морские корабли.

Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название «Мертвые воды» из-за неподвижных вод лагуны.

Мы подъехали к Эгморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стен и башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножья шелестела сухая трава.

Вокруг не было видно ни души — ни человека, ни лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым.

Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад, лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту, и вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию. В стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря.

Потом через узкие ворота мы въехали внутрь и были ошеломлены — в крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой.

Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены.

Алым пламенем перебежала реклама маленького кинотеатра: «Самый длинный день мира».

Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам.

Мы зашли в маленький темный магазин. Там было пусто, но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго лобренькивал, что наконец из задней комнаты вышел, не торопясь, с салфеткой в руке молодой краснощекий француз — владелец магазина.

Узнав, что мы русские, он всплеснул руками, с отчаянным воплем: «Франсуаза! Франсуаза!» — бросился назад, в недра магазина, и извлек оттуда миловидную молодую женщину — свою жену, чтобы познакомить ее с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала. Бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук.

Потом в свою очередь она привела свою девочку трех лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привел согнутую пополам старушку с клюкой — свою престарелую мать, и прокричал ей на ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей.

Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы.

Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие и чудом спасенные родственники.

Тотчас появилось вино, кофе, всякие пирожные — «патиссерии», а в

дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек.

Они, эти мальчишки, первыми дали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарга.

Но не бывает, должно быть, добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть, и совсем потерял адрес Имара и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет.

Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах и прежде всего — в рассеянности.

Мы все были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что на обратном пути мы заедем в Марсель.

Мсье Морис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия многих городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым.

Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки, и они послужат для меня некоторым оправданием.

О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в сто раз Одессу и к тому же во сто крат более шумную, блестящую, разноязычную и анекдотическую — и вы получите Марсель.

### Обертка от голландского сыра

История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь.

Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я пил чай преимущественно (из-за собственной лени) чаем с сыром и колбасой.

Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк с ощеренной мордой.

Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие и носили белые халаты поверх пальто. Халаты на них лоснились и трещали.

Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты.

По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем.

Некоторые из нас любили в детстве (и любят до сих пор) придумывать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда девственных и пустынных.

В эти карты, должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых же лет жизни стремились его помыслы.

И вот обрывок карты такой заповедной страны — и не выдуманной, а действительно существующей, — лежал передо мной.

Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже стоялые дворы — все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь.

Обрывок карты относился к Мещерским лесам.

В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменялась, окрепла, приобрела новую ценность — впервые я узнал как следует срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей до тех пор почти неизвестной, но коренной родине ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был — в Калабрии или в Туркменистане, на сырой Балтике или в Альпах.

Для родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости.

После Мещеры я начал писать по-другому — проще, сдержаннее, стал избегать броских вещей и понял силу и поэзию самых неприятельных душ и самых как будто невзрачных вещей — к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля.

И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни — карта Кара-Бугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой. Но и только. На дальнейшей моей жизни Кара-Бугаз не оставил сколько-нибудь явных следов.

### Испытание пустыней

Наконец я достал немного денег на поездку в Кара-Бугаз. «Конотоп» благословил меня, я с трудом взял отпуск в РОСТА и поздней весной уехал на Каспий. До отъезда я много времени просиживал в Ленинской библиотеке и читал без особого разбора все, что относилось к закаспийской пустыне и Каспийскому морю.

Я решил ехать поездом до Саратова, а оттуда на пароходе до Астрахани.

Журнал «Наши достижения» заказал мне два очерка — о Калмыкии и об Эмбенских нефтяных промыслах. Поэтому из Астрахани я должен был проехать в город Элисту — столицу Калмыцкой республики, оттуда вернуться в Астрахань, потом на пароходе ехать в город Гурьев на Урале, где было управление Эмбанефти, оттуда опять вернуться в Астрахань и после этого уже двигаться дальше (тоже на пароходе) — в Мангышлак и Красноводск.

Из Красноводска любыми способами надо было добираться через пустыню в Кара-Бугаз.

Впервые в жизни я ехал «за материалом» для книги. Я был тогда еще настолько наивным писателем, что это обстоятельство наполняло меня даже некоторой гордостью. Но очень скоро я понял, что никогда не следует нарочито искать материал и вести себя, как сторонний наблюдатель, а нужно и в пути, и во всех местах, куда ты попадаешь, просто жить, не стараясь обязательно все запомнить.

Только в этом случае ты остаешься самим собой и впечатления войдут в тебя непосредственно, свободно и без всякой предварительной их оценки, без постоянной мысли о том, что может пригодиться для книги, а что не может, что важно и что неважно. Потом память безошибочно отберет все, что нужно.

До Саратова поезд шел очень медленно через среднерусские поля и овраги.

В Саратове я прожил два дня на окраине города в береговой слободке. Там над всеми домами торчали нарядные голубятни и гучи голубей весь день кружились сизыми хлопьями над дворами.

Потом старый пароход «1812 год» отвалил в Астрахань. В моей каюте висел портрет фельдмаршала Кутузова.

Нижняя Волга была явным преддверием пустыни — тянулись мимо глинистые берега, желтая вода в пятнах мазута, охряное мгlistое небо.

Было голодно. В пароходном буфете давали только тощую селедку и жидкий чай с маленьким куском черствого черного хлеба.

В поезде и особенно на пароходе я впервые столкнулся с поразившим меня упорным и как будто беспорядочным движением множества людей. Казалось, вся крестьянская Россия снялась с насиженных мест и движется в поездах и на палубах пароходов куда попало, надеясь осесть наугад в каких-нибудь более спокойных и сытых местах.

Палуба была завалена молчаливыми этими людьми и их заношенным скарбом. Почти все везли мешки с картошкой и черными сухарями.

Женщины весь день стирали серое белье и пеленки, заходились, пуская пузыри, грудные дети, старики и старухи пели вполголоса молитву: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!»

Под эти заунывные и мрачные песнопения пароход уходил все дальше к югу. Там с рассвета до вечера висела над горизонтом бурая мгла. Песчаная пыль оседала на всем. В каюте пахло пылью. Песок трещал на зубах.

На сожженных берегах появились первые верблюды. Шерсть после голодной зимы слезала с них большими кусками, и лиловые плечи на худых боках были хорошо видны даже с палубы парохода.

Верблюды бесстрастно смотрели вслед пароходу и непрерывно жевали, должно быть, колючки или полынь. Из рта у них тянулись длинные и вязкие нити зеленой слюны.

Я вспомнил слова Ильфа о том, что путешествия требуют психической выносливости. Ильф был, конечно, прав.

Селедочная, сухая Астрахань открылась вдали в тяжелом мареве и запахе лежалой рыбы. Мареве это не уносили даже порывистые знойные ветры, задувавшие с востока, с так называемой Бухарской стороны.

В Астрахани меня приютил молодой астраханский писатель и журналист. Жил он на Варвациевом канале, в зеленом маленьком доме с крошечным тенистым садом.

Этот сад, где молодая и болезненная жена этого писателя развела много цветов, особенно настурций, показался мне раем. Цветы пахли прохладой. У писателя недавно умер маленький восьмимесячный сын. Молодая женщина тосковала и часто плакала, запершись у себя в комнате, а муж ее до позднего вечера просиживал в редакции.

Я тоскливо ждал okazji, чтобы уехать в калмыцкие степи, в город Элисту. Okazии все не было, и я бродил по городу и по берегам Варвациева канала. Мутный и пустынный этот канал казался мне выцветшим сновидением.

Единственным оазисом в городе была всегда безлюдная и прохладная картинная галерея. Я часто ходил туда, смотрел картины Нестерова, Сарьяна, Кустодиева — уроженца Астрахани, и удивлялся тому, как эти картины сюда попали и кому они здесь нужны. За все время я встретил в галерее всего несколько человек.

Мне не верилось, что около Астрахани родился и вырос Велемир Хлебников.

Наконец я уехал в калмыцкие степи. Они цвели по весне морями темных трав. Утром сотни жаворонков вырывались, трепеща крыльями, из этих трав и разбрызгивали росу. Она сверкала на солнце, и казалось, что какой-то страннный дождь как бы подымался над самой поверхностью земли и висел над ней, а выше него воздух был чист и прозрачен.

Грузовик мчался, виляя, около надменных беркутов, сидевших по обочинам широкой дороги. Ни один беркут не шевельнулся, хотя машина проскакивала около них почти вплотную. Беркуты даже не давали себе труда повернуть голову, чтобы посмотреть на нас и на гремящее и пыльное сооружение, где мы жестоко тряслись в кузове, стиснутые грузом железных кроватей и бочек соленой рыбы.

Самым наглым из беркутов шофер, проносясь мимо, грозил кулаком, но это не производило на них впечатления.

Меня удивляло это бесстрашие беркутов. Мой попутчик — старый землемер, знаток этих степей — объяснил мне, что беркуты любят сидеть по обочинам дорог по той простой причине, что машины спугивают светлых сусликов и тушканчиков. Суслики начинают бестолково метаться по дороге, и беркуты лениво и безошибочно ловят их. Оказывается, машина, как гончая собака для охотников, спугивала для беркутов дичь.

Мы если на грузовик не в Астрахани, а на правом берегу Волги — в сухом и сером поселке Калмыцкий Базар.

Перед отъездом начальник автомобильной станции записал всех нас, пассажиров, в подорожную книгу.

Он вписал в нее наши домашние адреса и адреса наших ближайших родственников.

Я расписался в этой истрепанной книге, как, должно быть, расписывались в ней путники в начале девятнадцатого века.

— Мало ли что может случиться в степи, — сказал начальник автостанции. — У нас тут бывает иногда неспокойно. Вы в первый раз здесь едете?

— Да.

— Тогда следите за водителем и делайте все так, как делает он. Не пейте воду из тех колодцев, из каких он не станет пить. Не заходите в те юрты, куда он не будет заходить. Водитель опытный. А то схватите или трахому, или еще что-нибудь почище.

Мне эти предосторожности казались чрезмерными, но вскоре я понял, что начальник автостанции был прав. Понял я это, когда мы остановились на минуту и к машине подошли несколько старых калмыков с кровавыми от трахомы глазами. Вместо век у них краснело обнаженное мясо.

Старик присел около машины на корточки и долго и одобрительно похлопывал ладонями по горячим, пыльным покрышкам грузовика. Они восхитались машиной и считали ее, очевидно, чем-то священным.

На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок.

Потом я видел эти ожерелья из баранок у многих калмыков. По числу баранок можно было судить о достатке калмыка: чем больше баранок он носил на себе, тем был состоятельнее и тем вышемерно он себя держал.

Юрты попадались редко.

Мы обгоняли караваны неправдоподобно худых верблюдов. Они тащили на себе новые телеграфные столбы. Их привязывали к спинам верблюдов крест-накрест.

К полудню начались миражи. Вся степь заливалось от колес машины до самого горизонта тусклой непрозрачной водой. Было похоже, что мы несемся по огромной, устрашающей своими размерами луже. Над ней торчали, как вершины затопленных деревьев, стебли репейника.

Удивительнее всего было то, что эта сухая и сероватая вода начиналась в двух-трех метрах от машины, но шофер не сбавлял скорости, и вода все время убегала от машины с той же скоростью, с какой машина приближалась к ней.

Вода как бы сливалась с нашего пути. Это зрелище было утомительным и бросало в сон.

— Это мираж? — спросил я шофера.

Он с недоумением посмотрел на меня. Оказывается, он не знал слова «мираж».

— Да нет! — ответил он. — Просто степь показывает. Это еще что! А то иной раз она даже покажет море и целый лес на его берегу.

По пути к Элисте встретился только один саманный поселок. Мы объехали его по окраине.

Поселок перегревался на солнце. От него даже на расстоянии дышало мертвым жаром. Из трещин в стенах торчал окаменелый верблюжий навоз. Желтые калмыцкие борзые не гнались за машиной, а, наоборот, поджав хвосты, трусливо прятались по дворам. Дети со страхом смотрели на наш пыливший до неба грузовик. Кое-где в балках сочилась купоросная гниlostная вода.

Солнце светило тускло. Небо к полудню пожелтело и стало похоже на исполинский стеклянный колпак, замазанный охрой. Так в городах замазывают летом витрины, чтобы приглушить невыносимый свет.

Наконец показалась Элиста — новенькие кубические невысокие дома, разбросанные без заметного порядка по степному взгорью, как отара белых овец.

В Элисте я узнал, что сейчас главные усилия власти направлены на борьбу с болезнями, издавна губившими калмыцкий народ.

Медицинские отряды работали по аулам, скоплениям юрт и поселкам. Прежде чем лечить болезни, надо было отучить калмыков от колдовства и диких способов лечения. Так, например, от трахомы калмыки крепко натирали больные кровотокающие веки сахарным песком, а от туберкулеза прижигали кожу на спине тлеющим войлоком.

Туберкулезом болели главным образом женщины из-за национальной женской одежды — казакина. Он туго, как железными обручами, стискивал женскую грудь с самых юных лет и не давал ей развиваться.

Кроме того, женщины носили на голове тяжелые шльки, целые сооружения, и от этого у них часто развивался туберкулез шейных позвонков.

Незадолго до моего приезда в Калмыкию постановлением правительства женщинам было запрещено носить казакины и шльки.

На обратном пути в Астрахань мы заночевали в степи, и я видел один из тех необыкновенных вечеров, которые бывают только в степных раздольях.

Ветер стих. Воздух сделался прозрачным до предела. Трава остыла от дневной жары и выдыхала прохладу.

Упала крупная роса. Крик перепелов равномерно и непрерывно обегал по кругу всю степь. Пахло мятой.

Шофер сказал мне, что за ближайшим увалом есть пресное озеро. Я спустился к нему, путаясь в высокой траве. Дружно чавкала в камыше рыба.

Садилось солнце, и казалось, последняя тишина опустилась на землю и я больше никогда не услышу ни человеческого голоса, ни гудка машины, ни рокота мотора.

В этом безмолвии ощущалось некоторое величие, будто вселенная отдыхала, встречая ночь, осторожно подхлывшую с лилового востока.

Солнце садилось, но явно медлило. Может быть, оно хотело увидеть тончайшую световую нить, что непременно протянется от всегда неведомой первой звезды до поверхности озера.



Темнота упала как-то сразу. Всю ночь я ворочался и не спал, взволнованный медленным течением степной ночи. Оно становилось заметным по перемене звездных сочетаний над головой. Созвездия плыли, едва вращаясь, вокруг невидимой оси мироздания.

Северные, низменные берега Каспийского моря и самое взморье — очень мелкое в тех местах — заросли широкой полосой тростника — чагана.

Твердые черные его соцветия были похожи на маленькие початки кукурузы или, хотя это сравнение и несколько сложно, на эбонитовые валики от пишущей машины.

Издали эти заросли чагана казались черной широкой лентой, разложенной по берегу моря. Поэтому эти места здесь и зовут «чернями».

От устья Волги до Гурьева, лежащего в самых низовьях Урала, нет ни одной пристани, ни одного убежища, куда бы пароход мог зайти во время шторма. А, как известно, на мелких местах гуляет особенно крутая волна, и потому плавание вблизи «черней» неприятно и временами опасно.

Пароход «Гелиотроп» шел от Астрахани до Гурьева больше суток. Это был очень старый, заслуженный пароход с обилием медных частей. Медные поручни, обитые медью трапы, медные приборы и, наконец, огромный медный рупор, в который капитан перекрикивался со встречными рыбацкими шаландами и «рыбницами», — все это было начищено и надраено «до чертова глаза» и просто угнетало своим медным блеском.

На палубе, как и на волжском пароходе, лежали вповалку крестьяне. Особенно много было пожилых женщин.

Говорили, что в устье Урала горят тростники и что их поджигают нарочно, чтобы уничтожить очаги несметного гнуса. Он не давал жить в тех местах ни людям, ни зверям.

По ночам как-то странно и тускло мигало небо. Эти вялые вспышки были совсем непохожи на наши зарницы или на приближение грозы. Какая могла быть гроза, если воздух на сотни километров был лишен даже признаков влаги!

В Урал «Геллотроп» вошел в сумерки. Он торопливо плыл мимо горящих тростников. Пламя трещало и перебегало вдоль берега, дым душил и разъедал глаза, и только в Гурьеве мы наконец отдышались — в этом приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цвета золы.

В Гурьеве я жил за Уралом, в новых домах, сделанных из прессованного камыша. Они ничем не отличались от обыкновенных каменных домов.

Со мной в одной комнате общежития Эмбанефти поселился бывший матрос Балтийского флота, латыш. Он приехал на Эмбу из Баку по каким-то нефтяным делам. Когда ночью подымался ветер, матрос будил меня и говорил:

— Полундра! Лучше не спите. А то этот карточный домик завалится и прищемит нас, как котят.

Из Гурьева я ездил на Эмбу со старым нефтяником инженером-полянком Яблонским. Этот тучный, насмешливый и необыкновенно спокойный старик посвятил меня в удивительные и увлекательные тайны нефтяной разведки, нефтяных (соляных) куполов и всего, что было связано с добычей нефти.

Мы жили с ним вместе в поселке Доссоре. В нашей комнате стекол в окнах вообще не было. Их заменили частой проволочной сеткой от гнуса. Когда задувал ветер с близкого Каспийского моря, из «черней»,

то гнус начинал лететь исполинскими тучами, приглушая солнечный свет.

— Что есть пустыня? — спрашивал меня Яблонский, лежа вечером на скрипучей койке и боясь пошевелиться, чтобы не стряхнуть с себя пыль — она густо оседала на нас за какие-нибудь полчаса. — Пустыня, — отвечал он самому себе, — это есть пыль. И еще раз — сплошная пыль. И гнус. И еще раз горячая и соленая пыль. И отсутствие воды. Вы пробовали выплеснуть на здешнюю землю хоть немного воды? Да? Значит, вы видели, как вместо того, чтобы всосаться в землю, она превращается в крупные капли, в шарики воды. Капли эти, похожие на ртуть, катаются и прыгают по пыли, как по горячей плите, и обрастают пылью, как шерстью. Вот так, дорогой мой! Вроде как в стихах Кипплинга об Африке. «Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог!» Дышать, конечно, нечем. Это следует откровенно признать. Поэтому не пойти ли нам на озеро, на вышки, сделать замеры и проверить выход нефти? Все равно играть в шахматы вы не умеете, а читать при свете этой белокровной лампочки — это значит вывихнуть себе глаза.

Я соглашался, и мы шли на соляное озеро, где на дамбах стояли вышки и нефтяные насосы, посапывая, качали из-под земли маслянистую, коричневую с золотым отливом эмбенскую нефть.

Мне понравилось ходить на озеро. Вода в нем — густая и соленая — пахла крепчайшим йодом. В неярком свете фонарей, редко расставленных по дамбе, была видна осевшая на сваях розовыми кристаллами крупная соль.

Кроме йода, озерная вода пахла нефтью. Запах этот вызывал обманчивое впечатление некоторой ночной прохлады.

На самом же деле ночь была насыщена мельчайшей и теплой пылевой пудрой, и, может быть, от этой пыли свет фонарей приобретал душный жемчужный оттенок.

— Все, что вы видите здесь, — говорил мне Яблонский, — ничем не отличается от нефтяных промыслов в Маракаибской лагуне в южно-американской республике Венесуэле. Условия зарождения и залегания нефти и там и на Эмбе одни и те же. Поэтому туда нас, инженеров-нефтяников, и посылают на практику. В связи с этим оставьте ваши мечты о Венесуэле. Ничего лучшего, чем здесь, вы и там не увидите.

— Я никогда не мечтал о Венесуэле.

— Напрасно! — говорил Яблонский. — Мечтать нужно всегда и обо всем. Но не бесплодно, конечно. Например, я приветствую все мечты об освоении пустыни. Особенно когда они приобретают реальные формы, как сейчас у нас на Каспии — на Эмбе, на Мангышлаке и в Кара-Бугазе. В некоторых случаях нельзя природу предоставлять самой себе. Надо ею руководить для человеческого блага, но, конечно, не вмешиваясь в ее основные законы. Счастье людей почти не зависит от хода цивилизации. Счастье — категория вечная. Петрарка не был менее счастлив оттого, что не слышал голос Лауры, записанный на пленку. Цивилизация только тогда даст свои великолепнейшие плоды, когда народы — только сами народы и никто больше — будут хозяевами жизни и распорядителями своей судьбы.

В Доссоре, сидя на бревнах на дамбе и вдыхая душную тьму закаспийской ночи, мы говорили о покорении пустынь. Потом у себя в комнате я читал допоздна затренанную книгу стихов незнакомого мне тогда поэта Липскерова «Песок и розы». Кто-то из постоянно менявшихся жильцов комнаты забыл эту книгу в ящике стола и уехал.

Я читал медленно, повторяя и скандируя про себя строки его стихов о Средней Азии и Самарканде:

На земле нету места грозней твоего Регистана!  
 На земле нету места его голубей и нежней!  
 Возле синих преддверий читают стихи из Корана,  
 Винограды лежат под копытами мирных коней...

Яблонский крепко спал, скрестив на груди руки. Тишина ночной пустыни тонко пела в ушах. Только по временам было слышно, как на озере сопели бессонные насосы, откачивая из безжизненных недр земли липкую нефть.

Все дальнейшее путешествие по Каспию описано мною в книге «Кара-Бугаз» и в нескольких очерках.

Вся беда книг такого рода, как эта (я говорю о «Книге скитаний»), то есть автобиографий, заключается в том, что в них почти невозможно избежать повторений.

Объясняется это тем, что почти все вещи, созданные писателями, в значительной степени автобиографичны.

Правильно, но несколько грубо сказал мне по этому поводу писатель Александр Георгиевич Малышкин:

— Я рассказывал всю свою жизнь по разным рассказам и романам. И ничего даже не оставил себе, чтобы рассказать при случае любимой женщине или друзьям. Ужасно глупо! Как у Блока, помните? «Жизнь давно сожжена и рассказана, только первая снится любовь».

Поэтому я не буду повторять то, что читатель может прочесть в «Кара-Бугазе» или в очерках «Соляные купола» и «Великая Эмба».

Мне хочется вспомнить только слова, написанные мною тогда: «Я решил писать не только о том, что в пустынях лежат колоссальные богатства, которые необходимо взять и освоить... Страна, а тем более СССР, не может иметь пустынь». Это стало темой книги.

Если кто-либо из читателей задумает сравнить «Кара-Бугаз» и эти очерки с теперешними моими воспоминаниями, то пусть его не удивляет некоторая несхожесть их друг с другом.

Объясняется это, очевидно, тем, что тогда я был молод и многоречив, а сейчас с возрастом стал, если можно так выразиться, молчаливее в своей прозе.

И, кроме того, теперешнее время бросило свой отблеск на прошлое, и прошлое предстало в новом виде — иные краски померкли, а иные сгустились. Поэтому о поездке в Кара-Бугаз я ограничусь здесь самым коротким отчетом.

Из Гурьева я вернулся в Астрахань, а оттуда на гаком же престарелом пароходе, как «Гелиотроп» (название его я забыл), поплыл в Мангышлак и Красноводск.

На этом пароходе были мачты, оснащенные, как в старину, вантами. Пароход был тесен. Тепло от машины проникало во все его помещения так же, как и запах шашлыка из камбуза.

Море было тихое, светлое.

Крестьян на палубе уже не было, но весь день там пили кахетинское вино какие-то шумные и толстые люди. Они везли в Красноводск сто мешков с картошкой и ни за что не хотели продать хоть немного этой картошки пассажирам и команде.

Кончилось это тем, что перед Мангышлаком кто-то ночью распорол ножом несколько мешков с картошкой, и она, торопливо булькая, посыпалась в море под яростные вопли проснувшихся мешочников.

Я ждал кровопролития, но хозяева мешков неожиданно успокоились и начали зашивать суровыми нитками разрезанные мешки.

Мангышлак на первый взгляд был классическим пеклом. Единственное, что мирило с этим спекшимся от жары голым местом, было воспоминание о Тарасе Шевченко. Здесь он томился в каторжном батальоне и здесь он не потерял ни крупницы своего таланта, доброты и своей любви к Украине. Это казалось чудом, но это было так.

Дальше к югу мы шли вдоль берегов таких безлюдных и однообразных, что все невольно отводили от них глаза.

Куполом из неясных испарений прошел по горизонту Кара-Бугаз, а потом за черными зубцами скал Уфра открылся Красноводск — пасть огнедышащего дракона, жерло испепеленной Азии с ее гипсовой землей и воздухом, густым и вязким, как глицерин.

Все, что было дальше,— иной раз в несколько сгущенном, иной в неприкрашенном, а в иной раз и в несколько более угрюмом, чем в действительности, виде вошло в книгу «Кара-Бугаз».

Но единственное, на что у меня не поднялась рука, чтобы хотя немного расцветить и украсить свою прозу,— это на людей и события. Их я писал по мере сил точно и просто. Но я, как говорится, «отыгрался» на пейзаже. И не моя вина или заслуга, что я его видел до мелочей таким же, каким написал.

Единственное, о чем нет ни слова в книге,— это о страшной, временами совершенно невыносимой тоске по Средней России.

Воздух обжигал мне легкие, жара давила на мозг, солоноватая вода обдирала горло. Чудесная, как воздух после дождя, свежесть, помогавшая думать там, на севере, сменилась тугой, саднящей болью. Кровь как бы с натугой продиралась в сжатых мозговых сосудах и вот-вот могла остановиться.

В Красноводске по утрам, когда можно было еще двигаться, я ходил на вокзал, на станцию и с тоской смотрел на раскаленные товарные вагоны. Они были единственной, как мне казалось, реальной связью с Россией.

Я сидел в тени, смотрел на вагоны, как маньяк, и слушал сухой треск винтовочных выстрелов. Треск долетал из Гипсового ущелья, куда вплотную подошли банды басмачей под командой знаменитого Джунaid-хана.

Наши части вели бои с басмачами. Пули, по словам бойцов, упав на взлете на землю, долго не остывали. Бой был короткий. Басмачи ушли в Персию, и снова безмолвие вернулось на наши берега.

И все вокруг казалось таким загустевшим от жары, что удивлял даже прибой,— было непонятно, как эта тяжелая морская вода могла собраться с силами и подняться, чтобы с шумом и изнеможением набежать на жаркий берег и, прошумев, отхлынуть назад.

### История с географией

Однажды писатель Семен Григорьевич Гехт сказал мне, что у меня все романы и рассказы — сплошные истории с географией. Я сгоряча не понял, хорошо это или плохо. Но вскоре успокоился, решив, что Гехт прав и ничего страшного в этом нет.

Я никогда не мог писать о людях вне обстановки, вне географических координат, вне пейзажа и самых простых явлений природы. Я не мог отделить человека от окружающей его разнообразной действительности, иначе этот человек тотчас умирает.

Я всегда удивлялся писателям, равнодушным к внешней обстановке, которая окружала их героев. Люди, вырванные из обстановки, казались мне ходячими схемами, наделенными одной редкой способностью,— они

умели действовать и говорить вне малейшей зависимости от времен года, дождя или ветра, цветения садов или шторма у морских берегов — вне зависимости от множества важных явлений, но как бы не имеющих цены для их внутренней жизни.

Мне всегда казалось, что такие литературные герои не живые люди, а подопытные существа для писателей и драматургов, взятые этими последними для производства над ними жестоких экспериментов.

Что скрывать — даже Достоевский грешил этим. Он нарочито ставил людей в мучительные положения, придуманные в тиши сумрачного и темного кабинета. О событиях этих он писал с газетной обнаженностью. Природы почти нет в его романах.

Рассказ, а иной раз и роман, построенный почти исключительно на диалоге, заставляет многих читателей просто задыхаться.

После этого вынужденного объяснения я спокойно могу поставить в начале этой главы заголовок «История с географией», потому что так оно и есть. Прошу только читателей не очень бранить меня, если в этой главе будет больше географии, чем истории.

«Кара-Бугаз» я писал урывками — то в Москве, то в Березниках на Северном Урале, то в Ливнах.

В Москве я писал в темном чулане при электрической лампочке. Этот душный чулан был единственным тихим местом в крикливой коммунальной квартире.

Потом РОСТА послало меня своим корреспондентом на строительство огромного химического комбината в Березниках на Каме.

Против Березников на противоположном берегу Камы вяло курился полярным дымом древний город Усолье — бывшая столица Строганова, некоронованного уральского царя.

В Усолье Строганов отливал и чеканил собственные деньги.

В городе сохранились высокие бревенчатые башни — соляные варницы. В них некогда выпаривали здешнюю соль.

Варницы почернели от времени. Стены их блестели, как антрацит. Огни строительства отражались в этих стенах в течение всей долгой полярной ночи.

Варницы были похожи на хмурых строгановских соглядатаев, оставленных здесь для надзора за новыми непрошеными хозяевами этой сумрачной земли. Соглядатаи стояли, надвинув на глаза тяжелые шапки — темные крыши, — и неодобрительно молчали.

На строительстве работали заключенные.

Строительство показалось мне преувеличенно огромным. Состояло оно из разных заводов — сернокислотного, каустического и нескольких других, из тепловой электроцентрали и целого государства больших разноцветных труб.

Стояла длинная северная ночь. Первое время я долго блуждал в темноте среди котлованов, навала кирпичей, цементных плит, подъездных путей, железной арматуры для бетона, гигантских станин, ферм, недостроенных зданий, тепляков и экскаваторов.

Я с трудом находил дорогу к маленькой гостинице, оставшейся здесь со времен старого содового завода.

Гостиница эта была хотя и теплым, но ненадежным приютом. В каждой комнате помещалось по десять — двенадцать человек. Ночи напролет мы, трезвые, не спали из-за пьяных драк и скандалов.

Особенно изводил нас бывший актер, а ныне бухгалтер — старик весь в седых игривых кудряшках, как некий спившийся купидон. Каждую ночь, ввалившись в комнату, он начинал швырять пустыми бутылками в

электрическую лампочку под потолком и не успокаивался, пока ее не разбивал.

При малейшей попытке усюветить его он приходил в неистовую ярость и начинал бросать изо всей силы бутылками в своих соседей по комнате. А утром, чуть протрезвившись, садился к дощатому, заваленному объедками столу и, обхватив голову руками, пел, захлебываясь от слез:

Не говори, что молодость сгубила,  
Что ревностью истерзана моей!  
Не говори,— близка моя могила,  
А ты цветка весеннего свежей...

Одна из комнат гостиницы называлась «изолятором». В нее помещали только непьющих.

В «изоляторе» никогда не было свободных коек. Но мне повезло — директор гостиницы без особых моих просьб втиснул меня в «изолятор».

— Подальше от греха,— сказал он.— Тут вас еще искалечат, а мне за вас отвечать. Вы ведь московский корреспондент.

В «изоляторе» я наконец вздохнул спокойно и смог отоспаться.

Соседом моим по койке был милейший человек — ссыльный химик, кажется, приват-доцент. Он много беседовал со мной о поэзии, о стихах Маяковского и рассказах Алексея Толстого, был деликатен, тих, рассудителен и сильно тосковал по жене и маленькому сыну. Тоску свою он всячески старался скрыть от меня.

Однажды ночью я проснулся от стеклянного звука и открыл глаза.

Химик тихо доставал из тумбочки около койки бутылку водки. Очень осторожно он налил полный стакан и одним духом выпил его. Потом тут же налил второй стакан и так же бесшумно выпил.

Я притворился спящим. Химик несколько минут полежал тихо, потом быстро сел на койке и пронзительно закричал:

— Изверги! Собственным языком удавлюсь! Будьте вы прокляты, собаки!

Через час его увезли в больницу. Он долго сопротивлялся, и санитары его связали.

Второй мой сосед — старый морщинистый техник с военной выправкой — сказал мне с укором:

— Какого лешего вы приперлись сюда? Подумаешь, какой любитель сильных ощущений! Сматывайтесь лучше в Москву.

Но несмотря на эту безрадостную обстановку, я встретил в Березниках много людей, преданных своему делу с таким же фанатизмом, какой я до тех пор встречал чаще всего среди художников. Работали в Березниках, как я уже говорил, ссыльные. Но ссылка ссылкой, а работа работой. Ссылное их состояние никак не отражалось на самоотверженности их работы.

Впервые, по словам химиков, они монтировали новейшие невиданные машины и установки. О них раньше они только мечтали или могли читать в заграничных научных и технических журналах.

Действительно, многое поражало непосвященных людей и казалось просто чудом.

Чаще всего я приходил на электростанцию — на теплоэлектроцентр, где гудели от страшного давления пара и чуть вибрировали на буферах английские паровые котлы Бабкок-Вилькокса высотой в трехэтажные дома.

Вскоре я более или менее узнал все строительство, все его заводы и цеха, подымался на крышах газгольдеров, отравлялся окисями азота, ездил на паровозах-кукушках и тягачах и всегда носил с собой противогаз.

При малейшем незнакомом запахе, сочившемся неведомо откуда, надо было тотчас надевать противогаз, чтобы не задохнуться.

Вся эта жизнь на строительстве происходила во мраке северной ночи.

Стоял декабрь — самый темный месяц на Севере.

Вначале эта долгая ночь мне нравилась. Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на разных языках (среди строителей комбината было много английских и немецких специалистов, выписанных из-за границы), свистели полозья саней, изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег.

Иногда красноватым и неприятным заревом горели непрочные и ускользающие северные сияния. Местные жители звали их сплохами и всплохами. Это последнее слово очень подходило к этим всполошенным, беспорядочно пульсирующим огням.

А за рубежом строительства ночь лежала так тяжело и беспробудно, что напоминала огромного зверя, который завалился на зимнюю спячку по диким увалам, буреломным лесам, по откосам гор. Там, как черные пагоды, стояли уральские гигантские ели и в звездные ночи дотрагивались своими вершинами до звезд.

Но звездное небо в ту зиму редко открывалось над строительством: слишком много на земле было чада и дыма всех цветов и оттенков — от канареечно-желтого «лисьего хвоста» до фиолетовых, бурых, красных, белых и иссиня-черных дымов над другими цехами. Небо всегда было в дыму.

Настоящий Урал я увидел, когда поехал на несколько дней в Соликамск, где в то время уже работали калийные копи.

То крутые, то пологие подъемы гор увязали в таком девственном снегу, что казалось, он выпал только этой ночью. На самом же деле снег лежал здесь уже долго, не меньше трех месяцев.

Нижние лапы елей застревали в тяжелом снегу. Милые зайчьи следы скакали повсюду, но только до полотна железной дороги. Там они круто поворачивали обратно — зайцы почему-то боялись перебежать через рельсы.

Чистое, но чуть затуманенное небо зеленело у края земли. Там, в сторону от железной дороги, лежали земли, до сих пор (во всяком случае для многих и в том числе для меня) совсем неведомые. Туда, в мгlistые дали, уходила древняя Биармия — страна неюта и грубого богатства, рудного и хвойного, суровых людей, враждовавших с природой, отпетых и забубенных государевых ямщиков, золотоискателей, раскатывавших перед собой ковры по непролазной осенней грязи, страна шалых обогащений и нищих изб, где по ночам не затихал ровный шорох от полчищ рыжих тараканов.

Она была богата, эта страна, и потому считалась счастливой. В «Биармии далекой» находили много драгоценных камней. Здешний изумруд был чист и темен, как темен зеленый покров бесконечных, пугающих своей обширностью хвойных лесов. Резкий терпентинный запах этих лесов проникал далеко за Пермь, за Вятку и Кострому, доходил до древней царицы Москвы, пугал заморских купцов, казался им запахом медвежьим, устрашающим и горьким, как русская болотная ягода клюква.

Я думал об этом, глядя в окно расшатанного холодного вагона, тащившегося вслед за чумазым паровозом из Березников в Соликамск. Я знал, что здесь происходило действие некоторых рассказов Мамина-Сибиряка и, насколько я знаю, действие повести Бориса Пастернака «Детство Люверс».

Должно быть, только в России бывает так, что один и тот же источник мыслей и чувств (в данном случае Северный Урал) вдохновляет двух таких несхожих писателей. Но у них есть и нечто общее — острое ощущение России с ее утренниками, от которых сводит челюсти, и непрерывным холодным лепетом листвы лиственных лесов.

Соликамск. Бешеная гонка мохнатых троек от маленького вокзала до сурового городка, красные валенки ямщиков, пронзительный свист, бой ошалелых бубенцов под расписными дугами — «знай наших, держись крепче, не робей на крутых бросках», — где санни раскатывает и заносит так, что падает сердце.

На улицы Соликамска мы влетели уже ночью. Помчались мимо одинокие и яркие электрические фонари, низкие каменные дома, похожие на лабазы, белые алебастровые соборы, чугунные доски, висевшие на низких столбах на перекрестках улиц. В эти доски сторожа в тулупах мерно отбивали ночные часы.

Монастырское подворье, превращенное в гостиницу, сводчатые коридоры, пропахшие вековым деревянным маслом, холодноватая келья — там мне отвели койку. На соседних койках спали в полутьме две девушки — практикантки из Ленинграда.

Обе они показались мне красавицами, очевидно, потому, что у них обеих разметались по подушкам золотые косы (в то время почти все молодые женщины уже стриглись под мальчишек, и поэтому эти косы показались мне особенно трогательными).

Я тихо лег, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представлялись мне, хотя я их и не видел, очень родными, как мои младшие сестры.

Сторожа били на перекрестках. Ночь лила в окна слабый таинственный свет. И я благословлял эту кромешную ночь в этой немислимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания — мне все чудилось, что я слышу его едва заметный ветерок на своем лице, — за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный, задумчивый сон.

Утром, когда я проснулся, девушек уже не было.

Я уехал на калийные копи, спустился в очень глубокие штреки, вырубленные в толще прозрачных сверкающих топазов и аметистов (таков был цвет калийных солей — карналлита и сильвинита), видел слепых подземных лошадей, покорно таскавших вагонетки с породой. В иных местах меня чуть не сбивало с ног подземными сквозняками.

Я долго бродил по широким и пустынным штольням, как по сказочным дворцовым помещениям, переливавшим на своих стенах множество звездчатых золотых и кроваво-винных огней.

Нарядность этих подземных галерей, их чистота и блеск, свежий воздух, дувший из невидимых труб, — все это делало их действительно похожими на дворцовые переходы.

Они вели, естественно, в нарядные балльные залы. Ничего бы не было странного, если бы я услышал в их глубине приглушенные звуки оркестра, женский смех, треск закрываемых вееров и легкий стук тупфелек Золушки, убегающей из этого пышного дворца.



Я взял с собой на поверхность несколько больших кристаллов карналита и сильвинита, но у меня в гостиничной келье они за полчаса растаяли, как сахар, и превратились в цветную мутную воду.

Мне не хотелось уезжать из Соликамска. Мне очень нравился этот суровый город. Я надеялся встретить еще хоть раз ленинградских девушек, но сторож при гостинице — суетливый и косноязычный монах — сказал мне, что они уехали дальше на север, в Чердынь.

Я переночевал еще одну ночь в келье, где от девушек остался только слабый запах «Красной Москвы», а ночью меня разбудил новый постоялец. Он стаскивал сапоги лежа, зацепив их за железную спинку кровати, кряхтел и сотрясал всю комнату. Мне захотелось вышвырнуть его вон.

Утром я уехал в Березники. Необъяснимая грусть преследовала меня потом несколько дней. До сих пор воспоминание о Соликамске вызывает у меня легкую печаль.

В Березниках я ходил по вечерам в редакцию маленькой газеты, выпускавшейся на строительстве, и писал там «Кара-Бугаз».

Редакция помещалась в старом пустом бараке, в каморке за дощатой перегородкой. Я запирался на огромный железный крюк и чувствовал себя в безопасности.

Ранней весной я вернулся в Москву, написал заказанные мне «Рабочей газетой» очерки о березниковском строительстве (они потом вышли отдельной маленькой книгой под названием «Великан на Каме») и тотчас уехал к Шацким в Ливны, чтобы окончить там «Кара-Бугаз».

В Ливнах все было по-старому и потому особенно мило. Сначала я поселился на окраине городка, снял комнату в большом деревянном доме. Весь дом от ходьбы шатался и скрипел и с минуты на минуту мог обвалиться. Кроме того, в нем происходили разные печальные события (о них я писал в «Золотой розе»). Поэтому Нина Дмитриевна перетащила меня к себе.

Снова нежная весна, как год назад, робко раскрывала почки, как маленькие и чуть липкие детские губы, а солнце просвечивало насквозь через цветы яблонь. На свету они казались розоватыми и хрустящими, как облатки. Но это время тоже описано мною в «Золотой розе», а все, что связано с «Кара-Бугазом», — в одноименной книге.

Если собрать воедино все дни, потраченные мною на написание «Кара-Бугаза», то в общем получится, что написал я его быстро — за три месяца. Издало его детское издательство. Редактором был бывший балтийский моряк-эстонец Генрих Эйхлер. Его хорошо помнят все так называемые «детские писатели» старшего поколения. Он всем им сделал много добра. В начале войны он был сослан под Караганду и там вскоре умер. Сослали его потому, что кто-то донес, будто он не эстонец, а немец.

Первым откликнулся на «Кара-Бугаз» Сергей Третьяков. Он прислал мне в подарок свою книгу с надписью: «Мирабилиту русской литературы». Мирабилитом называлась крепкая соль, оседавшая в карабугазском заливе.

Я испугался. Я вообще с некоторым почтительным страхом, как мальчик к взрослому, относился к решительному и всегда знающему что делать Третьякову. А тут еще начались какие-то читательские конференции по «Кара-Бугазу», и я, бросив все, сбежал в Мещерские леса, в Солотчу. Я был свободен — после поездки в Березники я совсем ушел из РОСТА.

В Солотче я отсиживался вместе с Фраерманом на самых глухих старицах Оки, куда не могли проникнуть даже солотчинские мальчишки.

Мы с наслаждением жили там под тенью столетних ветел и раkit, у костров, спали на сене, пили совершенно волшебный и неслыxанно вкусный напиток — чай, вскипяченный в котелке с попавшим в него пеплом и комарами, и были счастливы.

### Пушечный завод

В Мурманске пахло мороженой картошкой и анисовой микстурой. Этот сладковатый и неприятный запах исходил, очевидно, от Баренцева моря.

Темные и тяжелые волны этого неприветливого моря отливали железным блеском. Я не завидовал тем людям, которые впервые в жизни увидели именно это море, тогда как им следовало бы увидеть Черное или хотя бы Азовское.

Люди часто несправедливы не только по отношению к себе подобным, но и к явлениям природы, в частности к морям. Азовское море принято считать лужей и болотом. Между тем оно очень теплое и рыбное, а в западной своей части отличается зеленоватой водой яркого и красивого тона. Особенно заметен этот цвет азовской воды, когда крутые волны поднимаются прозрачным гребнем, чтобы упасть на ракушечные пляжи, и сквозь воду просвечивает солнце.

Но Баренцево море ничем не радовало. От его близости лицо сводило режущим холодком, хотя уже был май и белые ночи установились под этими широтами. Но они совершенно не были похожи на белые ночи Ленинграда. Призрачность и задумчивость исчезли из них. Остался только жесткий свет — ледяной, как талая вода.

Мурманск в то время (весной 1932 года) был целиком бревенчатый, заваленный щепой и беспорядочный.

В Мурманск я попал без особой нужды. Если бы этот город не стоял на краю земли, на полярном океане, и в нем не кончалась бы железная дорога, то я мог бы сказать, что попал в него мимоходом.

Я поехал на север, в Карелию, писать историю Онежского завода. Завод этот находился в Петрозаводске, и дальше этого города мне не надо было заезжать. Но неистребимое любопытство заставило меня сначала заехать в Мурманск. И я не жалею об этом.

Я видел Баренцево море, каменные берега, заросшие такими же каменными лишаями, и тундру за Полярным кругом. Она была похожа на испанские военные кладбища после первой мировой войны. Но на них вместо крестов торчали хилые стволы берез с отломанными вершинами, вернее, гниловатые березовые шесты. Верхушки берез в тундре высыхали и отваливались сами.

Я видел огромный рыболовный флот и северные горы около озера Имандра, видел оленей, у которых было нечто общее с кроликами. И тех и других трудно считать настоящими полноценными животными, настолько они казались мне слабосильными.

Я видел кромку серого океана, остров Кильдин и свинцовое небо, разглаженное непрерывными ветрами.

Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обресть себя на постоянную жизнь в этих местах. Мне все время не хватало тепла — обыкновенного тепла от самой обыкновенной русской

печки, самого скудного уюта, который выражался бы в чашке крепкого кофе, последнем номере «Огонька» и в неподвижных гляцевитых листьях фикуса.

В конце концов, прожив в Мурманске несколько дней, я сбежал на юг, в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск.

Писать историю Онежского завода мне предложила редакция «Истории фабрик и заводов», придуманная Горьким.

Из большого списка заводов я, в силу своей несколько мальчишеской настроенности, выбрал Онежский завод в Петрозаводске потому, что завод этот был очень старый, основанный еще Петром Первым сначала как пушечный и якорный, потом как завод чугунного литья (на нем отливали ограды для петербургских набережных и садов), а в тридцатые годы он делал дорожные машины — грейдеры, что я считал делом нужным и благородным в бездорожной России.

В Петрозаводске я занялся историей этого завода. В его станках, машинах, в постройках и в самых заводских нравах существовало удивительное смешение разных времен — от Петра до начала двадцатого века.

Я много бродил по городу без всякой цели и, можно сказать, «выбродил» в Петрозаводске замысел своей книги «Судьба Шарля Лонсевилья».

Об этом я подробно писал в той же «Золотой розе». Я слишком часто ссылаюсь на эту книгу потому, что она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей «Повести о жизни».

Если бы мне было дано в будущем много свободного времени, я бы наверняка написал историю многих книг.

Дело в том, что каждая написанная книга является как бы ядром некоей отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой туманности и приобретает свой собственный свет.

Может быть, только одну сотую нашей жизни мы вводим в тесные границы наших книг, а девяносто девять сотых остаются вне книг и сохраняются только в нашей памяти бесплодным, но, несмотря на это, все же значительным и драгоценным грузом.

Бессильное сожаление о том, что мы могли бы сделать и чего мы не сделали по лености, по нашему удивительному умению убивать время, по житейским потребностям и заботам, приходит к нам, как правило, слишком поздно.

Сколько мы могли бы написать интересных вещей, если бы не тратили время на пустяки!

Как-то писатель Александр Степанович Грин решил подсчитать, сколько времени человек тратит в течение жизни на то, чтобы спрашивать «который час?». По его подсчетам, один этот вопрос отнимает у нас несколько дней. Если же собрать все ненужные и машинальные слова, какие мы произносим, то получатся целые годы.

В механике существует понятие «коэффициент полезности». Так вот, у человека этот «коэффициент полезности» ничтожен. Мы ужасаемся, когда узнаем, что паровоз выпускает на воздух без всякой пользы чуть ли не восемьдесят процентов пара, который он вырабатывает, но нас не пугает, что мы сами «выпускаем на воздух» девять десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих.

Но эти попутные мысли тоже мешают и уводят в сторону от повествования. Вернемся к нему.

Из Петрозаводска я ездил на водопад Кивач и видел эту, по словам Державина, алмазную сыплющуюся гору.

Я видел много тихих озер с водой цвета олова, дышал запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал старую сказительницу из Заонежья, чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски, видел нашу деревянную Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдовано и осталось нам от тех времен, когда первозданная тишина земли еще не нарушалась ни одним пороховым взрывом.

Я ни на минуту не терял ощущение этой страны, погруженной в рассеянный северный свет.

Жизнь в Петрозаводске в то время была неустроенной и довольно голодной. Я жил и питался в столовой Дома крестьянина пареной репой без соли и растертой в зеленую кашу вареной ряпушкой. Пища была тошнотворная.

Дом крестьянина, где я остановился, был построен лучшими лесорубами. Они украсили его стены великолепной северной резьбой. По вечерам в большом зале, пахнувшем воском, устраивались танцы. Каждый раз на них появлялись высокие и сильные русоволосые девушки-карелки в тугих корсажах и легких разлетающихся юбках.

Я часто бывал в рабочем поселке Голиковке, раскинутом вокруг завода, и в краевом музее. Там рядом с огромными обломками розовой и золотистой слюды были выставлены кружева и образцы тяжелого и великолепного чугунного литья.

В этом музее, где я бывал в полном одиночестве (кроме старой сторожихи, там почти никогда никого не было), я понял, что до тех пор я вел себя в музеях, как и большинство посетителей, неразумно и утомительно. Я пытался по возможности рассмотреть все. Через полчаса начиналась тупая головная боль и я уходил разбитый и опустошенный.

Нелепым было уже самое искреннее мое стремление узнать за два-три часа все то, что создавалось целыми веками и накапливалось людьми тоже в течение многих и многих лет.

После первого знакомства с Эрмитажем, а затем с Лувром и другими картинными галереями и музеями я пришел к мысли, что музеи в том виде, в каком они существуют — как несметное собрание человеческих шедевров и природных редкостей, приносят не столько пользы, сколько вреда. Они приучают к верхоглядству, к поверхностному знанию и к беглым — самым бесплодным — впечатлениям.

Я думал, что разумнее всего устраивать небольшие музеи, посвященные всего нескольким художникам или даже одному (как музей Родена в Париже или Голубкиной, который был в Москве), или определенному и не очень длительному времени в нашей истории, или, наконец, одной какой-нибудь области знания и географической области страны — Северу или Поволжью, Кавказу или Дальнему Востоку.

Гораздо более живое впечатление остается, скажем, от руин древних городов, чем от собраний вещей, связанных с этими руинами и выставленных в витринах.

Ветер, дующий над остатками древних базилик, неизменная горечь полыни, шершавые теплые лишай, глупые дрозды, что пытаются заключить маленьких ящериц, высеченных древними мастерами на потемневших мраморных колоннах, текущая над головой синева пустынного неба — все это погружает в мир величавой поэзии, в область далекого прошлого, которое неожиданно оказывается очень близким. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в залах с блестяще натертыми паркетами.

Я испытал это чувство в Помпее, Херсонесе Таврическом, в руинах Никополиса в Болгарии и в Сен-Реми в Провансе, где лягушки скачут из-под ног в бездонные римские цистерны с черной водой.

В Петрозаводске, бегло осмотрев музей, я выбрал для изучения слюды — прозрачный, слоистый и гибкий — и потому странный — минерал, отливающий разнообразным живым блеском.

Сначала я долго рассматривал разные сорта слюды — от черной до золотой и от фиолетовой и темно-зеленой до дымчато-белой. Внутри тончайших слюдяных пластинок можно было увидеть много волосяных трещинок, очевидно образовавшихся по каким-то неведомым законам.

На следующий день я пошел в некое учреждение — не помню его замысловатого названия, — ведавшее добычей слюды. Там удивились, но дали мне всю слюдяную «литературу» и щедро подарили несколько кусков разноцветной слюды.

Она легко расщеплялась на тончайшие, почти микроскопические пластинки. Самым удивительным было то, что эти пластинки, отделенные от большого и тяжелого куска совершенно черной слюды, оказывались белыми и прозрачными.

Я прочел все, что достал о слюде, обо всех ее замечательных и даже таинственных свойствах. Это знание само по себе радовало меня, хотя я сначала и не собирался его использовать.

Правда, знакомство со слюдой прибавило к облику Карелии несколько поэтических черт. Я видел перламутровый блеск слюды во всем — в воде Онежского озера, в гранитных «бараньих лбах» (в них она мелко поблескивала, будто ее рассыпали миллионы лет назад и она впаялась в непробиваемый камень), в самом воздухе страны, белесоватом от светлых ночей, в звездном небе над Карелией — оно искрилось и преломлялось, как сквозь черную слюду. Даже дожди, изредка проливавшиеся в ту весну, походили на падение бесчисленных чешуек слюды.

Потом я решил написать книгу о слюде. В то время многие увлекались книгами французского писателя Пьера Ампа. Он выпускал живописные романы о разных производствах — например, об изготовлении духов на юге Франции.

Я хотел написать такую же примерно книгу о слюде. И я бы ее написал — в молодости все возможно, — если бы раньше не начал писать две маленькие книги, родившиеся в моем воображении на севере, — «Судьбу Шарля Лонсевилья» и «Озерный фронт».

Работая над этими книгами, я испытал странное состояние. О нем значительно позже прочел в статье какого-то исследователя литературы.

Стоило мне сесть за стол, взять ручку и написать несколько слов о Карелии, как тотчас же я начинал чувствовать запах сосны и можжевельника. Он откуда-то проникал в комнату, хотя вокруг не было ни сосен, ни можжевельника, а только доцветали липы (это было в Солотче).

Иногда я подолгу сидел за столом, задумавшись, в оцепенении, потом внезапно приходил в себя, будто стряхивал навязчивый сон, и долго старался вспомнить, что же происходило со мной в те несколько минут, когда я, отложив перо и подперев голову руками, сидел над своей рукописью.

И вдруг я вспоминал. Я же сидел, опустившись на корточки, на обочине лесной дороги и старался очень осторожно развернуть спиральный побег молодого папоротника. Зачем? Чтобы вдохнуть наглухо запертый в нем глоток прохлады. Все вокруг пахло сосной. Сорванные с можжевельника прошлогодние сохшиеся ягоды тоже пахли сосной и пахли еще опе-

рением тетеревов — диким запахом непролазных чащоб и болот. Так случилось несколько раз.

Это состояние не было сном. Оно было как бы полуявью. Она переносила меня на глухие просеки Карелии или к слабенькому плеску, вернее всплеску, ее всегда серебрищихся у берега озер.

Я жил как бы внутри того материала, из которого рождалась книга. Я был болен им. Тоска по глотку озерного воздуха, по ощущению прохлады на лице от согретых листьев березы достигала такой силы, что мне трудно было удержать себя, чтобы не вскочить с места, не броситься на вокзал и не вернуться в северные леса и хотя бы два-три часа провести в них, задыхаясь от их очарования и слушая крик кукушки. «Пусть медленно гаснет, — думал я, — олонецкая тишайшая заря. Одной минуты этой зари достаточно, чтобы заворожить человека на всю жизнь».

Из Петрозаводска я уехал в Ленинград, а оттуда по Мариинской системе вернулся в Москву.

На Охтенской пристани в Ленинграде я сел на маленький «озерный» пароход.

Пассажиров почти не было. В салоне сидел один только хмурый человек — заготовитель живицы для скипидарного и канифольного производства — и настойчиво пил из маленьких бутылок черное пиво — эль. Тогда эль впервые появился в продаже.

И заготовитель, и все остальные пассажиры, очень молчаливые люди, почти не смотрели по сторонам — должно быть, они бывали здесь часто. А между тем по берегам Невы проходили непрерывной полосой леса. То тут, то там они расступались, чтобы дать место запущенному парку с остатками великолепного дворца или гранитной лестнице, спускавшейся к самой воде. В трещинах лестницы цвел пунцовый кипрей.

За Шлиссельбургом пароход вошел в Ладожское озеро. Небо слилось с водой в сероватую и теплую мглу. Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк.

Снова вернулись ко мне мои глупые мечты, чтобы бросить все и поступить маячным сторожем. Я был уверен, что выдержу маячное одиночество, особенно если заведу на маяке библиотеку из отборных книг. А время от времени я, конечно, буду писать.

Я всматривался в маяк и долго провожал его глазами. Капитан — тоже молчаливый северный «окающий» человек — дал мне бинокль, оклеенный черной кожей. Я старался увидеть в этот бинокль то, что происходило на маяке. Но там, должно быть, ничего особенного не происходило.

С маячного балкона, где висел большой позеленевший колокол, нам посигналили флагами, и мы ответили. Оказывается, нас просили передать на попутную пристань Свирицу, чтобы на маяк прислали солярку и побольше папирос «пушка» (были тогда такие папиросы — очень толстые и действительно похожие на стволы маленьких пушек).

Мне понравилось, что в окне маяка высоко над урезом воды цвела в вазоне всеобщая любимица — герань. Очевидно, на маяке жила женщина, но я ее не видел.

Потом, ближе к сумеркам, началось таинственное перемещение воздушных пространств. Облаков не было. Мгла рассеялась, но взамен ее какое-то розовое слоистое сияние легло на поверхность воды и начало медленно разгораться, пока вся западная половина неба и воды не наполнилась красноватым блеском заката.

Я еще никогда не видел такого затяжного заката — он не погас, оставался на небе до утра и как бы опустил на озеро тишину.

В тихом сумраке на пароходе зажглись бортовые огни, совершенно, по-моему, ненужные, так как все было ясно видно вдаль на добрых пять миль.

Нам повезло. Дневной штиль перешел в ночной, еще более спокойный. Не плеснула ни одна волна. Только вода тихо булькала за кормой.

Капитан сказал мне, что я, очевидно, человек счастливый, так как на Ладоге редко бывает такая погода. Иной раз так штормит, что в пору Баренцеву морю.

На бурной Свири встретился порожистый плес, где мы подымались двойной тягой. Наш пароход изнемогал, работая полным ходом против течения. Ему помогал мощный буксир.

Я помню длинные, вытянутые вдоль реки свирские рыбацьи посадки, лодки с носами, изогнутыми подобно лебединым шеям (как на древних новгородских ладьях), пение женщин, бивших на плотках вальками белье.

Я часто смотрел с палубы на север, в сторону Олонца — лесистой, небогатой и, как говорили в старину, «забытой людьми и богом» земли.

Мне давно хотелось попасть туда. Почему-то мне всегда казалось, что именно там со мной случится что-то простое и очень хорошее.

Таких мест, где обязательно должно случиться что-то хорошее, становилось у меня с годами все больше и больше. В конце концов я чувствовал себя в своем воображении старожилом многих мест.

В каждой области, в каждом краю я отыскивал самый привлекательный угол и как бы «оставлял его за собой». Большею частью это были малоизвестные места: на севере — Олонец и Каргополь, Кирилло-Белозерский монастырь и Чердынь, в Средней России — милый по имени Сапожок, Задонск, Наровчат, в Белоруссии — Бобруйск, на северо-западе — Гдов и Остров, и еще много других мест. Столько, что мне не хватило бы жизни, чтобы побывать всюду.

Олонецкая земля лежала сейчас передо мной — застенчивая, скудная. Ветер, поднявшийся к вечеру и доносивший холодноватый воздух дождя, гнул прибрежные кусты ивняка и порывисто шумел в них.

В городе Вознесенье на Онежском озере мы, пассажиры, пересели на совсем маленький, так называемый «канавный» пароход, по названию «Писатель». Он пошел в обход Онежского озера по обводному каналу в город Вытегру и дальше — по Мариинской системе.

Пароход был стар до того, что на нем не было не только электрического освещения, но даже керосиновых ламп. В каютах горели в жестяных фонарях парафиновые свечи.

От этих свечей ночи сразу стали гуще и непроницаемое, а места, где мы плыли — глуше, бездорожнее и безлюднее. Да оно и действительно было так.

Я выходил ночью на палубу, долго сидел на скамейке около сипешей трубы, смотрел во тьму, где шумели бесконечные невидимые леса, где не было видно ни зги, и мне казалось, что я каким-то чудом попал из двадцатого века во времена Ивана Калиты и что если сойти с парохода, то тут же пропадешь, затеряешься, не встретишь на протяжении сотен километров ни одного человека, не услышишь человеческого голоса, а только лай лисиц да волчий вой.

Глушь началась за городком Вытегрой.

Этот бревенчатый городок, позаросший муравой, будто богатым зеленым ковром, был ключом Мариинской системы. Всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин. На скатах стояли белые суровые соборы. В садах росли вековые березы. В сумерках старухи в

черных платках сидели на лавочках у ворот, плели кружева и поджидали ксров. Улицы пахли парным молоком.

На старом каменном доме со сводами, где помещалась теперь Рабоче-крестьянская инспекция, висел почтовый ящик малинового цвета с белой надписью: «Ящик для жалоб на лиц, пренебрежительно относящихся к пролетариату».

Я сфотографировал этот странный ящик, но через год, когда я второй раз проезжал через Вытегру, его уже не было.

Погожим и прохладным утром, как любили писать наши предшественники — добродушные и обстоятельные писатели времен «Нивы» и «Живописного обозрения», — я проснулся в своей каюте и посмотрел в окно. Мне показалось, что я все еще сплю и вижу смешной детский сон: «Писатель» медленно плыл по узкому каналу, как по лотку, а внизу под пароходом проезжали с одной стороны на другую скрипучие телеги с сеном. Здесь канал действительно был заключен в лоток и поднят над окружающей местностью. За телегами с сеном трусили, как водится, мохнатые собаки и обиженно лаяли на пароход. Возницы с гиканьем нахлестывали лошадей, таких же мохнатых, как и собаки. Лошади переходили в рысь, обгоняли пароход, а возницы свистели и гоготали.

Когда рулевому надоел насмешливый гомон и свист возниц, он высунулся из своей застекленной будки и закричал:

— Охломоны! Лапотники-икотники! Сунься хоть один на пароход, выкинем к лешему — тогда дуй пешком двести верст до Белозерска! Я ваши фотографии крепко запомнил.

Возчики тотчас стихли и начали отставать. На пароход они даже не смотрели, отводили от него глаза. Неровен час, действительно ткнешься на пароход и получишь по шее.

Вскоре после этого случая началась знаменитая крутая «лестница шлюзов». Они были расположены близко друг к другу, почти впритык. Чтобы одолеть эту водяную лестницу, «Писателю» понадобился почти весь день.

Пассажиры сошли на берег и пошли к самому верхнему шлюзу пешком. Там они долго дожидались парохода, чаевничали в соседней деревушке, а кое-кто и выспался на сеновалах. Женщины собирали по дороге цветы, а одна самая шустрая молодайка сбегала в знакомое село и принесла оттуда кошелку яиц.

Потом мы прошли вдоль берегов Белого озера. Оно и вправду было белое, но со слабой синеватостью, как снятое молоко.

Временами от легкого ветра оно морщилось и покрывалось разводами черни, как будто над ним мудрили старые северные мастера-чернильщики. Уже в то время секреты нанесения черных узоров на серебро были потеряны. Говорили, что только в Устюге Великом остался один престарелый чернильщик, но у него будто уже нет, как в прежние времена, учеников.

А иной раз ветер, ударяя, очевидно, по воде сверху, покрывал ее другим — звездчатым — узором. Таким узором в те же самые прошлые, но недалекие от нас времена украшали большие, обитые белой жестью сундуки для домовитых хозяек.

Еще и сейчас в маленьких городах можно увидеть эти сундуки со зеонкими запорами, со знаменитым поющим замком. Одним из свойств этого замка была протяжность звука — сундук уже закрыт, а еще звенит и звенит, будто в нем пересыпаются колокольцы и червонцы.

Секрет этого узора на сундуках, так называемого «мороза», тоже забыт. Любители этого редкого народного искусства только вздыхают. Никто не заботится, чтобы его воскресить. Да и вкусы изменились. Вряд



ли теперешняя молодая колхозница купит такой сундук для своих нарядов.

Белозерск был стар, спокоен, зарос крапивой и лебедой, и даже приход «Писателя» не внес оживления на его пристань. Только мальчишки, за что им честь и хвала, толклись на берегу и пытались прорваться на пароход, чтобы посмотреть в сотый раз паровую машину, но их не пускали.

Казалось, все, кроме любопытных веснушчатых и остроглазых мальчишек, погружено в этом городке в дремоту.

«Писатель» вошел в Шексну, в издавно обжитые места с большими почтенными селами и каменными церквями на высоких берегах, с рудыми крутоярами и соснами на них, с бледными небесными далями, заполненными разноцветным хороводом облаков.

В вышине дул ветер, облака неслись и перемешивались в бегучем свете солнца и отблесках земли, и потому небо походило на огромное лоскутное одеяло.

На пристани в Пошехонье — этот городок со времен Салтыкова-Щедрина считался образцом захолустья — на пароход пришла экскурсия школьников из какой-то далекой деревни. Молодая учительница говорила детям:

— Пуще глядите! Запоминайте! Это вот паровая машина, что горячий конь. Глядите, как блестит стальными коромыслами. Будущей весной повезем вас на пароходе в самый Череповец. Надо вам ко всему привыкать.

Лица детей пылали жаром от радости, а одна маленькая девочка с тремя косичками спросила нараспев:

— А она может что ль взви-и-ться под небеса, эта машина, ежели сильно крутануть колесо?

— А ты попроси механика, — посоветовал ей заготовитель живицы — он все еще ехал на «Писателе». — Он крутанет, и мы улетим под самые тучи.

— Не! — ответила, подумав, девочка. — Не хочу. Я земная.

Ночью на Шексне я не мог уснуть. Берега гремели соловьиным боем. Он заглушал хлопанье пароходных колес и все остальные ночные звуки.

Переливы соловьиного свиста непрерывно неслись из густых береговых зарослей, из мокрых кустов. Иногда пароход шел под самым берегом и задевал гибкие, свисавшие над водой ветки. Но это нисколько не смущало соловьев.

Такого роскошества, такого безумного и вольного раската залиvistых звуков, такого пиршества птичьего пения я не слышал ни разу в жизни. И, должно быть, никогда больше и не услышу.

В Москву я вернулся с сожалением, понимая, что после стольких поездок я уже пропал и долго усидеть на одном месте никогда, быть может, до конца жизни уже не смогу. Так оно и случилось.

### Пламенная Колхида

Деревянная гостиница в Поти пошатывалась и потрескивала, как от землетрясения.

Низенький и толстый заведующий гостиницей Васо — престарелый гуриец — очень сердился на жильцов, если они шумно сбегали с лестницы да еще при этом напевали модную в то время песенку:

Мы на лодочке катались,—  
Золотистый, золотой.

— Зачем прыгаешь, как дикий кабан, кацо? — кричал старик. — Крыша свалится на голову, что будешь делать без крыши и головы?

Вспыльчивый Васо вечно препирался с такими же вспыльчивыми жильцами. Скандалы возникали внезапно, как взрыв. Они обыкновенно начинались на ломаном русском языке, потом, разгоревшись до высокого накала, переходили на грузинский, а заканчивались таким бешеным потоком шелкающих и чмокающих звуков, что в этом яростном клетоте терялись последние признаки какого бы то ни было языка.

Скандалы стихали так же внезапно, как начинались, будто с размаху захлопывалась непроницаемая дверь.

За конторкой у Васо были приколоты кнопками к стене открытки с «Типами старого Тифлиса». То были рисунки неизвестного, но безусловно талантливого художника.

Открытки эти Васо решительно отказывался продавать. Он развесил их только ради удовольствия.

На одной из открыток был изображен, между прочим, круглый, стриженный ежиком и сердитый старик, очень похожий на Васо.

Широкие серые шаровары Васо, стянутые у щиколотки, раздувались на нем пузырями. На шаровары были натянуты белые носки на розовых подвязках. Кавказский пояс с серебряным набором лежал на животе у Васо и во время крикливых скандалов подскакивал, как бы участвуя в перебранке.

Тотчас после моего приезда Васо вошел ко мне в номер с огромной пухлой книгой для записи постояльцев.

Он начал вписывать меня в эту книгу красивой грузинской вязью и сердито спросил:

— Зачем в Поти приехал?

Я объяснил ему, что приехал в Поти для работы над книгой об осушении колхидских болот. Васо почему-то начал сердиться.

— Что ты поешь мне про болото, как соловей, кацо! — закричал он. — Ты говори сразу — зачем приехал?

Я повторил, что приехал изучать осушение Колхидской низменности.

— Ты думаешь, я не знаю, зачем ты приехал! — еще громче закричал Васо. — Ты думаешь, что я старый ишак и поверю, что ты приехал копать болото. Говори правду, смотри мне прямо в глаза — или не будет тебе комнаты в гостинице!

Васо швырнул мне обратно мое удостоверение. Начиная очередной скандал. Пришла задыхающаяся старуха — жена Васо. Она сложила на груди руки, с мольбой посмотрела на меня и укоризненно покачала головой:

— Такой хороший человек, а старика обманываешь.

— Он не хочет сказать правду! — кричал Васо. — Упрямый, как буйвол. Разве он приехал ограбить банк, что не хочет сказать. Я тебя не выдам, кацо. Спроси у каждого человека в Поти, он тебе скажет, выдавал ли я кого-нибудь или нет. Как ты смеешь так на меня думать!

Прибежала дочка Васо — молодая женщина с копной таких жестких волос, будто она носила черный и спутанный проволочный парик.

— Ты не смеешь так на меня думать! — кричал Васо. — Когда свели коней у Нонашвили, разве я выдал парней из Супсы! Ага, ты не знаешь, кто их выдал. Ты не знаешь! У тебя нету совести, чтобы сознаться перед старым человеком!

Мне надоел этот непонятный скандал.

— Я пойду наконец в милицию,— сказал я, стараясь перекричать Васо.

Тогда дочь его схватила меня за плечи и зарыдала.

— Нет! — закричала она.— Он наговаривает на себя. Он совсем не знает, кто украл лошадей. И никогда не знал. Он не виноват. Если вы пойдете жаловаться в милицию, я вырву у себя волосы на голове и брошусь в Риони. Скажите ему, зачем вы приехали, и он успокоится. И будет конец.

Васо сел на стул и начал желтым платком вытирать мокрую шею. Он дышал со свистом, как астматик. После шеи он начал яростно тереть платком седую потную грудь.

— Вот видите, что вы делаете! — прокричала дочка Васо.— У вас не сердце, а железо.

— Ну хорошо, батано,— примирительно сказала жена Васо.— Я сама скажу, зачем вы приехали в Потти. Я уже догадалась.

— Что вы догадались? Чего вы от меня хотите? — спросил я оторопело.

У меня голова шла кругом.

— Вы фотограф! — радостно воскликнула она.— Вы будете снимать людей на базаре. Только я не вижу у вас картины.

— Какой картины? О чем вы говорите?

— Ха-ха, он не знает! — сказала дочь.— Как же вы без нее будете работать? — Она стремительно рванула за пояс и повернула вокруг своей талии пеструю юбку: в пылу окандала юбка у нее сама по себе сбилась назад.— Где же ваша картина с отрезанной головой? — повторила она.— Где? Или вы собираетесь снимать на пляже всяких голых девчонок, которым я когда-нибудь выцарапаю глаза этими вот руками?

Тогда я догадался, о какой картине она кричала. Сколько раз я видел около уличных фотографов облупленные холсты с изображением жгучего черкеса с кинжалом. Он сидел, подбоченясь, на гнедом кабардинце. Голова у этого наездника была вырезана начисто. В отверстие от головы каждый снимающийся мог засунуть собственную голову и выйти на фотографии лихим джигитом. Внизу под конем была надпись: «Хаз-Булат удалой быстро едет домой».

— Я не фотограф! — простонал я в отчаянии.

— Так кто ж ты такой? — зашипел Васо, поднял книгу записей и в сердцах швырнул ее на стол.— Зачем ты приехал в Потти? Делать фальшивые деньги?

— Я знаю! — радостно закричала дочь Васо.— Я знаю, отец. Он приехал на базар!

Шум сразу стих. Все смотрели на меня выжидательно и с радостным изумлением.

— Да, если хотите, то я приехал на базар,— сознался я. Другого выхода у меня не было.

— Ай, нехорошо как поступаешь,— сказал Васо усталым и умиротворенным голосом.— Что ж ты молчал, как глухонемой? На базар так на базар. Так и запишем. Живи теперь сколько хочешь. Ай-ай, как ты меня напугал!

Васо ушел с женой и дочерью успокоенный и просто счастливый. А вечером кто-то, очевидно дочь Васо, поставил мне на стол консервную банку с несколькими толстыми бордовыми розами.

Так началось мое в дальнейшем совершенно безоблачное знакомство с Васо. Он оказался хотя и неслыханно вздорным, но добродушным и ленивым стариком.

Уезжая в Колхиду, в Потти, я, как всегда, представлял себе этот город привлекательнее, чем он был на самом деле. Издали он казался мне затененным от жгучего солнца старыми и разлапистыми ореховыми деревьями и мимозами. Они распространяли, как нарядные женщины, сладкий и вянувший запах духов.

В Потти я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Потти не было, за исключением мимоз. Но зато в Потти был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой.

Бетонные массивы портовых причалов и поттийского мола, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами.

В город из порта (город лежал за рекой Риони) ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса и как пассажиров не хватало солнечный удар.

Поттийские (колхидские) болота тянулись от самого города до отдаленных гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера.

Река Риони — желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время пыталась перелиться через плоские берега и затопить город.

Риони весь завивался воронками и водоворотами, и падение в него грозило неизбежною гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно.

Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, посаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические (розовые) розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков.

Из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина.

Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Потти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Потти изображен несколько приукрашенным. Таким я видел этот город и тут уж ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть.

Временами Потти казался мне самому тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии, особенно когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение.

Часто гнетущая тишина поттийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря под неистовый гомон лягушек.

Ливень обрушивался злобной темнотой и занавесами воды. Пар подымался над крышами.

Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Потти после этих скоропалительных ливней. Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия — человек шумный, но рассудительный — знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков.

Изредка Нодия устраивал в духанах маленькие ужины и любил говорить во время этих ужинов витиеватые тосты.

«К нам, — говорил он, — приехал академик, «золотое перо». Он напишет о Колхиде свою лебединую песню».

Я не мог опровергать Нодию — он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что «академик»,

«золотое перо» и «лебединая песня» — это только обязательные застольные цветы красноречия.

В Поти я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в «Колхиду» под именем Габунии.

Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны две черты — скептика и поэта. Эти как бы враждебные друг другу черты жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке.

Больше всего в нем (будем называть его Габунией) меня привлекало редкое свойство сблизить свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде (Габуния руководил проведением канала в Чаладидах), с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни.

Читал ли он Страбона или Монтеня, статьи профессора Краснова о субтропиках или стихи Бараташвили, путешествия Вамбери или «Корабль «Ретвизан» Григоровича, Блока или «Тропическую природу» Уоллеса — во всем он находил мысли, отвечавшие его сегодняшним интересам.

Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время моей поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той — несколько острой и резкой — новизне, какая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли.

Габуния возил меня в Чаладиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть «болезнью джунглей». Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности, хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли.

Болезнь джунглей — это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей (в них почему-то мало птиц) с их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже несмотря на то, что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного.

С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае в порт, в безлюдный ресторан на молу, и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями, подходили к Поти из открытого моря неизвестные пароходы.

И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну:

Мы с тобою, муза, быстроноги.  
Любим ивы вдоль большой дороги,  
Свежий шум дождя, а вдалеке  
Белый парус на большой реке.  
Этот мир такой большой и строгий,  
Что нет места в нем пустой тоске...

— Быстроногая муза, — повторил он. — Хорошо?

— Хорошо, — согласился я.

— Самая быстроногая муза — это муза Пушкина.

Он замолк, наклонился над стаканом вина, и я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но — все равно — отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа.

Пароходы входили в порт. Их огни колебались на волнах, и мне всегда казалось, что эти огни особенно ярки оттого, что они прошли через

обширные пространства морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту.

— Если человек чувствует пространство, — сказал однажды Габуния, — то он уже счастлив. Это высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль!

И я в десятый раз начал гадать, кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом — поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек?

Начальник Колхидстроя Нодия со свойственной ему трезвостью считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачества (склонность к философии и поэзии) тем, что Габуния малярник. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство реальности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок.

Но как инженера Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники Колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габуния спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на Колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида».

Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по Колхиде в старомодной пароконной коляске, так называемом «ландо». В местечке Нотанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя-мингрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина — от лобио, сациви, жареной рыбы «локо», шашлыков, сыра «сулугуни», купатов, глиняных горшочков с тушеным в острых пряностях мясом («пети»), от водки «чача» и терпкого лилового вина «изабелла». Если это вино случайно попадало на руки, то сильно стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты.

Все время, свободное от еды, Нодия или спал, или крикливо и азартно играл с хозяином в нарды.

Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на старом Афоне и Синайском полуострове и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов.

Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодии были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей, мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Лил тяжелый дождь. Свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней.

— Почему? — спросил я.

— Да как сказать, — ответил он нерешительно. — Эта комната не совсем плохая, но... она неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде. Под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая и ведет только в одну эту комнату.

Швейцар, слушавший наш разговор, что-то быстро и недовольно сказал по-грузински администратору. Тот почмокал губами, покачал головой и повторил, что, пожалуй, мне не стоит ночевать в этой комнате.

— Почему? — снова спросил я.

— Не знаю... Не могу сказать, кацо. Мы не любим пускать в эту комнату постояльцев.

Швейцар снова что-то сказал администратору и испуганно посмотрел на меня.

— В чем же дело? — спросил я. — Значит, есть для этого какие-нибудь причины?

— Там один человек недавно сошел с ума.

— Не каждый же, кто там живет, сходит с ума.

— Ну, все-таки... — уклончиво ответил администратор.

Тогда вмешался швейцар.

— Он сошел с ума ночью, — сказал он вполголоса, — я хорошо помню, было сорок минут четвертого, когда он в первый раз закричал.

— Это было очень страшно, — добавил администратор. — Особенно когда он закричал второй раз. Он выскочил из комнаты, сорвался с лестницы, упал и сломал себе руку. Он ничего не мог сказать, что с ним случилось.

— Ничего особенного я в этом не вижу, — сказал я. — Не ночевать же мне на улице. Покажите мне эту комнату.

Администратор поколебался, взял ключ, и мы поднялись на третий этаж. С площадки третьего этажа шел вверх еще один пролет каменной лестницы. Он заканчивался маленькой глухой площадкой.

С площадки подымалась к чердаку узкая лестница без перил, похожая на стремянку. Лестница эта упиралась в дверь, выкрашенную охрой.

Администратор долго не мог открыть эту дверь — ключ заедал в замке и не поворачивался.

Наконец он открыл дверь, но прежде, чем войти, нащупал в комнате, не переступая порога, выключатель около притолоки и зажег свет.

Я увидел комнату с железной койкой и одним стулом. Больше в комнате ничего не было. Но ничего неприятного в этой комнате я не заметил. Мне только показалось, что единственная, очень сильная электрическая лампочка под потолком слишком выпукло освещает скудную обстановку — я даже увидел слабую вмятину на подушке от головы. Здесь кто-то, очевидно, ночевал.

— Ничего особенного я не вижу, — повторил я, хотя мне уже стало не по себе от сознания, что эта комната будто наглухо отделена от гостиницы темной лестницей.

— Смотрите сами, — ответил администратор. — Звонка к коридорно-му нет. Ключ плохо работает. Поэтому лучше не закрывайте дверь.

Он ушел, и только тут я заметил, что в комнате нет окон. Она была похожа на морг — только голые желтые стены и белый потолок.

Я лег, но дверь на ключ не запер. Света я не погасил. Лампа под потолком мешала уснуть, но мне не хотелось вставать, чтобы погасить ее.

По крыше порывами барабанил дождь. Изредка ветер подвывал на чердаке, в разбитом слуховом окне.

В конце концов я все же уснул. Проснулся я внезапно. Несколько секунд я пролежал с закрытыми глазами, потом потянулся к ручным часам на стуле около кровати. Часы показывали сорок минут четвертого.

Почему-то это время испугало меня. С ним было связано что-то неприятное или опасное. Но что? И вдруг я вспомнил рассказ швейцара о том, что ровно в это время из этой комнаты закричал человек, когда он сошел с ума.

Я повернулся на спину, и внезапная ледяная дрожь прошла у меня по всему телу от затылка до пяток — в потолке над моей головой был настезь открыт квадратный люк. За ним зияла чердачная темнота.

Люка этого я раньше не заметил. Кто-то открыл его, когда я спал, и открыл изнутри, с чердака.

Я не спускал глаз с люка и говорил себе: «Спокойно, главное — не волноваться».

Я быстро осмотрел комнату — в ней никого не было и не могло быть. В ней не мог спрятаться не только человек, но даже сороконожка. Но все-таки... Я осторожно заглянул под кровать. Там тоже было пусто.

Тогда я перевел глаза на черное отверстие люка и заметил, как что-то зашевелилось.

Сердце у меня зазвенело и забило в висках. Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек.

В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти.

Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежа подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека.

До сих пор я помню его лицо. Ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу больше никогда.

Обрюзгшее его лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал.

Наши глаза встретились, и я понял, что это — смерть. Человек смотрел на меня, усмехаясь. Он не дрогнул, не сделал ни малейшего движения, чтобы скрыться. Он рассматривал меня как жертву, примериваясь, и вдруг быстро поднялся на руках и опустил одну босую ногу в открытый люк.

Он собирался прыгнуть, но неосторожно двинулся, и заостренный ломик упал на пол, подпрыгнул и покатился к кровати.

Я не помню, как я очутился за дверью. Должно быть, я рванулся со скоростью света. На площадке я закричал и тут же потерял сознание. Должно быть, я закричал так же страшно, как и тот человек, что сошел в этой комнате с ума.

Очнулся я в коридоре третьего этажа. Около меня стояли администратор, швейцар и несколько полуодетых испуганных жильцов. Незнакомый восточный человек в трусах щупал мне пульс. Пахло нашатырем.

Вскоре появилась милиция. У меня хватило сил отвечать на вопросы и даже войти с милиционерами в комнату.

Люк был открыт. Из него свешивалась бельевая веревка. Ломика на полу уже не было.

Милиционеры бросились кружным ходом на чердак, но никого не нашли. Привели сыскную собаку. Она повела милиционеров через разбитое слуховое окно на крышу, оттуда — на крышу соседнего дома, но дальше не пошла.

— Ваше счастье, — сказал мне старший милиционер, — что вы проснулись. Вы имели дело с хитрым и наглым преступником. А в лучшем случае — с сумасшедшим.

Милиционеры опечатали комнату и ушли. Остаток ночи я просидел в вестибюле гостиницы, где на стенах были написаны масляными красками обломки колонн, увитые розами. Больше всех взволновался Нодия. Мы тотчас же уехали по железной дороге в Потти. Свой экипаж Нодия отправил обратно из Батума.

Но, как известно, злоклучения никогда не проходят в одиночку.

На станции Самтреди, где мы пересаживались на поезд в Потти, я заразился сыпным тифом.

В то время на Украине начался голод и тысячи беглецов оттуда бросились на юг, в Закавказье, в сытные и теплые края. Они запрудили все станции между Зугдидами и Самтреди. Среди них начался сыпной тиф.



Его почему-то называли «синим тифом» и говорили, что он дает почти поголовную смертность.

Конечно, я не знал, что заразился в Самтреди. Через несколько дней я уехал из Поти в Москву. До Одессы я плыл на старом знакомце «Пестеле» и только в Ялте догадался, что я заболел. Там меня настигла резкая, как удар пули, головная боль. Как сквозь вязкий туман я помню ночную качку у Тарханкута, пыльную и показавшуюся мне начисто вымершей Одессу и твердую, как железо, верхнюю полку в вагоне.

Потом я уже ничего не помню. Очнулся я ночью в Боткинской больнице в Москве. Я лежал на койке под открытым окном, и в открытые окна сильно пахло из сада цветущими липами.

Только в больнице от старого профессора Киреева я узнал, что сыпной тиф — это болезнь крови.

Действительно, мне казалось, что кровь у меня сделалась липкой, как столярный клей, и сгущается все сильнее, особенно к ночи. Тогда она совсем перестает протискиваться сквозь узкие сосуды.

Каждую ночь я пытался бежать от этого тупого, скрипящего в моем теле движения умирающей крови. Но только один раз мне удалось сползти с койки и добраться до распахнутого настежь окна в коридоре. Сестры вблизи не было.

Я стал на колени перед окном, высунул наружу неправдоподобно худую, прозрачную руку и всей тонкой, как будто птичьей, кожей этой руки ощутил величие ночи — ее равномерно шумящий в липах прохладный ветер, долетавший, очевидно, от звезд, и потрясшую меня до дрожи слабую сырость травы. Должно быть, к вечеру на сад пролился короткий дождь.

Я понимал, что этот запах еще обещает мне жизнь, выздоровление, глубокую свежесть, будто воздушный душ промывает насквозь мое воспаленное тело.

Я дышал судорожно и хрипло, пока не потерял сознания.

В больнице в меня литрами вливали физиологический раствор, но я почти не чувствовал боли. Меня преследовало томительное ощущение вялого, немощно плетущегося времени.

Самое представление о времени резко изменилось — день растянулся так сильно, что в него можно было вместить несколько дней. И мысли ползли медленно, растягивались, как резина, и постоянно повторялись. И даже не мысли, а по существу одна только мысль или, вернее, воспоминание о той ночи, когда я стоял на коленях перед открытым окном.

Лежа пластом на койке и непрерывно рассматривая свои худые пальцы, как будто я мог узнать по ним свою судьбу, я перебирал в памяти ту ночь, что пламенела звездами в ветках лип и явственно разделялась в моем сознании на составные части.

Каждая часть этой ночи была удивительно хороша и приносила успокоение — и невзрачный крылатый цветок липы, упавший на подоконник, и писк птицы сквозь сон, и далекий монотонный шум, будто вокруг Москвы гудели, качаясь от плавного ветра, вековые сосновые леса.

Почему-то мне хотелось, чтобы этим лесам было триста лет и чтобы смола в сердцевине приобрела маслянистый красный цвет.

В ту ночь откуда-то доходила свежесть воды. Может быть, вблизи был пруд, а может быть, ветер принес запах выпавшего за горизонтом дождя.

Во всяком случае, все это было целебнее для меня самых сильных лекарств. Я просил профессора Киреева отправить меня в Мещеру (год назад я впервые узнал этот край) и перевезти меня в маленькую лесную сторожку на берегу Черного озера. Он усмехался и обещал.

Я уверял Киреева, что буду лежать там тихо, пить чистую воду и есть только бруснику. И от этого и от тишины я непременно выздоровею.

Тишина леса казалась мне совершенно блаженной именно здесь, в больнице, где непрерывно ревели над крышей самолеты с Ходынского аэродрома.

Рядом со мной лежал муж писательницы Лидии Сейфуллиной. Как сквозь сон, я видел тогда эту некрасивую, маленькую и обаятельно добрую женщину. Такой она и осталась у меня в памяти до сих пор, хотя она давно умерла и я с тех пор ее почти не видел.

От частых уколов камфары у меня началась в бедре тяжелая флегмона.

От флегмоны меня оперировали прямо на койке, в палате. Я был так еще слаб, что перевезти меня в операционную врач не решался.

После операции я лежал почти в беспомощности с забинтованной ногой. Был жаркий, летний вечер, двери в коридор были открыты. Яркая электрическая лампа нестерпимо сияла под потолком и резала мне глаза. На соседней койке мучительно стонал муж Сейфуллиной.

Потом я услышал рядом с собой что-то натруженное дыхание и открыл глаза.

На полу около моей койки сидел красноармеец в мятой грязной шинели. У него на голове была облезлая папаха из искусственной мерлушки с пришитым наискось лоскутком красного, выгоревшего на солнце кумача. Папаха была велика на него и напоззала на землистые, прозрачные уши.

Острое лицо красноармейца туго обтягивала на скулах лимонная нездоровая кожа. Она блестела в свете лампочки, будто смазанная маслом.

В глубоких морщинах на щеках красноармейца шнурами слежалась черная пыль.

— Друг, как ты сюда попал? — спросил я его, но он не ответил и даже не поднял на меня глаза.

Морщась от боли, он разматывал заскорузлый от высохшей крови грязный бинт у себя на ноге. Бинт, когда он отдирали его, трещал, как пергаментная бумага.

Я сообразил, что этот красноармеец вошел в палату из сада, воспользовавшись тем, что сестра куда-то отлучилась (маленький больничный корпус, где я лежал, стоял в саду, и по случаю летнего времени дверь в коридор из сада никогда не закрывалась).

От ноги красноармейца шел тяжелый запах запущенной раны.

— Ты зачем снимаешь перевязку, земляк? — снова спросил я, но красноармеец опять не ответил и только показал мне глазами на стену рядом с собой.

Тогда я увидел на стене квадратный листок бумаги. На нем жирным шрифтом было напечатано:

«Всем бойцам и гражданам, имеющим перевязки, надлежит немедленно снять оные и под угрозой предания ревтрибуналу ни в коем случае не возобновлять их впредь до осмотра ран особой комиссией».

Я понял, что красноармеец разбинтовывает ногу, подчиняясь этому приказу. Тогда я сел на койке и тоже начал сматывать бинты со своего бедра.

Разрез на бедре был очень глубокий, и сделали его мне всего два часа назад. Из свежей раны хлынула кровь. Но прежде чем потерять сознание, я успел дотянуться рукой до столика и позвонить сестре.

Когда я очнулся, около моей койки толпились перепуганные сестры, и молодой хирург, закусив губу и сердясь, наново перевязывал меня. Вся койка была в крови.

Красноармеец исчез. Я рассказал о нем хирургу. Он только усмехнулся:

— Вульгарный случай галлюцинации,— сказал он сестрам.— Не оставляйте его ни на минуту одного.

К концу лета я выздоровел. Из больницы меня отвез домой, на Большую Дмитровку, Роскин. Очевидно, я ничего не весил, так как Роскин, который не мог таскать такие пустяковые тяжести, как кошелку с хлебом, легко внес меня на руках на третий этаж и даже не запыхался.

### Речка Вертушинка

У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в восхищение.

Одно из самых точных и поэтических названий принадлежит крошечной реке Вертушинке, вьющейся по дну лесистых оврагов в Московской области недалеко от города Рузы.

Вертушинка все время вертится, как егоза, шныряет, журчит, бормочет, звенит и пенится около каждого камня или упавшего ствола березы, тихонько напевает, разговаривает сама с собой, пришепetyвает и несет по хрящеватому дну очень прозрачную воду.

Вода эта вытекает из древних и темных, как их возраст, земных пластов, из каких-нибудь юрских глин и девонских песчаников.

Непонятым, но милым кажется одно обстоятельство, связанное с Вертушинкой.

Как известно, у нас в Московской области никаких гор нет — одна всхолмленная равнина, а между тем Вертушинка откуда-то вымывает и притаскивает большие обкатанные гранитные камни.

Это, конечно, валуны, оставшиеся от ледникового периода. Летом они лежат в теплой струистой воде и будто жмурятся от дремоты. Они заросли ржавыми лишаями. Вода, обтекая валуны, напевает свою немудрую песенку. Трудно поверить, что эти добродушные валуны были свидетелями катастрофы нашей земли, что ледник свирепо проволока их через всю Россию, от самых Скандинавских гор, и бросил здесь, в уютной Вертушинке, мирно доживать их бесконечный и спокойный каменный век.

Но вернемся на минуту к названиям.

Названия — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта.

Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует делать это прежде всего грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает.

Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить.

Примеров можно привести много.

Вместо того, чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо «Франко», неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя «Ивано-Франковск».

Коктебель в Крыму (кстати, красивое и легкое имя) переименовали в Планерское. Прежде всего это неграмотно. Если исходить от слова «планер», то нужно говорить «планерное», а не «планерское». И что за окончание — планерск-о-е? К чему оно относится, это прилагательное «планерское», повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, кто так казенно назвал это удивительное по своей суровой красоте место.

Сравнительно недавно в Крыму без всякой огласки и без согласования с населением, а значит, и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских.

В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными, а то и просто нелепыми названиями.

Например, в Крыму, где нет и сроду не было земляники, появилось название: «Земляничное». Что земляничное? Мыло? Или мороженое? Или варенье?

Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму многих наших великих людей. Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения.

Мы будем сотни лет ломать себе язык на всяких Ивано-Франковсках, тогда как Вертушинка всегда будет легко звенеть и литься. И свободно и широко по-северному, на «о», к примеру, будет произноситься Вологда.

Над оврагами Вертушинки стоял просторный бревенчатый дом, принадлежавший некогда писателю Вуколу Лаврову.

После революции там устроили дом отдыха для писателей. Назывался он «Малеевка».

Я поехал в Малеевку на три месяца, чтобы отдохнуть и окрепнуть после болезни.

Впервые я попал в дом отдыха и стал так тесно жить рядом с несколькими писателями. Первое время я еще стеснялся, дичился, но был счастлив, что у меня после многих лет скитаний и житейского неустойства есть, хотя бы и временно, теплая и светлая комната с хорошим письменным столом, маленьким камином, коврами и креслами, в которых можно было читать и дремать.

Моим соседом по столику в столовой оказался жизнерадостный и общительный писатель Сергей Буданцев. Он учил меня играть в бильярд на маленьком столе, затянутом не зеленым, как полагается, а серым солдатским сукном. Оно было во многих местах заштопано. Бильярд стоял на открытой веранде. За ночь его густо засыпало сентябрьским палым листом и сухой хвоей. Прежде чем начинать неизменную «американку», самые отчаянные бильярдисты — драматург Шкваркин, Буданцев и Эмиль Миндлин — тщательно сметали с бильярда осенний мусор.

Если на столе оставалась хотя бы одна хвоинка, рыцарски вежливый и точный Шкваркин наотрез отказывался играть. По его словам, даже ничтожный пух от крыла какой-нибудь сойки или синицы мог сбить шар с верного направления и испортить самый блестящий удар.

Играли на этом многострадальном бильярде в любую погоду — и в ведро и в дождь. В дождь сукно на бильярде промокало так сильно, что шары, ударяясь друг о друга, выбивали из него фонтаны воды. Игроки ходили мокрые от брызг, но это их не огорчало — азарт преодолевал все.

Вокруг бильярда весь день сидели «болеельщики» (тогда впервые появилось это новое слово) и любители поговорить — «потрепаться».

Первое место среди разговорщиков занимал Сергей Буданцев — плотный, шутливый человек с веселым и добрым блеском глаз под хрустально-чистыми окулярами.

Его рассказы не прекращались с утра до позднего вечера. Память и способность к ассоциациям у него были необыкновенные. Любое слово тотчас вызывало рассказ, анекдот, воспоминание.

Буданцев был человеком шишучим и легким. Вся сила его таланта,

как мне казалось, уходила на разговоры. Для того чтобы писать, почти не оставалось времени. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что Буданцев мало писал и редко печатался.

Самым опасным по отношению к себе как к писателю было у Буданцева его свойство охотно и подробно рассказывать замыслы своих еще не написанных вещей, и притом рассказывать замечательно. Так у него постепенно накапливался целый цикл таких отработанных и отделанных до последней черточки устных глав и новелл. Сгоряча казалось, что стоит только записать все эти главы,— и книга будет готова.

Но на деле оказывалось, что все обстоит совершенно не так: устный рассказ, перенесенный на бумагу, бледнел и умирал. Может быть, потому, что Буданцеву было интереснее его рассказывать, чем писать. Было невозможно перенести на бумагу те богатые и блестящие интонации и ту мимику, какими в совершенстве владел Буданцев.

С тех пор я понял сдержанность многих писателей в рассказах о том, что они собираются писать, понял, что выбалтывание еще не созданных вещей может быть просто опасным.

Буданцев одним из первых погиб в Чукотских лагерях.

Александр Бек писал в Малеевке книгу о знаменитом доменщике Курако. Всех поражал придуманный Беком способ работы над книгами. Прежде всего Бек, найдя свою тему, по его словам, «золотую жилу», определял главного героя и круг людей, необходимых ему для очередной книги. Это всегда были реальные люди. Потом Бек простодушно, но беспощадно выпрашивал этих людей обо всех обстоятельствах их жизни и работы до самых последних мелочей.

Таким образом, у Бека накапливалось много записей и стенограмм. После их расшифровки Бек приступал к работе. Он переводил стенограммы на язык художественной прозы и смело компоновал книгу. Он добивался полной достоверности, но вместе с тем, отбирая, разъединяя и соединяя в разных комбинациях полученный материал и давая свою собственную окраску и оценку людям, создавал не документальную, а подлинно художественную прозу.

Так была написана книга о Курако и остальные книги Бека, вплоть до прославившего его «Волоколамского шоссе».

Ни у кого у писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека. Временами его труд казался мне непосильным для одного человека.

Бек — лукавый и подчас любивший изображать из себя простака — необыкновенно мягок, но прямолинеен.

Бек предложил устроить при Союзе писателей грандиозное хранилище стенографически записанных бесед со всеми замечательными людьми нашей страны. Таким образом, утверждал Бек, мы создадим великолепный свод по истории СССР и вместе с тем дадим в руки писателей богатейший материал. Каждый сможет пользоваться для работы любыми стенограммами.

Насколько я знаю, Бек даже начал составлять обширный список наших выдающихся современников, которых следовало опросить. В этот список входили ученые, инженеры, изобретатели, рабочие, артисты, писатели, агрономы, селекционеры, певцы, путешественники, революционеры, архитекторы, бетонщики, поэты, садоводы, балерины, врачи, путейцы, моряки, полководцы, охотники — люди всех профессий и разнообразного, подчас неожиданного жизненного опыта.

К сожалению, этот грандиозный план не удалось осуществить.

Где бы ни появлялся Бек, он тотчас втягивал окружающих в орбиту своих увлечений, заражал их своей неукротимой, но мягкой энергией,

своим неистовым любопытством. Как всегда в таких случаях, жизнь в его присутствии оказывалась интереснее, чем это было до него. Недаром о Беке шутливо говорили, что «наш бог — Бек».

Каждому, кто близко узнавал Бека, без него уже трудно было обойтись — без его смелых планов, шумных споров, шуток и умения жить.

До конца я оценил энергию Бека и его преданность литературе гораздо позже, когда вместе с Эммануилом Казакевичем, Бекем и несколькими другими писателями участвовал в выпуске одного альманаха.

Альманах вел Казакевич — человек, если можно так выразиться, сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям.

Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен.

Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом — и страшные боли, и яркий, совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью. По многим признакам он знал, что умирает. Прежде всего по глазам родных и друзей, по их неестественному, деланному спокойствию, по тем невидимым, зажатым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий.

И все же он прочел мне только что придуманную им ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую, своей желтой, слабой рукой (на ней сквозь мертвую уже кожу проступали тонкие кости), посмотрел на наши две руки и сказал, усмехаясь:

— Дружба народов! Европейца и желтого. Годится для плаката.

Я не решился поцеловать ему руку, чтобы не взбудоражить его. Мы только обнялись. Но все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуть к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека.

Через несколько дней у открытой настежь двери его квартиры на Лаврушинском переулке стояла прислоненная к стене крышка гроба.

С чем угодно можно было примириться, но только не с этой гробовой доской, не с гробовым одиночеством, наступившим для этого бурного человека.

В тот год быстро подходила осень, рано начались утренники. Окрестные леса за две-три ночи сильно пожелтели.

Больше всех времен года я любил осень. Может быть, за то, что ей очень мало отпущено времени для своей шелестящей и облетающей жизни.

В Малеевке я изучал осень неторопливо и пристально, как натуралист. Врачи запретили мне работать два месяца. Но все же я начал писать. Я обманывал себя тем, что пишу не прозу, а сухой отчет о движении осени. Мне ничего не надо было придумывать, а только записывать свои наблюдения.

В Малеевке жил в то время некий старый, всем недовольный поэт. Кислая гримаса не сходила с его лица. Он был язвителен и несправедлив. Все современные поэты, по его словам, писали только «вонючие стишки».

У этого старого поэта был свой собственный язык — какой-то скрюченный и неприятный. Чаще всего он употреблял выдуманное им самим существовательное «пыс». Что оно означало, можно было только догады-

ваться. Например, он говорил вместо «ни в каком случае» — «ни в каком пысе». О красивой женщине он говорил с едкой искоркой в глазах: «Женщина на полный пыс».

Нас осталось в Малеевке доживать до поздней осени всего трое: этот старый поэт, какой-то громоздкий, объемистый экономист (поэт почему-то называл его «маленьким птичиком») и я.

Экономист вел с нами разговоры только на литературные темы. Очевидно, из тех соображений, что «с писателями жить — по-писательски выть». Мы изнемогали от его упорных расспросов о писателях и литературных сенсациях.

Особенно экономиста занимал почему-то Михаил Светлов. Он долго приставал к нам с одним и тем же вопросом: «Из какой жизни пишет Светлов?» Сначала мы пытались всерьез рассказывать ему о поэзии Светлова. Но это его, очевидно, не устраивало, и вечером он снова задавал нам все тот же проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром: «Из какой жизни пишет Светлов?»

— Из испанской,— ответил я ему с легким раздражением.— Вы же читали его «Гренаду».

— Ну и что с того, что читал. Там у Светлова все напутано. Разве в Испании есть Гренадская волость?

— Конечно, есть.

— Скажите, как интересно! А из какой жизни пишет Эренбург?

— Из дипломатической и средневропейской,— свистящим шепотом ответил старый поэт, и глаза его и очки загорелись дьявольским блеском. Но экономист не унимался.

— Разве есть такой жанр? — простодушно спросил он.— Разве Эренбург служил в Комиссариате иностранных дел? Кем он там служил, вы не знаете?

Мы этого не знали. Тогда экономист, не теряя времени, тотчас нас спрашивал, из какой жизни пишет Пастернак.

— Из дачной,— ответил я, изнемогая.

— Почему? — вдруг встревожился экономист.— У него разве есть дача под Москвой? Скажите пожалуйста, поэт имеет дачу!

Экономист нам смертельно наскучил. Мы прятались от него, но он настигал нас всюду — в лесу, на полях, в оврагах Вертушинки и — что было совсем невыносимо — у нас в комнатах во время работы.

Я иногда ходил на соседнюю речку Рузу ловить рыбу. Поэт увязывался со мной, но рыбы не ловил, а садился рядом со мной и читал полным голосом свои и чужие стихи.

Я несколько раз намекал ему, что рыба боится шума и уходит подалее от таких громогласных поэтов.

— Ничего! — отвечал поэт.— Пусть привыкает. Это вам неинтересно слушать мои стихи, а для рыбы это редкое развлечение. Жизнь у нее каторжная. Вода в реке ледяная, ил грязный, жрет она черт знает что, в общем всякую пакость — червей, личинок и горькие водоросли. И тем-но ей в воде, и зябко, и боязно. Только и жди, что где-нибудь по соседству вдруг лязгнет стальной челюстью щука. Тогда надо драпать вовсю!

Разговоры эти мешали мне, но приходилось терпеть: поэт знал наизусть много стихов и эпиграмм. Он сам их сочинял на ходу. Чаще всего он вспоминал шуточные стихи Олейникова:

Маленькая рыбка,  
Жареный карась,  
Где твоя улыбка,  
Что была вчерась?

Вскоре экономист уехал, и в Малеевке началась замечательная жизнь. Нас осталось всего двое, и мы сами удивлялись, почему ради двух человек дом еще не закрывают.

Поэт подобрел, стал даже задумчив и начал работать. Весь его яд будто выветрился в осеннем холодноватом воздухе.

Он каждый день писал стихи о закатах. Действительно, в ту осень над Подмосковьем горели прекрасные закаты. Они зажигали окрестные рощи, как зажигают свечи — одну от другой, — сумрачным желтым огнем.

В каждом закатном времени было несколько минут, когда краски начинали гаснуть, небо как бы взлетало к зениту и сиреневый сумрак бесшумно заполнял поля и леса. Листья все падали и падали, и этому, казалось, не будет конца.

### «Живите так, как начали»

Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхида». Писалась она легко и быстро, без напряжения, и это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров (в общем, справедливых) о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче.

Мне некому было показать свою новую повесть. Старого поэта я боялся. Но на мое счастье в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Розанов, автор очень славной книги «Приключения Травки».

Я прочел ему несколько глав из «Колхиды», и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решил отдать ее в горьковский альманах «Год шестнадцатый».

Горький прочел «Колхиду», как он сам сказал мне потом, «собственноручно» и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань — цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек.

Горький в ответ написал на полях рукописи, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми и что герань — любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее так и любят.

Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким, и он попрекнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка.

— Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, — сказал он. — Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные слободки этого чудесного города просто горят шарлаховой геранью. Вы не были в Новгороде Великом?

— Нет; не был.

— Обязательно поезжайте. Обязательно! Попьете у слободских старушек липового чаю. Удивительный вкус, но, правда, на любителя.

Он побарабанил пальцами по столу и добавил:

— Местная особенность! Люблю местные особенности. Из них, как бы из густых красок на полотне, рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева?

— Очень.

— Все это явления одного порядка, — сказал Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной и тонкой папиросы. — Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепной духовитый товар, шали на



плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты — именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками... Чудесный художник! Чудесный! Стихи любите? — спросил он неожиданно.

— Да. Но по-своему.

— Как это «по-своему»?

— Я не могу прочесть больше двух-трех стихотворений в день. Но эти два-три стихотворения я запоминаю надолго, иной раз на всю жизнь.

— Завидное качество! — сказал Горький, снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону: — А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь? Из современных поэтов?

— Блоком. И Пастернаком.

— Богато живете! — заметил Горький. — Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. «Буря мглою небо кроет». Помните? «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей».

Он пропел эти слова своим басом и задумался.

— Вот поезжайте в Новгород Великий. Там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия.

Я в ту осень в Малеевке много читал поэтов — Васильева, Светлова, Заболоцкого, Пастернака. Я не удержался и прочел Горькому по нескольку любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался.

— Как-как? — спросил он. — Прочтите еще раз.

Я прочел из Васильева:

Поверивший в слова простые,  
В косых ветрах от птичьих крыл,  
Поводырем по всей России  
Ты сказку за руку водил...

— А вот это — Пастернак:

Скорей со сна, чем с крыш; скорей  
Забывчивый, чем робкий,  
Топтался дождик у дверей,  
И пахло винной пробкой...

— Точно сказано! — заметил Горький. — Да вы кто — прозаик или поэт? Пожалуй, поэт.

Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него.

— Валяйте! Живите так, как начали. Черт не выдаст, свинья не съест.

1963.



---

И. ГРЕКОВА

★

## ДАМСКИЙ МАСТЕР

Рассказ

1

**Я** пришла с работы усталая, как собака. Мальчишки — ну, конечно! — играли в шахматы. Это какая-то мужская болезнь.

Я сказала:

— Черт знает что такое! Опять эти дурацкие шахматы. До каких пор?

— Полундра! — завопил Костя. — Спасайся, кто может!

На столе было типичное свинство. Пепельница разбухла от окурков. В пивных бутылках медленно надувались и лопались гигантские пузыри.

— Типичные свиньи, — сказала я. — Дела у вас нет, что ли? И это накануне сессии...

— Лапу, — подобострастно сказал Костя.

— Не будет тебе лапы. Свиньи, иначе не назовешь. Приходишь домой, как в кабак. Хоть бы один раз пепельницу за собой вынесли! Неужели я, пожилая женщина...

— Прикажете возражать? — спросил Коля.

— Прекратить хамство! — крикнула я.

— Лапу, — потребовал Коля.

Мне улыбаться совсем не следовало, но губы как-то сами разъехались, и я дала ему руку.

— Не ту! — заорал Коля как оглашенный. — Левую, левую!

(Левая ценится дороже — на ней родинка.)

— А мне и правая хороша, мы — люди маленькие, — сказал Костя.

Я дала ему правую. Оба присосались — каждый к своей руке. Две наклоненные головы. Соломенно-желтая и угольно-черная. Дураки мои. Сыновья мои. Только не думайте, что вы так дешево отделались. Я еще сердита.

— Сейчас же убрать со стола! — крикнула я, чтобы не демобилизовываться.

Костя, кряхтя, взвалил на плечо пепельницу, Коля стал вытирать стол какими-то брюками.

Голодная я была, как собака.

— Обедали?

— Нет. Тебя ждали.

— А дома что-нибудь есть?

— Ничего. Сейчас сбегает.

— Нет, это черт знает что такое, — сказала я, распаляя себя. — Неужели же...

— Ты, пожилая женщина... — услужливо подсказал Коля.

— Да! Я! Пожилая женщина! — заорала я. — Да, черт возьми! Пожилая! Работающая! Вас, дураков, воспитывающая!

— Но, заметьте, не воспитавшая, — скромненько вставил Коля.

— Да, к сожалению, не воспитавшая! Вся жизнь к черту! Ни за грош пропала жизнь!

— Не гоношись, подруга, — миролюбиво сказал Костя.

Я взяла бутылку и хотела бросить на пол, но не бросила.

— Нет, хватит с меня этого кабака. Уеду от вас. Живите сами.

— Живи и жить давай другим, — снова ровненьким голоском сообщил Коля.

— Довольно дурацких замечаний! Я говорю серьезно. Жизнь — не цирк.

— Как вы сказали? — переспросил Костя. — Жизнь — не цирк? Разрешите записать.

Он вынул записную книжку, послунял карандаш и нацелился:

— Жизнь... сами понимаете.. жизнь... не... цирк, — записал он.

— И вообще, — перебила я его очень громко, — мне это все надоело! Надоело! Понятно вам? Уеду в Новосибирск. Или, еще лучше, выйду замуж.

— Ого! — заметил Костя. — Это дает!

— А что? По-вашему, я уж не могу ни за кого выйти замуж?

— Только за укротителя, — сказал Коля.

Тьфу, черт возьми!

Я вышла и хлопнула дверью.

Молока бы выпить, что ли. Я открыла холодильник. Он был пустой и обросший, с одной-единственной увядшей редиской на второй полке. Не холодильник, а склеп. Никакого молока, разумеется, нет и в помине. А утром было. «Спороли», как говорила няня.

...Нет, хватит с меня этого, хватит, думала я, расчесывая волосы и со злобы выдирая целые пучки. Не могут два молодых идиота сами о себе позаботиться, не говоря уж о матери... Подумаешь, «лапу»! Лижутся, а мать голодная. Надоело все, надоело. И эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора: полудлинные, неухоженные... А сколько седых появилось! И все на каких-то нелепых местах, например, за ушами, не то что у людей, те благородно седеют — с висков... Глупо седею, бездарно. А эти модельные буколки на лбу! Сама, старая дура, на бигуди накручивала. Спать больно, плохо...

...Не буду им готовить обед, пусть сами о себе заботятся...

А с волосами этими что-то нужно делать. Остричься, что ли? Жалко... Уже года три, как отращиваю, столько трудов пропадет... Нет, хватит, остригусь. «Остригусь и начну», — так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа, до самой смерти все хотел «начать»... «Остригусь и начну...»

— Я ухожу, — сказала я мальчикам.

— Куда? — спросил Костя.

— Замуж, — ответил Коля.

...А улица была прекрасная, вся в свежих каплях недавнего дождя. Листья на липах — светлые, новенькие, отлакированные, и поливальная машина катилась, сияя радугой, зачем-то поливая уже мокрый асфальт. Я купила мороженое и шла, покусывая твердую, украшенную розой вершущку. Зубы тихонечко ныли, но мне было хорошо так обедать — на ходу, мороженым. Что-то студенческое.

Ноги еще легки, осенний день еще длинен, люди идут, торопятся, много хорошеньких, остригусь и начну.

А вот и парикмахерская. В огромной витрине — фотографии девушек в масштабе три к одному, каждая натужно бережет прическу. Надпись: «Здесь производятся все виды обслуживания в порядке общей очереди».

Идти так идти. Я потянула высокую тяжелую дверь с вертикальной надписью: «К себе». Внутри пахло сладким одеколоном, паленым волосом и еще чем-то противным. Сидело и стояло десятка два женщин.

У, какая очередь! Может, уйти? Нет, решено, выстою.

Я спросила:

— Кто последний?

Несколько голов повернулось ко мне и не ответило.

— Скажите, пожалуйста, кто последний?

— Здесь последних нет,— сострила черномазенькая, с задорным зубом.

— Крайнюю ищите, гражданочка? — спросила пожилая в голубых носочках, с седоватой мочалой на голове.— Крайняя будто за мной занимала, да ушла.

Руки у нее были красные, натруженные и тяжело лежали между колен.

— Так я буду за вами, можно? А как вы думаете, товарищи, сколько придется ждать?

— Часа два в крайнем случае,— ответила пожилая.

Другие молчали. Одна из них, статная, белая, как-то по-лебединому повернула шею, прошлась по мне ярко-синими глазами и отвернулась.

Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно когда их много и они заняты каким-то своим, женским делом. Мне всегда кажется, что они должны меня осуждать. За что? А за что придется. За мой почтенный возраст (тоже, красота наводит пришла!), за очки, английскую книгу в авоське. В этой очереди меня сразу потянуло к той, пожилой, в носочках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснилась на стуле, давая мне место.

— Садись, чего там. Сказано, в ногах правды нет.

Я осторожно примостилась на самый краешек.

— Да ты не бойся, всей задницей садись. Поместимся: у меня-то постная. Была да вся вышла.

Уселись.

— Хочу шестимесячную сделать,— сказала она.— Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать.

— А дети есть?

— Сыновья. Двое.

— И у меня двое.

— А муж гуляет?

— Нет у меня мужа.

Она помолчала.

— Кому как повезет,— сказала она, подумав.— У меня хоть и гуляет, да не пьет, а у тебя и вовсе нет. Ты все-таки не бросай, надейся. Не такая уж слишком пожилая, из себя полная.

— Я не бросаю,— сказала я.

— Следующий! — крикнул из дверей жирный мастер в белом халате, с ярко-зеленым галстуком.

Черненькая с зубом подскочила и ринулась вперед.

Женщины загалдели.

— Не ее очередь!

— Не пускать!

— Я на шестимесячную, — отбивалась она.

— Все на шестимесячную!

— Я тоже на шестимесячную! — пискнула я.

— Сказано: все виды операций...

— В порядке общей очереди! А это разве порядок?

Общая очередь орала и волновалась.

— Не хулиганьте, гражданочки, — сказал жирный. — Всех обслужим, как один человек, будьте уверены.

Черненькая прошмыгнула в зал. Шум продолжался.

— Он с ей живет, — сказала белая, с лебединой шеей.

— Ну что ж, что живет... Порядок тоже нужно знать. Мало кто с кем живет.

— А вот потребуем жалобную книгу...

— Заведующего бы сюда...

— Заведующего...

— Позвать заведующего!

Седая старушка за барьером гардероба взялась за вязанье. В кабине кассы розовая кассирша в голубом от белизны халате зевнула, вынула зеркальце и, напряженно растянув рот, стала ваксить толстые ресницы.

Именно эти ресницы меня взорвали. Робости как не бывало. Я подошла к кассе.

— Жалобную книгу.

Она поглядела неприязненно.

— А чё вам нужно жалобную книгу?

— Не ваше дело. Любой посетитель в любой момент может потребовать жалобную книгу.

Очередь зарокотала, теперь уже против меня:

— Сразу чуть что...

— Одного человека приняли, а она жалобную книгу...

— Она в жалобную напишет, а людям неприятности...

— Тоже понимать нужно... Работают люди...

Не любят у нас жалобщиков. Но я уже закинулась.

— Гражданка, — сказала я голосом милиционера, — если вы мне сейчас же не дадите жалобную книгу...

Кассирша вышла из кабины.

— Я вам сейчас заведующего позову.

Вышел заведующий — чернокудрый детина с лицом мясника.

— Чего вам, гражданка?

Я объяснила ему, что мастер только что принял женщину без очереди. Ссылалась на свидетелей, но те молчали. Он выслушал меня без выражения лица и потом крикнул в зал, как кличут собаку:

— Роза!

Вышла конопатенькая парикмахерша в марлевом тюрбане.

— Роза, обслужишь гражданку без очереди.

— Слушаю, Руслан Павлович.

— Да разве я об этом? — заволновалась я. — Да разве мне нужно без очереди?

Руслан повернулся и вышел.

— Роза, — обратилась я к ней, — поймите, я совсем не о себе. Я только против беспорядка.

— Сами беспорядок делаете, несознательные, — сказала Роза и тоже ушла.

Я вернулась в очередь. Женщины молчали. Даже пожилая в носочках не подвинулась, а крепко сидела на своем стуле.

Ну и пусть...

Ждать еще долго. Прислонясь к прохладной, маслом крашенной стене, я стояла и думала.

...А хорошо бы все-таки уехать в Новосибирск. Дали бы мне однокомнатную квартиру... Или, еще лучше, номер в гостинице, где прошлый раз жила. Уж больно домик хорош — смешной, разноцветный: ухо зеленое, брюхо розовое. Кругом лес, трава на участке человеку по шею, зеленая, густая, чистая, с султанами. На улицах птицы поют. А по тротуарам — математики, физики, очкастые, бородатые, молодые, веселые...

...А еще хорошо бы, может быть, и в самом деле пойти замуж, выкинуть такое коленце, за старого друга, друга молодости, и уехать к нему в Евпаторию. Он всю жизнь меня любил, любит и сейчас, знаю. Теперь уже старенький — на сколько же лет старше меня? на десять? Как это говорится: старый — это тот, кто старше меня на десять лет. Ну что ж? Взять выйти замуж и уехать. Пусть они наконец-то привыкнут сами о себе думать. А работа? Ну, найду что-нибудь полегче. А то и вовсе проживу без работы. Буду в море купаться, в садике цветы посажу, кур заведу... А что? Стирать буду, белье вешать, голубое от синьки, на солнечном каменистом дворе... Руки мыльные, волосы взмокнут, растреплются, отведу их с лица локтем... А тут он подойдет, по плечу погладит: «Устала, родная моя? Отдохни, голубчик». — «Нет, я еще ничего». Чепуха, бред.

— Кто желает обслуживаться? — раздался резкий мальчишеский голос.

Я очнулась.

Рядом с очередью стоял молодой паренек, лет восемнадцати, с хохолком на макушке. Весь какой-то не то чтобы просто тощий, а узкий: узкое бледное лицо, тонкие, до острых локтей голые руки, и на бледном диковатом лице — горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок.

— Кто здесь желает обслужиться? — повторил он. На очередь он глядел презрительно, словно не он их, а они его должны были обслужить.

— Я хочу...

— И я хочу...

— И я...

— Я первая сказала!

— Нет, я!

Очередь снова загудела.

— Между прочим, обязан предупредить вас, — сказал паренек, — я еще не мастер, а только стажер и вполне могу вас изуродовать.

Женщины примолкли.

— Нет уж, мы лучше здесь, чин чинарем, — вздохнула пожилая.

Я решила.

— Давайте, уродуйте.

Паренек быстро рассмеялся. Было что-то диковатое не только в глазах его, но и в улыбке. Зубы острые, ярко-белые.

— Это вы хорошо сказали: уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте.

Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю каморку. Два мастера, не в белых уже, а в черных халатах колдовали над двумя женскими головами, откинутыми назад, в помятые жестяные тазы. Один бритвенной кисточкой накладывал краску, другой разглядывал на свет зеленую жидкость в мензурке. Неужто в зеленый тоже красят?

Пахло здесь как-то по-другому, душно и тускло. У двери два узкобрючных подозрительных шкета с косо срезанными бачками вели пониженными голосами странную беседу: «Тридцать «лонды» плюс пятьдесят фиксажа». Пахло спекуляцией.

— Не стесняйтесь,— сказал паренек,— я вас за той перегородкой обслужу.

Шаткая голубая перегородка покачивалась, словно дышала. На стене в золотой паршивой рамочке висела грамота: «Передовому предпринятию».

Я села в кресло.

— Выньте шпильки,— приказал паренек.

Я вынула.

Он приподнял прядь волос, пощупал, пропустил сквозь пальцы, взял другую.

— Волос посечен,— сказал он.— Результат самозакрутки. Какую операцию желаете?

— Остричь... И шестимесячную, если можно.

— Все можно. Можно и шестимесячную. Только, предупреждаю, для теперешнего времени эта завивка несовременна. Со своей стороны могу вам предложить химию.

— То есть химическую завивку?

— Именно. Самый современный вид прически. Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию.

— Чем же эта химия отличается от шестимесячной?

— Небо и земля. Шестимесячная — это баран. Может быть, кому-нибудь и нравится баран, но я лично против барана. Химия дает более интересную линию прически, как будто она раскидана ветром.

Мне вдруг захотелось, чтобы и у меня прическа была раскидана ветром.

— Валяйте свою химию,— сказала я.— А долго это?

— Часа четыре, не меньше. Если халтурно, то можно сделать и за два часа, но я не привык работать халтурно.

— Что же это — до одиннадцати?

— Если не до полдвенадцатого.

...Эх, Коля и Костя там без обеда... Догадуются ли дурни что-нибудь купить себе? Ничего, пусть привыкают.

— Ладно, делайте.

— А вы не беспокойтесь,— вдруг сказал парень,— я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требуют, и ответственности меньше. Я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову.

— А я и не беспокоюсь,— ответила я.— Было бы о чем. Подумаешь, красоту какую погубите.

Он опять рассмеялся по-своему, быстро показав зубы.

— Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно.

Ну что ж, сама напросилась.

— А как вас зовут? — спросила я.

— Виталик.

— Терпеть не могу таких имен: Валерик, Виталик, Владик, Алик... Только и слышишь: ик, ик, ик... Это заикание, по-моему, ужасно не свойственно русскому языку.

— Как вы сказали? Не свойственно русскому языку? В каком смысле?

— Раньше таких окончаний не было, они теперь развелись. Что-то в них сентиментальное, сюсюкающее. Представьте себе, например, героев «Войны и мира»: Николай Ростов, Андрей Болконский, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали: Колик, Андрик, Пьерик...

Он опять засмеялся.

— Интересно. Значит, нельзя говорить Виталик?

— Не то что нельзя, а лучше не надо.

— А как же меня звать?

— Просто Виталий. Хорошее, звучное имя. Виталий — значит жизненный.

— Позвольте, я запишу.

Он вынул из кармана халата большую потрепанную записную книжку.

— Виталий, жизненный. В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли.

— Какие мысли?

— Разные, относящиеся к разным сторонам жизни. Например, такая мысль: кто своего времени не уважает, сам себя не уважает. Между прочим, верно.

— Чья же это мысль?

— Моя. Голова чистая?

Я не сразу поняла.

— Как будто бы. Вчера мыла.

— Под вашу ответственность.

Ох и строг. Я чувствовала себя, как больной у хирурга, и с робостью разглядывала незнакомые инструменты.

— А это что за топорик?

— Дамская бритва. Стрижка под химию всегда выполняется бритвой, по мокрому волосу. Ниже голову.

В его коротких командах («ниже голову») было что-то неуютное, не парикмахерское. Обычно парикмахеры женскую голову именуют «головкой». Он сурово отсекал наискось мокрые пряди, приподнимал их, подкалывал, расчесывал, снова резал. Прошло с полчаса. Он заговорил.

— Если не ошибаюсь, вы сказали, что Виталик говорить нельзя. А как, например, Эдик? Есть такое имя Эдик? У меня, между прочим, товарищ Эдик.

— Вероятно, он Эдуард.

— Эдуард — это же не русское имя?

— Нет, не русское.

— Откуда же у нас, русских, такое имя?

— Была такая мода одно время, по-моему, глупая.

— А у вас дети есть?

— Два сына.

— Какого возраста?

— Старшему двадцать два, младшему двадцать.

— Как и мне. Мне тоже двадцать, двадцать первый. А как ваших детей зовут?

— Коля и Костя. Простые русские имена. Самые хорошие.

— А я думал, интереснее Толик или Эдик. Или еще Славик.

— Это вам только кажется. Когда у вас будут дети, я вам советую назвать их самыми простыми именами: Ваня, Маша...

Это его позабавило. Не знаю, простые ли имена или идея, что у него будут дети.

Он все еще стриг. Сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову...

— Скоро? — спросила я.

— Ниже голову. Нет, еще не скоро. Операция сложная. Извините, если я вас еще спрошу. Вот вы упомянули в своем разговоре несколько имен и фамилий: Николай, кажется, Ростовский, Андрей Болконский и еще Пьер... Как будто Пьер. Какая его фамилия?

— Пьер Безухов.

— Так вот, я хотел вас спросить. Пьер — это разве русское имя?

— Нет, французское. По-русски — Петр.



— Так вот вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Эдик не в духе русского языка. А сами употребили такое французское имя, как Пьер.

Ай да парень! Поймал-таки меня. Думал-думал и поймал.

— Да, вы правы. Мой пример не совсем оказался удачен.

— И какие эти люди, о которых вы говорите? Андрей, и Николай, и Пьер? Они русские?

— Русские. Но, знаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски...

— А в какие это времена?

— Во времена «Войны и мира».

— Какой войны? Первой империалистической?

Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо.

— Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»?

— А чье это произведение?

— Льва Толстого.

— Пойдите. — Он снова вынул записную книжку и стал листать. — Ага. Вот оно, записано: Лев Толстой, «Война и мир». Это произведение у меня в плане проставлено. Я над своим общим развитием работаю по плану.

— А разве вы в школе «Войну и мир» не проходили?

— Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Отец у меня сильно пьющий и мачеха слишком религиозная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить свое образование, я, в сущности, имею неполных семь классов, но окончание образования входит в мой план. Пока не удастся заняться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно плану.

— И что же вы сейчас читаете?

— Сейчас я читаю Белинского.

— Что именно Белинского?

— Полное собрание сочинений.

Он открыл фибровый чемоданчик и из-под груды бигуди, деревянных палочек, флаконов и еще чего-то вытащил увесистый коричневый том.

Я открыла книгу. Собрание сочинений Белинского, том первый. «Менцель, критик Гёте»...

— Виталий, неужели вы все это читаете?

— Все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского...

— А кто же вам составляет план?

— Я сам. Конечно, пользуясь советами более старших товарищей. Я посещал свою учительницу русского языка, она мне дала несколько наименований. Некоторые из клиентов, более культурные, тоже помогают в работе над планом.

— Но ведь это очень долго! Подумать только, Виталий! Год на Белинского!

— Ну что же, что год. Я еще молодой.

...Стрижка как будто приближалась к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало. Всей кожей головы я чувствовала, что острижена коротко, уродливо, неприлично. А, была не была! Назло им обреюсь наголо.

— Виталий, — спросила я, — а что вы собираетесь делать дальше?

— Смочить составом, накрутить...

— Нет, я не о голове своей, а о вашей жизни. Что вы собираетесь делать дальше?

— Этот вопрос у меня тоже подработан. Буду повышать себя в своем развитии, сдам за десятилетку...

— А потом?

— Потом я хотел бы в институт.

— Какой институт?

— Этого я еще не знаю. Может быть, вы посоветуете какой-нибудь институт?

— Это довольно трудно — ведь я не знаю ваших вкусов, способностей. А сами вы чем хотели бы заниматься?

— Я бы хотел заниматься диалектическим материализмом.

Я даже рот открыла. Любопытный парень!

— В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы — преподавать? Или быть теоретиком, развивать науку?

— Нет, я не сказал бы преподавать. Я не чувствую склонности к преподаванию. Нет, я именно, как вы сказали, хотел бы развивать науку.

— А какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это не просто!

— Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как-то: «Новое время», «Курьер Юнеско» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента...

— Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Ведь...

Я запнулась. Он смотрел в зеркало суженным взглядом, поверх бигуди, флаконов, ножниц.

— Я думаю,— твердо сказал он,— что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом. А вы не знаете, где специализируются по этой профессии?

— Знаю,— ответила я.— Московский государственный университет, факультет философии.

...Операция была длинная, и мы провели вместе весь вечер. Виталий сосредоточенно возился с моими волосами, накручивал их на деревянные палочки в форме однополого гиперболоида, смачивал составом, покрывал пышной мыльной пеной, споласкивал раз, споласкивал два, крутил на бигуди, сушил, расчесывал. Он уже устал, и на узком лбу, по обе стороны от длинных прямых бровей, выступили капельки пота. Было уже без четверти одиннадцать, когда он последний раз провел щеткой по моей голове и отступил, а я позволила себе взглянуть в зеркало.

Ну и ну! Вот она какая, химия... Блестящая, живая масса темных волос, в которой светящимися паутинками потонули белые нити, казалась не волосами даже, а дорогим мехом — такой сплошной, целостной шапкой, так непринужденно облегли они голову. А эта изогнутая полупрядь, упавшая, словно ненароком, с левой стороны лба... словно прическу только что разбросало ветром...

— Как вы удовлетворены? — спросил Виталий.

— Замечательно! Да вы, оказывается, художник!

— Меня рано называть художником, но если я буду заниматься этой специальностью, то постараюсь проявить себя как художник.

— Спасибо! Большое спасибо! А сколько я вам должна?

— В кассу пять рублей новыми. А сверх того — зависит от желания клиента.

...По его лицу нельзя было сказать, удовлетворило ли его на этот раз «желание клиента». Деньги он взял просто и сухо сказал «спасибо».

— До свидания, Виталий,— сказала я.— Как-нибудь я еще к вам найду, ладно?

— А я прекращаю работу в этой точке,— ответил он,— и возвращаюсь на свою старую точку. Все, что можно было взять от мастеров, я уже взял.

— А где же ваша старая точка?

Он назвал адрес, телефон. Я записала.

— Виталий... А как дальше?

— Виталий Плавников.

— Виталий Плавников,— записала я.— Буду вас помнить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалева.

Он подал мне руку и сказал:

— Я тоже от вас почерпнул.

## 3

Я вернулась домой. В квартире было тихо (спят, паршивцы, наголодались и спят), но в моей комнате горел свет. Я вошла. На круглом столе, под классическим оранжевым абажуром, стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На большой тарелке затейливо разложены бутерброды — боже ты мой, какие бутерброды — с ветчиной, с балыком, с икрой... В букет вложен конверт, в конверте — письмо. Каются, черти.

Я достала письмо. Отпечатано на машинке. Две страницы. Что за чепуха?

«Все свиньи земного шара сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней — странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство и душевный покой...»

(Фу ты черт, какая ерунда! Что там дальше?)

«...Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса...»

(Вот оно куда клонят!)

«...Маленькие поросята, действительно, очень милостивы. Их живость и подвижность, свойственные молодости, составляют резкую противоположность лени и медленности старых свиней. Мать очень мало заботится о них и часто не prepares даже гнезда перед родами. Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально...»

Брем, «Жизнь животных», т. 2, стр. 731—745.

— Ой, мерзавцы, мерзавцы,— простонала я и все-таки не могла не смеяться, даже слезы потекли.

В мальчишеской комнате что-то упало, и появился заспанный Костя в трусах.

— Ну как? — спросил он.— Дошло?

И вдруг, увидев меня, завопил:

— Мать! Какая прическа!! Потрясно! Николай, скорей сюда! Погляди, какая у нас мать!

Вылез Коля, тоже в трусах.

— От лица поруганных поросят...— бормотал он. И вдруг остолбенел.— Ну и ну,— только и сказал он.— Лапу!

Я дала им по одной руке — Косте правую, Коле левую. И опять они целовали каждый свою руку, а я смотрела на две головы — соломенно-желтую и угольно-черную.

...Дураки вы мои родные. Ну, куда ж я от вас уйду...

## 4

На другой день, как всегда, я пошла на работу. Ну, не совсем как всегда: на плечах у меня была голова, а на голове — прическа. И эту голову с прической я принесла на работу.

Моя секретарша Галя поглядела на меня с удивлением — мне хотелось думать, с восторгом, — но сказала только:

— Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то, не то из Совета Министров, не то из Совета по кибернетике, я забыла...

— И что сказали?

— Тоже забыла... Кажется, просили позвонить...

— По какому телефону?

— Я не спросила.

— Галя, сколько раз вам нужно повторять: не можете запомнить — записывайте.

— Я не успела... Они быстро так трубку повесили.

Галя была смущена. Крупные голубые глаза смотрели виновато, влажно.

— Простите меня, Марья Владимировна.

— Ну, ладно, только чтобы это было в последний раз.

— В последний, Марья Владимировна, честное пионерское, в самый последний.

Она вышла.

Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверно, люблю ее. У меня никогда не было дочери. А как она мне нравится! Нравятся ее большие, голубые, эмалевые глаза, тоненькая талия, выпуклые икры на твердых ножках. И еще она меня интересуется. Чем? Попробую объяснить.

Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Мы существуем в одном и том же пространстве и даже неплохо друг к другу относимся, но — ортогональны. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами — не могу.

Мне предстояло несколько телефонных разговоров, и я взяла трубку. Так и есть — говорят по параллельному аппарату и, конечно, Галя со своим Володей. Уславливаются вечером пойти в кино — мировая картина. Прислушиваюсь, какая такая мировая картина? Оказывается, «Фанфары любви». Долго говорят, а телефон все занят. Ничего, успею. Фанфары любви... Я положила трубку.

Все-таки чем она, моя Галя, живет — вот что мне хотелось бы знать. Неужели то, что на поверхности, — это и все? Только бы прошел рабочий день, а там — кино, Володя, танцы, тряпочки? А что? Тоже жизнь... Выйдет замуж за своего Володю, будет носить яркий атласный сверток... И я когда-то носила свертки, только не атласные... Сыновей растила в самую войну. Вырастила... Воспитать не сумела. Нет, они все-таки хорошие, мои мальчишки.

Вошел мой заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Когда боролся с излишествами, мы с ним объединили наши кабинеты. Вздорный старик, болтлив и волосы красит.

— Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны!

Он поцеловал мне руку. Обычно он этого не делает.

— Острижена, причесана — только и всего.

— Нет, не говорите. Все-таки наша старая гвардия.

...Да, старая гвардия. Я представила себе, как он, крадучись, проникает в такой вот вчерашний закуток за фанерной перегородкой и как

там атлетический Руслан накладывает ему краску... Бррр... А в сущности, почему? А если бы он был женщиной?

— Как со сметой на лабораторию? — сухо спросила я.

— Не утверждают.

Ну, я так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад.

— Что же они говорят?

— Надо пересмотреть заявку на импортное оборудование, на пятьдесят процентов заменить отечественным.

— А вы им говорили, что отечественного оборудования этой номенклатуры нет в природе?

— Говорят, производство осваивается.

— Осваивается! Когда ж это будет?

Вот и работай с такими помощниками. Я закурила и стала просматривать смету. Он нервно отмахивался от дыма.

— Зачем вы курите? Грубо, неженственно...

— Зато вы слишком женственны.

Сказала и сразу пожалела. Он даже побледнел.

— Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать.

— Извините меня, Вячеслав Николаевич.

Нет, надулся старик. Нашел благовидный предлог и вышел.

...Помню, моя няня когда-то говорила мне: «Эх, Марья, язык-то у тебя впереди разума рыщет». Так и осталось...

Смерть не люблю, когда на меня обижаются, прямо заболеваю. Вот и сейчас отсутствие Лебедева сковывало меня по рукам и ногам. Ну куда он пошел? Шатается где-нибудь по коридорам бледный, расстроенный. Или разговорился с кем-то, жалуется. А ему: «Ну чего вы хотите? Баба есть баба».

Вошла Галя, конфузливо пряча глаза.

— Марья Владимировна...

— Опять что-то забыли?

— Нет, Марья Владимировна, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить, ненадолго?

— Володя?

— Нет, как вы можете даже подумать! Совсем не Володя.

— Ну а что, если не секрет?

— В ГУМе безразмерные дают.

— Ладно, поезжайте, раз такой случай.

...Сколько я себя помню, всегда в дефиците были какие-нибудь чулки. Когда-то — фильдекосовые, фильдеперсовые. Потом — капрон. Теперь — безразмерные. Во время войны — всякие.

— Марья Владимировна, может быть, и вам взять?

— Ни в коем случае.

— Так я поеду тогда...

— Поезжайте, только сразу.

Эх, некстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Естественная потребность человека — иногда подумать.

В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить, так им и сказала. «Да что вы, Марья Владимировна, мы вам обеспечим все условия, дадим крепкого заместителя». Вот он, мой крепкий заместитель. Надулся теперь — хоть бы ненадолго.

Если считать в абсолютном, астрономическом времени, то я, пожалуй, и не так уж страшно занята, могла бы урвать часок-два для науки. Не выходит. Научная задача требует себе все внимание, а оно у меня разворовано, раздергано на клочки. Вот, например, на выборку: нет фанеры для перегородок. У инженера Скурихина обнаружено две жены. Милиционеры просят сделать доклад о современных проблемах кибернетики. В недельный срок предложено снести гараж — а куда я машины дену?

Рваное внимание, рваное время. Может быть, его не так уж мало, но оно не достается мне одним куском. Только настроишься — посетитель. К Лебедеву отсылать бесполезно — все равно отфутболит обратно. Раньше мне казалось: вот-вот дела в институте наладятся, и я получу свой большой кусок времени. Потом стало ясно, что это утопия. Большого куска времени у меня так и не будет.

И, как назло, сегодня передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, которая смеется надо мной уже лет восемь.

Начать с того, что она приснилась мне во сне. Конечно, снилась мне ерунда, но, проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь, не такой идиотский, как все прежние. Надо было попробовать. И поэтому сегодня мне позарез нужен был целый кусок времени. Не тут-то было. Телефон звонил, как припадочный. Я пыталась работать, время от времени поднимая трубку и отвечая на звонки. И как будто что-то начало получаться... Неужели?

В дверь постучали. Просунула голову девушка из экспедиции.

— Марья Владимировна, вы меня извините... Гали нет, а у меня для вас один документ, сказали, что очень срочный.

— Ну, давайте.

Я взяла документ.

«21 мая 1961 года в 22.00 на улице Горького задержан гражданин Попов, Михаил Николаевич, в невменяемом состоянии, являющийся, по его заявлению, сотрудником-лаборантом Института информационных машин. Будучи помещен в отделение милиции, гражданин Попов оправлялся на стенку и мимо...»

— Хорошо, я разберусь,— сказала я.

Девушка ушла. Я снова попыталась сосредоточиться. Опять забрезжил какой-то просвет. И снова телефон. Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый! Я взяла трубку:

— Слушаю.

— Девушка,— сказал самоуверенный голос,— а ну-ка дайте сюда Лебедева, да поскорее.

— Послушайте, вы,— сказала я,— прежде чем называть кого-нибудь «девушка», узнайте, девушка ли она?

— Чего, чего? — спросил он.

— Ничего,— злорадно ответила я.— С вами говорит директор института профессор Ковалева, и могу вас уверить, что я не девушка.

Голос как-то забулькал. Я положила трубку. Через минуту — снова звонок. Звонили долго, требовательно. Я не подходила. Извиниться хочет, нахал. Пусть побеспокоится.

...А все-таки зря я его так. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так: «Директор института, профессор Ковалева». Старая дура. Старая тщеславная дура. И когда только станешь умнее? «Остригусь и начну». Остриглась, но не начала.

После этого звонка я присмирела, скромно сидела у телефона, вежливо говорила: «Марья Владимировны нет. А что ей передать?», записывала сообщения — словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Кстати, Галя так и не пришла, Лебедев тоже.

Хуже было с посетителями. Им-то нельзя было сказать: «Марьи Владимировны нет», и у каждого было свое дело, липкое, как изоляционная лента. Время было совсем рваное, но все-таки я работала, писала, вцепившись свободной рукой в волосы, курила, комкала бумагу, зачеркивала, снова писала... Вот уже и звонки прекратились — вечер. Когда я очнулась, было десять часов. У меня получилось.

Я еще раз проверила выкладки. Все так. Боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить...

Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить: ничто, ни любовь, ни материнство — словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты.

Со всем тем я опять забыла пообедать.

Я запечатала сейф и спустилась в вестибюль. Все уже давно ушли: и гардеробщица и сотрудники. Мой плащ, довольно обшарпанный, висел — один как перст. Я остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. От вчерашней прически, разбросанной ветром, следа не осталось. Здесь, похоже, хозяйничал не ветер, а стадо обезьян.

Я оделась и пошла домой. Быстрый дождик отстукивал чечетку по новеньким листьям. И всегда-то я забрызгиваю чулки сзади.

## 5

Да, черт меня дернул остричься. Забот прибавилось. Раньше было просто: заколола волосы шпильками — и все. А теперь... В первый же раз, когда я вымыла голову и легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо. Словно подушку расפורили.

Я позвонила Виталию.

— Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом.

— Голову мыли? — строго спросил Виталий.

— Конечно, мыла. А вы думали, что я уже никогда не буду голову мыть?

— Можно мыть и мыть. Волос требует ухода. Можно применять яичный желток...

— Простите, мне некогда слушать, Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве, а с такой головой...

— Приезжайте, я вас обслужу.

Так я отыскала Виталия в его старой «точке» и стала ездить к нему почти каждую неделю. «Точка» была небольшая, небожкая, без длинных очередей и зеркальных витрин, с двумя просиженными креслами в затрапезном дамском зале.

Рядом с Виталием работал только один мастер — старик Моисей Борисович, с дрожащими руками и кивающей головой. Как только он ухитрялся этими своими руками работать? А работал, и превосходно. Правда, холодную завивку он не любил. Его специальностью были щипцы.

— Щипцы — это вещь, — говорил он. — Вы тратите время, но вы имеете эффект.

Ходили к нему «на щипцы» несколько старых дам. Мне они нравились — седые, строгие, несдающиеся. Особенно хороша была одна — с черными, ясными глазами, гордым профилем и густыми, тяжелыми, голубыми сединами. Когда она их распускала, голубой плащ ложился на спинку кресла. Она сидела прямо-прямо и, не отрываясь, глядела в зеркало, плотно сжав небольшой бледный рот. Какая, должно быть, была красавица! А Моисей Борисович хлопотал щипцами, вращал их за ручку, приближал к губам, снова вращал и наконец решительно погружал

в голубые волосы, выделявая точную, стерильно-правильную волну. И все время кивал головой, словно соглашался, соглашался...

— А вы умеете щипцами? — спросила я как-то Виталия.

— Отчего же? Мы в школе все виды операций проходили: ондюляция, укладка феном, вертикальная завивка... Только для нашего времени это все не соответствует. Наше время требует крупные бигуди, владение бритвой и щеткой, химию, форму головы. Мастер, если он уважает себя, должен знать все особенности головы клиентки. Если у клиентки уплощенная форма головы, мастер должен предложить ей такую прическу, чтобы эта уплощенность скрадывалась. Бывает, что голова у клиентки необыкновенно велика или шея короткая, это все необходимо учесть и ликвидировать с помощью прически. Если бы у меня была жилплощадь, я бы развернул работу по своей специальности, но я лишен всяких условий.

— А где вы живете?

— По необходимости я вынужден снимать угол у одной старушки. Прописан я у сестры, но у нее пьющий и курящий муж и двое детей, комната двенадцать с половиной метров, но проходная, один человек буквально живет на другом, без всякого разделения. Это создает неподходящую, нервную обстановку, поэтому я снял квартиру хотя бы ценой материальных лишений.

— А с родителями вам жить нельзя?

— С отцом и с мачехой? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду не то чтобы пользоваться с их стороны поддержкой, но даже отдавать часть своего заработка отцу на вино, а это меня не удовлетворяет.

## 6

Как было сказано, мы с Виталием встречались каждую неделю. А работал он медленно, вдумчиво, и мы проводили вместе довольно много времени. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над «планом личного развития» и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Иногда он приносил специальные парикмахерские журналы — на немецком языке, на английском, — и я переводила ему текст сплошняком, включая рекламы и брачные объявления, например:

«Молодой парикмахер, 26 лет, рост 168 см., вес 60 кг., желает жениться на парикмахерше, хорошо освоившей химическую завивку, не старше 50 лет, имеющей собственное дело...»

Случалось, я поправляла ему неправильные ударения; он внимательно слушал, и ни разу я не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю», «половина первого» вместо «полпервого». Изредка он брал у меня деньги в долг — не помногу, рублей пять, десять — и всегда возвращал точно, день в день.

Часто он расспрашивал меня о моих сыновьях. Видимо, эта мысль его занимала. Нет-нет, да и спросит:

— Ваши сыновья учатся?

— Да. Коля уже кончает, Костя — на втором курсе.

— На кого они учатся?

— На инженеров. Коля — по автоматике, Костя — по вычислительным машинам.

— Они сами выбрали свою специальность или вы им посоветовали?

— Сами выбрали.

— А испытывали они затруднение при выборе специальности?

— Право, не знаю. Кажется, не испытывали.



- А они хорошо учатся, ваши сыновья?
- По-разному. Старший — ничего, младший — неважно.
- Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться.
- Я думаю, да.
- Иногда его интересовали более сложные вопросы.
- Как вы добились, чтобы ваши сыновья не сделались плесенью?
- Как добилась? Я специально этого не добивалась.
- Вы проводили с ними беседы?
- Нет, кажется, не проводила...

...Я ходила к Виталию, время шло, и постепенно происходили какие-то перемены.

Во-первых, Виталий сдал на мастера.

Когда я спросила его об экзамене, он ответил:

— Это нельзя даже назвать экзаменом, пустяки. Мои требования к самому себе далеко выходят за пределы этого экзамена.

Во-вторых, появились очереди. Не только перед праздниками, но и в обычные дни. И все — только к Виталию.

— Виталий, вы приобретаете популярность.

— Мне эта популярность, если сказать правду, ни к чему. Я заинтересован подобрать себе солидную клиентуру, у которой я мог бы что-либо почерпнуть. Меня, например, рекомендовали одной жене маршала. Другая, врач, приехала из ГДР и привезла бигуди совсем нового типа. А эти, — он презрительно мотнул в сторону очереди, — им что баран, что не баран, все одинаково.

...Удивительно все-таки меняется психология в зависимости от обстоятельств. Это я говорю вот к чему. Когда я сама ждала у дверей зала и жирный мастер в зеленом галстуке принял кого-то без очереди, я орала и волновалась. Теперь я сама проходила к Виталию без очереди, а кто-то сзади орал и волновался и иногда требовал жалобную книгу. Тогда я смотрела на проходящих без очереди снизу вверх, теперь на стоящих в очереди — сверху вниз. Совсем другой ракурс. Вечная история. Держатели привилегий жаждут их сохранить, остальные — уничтожить. Мне было стыдно своих привилегий, и душой я была с теми, кто орал и волновался, тело же мое садилось без очереди в кресло. Что делать? Времени у меня было до ужаса мало.

— У этой дамы сегодня доклад в министерстве, — сказал как-то Виталий одной особенно напористой девушке. У нее были глаза смелые и светлые, как вода.

— Мало ли у кого где может быть доклад. Очередь есть очередь.

Совершенно верно... Душой я была на стороне этой девушки.

— Ну хорошо, я уйду.

Но кругом, как всегда в таких случаях, зашумели протестующие голоса:

— Может быть, у нее и правда доклад...

— Пожилая, видно интеллигентная...

— Одного человека не подождем, что ли?

Таким образом, на волне народного признания меня вынесло в кресло. Никакого доклада в министерстве у меня в тот день не было. До чего же мне было стыдно!

...А все-таки доклады в министерстве время от времени случались, а иной раз и того хуже — приемы. Тут уж без Виталия было не обойтись. Однажды в день такого приема — черт бы его взял — я пришла прямо в парикмахерскую, без звонка. Моисея Борисовича не было, Виталий был один. Он сидел в своем кресле, задумавшись и разложив перед

собой свою производственную снасть — разнокалиберные бигуди, зажимы, жидкости, пряди волос. Он не сразу меня заметил, а когда заметил, отнесся не по обычаю холодно:

— А, Марья Владимировна, это вы... А я тут только что развернул работу, пользуясь тем, что один. Пытаюсь понять особенность одной операции в связи с качеством волоса.

— Телефон был занят... Если вам некогда, я уйду.

— Нет, отчего же? Раз уж пришли, я вас обслужу. Только придется подождать.

Он стал прибирать свое рабочее место, а я села в угол с книгой. Ох, это чтение урывками! Сколько раз я себя уговаривала бросить его. Все равно ничего не воспринимаешь. Просто дурная привычка — как семечки лущить...

А тут еще против меня шебаршил маленький радиоприемничек — от горшка два вершка — и мешал мне читать: передавали скрипичный концерт Чайковского. Вообще я люблю эту вещь, но сейчас шло мое самое нелюбимое место — когда скрипка без сопровождения давится двойными нотами, безнадежно пытаюсь изобразить оркестр. А ну, ну, кончай скорей эту музыку, понукала я ее мысленно. Давай-ка, давай полный голос. И она послушалась, дала. Скрипкин голос запел, но рядом с ним неожиданно появился второй. Флейта, что ли? Откуда в концерте Чайковского флейта? Я подняла голову. Это свистал Виталий.

Он убирал со стола — и свистал. Мало того, он еще двигался под музыку. Он сновал между столом и шкафом — узкий, легкий, с мальчишеским выворотом острых локтей — и свистал. Свистал осторожно, бережно, тонко поддерживал скрипку, то поддакивал ей: так, так, так, то разубеждал: нет, нет, нет, то отступал, то возникал снова. Я заложила пальцем страницу и слушала, удивляясь, с морозом по коже.

И вдруг щелк: Виталий выключил радио.

— Садитесь в кресло, Марья Владимировна, я готов.

— Виталий, милый, это же замечательно! Кто вас научил так свистать?

— А, свистать? Это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения...

— А вы знаете, что вы сейчас свистали?

— Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром, де-дур, музыка Петра Ильича Чайковского.

— Виталий, послушайте, вы же очень музыкальны, вам имело бы смысл учиться...

— Я об этом думал, но решил, что нет. Для того, чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью.

...Виталий работал, а я сидела и молчала, послушно поднимая и наклоняя голову. Он заговорил сам.

— Музыкой я с самых малых лет интересовался, еще в детском доме. Помню, играл оркестр, я отстал от прогулки, меня хватились, стали искать. Я стоял как прикованный. Другой раз воспитательница принесла духовые инструменты, маленькие, а может быть, и большие, только я помню, что маленькие. Там такие кастаньеты были, тарелки, барабан и еще такие, полукруглые, как они называются?

— Литавры, что ли?

— Да, точно, литавры. Я стал на этих литаврах играть и такой беспорядок спровоцировал, что это ее возмутило. Она очень стала сердиться и наступила на меня, навалилась, потоптала и стала бить. Я этого никогда не забыл и теперь, когда остаюсь один, прямо плачу, чувствую, как она меня топчет.

— Какой ужас! Что же, вас вообще били там, в детском доме?

— Нет, не били никогда.

— А как вы попали в детский дом? Вы же говорили, у вас есть отец?

— Отец меня воспитать не мог. Моя мать — я ее никогда не знал, даже не видел фото, — она умерла, когда я был совсем в ничтожном возрасте, около двух недель. Я ее не видел, но по слухам восстановил, что она была умная женщина. Отец не мог меня вскармливать, и к тому же у меня были две старшие сестры, он и отдал меня в дом малютки, откуда дальше я попал в детский дом.

— А вы знали, что у вас есть отец?

— Я бы не знал, но тут произошел один случай. К нам в детский дом приезжала делегация. Я им понравился, они снимали меня в самолете, самолет был, как пианино. Потом отвели в спальное помещение и стали снимать спящим. Коробку конфет «Садко» положили под подушку и сказали: лежи, как спишь, тогда получишь коробку. Я от утомления заснул, проснулся — «Садко» под подушкой нет. Ужасно рыдал. А в то время, когда засыпал, я слышал их разговор. Заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и две сестры. Я это тогда запомнил.

На другой год — где-то около Нового года, потому что елку сооружали, — я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и две сестры. Ночью я вышел в зало и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Вышли эти самые хозяйки и увидели, что я тряс елку. Какая была тут мера ко мне приложена, не помню сам. Но мне тогда было все равно. Когда мать передала своему сыну подарок, я тут все вспомнил, и как воспитательница меня топтала, и все...

Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну. Через минуту он вернулся.

— Извиняюсь, Марья Владимировна. Это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни и неудержимо плачу.

— Не надо об этом вспоминать, вам же тяжело. Простите, что я вас расспрашивала.

— Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы.

— А когда же вас взяли из детского дома?

— А это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять.

— Какая Анна Григорьевна?

— С завода-шефа. Она часто посещала наш детский дом. Не знаю почему, но я ей понравился, и она решила взять меня к себе вместо сына. Только сначала она об этом никому не объявляла, мне тем менее. Меня она просто водила к себе в гости, чтобы испытать. Я никогда карманником не был и у нее в гостях обходился тихо и аккуратно, так что она еще больше ко мне привязалась. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла. Только вместо этого она в один день приводит... отца моего, приводит и сестру. И мачеха с ними. Меня ей показывают, а она говорит: пусть живет, говорит, авось не обьест. Стал я жить у них и переживать один день другого хуже.

— А откуда же Анна Григорьевна взяла их, вашего отца, сестру?

— Это я уже потом узнал. Она, когда меня хотела взять, пошла к заведующей и говорит: отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова. А заведующая ей и сказала, что у него отец и две сестры. Разыскала она их, думала радость мне сделать. А сама потом на меня уже и смотреть не хотела: не достался мне в качестве сына, так и смотреть на него не хочу.

— И больше вы ее так и не видели?

— Нет, больше не видел.

— А дома вам плохо жилось?

— Я не сказал бы, что плохо, удовлетворительно. Но я очень сильно переживал.

— Мачеха вас обижала?

— Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Если бы я помнил свою родную мать, конечно, я мог бы жаловаться. А так я мачеху даже мамой называл, хотя и боролся с ее религиозностью. Переживал я оттого, что не мог забыть Анну Григорьевну.

## 7

Ко мне пришла Галя.

— Марья Владимировна... Вы меня, конечно, извините...

— В чем дело, Галя? Опять за безразмерными?

— Нет-нет, ничего подобного. Марья Владимировна, я хочу к вам обратиться по личному вопросу, но все как-то неудобно...

— Ну, ну, говорите.

— Марья Владимировна, я давно хотела спросить: кто вам делает голову?

— Какую голову?

— Я хочу сказать, прическу.

— Ах, вот вы о чем. А я-то сразу не поняла.

— Вы меня, конечно, извините, Марья Владимировна. Но, верите или нет, мы тут с девочками на вас смотрим и удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души. Хотите, девочек спросите.

— Ладно, ладно. А к чему вы это все ведете?

— Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так стильно делает голову, и, может быть, вы меня устройте к этому мастеру? Очень вас прошу, если, конечно, вам это не обидно.

— Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием.

— Вашего мастера зовут Виталий? А он сильно пожилой?

— Ужасно пожилой, вроде вас.

— А что? Я для девушки уже не молодая, двадцать четвертый год.

Галя вздохнула.

— Еще бы,— сказала я.— Старость.

— Нет, вы не скажите, Марья Владимировна, в нынешнее время мужчины девушку считают за молоденькую только если лет семнадцать — восемнадцать, ну двадцать, не более. И то, если одета со вкусом.

Я окинула Галю пристрастным глазом: ужасно она мне нравится. Одета, конечно, со вкусом. И где только они, наши девушки, каким верхним чутьем всему этому выучиваются — непостижимо! Все на ней чистенькое, простенькое, коротенькое, ничего лишнего — ни пуговицы, ни брошки, ни бус. Вся подобранная, вся на цыпочках, на острых игольчатых каблукках. Такую вещицу мужчине, наверное, хочется взять двумя пальцами за талию и переставить с места на место.

— Вы прекрасно одеты, Галя, и вам никак нельзя дать больше восемнадцати — двадцати.

— Вы шутите, Марья Владимировна.

— Истинная правда.

...И правда, я никак не могу встать на такую точку зрения, с которой есть разница между восемнадцатью и двадцатью тремя...

— Ну, спасибо,— сказала Галя.— Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас в субботу вечер молодежный. Не забудете?

— Не забуду.

Я не забыла и в следующий раз, сидя перед зеркалом, сказала:

— Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка Галя, моя секретарша. Миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась.

— Какой волос? — сухо спросил Виталий.

— У нее? Ну, как вам сказать... Светло-каштановый, пожалуй. Ближе к блондинке.

— Цвет мне безразличен. Длинный, короткий?

— Скорее длинный.

— Если ей «бабетту» нужно, так я «бабеттой» не занимаюсь. Этот вид прически меня не интересует. Теперь девушки большинство делают «бабетту» и, я скажу, напрасно. Этот обратный начес только видимость создает, что волос пышный, а на деле он только взбитый и посеченный. Другая сделает «бабетту» и не расчесывает целых две недели. Волосу это бесполезно.

— Нет, Виталий, она мне про «бабетту» ничего не говорила. Сделайте ей что-нибудь красивое, по своему вкусу.

— Интересная девушка? — деловито спросил Виталий.

— По-моему, очень.

— Я потому спросил, что я иногда интересных девушек позволяю себе обслуживать без всякой материальной точки зрения. Меня интересует проблема выбора прически в зависимости от размера лба, длины шеи и прочих признаков. Это легче проверять на девушках, чем на солидной клиентуре. У солидной клиентуры уже и волос не тот, и форма лица не так выражена, и к тому же она требует себе определенную прическу, а не ту, которую я как мастер ей предлагаю. С другой стороны, много занимаясь девушками, я рискую не заработать себе на жизнь. Но время от времени я должен проверять на девушках свои теории.

— Ну, так проверьте их на моей Гале.

— Хорошо, я согласен.

— Так я ей скажу, она вам позвонит.

— Лучше я сам ей позвоню. Телефон?

— Мой, служебный.

— Отлично. Я ей позвоню.

## 8

Суббота — короткий день. Как для кого. Для меня этот день оказался длинным. Я даже опоздала на молодежный вечер. Когда я пришла в клуб, уже начались танцы.

Я люблю смотреть на ноги танцующих. Они часто говорят больше, чем лица. А обувь? Туфельки, туфельки, туфельки — импортные, остроносые, невесомые, с тонкими, почти фиктивными каблучками. Хвала тем, кто, не пошатнувшись, ходит на этих прелестных фиктивностях (я не могу). А рядом с туфельками — покровительственно — мужские полуботинки, а то и ременные сандалии, а то и совсем сапоги... И много — ох, как много! — девичьих пар: туфельки с туфельками. Танцуют изящно, старательно, независимо, как будто ничего другого им и не нужно. Эх, девушки, бедные вы мои! Давно прошла война, выросло другое поколение, а все вас слишком много...

Среди большинства модных туфелек особенно заметны те, что в меньшинстве, те, что попроще: босоножки, сандалеты, даже тапочки. Пожалуй, даже мило в тапочках, если ноги легкие, прямые... И как-то отдельно заприметилась мне пара зеленых парусиновых босоножек. Как эта пара хлопотала, как перебирала, как притоптывала! На каждый такт музыки она делала не одно, не два, а штук десять неуловимых движений. Инте-

ресно, какая у них хозяйка, у этих босоножек? Я скользнула взглядом вверх по толстеньким икрам и увидела девушку — совсем молоденькую, лет семнадцать — с паклевыми стоячими кудряшками (Виталий сказал бы: баран). Вся она была коротенькая, крепенькая, как репка. Узкое, выше колен, ярко-золотое парчовое платье кругло обтягивало маленький выпуклый зад. Она деловито танцевала «за кавалера» с тонкой и томной девицей чуть не на голову выше себя. Люблю девушек, которые танцуют «за кавалера», — с ними можно дело иметь...

И еще среди множества танцующей обуви привлекли мое внимание огромные желтые полуботинки на чудовищно толстой рифленой подошве. Что-то они мне напоминали, но что? А, понятно. В этих полуботинках танцевал стилиага. Не теперешний стилиага, а старомодный, образца 1956 года. Он словно сошел живой со страниц «Крокодила» — в своем мешковатом клетчатом пиджаке, коротких, дудочками брюках, с огромными ногами на рубчатой подошве, с длинными, неопрятными волосами... Старомодный стилиага!

А где же моя Галя? Попробую отыскать ее по ногам. Это оказалось нетрудно — я сразу нашла глазами две грациозные ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Интересно, как причесал ее Виталий? Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя — красавица. Не просто хорошенькая девушка, а именно красавица. Или это из-за прически? Тяжелые, густые, как льющийся мед, темно-золотые волосы текли вокруг головы — иначе не скажешь. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмалевые глаза плавилась. Кто же этот парень? Володя, что ли? Ох, да это Виталий!

Как же я его не узнала? В черном костюме он был какой-то необычный, я бы сказала — не такой узкий, даже представительный. Глядя суровыми глазами поверх великолепной медовой прически, равнодушный к своим ногам, он еле заметно, ритмично переступал ими, чуть подрагивая коленями. Это, видно, модная манера танцевать: не двигаясь с места.

Чудеса! Галя — и Виталий...

Радиола, захлебнувшись, умолкла. Пары пошли вразброд, волоча обрывки серпантинных лент. Но тут музыка снова заиграла: вальс.

Вот бессмертный танец! Сколько на моем веку состарилось и умерло танцев, а он все тот же — самый любимый. Замелькали вертящиеся пары. Рядом со мной откуда-то взялся Лебедев.

— Марья Владимировна, один тур!

— Бог с вами, Вячеслав Николаевич. Я давно уже не танцую.

— Не танцуете, а сразу видно, что хочется.

— Откуда это видно?

— А вы всем существом своим отбиваете такт: раз-два-три, раз-два-три... Разрешите?

Я отстранилась.

— Право, не стоит. В другой раз, в другой обстановке...

— Эх вы, трусиха!

Он подхватил какую-то девочку и закружил ее. Ловко танцует старик. И завидно и грустно.

...Вот так и стой и смотри, как кружится-кружится мимо тебя вальс...

Музыка замолчала — вальс кончился. Принесли микрофон. На середине зала вышла культурница Зина — прямая, спортивного вида девушка с тонкими, до плеч голыми, загорелыми руками, и сказала в микрофон:

— Добрый вечер, товарищи!

— Добрый вечер, добрый вечер, — загудело в ответ.

— Начинаем второе отделение нашего затейно-массового молодежного вечера. В программе — вечер смеха, массовые игры.

— Ну вот, опять массовые игры, — досадливо протянул девичий голос.

— Не мешайте, товарищи. Товарищи, освободите пространство для массовых игр. Будьте дисциплинированы, товарищи.

Люди сдвинулись к самым стенкам. Меня сначала притиснули, потом узнали:

— Марья Владимировна, да вы вперед проходите.

— В первый ряд, Марья Владимировна!

— Не нужно, — отбивалась я, — мне и здесь хорошо.

— Да вы отсюда ничего не увидите.

— Увижу, право, увижу.

Вытолкали меня-таки в первый ряд, черти.

Зина хлопотала в центре свободной площади. Принесли мешок. Из мешка она стала вынимать одного за другим резиновых надувных зайцев — уже надутых. Каждый заяц с кошку величиной. Она чинно, серьезно усаживала их бок о бок на полу. Я автоматически считала зайцев — пятнадцать штук. Народ молчал.

Вот кончились зайцы, и из мешка появились ружья — одно, два, три, четыре игрушечных ружья и еще какие-то загадочные предметы из картона — маски, должно быть, что-то розовое.

— Внимание, товарищи. Объясняю игру. В массовой игре принимают участие две пары: две девушки и два молодых человека.

Кругом засмеялись.

— Дисциплинированнее, товарищи. Смеяться будете потом. Игра называется «охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре?

Толпа жалась. Никто не выходил.

— Ну, выходите, товарищи, быстренько, проявляйте активность.

— Эх, была не была! — крикнула одна девушка и выскочила на середину. Это оказалась та самая — в золотом платье. Молодец, репка!

Лиха беда начало. За репкой вышла еще девушка — эту я знала, лаборантка Тоня, — и еще два мальчика, оба из нашего института, один — покороче, румянец пятнышками, а другой — длинный-длинный, с спадающими волосами, в джинсах. Как будто бы Саша Лукьянов, но я не была уверена. Если Саша Лукьянов, то я ему уже два выговора подписала. У этого парня ноги были слишком длинны, и он все переминался, стибал то одну, то другую.

— Еще раз внимание, товарищи. Объясняю игру «охота на зайцев». В игре участвует четыре человека. Каждый из них должен надеть свое ружье на плечо.

Посмеиваясь и стесняясь, ребята пролезли в ременные петли детских ружей.

— Так. Объясняю дальше. Каждый из вас четырех получит свой угол. Расстанавливаю участников по углам. В центре зала сидят зайцы. Видите зайцев?

— Чего ж не видеть, не слепые, — сказал короткий.

Кругом стояло погребальное молчание. Зайцы сидели шеренгой, очень унылые, свесив мягкие холодные уши. Один все норовил свалиться набок, Зина его поправляла.

— Каждый из вас должен настрелять как только можно больше зайцев и снести их в свой угол, понятно? Вы снимаете ружье с плеча, прицеливаетесь в зайца и производите выстрел. Настоящего выстрела, конечно не происходит, так как ружья детские и ничем не заряжены в целях безопасности игры. Убив зайца, вы несете его в свой угол, понятно?

— Понятно, — грустно сказал длинный, согнув на этот раз правую ногу.

— Теперь я вам одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Понятно?

— Чего тут не понять, школу кончили,— сказала репка.

— Внимание. Одеваю маски.

Длинному досталась унылая маска пьяницы с торчащими ушами и висячим лиловым носом. Короткому — что-то желтое, плоское, приножи- вающееся. Уродливую старческую харю в платке нацепили Тоне. Но страшнее всего оказалась женская маска, которая досталась веселой золотой репке. Раздутая, синевато-розовая бабья голова, почти без глаз, с одним ухом, с паралитически раскрытым, скошенным набок ртом. Кли- ническая маска идиотки. Все четверо замаскированных с ружьями на плечах стояли среди зала, словно выходцы из кошмарного сна алкоголика.

— Внимание, приготовились. По моему сигналу играющие начинают игру по охоте на зайцев. Внимание, начали!

Зина свистнула в свой свисток — не то спортивный, не то милицей- ский. Первой тронулась с места девушка — золотая репка — с розовым ужасом вместо головы. Она сняла ружье, старательно прицелилась, «выстрелила» в невидимых зайцев и, твердо ступая, отправилась за добы- чей. Должно быть, и в самом деле трудно сохранить направление, ничего не видя. Она взяла правее, чем нужно, прошла мимо зайцев, присела на корточки и стала шарить по пустому полу, бессмысленно поводя идиоти- ческой головой. В зале раздалась отдельные смешки.

Какой ужас, думала я, что это такое?..

Теперь схватил ружье долговязый в джинсах — Саша Лукьянов или не Саша Лукьянов? — тот, с головой пьяницы. Он, видно, стремился вне- сти в номер что-то свое: выстрелил, сказал «пиф-паф» и направился к зайцам гусиным шагом, высоко вскидывая ноги. Этот оценил расстояние довольно удачно. Сначала он наступил на зайцев, разбил шеренгу, потом сориентировался, сел на пол, нашарил двух и, держа их за уши, понес в чужой угол.

— Не сюда, не сюда! — кричали ему.

Многие уже хохотали, раздалось два-три свистка. Зина попыталась вмешаться и что-то организовать, но ее уже никто не слушал. Осталь- ные маски тоже включились в игру... Через несколько минут в зале тво- рилось нечто невообразимое. Все четверо в масках, забывая стрелять, слепо и тупо валандались по свободному пространству, спотыкаясь, стал- киваясь, ошупывая друг друга, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Кругом хохотали. Никто ничего не понимал, но смеялись все громче, я не понимала: чему тут можно сме- яться, это же страшно! — и вдруг почувствовала, что не могу больше, что хохочу вместе с другими...

— Ну, это черт знает что такое,— сказал рядом со мной чернявый плечистый парень, сунул два пальца в рот и закатился молодецким по- свистом — сущий Соловей Разбойник. Два-три заливистых свистка в разных концах зала ему ответили.

— Товарищи, вас просят соблюдать дисциплину! — надрывалась в микрофон культурница.

...Меня кто-то схватил за ногу. Я посмотрела вниз и увидела страш- ную, скособоченную морду идиотки. В охоте за зайцами девушка совсем потеряла направление и шарила по ногам зрителей.

— Сейчас же снимите маску,— резко сказала я.

Она выпрямилась и отвела маску вбок. На меня глядело милое, ру- мяное, вспотевшее личико.

— Девочка,— сказала я ей,— не надо вам этого, не надо.

Она заплакала.



Господи, еще этого не хватало.

Я подошла к Зине.

— Немедленно прекратите это безобразное зрелище.

— Что случилось? — спросила Зина, но тут же узнала меня, взяла свисток и длинно, пронзительно засвистела.

— Внимание, товарищи! Игра «охота на зайцев» окончена. Первый приз — собрание открыток города Москвы — получает... Как вас зовут, товарищ?

Но «товарищ» — высокий парень с распадающимися волосами — уже сорвал с себя маску и хорошим футбольным ударом запустил ее в конец зала. Двое других тоже скинули маски, подбросили их, и вот они запорхали, заплясали над головами. «Эх, эх!» — кричали, бросали, хохотали в толпе. Маске пьяницы надорвали нос, и он понуро болтался, словно сетовал...

Зина подошла ко мне, ломая руки.

— Что же мне делать? Массовый вечер срывается...

— А разве у вас еще не все?

— Нет. По плану мы должны еще разбивать горшок...

— Пустите меня к микрофону, — сказала я.

— Пожалуйста...

...Что я им скажу? Не знаю. Но что-то надо сказать, непременно. Когда я подошла к микрофону, зал притих. Я сама не узнала свой голос. А слова!..

— Дорогие мои ребята, — сказала я. — Дорогие мои мальчики и девочки. Мои хорошие мальчики и девочки. Вы меня простите, что я так к вам обращаюсь. У меня два сына в таком же возрасте. Старшему — двадцать два года, младшему — двадцать...

...Что я несу? Но остановиться уже нельзя. Множество глаз смотрит на меня, и стало совсем тихо.

— Дорогие мои, — говорю я, — вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться, это я по себе знаю, я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это настоящее веселье? Бывает, например, веселье от водки. Такое веселье мой сын называет «химическим». То, что у вас было сейчас, — это тоже химическое веселье...

— Правильно, правильно! — закричали отдельные голоса. Кто-то свистнул, другие зашикали.

— Я не умею по-хорошему вам объяснить, в чем тут дело, но чувствую, что это веселье — плохое. Как бы это выразить? Ну, вот, иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются... Разве им весело?

Теперь заплакала Зина.

Я собрала все свое мужество и сказала:

— Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Простите меня. Мы еще подумаем. Мы еще придумаем с вами настоящее, умное веселье. А пока мы его не придумали — давайте танцевать. Пожалуйста, вальс!

И сразу же, как по волшебству, радиола заиграла вальс. Я стояла вся в поту. Нечего сказать, выступила...

Ко мне подскочил тот самый — высокий, в джинсах.

— Марья Владимировна! Позвольте...

Я кивнула и подала ему руку. Все равно, терять нечего после такого позора. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь, в один туманный круг, в котором изредка ярким бликом вспыхивал, поворачиваясь, кругленький золотой зад...

— Вы Саша Лукьянов? — спросила я своего партнера.

— Это точно,— ответил он.

Больше мы не говорили. Вальс кончился. Меня обступили ребята.

— Марья Владимировна, следующий танец — со мной...

— Нет, со мной, я первый подошел...

— Хорошенького понемножку,— сказала я и вышла в фойе.

Мне было нехорошо. Сердце, должно быть. Вот живет человек и не знает, что есть у него такой мешок внутри, приходит день, и он узнаёт, что есть у него такой мешок. Ничего не поделаешь...

— Марья Владимировна, что с вами? Вы так побледнели...

А, это Галя, и Виталий с ней.

— Галочка, воды мне, если можно.

Галя принесла стакан воды. Она и сама-то побледнела. Неужели я что-то для нее значу? Вот бы не подумала.

Я выпила воды и сказала:

— Ничего. Просто голова закружилась. Много лет не танцевала. Сейчас пройдет.

Ю

В сущности, я глупа. Мне самой это совершенно ясно, но другие почему-то не верят, даже самые близкие друзья. Считают, что я кривляюсь.

Вот, например, с этим вечером. Глупее моего поведения трудно было выдумать. Наверно, каждому человеку знакомо острое чувство стыда, когда он, оставшись один, стонет и потряхивает головой при постыдном воспоминании. Так я стонала и потряхивала головой, вспоминая свое выступление на вечере. Возможно, еще придется держать ответ в какой-нибудь инстанции за «срыв мероприятия». Это, впрочем, меньше всего меня пугало.

Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо.

— Ну, как вам понравился наш вечер? — спросила я, чтобы разбить молчание.

— Вечер, конечно, ничего, нормальный. Я вообще против таких вечеров. Я хожу на них только потому, что хочу изучать разные слои. Но в данных слоях я ничего интересного для себя не нашел. Пусть я не кончил десятилетку, а из них многие имеют даже институт, но я ничего в них передового по сравнению со мной не вижу...

Когда чего-нибудь стыдишься, так и тянет ковырять это место. Я спросила:

— А что вы думаете о моем выступлении?

— Вы на меня, конечно, не обижайтесь, Марья Владимировна, но ваше выступление было слишком простое, без формулировок, и оно меня не удовлетворило. От вас, как руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа.

— Неужели же вам понравились эти зайцы?

— Зайцы! — Он презрительно махнул рукой. — Кто говорит о зайцах? Глупая игра, не дающая ни уму, ни сердцу.

— Ну так что же, по-вашему, я должна была сказать?

— Я не могу вам указывать, я для этого не имею достаточного образования. Но я хотел бы более определенных формулировок. И потом, танцевать вальс с парнем, который, извиняюсь за выражение, не постеснялся прийти на вечер в джинсах, — это, по-моему, не соответствует вашей солидности...

Так... Осудил.

Все это, конечно, понемногу сгладилось. Я даже просила извинения у Зины и предложила ей помощь в организации второго молодежного

вечера. Мы даже провели его, этот вечер... Очень помогли сами ребята, особенно Саша Лукьянов. Это оказался удивительный парень, парень с замочком! Как растения выдыхают кислород, так он выдыхал смешное. Достаточно было увидеть, как он обширной ладонью, словно лопатой, отгребал назад свои плоские волосы и потом грозил им пальцем, — лежите, мол, смиренно, — чтобы понять, что это талант первоклассный.

Есть разные сорта юмора. Тот сорт, что у Саши Лукьянова, — самый загадочный. Ну, что, собственно, он сказал? Повтори — не смешно. А все надрываются, плачут от смеха. Согнет ногу — умрешь.

Мы с Сашей Лукьяновым, электризуя друг друга, тратили на подготовку к вечеру целые вечера. Мы безудержно изобретали. Чтобы вместить все наши выдумки, вечер должен был бы продолжаться сутки: Приходилось самоограничиваться. Вечер мы назвали «тематический-кибернетический», для оформления привлекли механиков, инженеров... Всё на полупроводниках. Гостей встречал специально изготовленный «робот-хозяин», который сверкал глазами, кланялся и выкрикивал слова приветствия... Исполнялись стихи и музыка машинного сочинения... Разыгрывалась кибернетическая лотерея... Передавались поздравительные телеграммы в двоичном коде, которые надо было расшифровывать... Правда, не обошлось без неполадок: робот-хозяин скоро испортился, один глаз у него потух, и он стал говорить без передышки: астуйте, астуйте, астуйте... Но Саша Лукьянов стукнул его молотком по голове, и он замолчал...

В общем, вечер прошел и даже имел успех, но успех довольно средних, непропорциональный затраченным усилиям. Я сама чувствовала, что это — не совсем то... На другой день я вызвала секретаря комсомольской организации Сережу Шевцова. Парень медлительный, но солидный, а главное, не врет.

— Ну как ребята — довольны вечером?

— Ничего, — сказал он без энтузиазма.

— Ну, а что они говорят?

— Разные есть мнения. Одни довольны, а другие говорят: раньше лучше было.

— Как, эти зайцы?

— Нет, какие там зайцы. — Он махнул рукой вроде Виталия. — Зайцами у нас никто не увлекается. Хохочут так, от нечего делать. Нет, они говорят, что раньше оставалось больше времени на танцы...

— Хорошо, Сережа, мы это учтем.

Да, думала я, оставшись одна, нет ничего таинственнее смеха. Нет ничего неуловимее. В чем тут секрет? Для одного смешно, для другого — глупо. Для одного смешно, для другого — страшно. Для одного смешно, для другого — скучно... Может быть, надо было просто выпустить на эстраду Сашу Лукьянова и заставить его согнуть ногу...

Так, не совсем бесславно, но и не триумфально, кончилась моя работа в качестве внештатного затейника.

И еще одно последствие было у первого, неудачного вечера. Галя и Виталий стали встречаться. Мне это нетрудно было обнаружить. Часто, снимая телефонную трубку, я слышала по параллельному проводу резкий, высокий голос Виталия и голубиное воркование Галя. А что? Для нее это неплохо. Виталий — мальчик серьезный. И Галя казалась счастливой. Каждые три-четыре дня она являлась с новой прической на зависть всем институтским девочкам. То это была диковинная башня,

делающая ее лицо надменным и прозрачным. То — под девятнадцатый век — гладко, до глянца затянутые назад волосы и пышный, богатый узел на шее. А иногда — девические пряди, нежно рассыпанные по плечам, и косая челка над голубыми глазами... И каждый раз у нее было новое лицо, и с каждым разом она казалась счастливее...

Только это длилось недолго. Постепенно стали увеличиваться интервалы между прическами: неделя, две недели... И вот однажды я пришла на работу — Галя плакала.

— Галя, милая, что с вами такое?

Она плакала по-детски, самозабвенно, глубоко шмыгая носом.

— Галя, что случилось?

Она потрясла головой.

— Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С Виталием что-нибудь?

Она снова потрясла головой отрицательно, но было ясно, что да.

— Ну, сядьте как следует, вытрите нос, поговорим.

Еле-еле удалось от нее добиться толку.

— Он меня не любит.

— Ну, зачем же так думать? Ведь было у вас все хорошо...

— Нет, не говорите, Марья Владимировна, я знаю: не любит.

— А вы его?

— А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство. А теперь полюбила... Надо же...

Снова потоки слез.

— Марья Владимировна, моя жизнь тоже не очень счастливая. Вы не смотрите, что я на мордочку ничего, меня ни один мужчина не любит.

— А Володя? — не удержалась, спросила я.

— Ну, что Володя? Володя женатик. Он только со мной встречался, пока жена в положении была...

Что ей сказать? Вот и жалко мне ее от души, а чувствую: нет у меня для нее нужных слов. Ортогональность проклятая.

Я погладила Галю по голове.

— Ну, успокойтесь, девочка, может быть, все не так уж плохо. Хотите, я с ним поговорю?

— Ой, поговорите, Марья Владимировна! Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите верьте, хотите нет, мы когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит.

*Лестно, но нелепо.*

12

— Виталий, — сказала я, — знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор.

Он нахмурился.

— Это об Гале?

— Совершенно верно.

— Этот разговор я давно предчувствовал. Но в конце концов здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически, у нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди. А теперь я ее голову исчерпал, мне это уже неинтересно, я должен развиваться дальше, не могу же я всегда работать над одним типом волоса.

— Как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе.

— С другой стороны, вы сами можете понять, что я еще не готов, чтобы расписаться, — ни по возрасту, ни экономически. Мне еще нужно

сдавать за десятилетку, не говоря уже об институте, а площадь я не обеспечен. Если бы у нее была площадь, я мог бы этим заинтересоваться, а то у нее одна комната, и там же мать и сестра.

— Виталий, как вы можете? Это ужасно, что вы говорите. Ставить такой вопрос в зависимость от площади... Как это цинично, неужели вы не понимаете?

Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно.

— Для меня вопрос площади имеет огромное значение. Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В свой угол? Это не солидно. К тому же я имею к моей жене главное требование: чтобы она не мешала мне двигаться, а, наоборот, помогала. Я, например, много времени трачу на приготовление пищи: завтрак, обед и ужин, это все вычитается из моего личного времени. Вполне может случиться, что я женюсь, а она меня будет тянуть в своем развитии.

— Ох, Виталий! Что вы только говорите! Разве это важно?

— А что важно?

— Важно одно: любите вы ее или нет.

Виталий задумался.

— Возможно, что и люблю. Я ведь еще молод и сам не знаю, люблю ее или нет.

Он занялся моей головой и замолчал. Я тоже молчала.

— Марья Владимировна, я хочу задать вам один вопрос. Можно?

— Разумеется.

— Марья Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно, и даже уважаю больше, чем родную мачеху... У вас, конечно, большой опыт. Я вас хотел спросить: по какому это признаку можно узнать, любишь человека или нет?

Вот так вопрос! Придется отвечать. Я подумала.

— Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак — это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером домой, открываете дверь, комната пустая — а она тут. Просыпаетесь утром — она тут. Приходите на работу — она тут. Открываете шкаф, берете инструменты — она тут.

— Это я понимаю, — сказал Виталий.

— Ну вот и хорошо.

Снова помолчали, на этот раз — подольше, и наконец он заговорил:

— Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки, и теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю.

— Ну как, поговорили? — встретила меня Галя.

— Поговорила.

Тут бы Гале спросить: ну и как? Но она спрашивать не стала — и так все поняла. Чуткая девочка моя Галя!

Эх, горе женское! И всегда-то оно одинаковое, и ничем ему не помочь...

В середине зимы заболел и умер Моисей Борисович, и кресло рядом с Виталием опустело. Жалко: хороший был старик... Некоторое время продолжали еще его спрашивать к телефону — наверное, те красивые старухи с голубыми волосами, — а потом и эта ниточка оборвалась, и о старом мастере все забыли.

А к весне над соседним креслом появилась новая фигура — женщина-мастер по имени Люба. Крупная, тяжелая, как битюг, с вытравленными

перекистью нахальными волосами. Она сразу невзлюбила Виталия — еще бы! Никто не хотел к ней — все к нему. Когда Виталий работал, она с показным равнодушием обтачивала пилкой свои ярко-лиловые ногти и пела: тирли-тирли. Иногда подходила к ожидающим и, как бы невзначай, бросала:

— Обслужимся, девочки? Э?

— Нет, мы уж подождем.

Ей доставались большей частью «перворазницы» — деревенские женщины с белыми морщинами на коричневых лицах, которые застенчиво вынимали из волос цветной пластмассовый гребень и спрашивали: «А на шесть месяцев у вас делают?..» Люба обслуживала их брезгливо, червяком поджав ядовито-красные губы.

Меня она тоже невзлюбила. Я, например, всегда с ней здоровалась, а она не отвечала. Как-то раз я задержалась, переводя Виталию английский журнал, и слышала, как она сказала кассирше:

— У самой дети взрослые, скоро внуки, а она — с мальчишкой. И думает, что интересная: фы-фы, а никакой интересности нет, одна полнота.

А Виталий начинал нервничать, все чаще обходился невежливо с осаждавшими его дамами, говорил: «Я один, вас много...»

И вот однажды, придя в парикмахерскую, я застала его плачущим. Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно прибирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. Эх, дети: тогда одна, теперь другой. Я подошла.

— Марья Владимировна, вы меня извините, я вас не могу обслужить.

— Что случилось, Виталий?

— Ничего особого не случилось, только я должен сейчас уйти домой.

— Ну, что же все-таки с вами? Не отпущу вас, пока не скажете.

— Я должен был это предвидеть.

— Что предвидеть? Ну-ка сядьте, Виталий, и расскажите мне все как есть.

Он сел.

— Марья Владимировна, я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать.

— Кто «они»? Люба?

— Да, и Люба, и другие нашлись, солидарные с ней, мастера из мужского зала, и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит, я позволяю себе тратить много времени на операцию, план страдает, меня опять-таки к телефону нужно звать — все это озлобляет их против меня. Кроме того, имеется много желающих. Я просто не способен обслужить всех желающих, мне это неинтересно даже экономически: Зачем это я буду причесывать каждую клиентку — она приходит в год два раза: на май и на ноябрьскую, от силы Новый год. Выбирая себе клиентуру, я всегда смотрю: могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то чтобы обслуживать сплошь и каждую. Они обижаются, пишут в жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб, но мне это безразлично, поскольку меня интересует работа и только работа.

— Ну, а что же вас сегодня так расстроило?

— Произошел такой случай: они выкрали у меня из кармана халата записную книжку, где записаны адреса и телефоны клиенток, и эту книжку передали в профсоюзную организацию для разбора дела.

— Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса, какие вам вздумается?

— Конечно, формально можно, но фактически эти женские адреса показывают, что я имею свою клиентуру, а это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. Я себя до этого не

допускаю, так как, давая план, я невольно буду скатываться в сторону халтурной работы. Сейчас, например, модная линия требует челочки. Эту челочку надо продумать, у меня на одну эту челочку больше уйдет, чем на целый перманент. В существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты — записная книжка, жалобы, невыполнение плана, — собираются раздуть против меня целое дело.

— Подумаем, Виталий, нельзя ли вам как-нибудь помочь?

— Я уже думал, и помочь мне трудно. Дело в том, что у нас довольно бездарная директриса — грубости, оскорбления мастеров, буквально мат. К тому же Матюнин против меня.

— Кто это еще Матюнин?

— Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания.

— А за что же он против вас?

— За мои выступления. Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии, получать авторитет. Авторитет у меня не такой уж маленький, но и не очень большой, средний. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, говорю, заостряю...

— Какой же вы вопрос заостряли?

— Насчет амортизации инструмента. Говорю: когда будет возбужден вопрос о безобразиях выплаты компенсации за амортизацию инструмента? Так и сказал и этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось, он сам заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать.

— Почему заинтересован?

— Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду.

— Крадет, что ли?

— Не так чтобы буквально крадет, но пользуется.

— Неужели с этим нельзя ничего сделать?

— Очень трудно. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания, грубо говоря, тащатся за хвостом у государства. А они — Матюнин и такие же, как он, — пользуются тем, что до сих пор государству в своем движении некогда было навести в этом деле законность. Взять, скажем, расход материалов. Существует определенная норма на операцию. Тут недодал, тут заменил, а некоторые ухитряются пускать в ход вторично, и это все деньги. А еще я позволил себе заострить вопрос о культуре обслуживания. Лучше плохо обслужиться у культурного мастера с хорошей внешностью, чем то же плохое обслуживание иметь плюс хамство. Это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания...

— Послушайте, Виталий, — сказала я, — а что, если я ему позвоню?

— Кому?

— Да Матюнину, будь он проклят.

— Я был бы вам очень благодарен.

— Ну, так давайте телефон.

Я набрала номер. Мне ответил жирный, чувственный бас:

— Матюнин у аппарата.

— Товарищ Матюнин? С вами говорит директор Института информационных машин, профессор Ковалева.

— Очень приятно, — сказал бас.

— Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер, Виталий Плавников.

Матюнин молчал.

— Вы меня слышите?

— Слышу,— ответил он суховато.

— Так вот, я уже второй год у него причесываюсь и должна сказать, что это выдающийся мастер, настоящий художник...

— У нас все мастера хорошие,— сказал Матюнин железным голосом.

— Но этот мастер... Вы же знаете, что у него отбоя нет от клиентов...

— Не нахожу в этом мастере ничего особенного. В нашей системе все мастера квалифицированные, сдают техминимум, умеют выполнять модельные прически и все виды операций. А на этого Плавникова постоянно поступают жалобы: грубость с клиентами, невыполнение плана...

— Нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе.

— По-вашему нельзя, а у нас вся работа художественная. Что же, нам всем план не выполнять?

— Все-таки я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одной это слышите.

— Виноват, я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает?

Я бросила трубку.

— Я так и знал,— сказал Виталий.— Он еще и потому против меня имеет, что я не вношу ему денег. Делаю вид, что мне это неизвестно.

— Что неизвестно?

— Существует такое неявное правило — конечно, нигде оно не приводится,— что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги, не очень большие, но порядочные, три-четыре рубля в месяц.

— Господи, что вы говорите, Виталий? Может ли это быть?

— А отчего же? В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, чаевых нет, они и стараются улучшить свое положение. Зачем бы, например, он, с высшим образованием, сидел на такой должности?

— А у него, мерзавца, высшее образование? Какое же?

— Юрист. Мне, между прочим, нравится такое образование, если, конечно, употреблять его по прямому назначению. Я бы охотно поступил на юридический...

— Ну, ладно, об этом речь еще впереди. Сейчас хорошо бы его изобличить.

— Матюнина? Чересчур хитер. А где свидетели? К тому же, пока я состою в этой системе, такое прямое выступление может принести вред моей работе, сделать ее прямо-таки невозможной.

И вдруг, неожиданно он сказал:

— А я, Марья Владимировна, хочу уходить.

— Из этой точки?

— Из дамских мастеров.

— Да что вы, одумайтесь: у вас готовая специальность в руках, а самое главное, вы любите эту работу и у вас талант.

— Такой талант слишком неподходящий для нашего времени. И еще я вам скажу, Марья Владимировна, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. Мне приходится зависеть от доброго желания клиентов, которых я даже не всегда уважаю.

— Понятно. Но только вы не торопитесь. Хотите, я поговорю о вас на киностудии? Может быть, они вас возьмут?

— Я уже узнавал. На киностудии требуют специальное образование, художественный техникум, там не важно качество работы, а одна бумажка.

— А мы посмотрим, может быть, и выйдет. Только не торопитесь, ладно? Ну, до свидания, Виталий, не расстраивайтесь.



Виталий встал:

— Я уже настроился обратно. Я вас обслужу.

...А с киностудией оказалось все не так просто, как я по наивности предполагала. Во-первых, не было вакансии. Кроме того, действительно требовалась бумажка. Но мне обещали подумать. Уж очень я просила за Виталия. Скрепя сердце я даже выдала его за своего двоюродного племянника (не знаю, есть ли такое родство?).

— Только по вашей просьбе, и то вряд ли,— сказал мне администратор.

## 14

Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удастся их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Из всего они делают балаган.

— Паяцы,— сказала я.

— Ты разве человек? Нет, ты паяц!— заорал Коля омерзительным голосом.

— Что ты орешь, дурак?

— Опера «Паяцы», музыка Леонкавалло.

Ох, как мне иногда хочется дать ему в ухо — почему-то именно ему, а не Косте.

— Юность,— подал голос Костя,— ты понимаешь, мать, юность требует особого внимания, чуткости, так сказать...

Зазвонил телефон. Подошел Коля.

— Владычица, тебя. Кто бы он ни был, молюсь богу за его душу!

Я взяла трубку:

— Слушаю.

Я не сразу узнала голос Виталия. Он весь звенел изнутри.

— Марья Владимировна! — закричал он.— Марья Владимировна, можете меня поздравить! Я больше не дамский мастер! Я покончил с этой специальностью!!

— Что вы? Так скоро? Я же просила вас не торопиться... Мне кое-что обещали...

— Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе.

— Вы что, ушли с работы? Куда же?

— На завод, учеником слесаря. Я очень доволен, очень!

— Как же так? Отчего так внезапно?

— Я внезапно не поступаю. План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт. Но вас, Марья Владимировна, как исключение я всегда буду обслуживать. Я счастлив ездить к вам на дом, хотя бы это было и трудно по времени.

— Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь...

— Я понимаю. Я вам позвоню.

— Звоните. Всего вам хорошего. Спасибо, спасибо...

Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони.

— Что случилось? Хорошее или плохое? — спросил Костя.

— Сама не знаю. Пожалуй, хорошее.

Ну что ж?.. Счастливого пути тебе, Виталий!



---

ВАДИМ ШЕФНЕР

★

## РИСОВАВШИЙ НА СКАЛАХ

На все земные времена  
Им заарканены мгновения,  
И в каждой линии видна  
Охотничья повадка гения.

Олени врезаны в гранит  
Штрихами резкими, как молнии,—  
А жизнь в них бьется и кипит,  
Они легки, как сон припомненный.

Он их ловил и убивал  
И не просил у них прощения,  
Но жизнь им вечную давал  
В обмен за плоть, за насыщение.

Он действовал наверняка,  
Исполнен зоркости и смелости,—  
И — нам в подарок — сквозь века  
Пригнал свою добычу в целости.

1963.

### *Погребение радуги*

То было в скиту монастырском одном,  
Где богу молились и ночью и днем.

Там радуга часто глядела с небес  
На луг монастырский, на ниву и лес.

Из окон собора отлично видна,  
Монахам молиться мешала она.

Однажды решил монастырский синклит,  
Что радуга в небе напрасно горит.

— Ее предаем мы суду и хуле,  
Ей место не в небе — ей место в земле!

Монахи срубили четыре сосны  
И сделали гроб необычной длины.

И зеркало в гроб положили на дно,  
Чтоб небо в нем было отражено.

Ловушку поставили в поле пустом,  
А сами укрылись под ближним кустом.

Тут, зеркало видя, красотка небес  
Тотчас проявила к нему интерес.

— Сама, греховодница, влезла во гроб!—  
Сказали монахи и крышкою — хлоп.

...Вот вырыта яма большой глубины,  
Сейчас погребут эту дочь Сатаны.

Игумен надгробную речь говорит...  
Взглянули — а радуга в небе горит.

1963.

### *Бессонница*

Вы так просто в забвенье не канете,  
Впечатленья минувшего дня,—  
Телефонная станция памяти  
По ночам вызывает меня.

С кем-то днем побоялся поссориться  
И не высказал правды в упор,—  
А теперь вот связистка-бессонница  
Мне велит продолжать разговор.

И, на робость дневную досадуя,  
Ничего я теперь не таю;  
На вопросы, что днем были заданы,  
Я прямые ответы даю.

Больше правда пред ложью не склонится,  
Откровенность не станет виной.  
Не спала ты ночами, бессонница,—  
Привыкай-ка ты к смене дневной!

Чтоб не пряталась в тьму недоверчиво,  
Чтобы зоркою совесть была,  
Чтоб трудилась с утра и до вечера —  
А ночами спокойно спала.

1962.



---

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

## НОВИЧОК

*Рассказ*

**С**амой интересной из всех принесенных замполитом новостей была та, что в наш полк должен приехать писатель. Когда и какой именно, Чувыкин не знал — сказали в политотделе, что придет, и все, и чтоб хорошо встретили и показали, что надо.

Новость распространилась в полку моментально.

Шел пятый месяц обороны — срок вполне достаточный, чтобы привыкнуть и даже надоест друг другу. Каждый день одни и те же лица, один и тот же пейзаж: сзади — Волга, спереди — курган; одни и те же тропинки на передовую, одни и те же разговоры, мечты и желания: «Вот как прогоним фрица, тогда...» На передовой затишье. Приводим себя в порядок, совершенствуем, как пишем в донесениях, оборону. Немцы, очевидно, тоже. В общем — тишина и скука. Любому новому человеку обрадуешься, лишь бы только извне откуда-нибудь появился, а тут вдруг писатель, настоящий писатель.

Живого писателя у нас никто не видел, в моем саперном взводе во всяком случае, да и в других подразделениях, вероятно, тоже, но «книжки почитать» любили.

На первый взгляд это может показаться даже неправдоподобным: Сталинград, война, бомбежки, чертова гибель тяжелой работы, особенно у саперов — а вот читали. Связисты, те вообще больше других читают. Я знал одного, который всю «Войну и мир» прочитал на передовой в КП батальона, в каких-нибудь двухстах метрах от противника: сидит себе с подвешенной к уху трубкой, кричит в нее свои «граниты» и «мраморы», а глаза в книжку. Но читающие саперы — явление довольно редкое. И все-таки читали. Урывками, в минуты отдыха, но главным образом, конечно, легкораненые, на день-два выпадавшие из строя.

Библиотеки в полку у нас не было, но кое-какие книжонки все-таки водились. Найдены они были в разрушенных домах, и похвастаться подбормом, скажем прямо, было трудно. Моя библиотечка состояла, например, из двух номеров роскошного журнала «Золотое руно» за 1908 год, невероятно растрепанной, без половины страниц книжки Луи Жаколио «В трущобах Индии», старенького томика Пушкина, однотомника Чехова и книжки Мгеброва об Орленеве и Комиссаржевской. У химиков была, если не ошибаюсь, вторая часть «Анны Карениной», а у разведчиков почему-то «Божественная комедия» Данте в прекрасном издании с иллюстрациями Дорэ.

И бойцы все это читали. Кстати, Луи Жаколио с его сногшибательными приключениями, тайнами и браминами не производил на бойцов никакого впечатления — «все это неправда, в жизни такого не бывает», —

а самыми популярными, по несколько раз перечитываемыми вещами были «Домик в Коломне», «Сказка про балду» и чеховский «Ванька Жуков». Особенно огорчало солдат то, что письмо так и не дойдет до дедушки. Сагайдак, наиболее близко принимавший к сердцу все прочитанное, возвращая мне книжку, сказал даже:

— И хоть бы обратный адрес догадался написать. А то что ж это — и ни туда, и ни сюда. Обидно же...

Сагайдак вообще относился ко всему прочитанному как к чему-то действительно происшедшему и очень сокрушался, если понравившийся ему герой вдруг умирал или если с ним случалось что-нибудь плохое. Интересовало его и то, как это вот писатель пишет и как это он может сразу за нескольких людей думать и разговаривать. Особенно поразила его чеховская «Каштанка».

— Подумать только, как будто сам в собачьей шкуре побывал. А? И чего она думает, и чего делает — все знает, тютелька в тютельку...

И вот, оказывается, должен приехать настоящий писатель.

— А что же он будет у нас делать? — спрашивали бойцы.

— Посмотрит, как мы живем, воюем, — отвечал я, — а потом напишет.

— Про нас?

— Про вас.

— И про вас?

— Может, и про меня, если найдет интересным.

— И куда же, в газету?

— В газету, в журнал, а может, и отдельной книжкой.

— Вот так вот про Сагайдака, про Казаковцева, про Шушурина — и прямо в книгу?

— Прямо в книгу.

— Интересно!

Сагайдак долго сидел молча, наморщив свой не привычный еще к морщинам лоб, потом спросил:

— А вот скажите, товарищ старший лейтенант, как же это он... Ну, вот обо мне захочет, например, написать. Про что же он может написать?

— Ну, о том, как ты, например, позавчера вместе с Шушуриным мины в овражке ставил.

— А он откуда знает?

— Ты ему расскажешь.

— Так я ж наврать могу.

Все рассмеялись.

— Чего вы смеетесь? — Сагайдак даже обиделся. — Ну, не позавчера, а первый, скажем; раз, когда я мины ставил... Так я ж чуть... Да что говорить — дрейфил дай бог как. А расскажу я ему об этом? Нет. И ты не расскажешь. И никто не расскажет. Вот. А вы смеетесь...

— А он и сам догадается, — вставил Шушурин. — Если писатель хороший, так сам догадается. Правда ведь, товарищ инженер?

Шушурин был наиболее развитым из всех бойцов. Он окончил семилетку, работал долгое время слесарем на одном из крупных заводов, довольно много читал, в моем взводе исполнял обязанности замполита. Сагайдак — совсем молодой деревенский парень — был его «корешком», воспитанником, так сказать. Оба были комсомольцами и на все задания ходили вместе — так уж было заведено. Для Сагайдака Шушурин был авторитетом, но даже его суждения он никогда не принимал на веру, все ему надо было доказывать. Так и сейчас.

— Догадается... А как он догадается, если на собственной шкуре не испытал? Он ведь и мины живой не видал. Писатель, может, и хороший, а сапер — никакой.

Сагайдак торжествующе оглядел всех нас. Шушурин не сдавался: — Лев Толстой вот с Наполеоном не воевал, а как про ту войну написал, а?

— Так то ж Лев Толстой!..

— А может, и к нам Лев Толстой приедет? Новый какой-нибудь. Почему ты знаешь?

Сагайдак не нашелся что ответить, но по выражению его лица было видно, что он остался при своем мнении. На этом спор кончился — надо было идти на задание.

На следующий день я не без удивления обнаружил у бойцов подворотнички, а в землянке был наведен такой порядок, что даже глаза не верилось. Лопаты все смазаны, винтовки в пирамиде, котелки вычищены и развешаны по гвоздикам, а на стенке, кроме плаката «Бей насмерть!» с изображением стреляющего пулеметчика, появилось несколько открыток с видами Москвы и почему-то Ласточкиного гнезда в Крыму.

Но писатель так и не приехал. В полку поговорили-поговорили о нем и перестали. Затихье кончилось. Началось наступление. Это после того, как немцы отвергли наш ультиматум.

Командир полка вызвал всех командиров к себе и давал задание. Командиры слушали и молчали. Людей в полку не хватало, а задание было серьезное. Каждому казалось, что его задание особенно сложно, сложнее, чем у других. Мне тоже так казалось. Во взводе семь человек, а нужно в каждый батальон дать по два бойца и отрыть к тому же заваленный ход сообщения к застрявшему танку. Танк этот — подбитая «тридцатьчетверка» — стоял как раз посредине нейтральной зоны, и вот уже сколько времени из-за него шла война. Сейчас он был у немцев. Приказано отбить. От нас к танку тянулся ход сообщения, довольно глубокий, но основательно разбитый. В двух-трех местах его завалило, земля промерзла, лопатой ничего не сделаешь. Лучше всего было бы эти места подорвать, но это выдало бы нас и могло сорвать наступление. Предстояло всю ночь кайлить киркой под самым носом у немцев. А кому?

Ко мне подошел капитан Барщ, помощник начальника штаба, — мы с ним прибыли в полк в один и тот же день, и поэтому, возможно, он благоволил ко мне.

— Пришло двенадцать человек пополнения, — шепнул он мне. — Иди скорей в штаб, возьми себе троих, пока не расхватали комбаты.

Я помчался в штаб. Дежурный куда-то вышел. В тесной, невероятно натопленной землянке, заполнив ее до предела, стояли и сидели бойцы. Их еще не переодели, и вид у них — в основном это была молодежь двадцать четвертого, двадцать пятого годов рождения — был разношерстный и далеко не воинственный. Я отобрал троих постарше, отвел их в распоряжение саперов, а сам вернулся к командиру полка.

После совещания зашел в нашу землянку. Бойцы уже были готовы, новички переодевались — пополнению давалось все новое, от натальной рубахи до тулупа и валенок. Стоя у печки и прыгая на одной ноге, влезали в подштанники.

Земляные работы требуют большой физической силы и выносливости, поэтому я с чисто профессиональной стороны рассматривал новичков. Двое были ничего, достаточно мускулистые и, очевидно, привыкшие к физической работе, третий же — тонкорукый и узкогрудый, с выдающимися лопатками — меня мало обрадовал: такой после десятой лопаты скиснет. Я решил оставить его стеречь землянку — все до единой уходило на передовую, — но в последнюю минуту оказалось, что один из моих бойцов, Филиппов, вывихнул руку, и я вынужден был оставить его, а не новичка.

Я отозвал Сагайдака и Шушурина.

— Придется мне сегодня вас разлучить. Новичков в батальоны не пошлешь, кому-то из вас надо с ними идти на ход сообщения.

— Что ж поделаешь,— вздохнул Шушурин.— Кому ж куда?

Сагайдак был рекордсменом земляных работ, поэтому я направил его на ход сообщения.

— Закругляйся там, хлопцы!— крикнул он все еще возившимся у печки новичкам.— Слышь? А то копаются, копаются, точно на свадьбу.

Голос у него был недовольный, видно было, что компания его мало устраивала.

Я пошел к дивизионному инженеру уточнить задание по разминированию, а когда вернулся, в землянке никого уже не было — один только помкомвзвода Казаковцев сидел за столом и, слюнявя карандаш — от этого усы у него всегда были с лиловым оттенком,— переписывал начисто сведения о пополнении.

— Теперь нас никто уже не обманет, товарищ инженер. Собственного бухгалтера заимели.

— Какого бухгалтера?

— А вот этот, из новеньких, что в плащ-палатке пришел, бухгалтер, оказывается. Вот, смотрите,— он указал на листок,— «Масляев, Николай Иванович, 1911 г. рождения, русский, уроженец города Москвы, образование — высшее, незаконченное — три курса финансово-экономического института». Видали?

— М-да... Он там накопает...

Я не был поклонником бойцов с высшим образованием, даже с незаконченным. Был у меня уже один такой — тоже что-то вроде экономиста. Попал ко мне во взвод и сразу же попросился на должность писаря, хотя у меня такой сроду не было.

— Так сделайте!— Он даже удивился.— Я вам всю отчетность на такую высоту поставлю, что вы только ахнете.

Попросив разрешения закурить, он стал сетовать на тех командиров, которые по неразумению своему используют специалистов на черной работе, и тут же признался, что очень обрадован встрече со мной, человеком интеллигентным, который, конечно же... Я перебил его и в самых вежливых выражениях дал понять, что писарь мне абсолютно не нужен, а всю отчетность на необходимую высоту подымает помкомвзвода. На этом разговор кончился.

Пробыл у меня этот «экономист» около двух недель, из них дней десять проболел ангиной, потерял лопату, раз пять приходил ко мне жаловаться на бойцов, которые съели привезенное им с собой сало и обложили еще его матом,— одним словом, так надоел мне, что я отправил его на левый берег с запиской помощнику командира полка по хозяйности — пусть делает с ним что хочет. Там его тоже кто-то обидел, и, кажется, довольно основательно, так как он попал в медсанбат. Что дальше с ним случилось, не знаю, но, так или иначе, открытие Казаковцева не очень меня обрадовало.

Только на следующий день вечером увидел я своих саперов. Усталые, но довольные — танк удалось захватить и сейчас под ним стоял уже наш пулемет,— они сидели в своем блиндаже и, балагурия и весело переругиваясь, чистили оружие. Потерь во взводе не было, только слегка царапнуло пулей Шушурина, и настроение у всех было приподнятое, как и всегда после удачно проведенной операции. Когда я вошел, Сагайдак с азартом и замашками настоящего командира отделения, которым он еще не был, но мечтал стать, объяснял Масляеву и другому, круглолицему, все

время смотревшему ему в рот новичку, как надо разбирать винтовку. С часами в руках он стоял над ними, а те, торопясь и путая части, пытались ее собрать.

— Новичков вот обучаю, товарищ инженер. Военной справе, так сказать.

— Ну и как?

— Да ничего.

— Автоматизма вот, говорит, у нас нет,— вздохнул Масляев.

Он держал в руках затвор и, как все новички, свернув его, никак не мог повернуть обратно. Обе руки у него были обмотаны бинтами.

— Что это у вас?— спросил я.

— А это от кирки,— улыбнулся Масляев.— С непривычки.

— Мозоли натер,— пояснил Сагайдак.— Ручки-то городские. А вообще,— он наклонился ко мне,— могу доложить, работали хлопцы справно, жаловаться нельзя.

Масляев опять улыбнулся. У него была приятная улыбка, от которой его худое, со впалыми щеками, небритое сейчас лицо сразу как-то засветилось. Лицо его нельзя было назвать красивым — в нем была какая-то неправильность, которую трудно сначала было уловить: то ли слишком короткая верхняя губа, обнажавшая зубы, то ли несимметричные брови — и в то же время оно чем-то привлекало, вероятнее всего, глазами: серьезными, чуть-чуть ироническими, отчего, когда он говорил, казалось, что он над вами подсмеивается. На вид ему было лет тридцать (вчера он мне показался почему-то значительно старше), и ничего бухгалтерского в нем не было.

— Вы впервые на фронте?— спросил я.

— Вроде как впервые.

— Как это понимать — вроде?

— Так близко от немцев во всяком случае впервые.

— Ну и как?

— Т-так себе...— неопределенно сказал он, и все рассмеялись. Масляев тоже.

Я посидел, покурил, выслушал рассказ Сагайдака — он вообще не прочь был поговорить — о какой-то стычке с артиллерийскими разведчиками на передовой из-за блиндажа и, уходя, попросил кого-нибудь из солдат пройти со мной — от разорвавшейся мины перекосило дверь землянки и в щель страшно дуло, надо было исправить. Солдаты уже разулись, один только Масляев возился еще с чем-то в углу.

— Ну, как вам Сталинград?— спросил я его, когда мы вышли.

— Да как вам сказать. Не таким я его себе представлял.

— А каким же?

— Каким?— Он на минуту задумался.— А бог его знает. Не могу сейчас объяснить. С мыслями еще не собрался.

— А все-таки?

— Не выйдет сейчас, товарищ инженер. Слишком все это свежо, что ли, не знаю...

Мы довольно быстро поправили дверь. По окончании работы я предложил ему стакан чаю. Он отказался — спать, мол, хочется. Уходя, он посмотрел на стоявший в углу самовар и спросил:

— Сколько отсюда до передовой?

— Метров четыреста — пятьсот.

— Забавно.

Под койкой у меня лежали книги, видны были только корешки. Он указал на них.

— И читать успеваете?

— Не очень. Библиотечка для раненых главным образом.



Он попрощался и ушел.

На третий день Масляев уже почти ничем не отличался от других бойцов. С поразительной быстротой вошел он в нашу жизнь. Ему было трудно — натертые руки очень долго не заживали, а работать приходилось много и тяжело, — но он и виду не подавал. Не только не отлынивал от работы и не просился в писари или вообще на «чистую» работу, которая у меня время от времени появлялась — разные схемы и планы, — наоборот, в каких-нибудь два-три часа ознакомившись с устройством наших и немецких мин, научился заряжать и разряжать их скорее, чем кто-либо во взводе, и уже на четвертый или пятый день, когда я посылал на передовую группу минеров, попросил послать и его.

— Успеете, куда вам торопиться, — сказал я, считая, что это он просто так, чтобы не думали, что он боится. — Пообвыкнете, пооботретесь, тогда уж и за мины. Дело все-таки ответственное и довольно опасное.

Он пожал плечами и как будто даже удивился.

— Через неделю оно не станет менее опасным, а начинать когда-то же надо. Ведь правда?

Я отправил его вместе с Казаковцевым и Сырцовым — лучшими минерами, на которых всегда можно было положиться. Вернулись они довольно скоро, замерзшие, но веселые.

— Ничего, толк будет, — подмигнул мне Казаковцев. — Малость мандражировал, но... В общем, порядок.

Сам же Масляев, заметно осунувшийся за эти несколько часов, признался, что дрожал, как осиновый лист.

— Честное слово. Никогда даже не думал. Вставляю взрыватель, а пальцы не слушаются. Все мимо дырки попадаю. Черт знает что... — И покраснел.

Кругом стояли бойцы, но никто из них не улыбался. Очевидно, то, что он не побоялся при всех сознаться в своем страхе, понравилось им. На фронте вообще не прощается малейшее проявление трусости — в этом отношении солдаты народ жестокий, высмеять умеют, — но тут все поняли, что это не трусость, так же как и просьба отправить его на задание не фанфаронство, не бравада.

Вообще бойцы сразу полюбили Масляева. И полюбили какой-то очень трогательной любовью, сочетавшей в себе уважение к нему как к старшему и более образованному с очень милой и иногда забавной заботой о нем как о человеке, который много самого простого не знает, не умеет и на фронте благодаря этому может попасть в беду. Достаточно было посмотреть на Сагайдака, когда он обучал Масляева тесать бревно, чтобы сразу же понять их отношения. Масляев, весь красный, обливаясь потом, мелкими, неуверенными движениями тесал бревно, а здоровенный, косая сажень в плечах, Сагайдак, умевший делать все на свете, стоял над ним и поучал:

— Да ты не бойся, не бойся. Смелей. Ноги не отрубишь. — И тут же перехватывал топор и быстрыми, точными ударами заканчивал бревно: — Видал? Теперь давай то. Да не держи ты топор, как свечку на свадьбе. Мах нужен, мах...

Или вечером в землянке, глядя, как Масляев, присев на корточки у печки, ковыряется с брюками, скажет:

— Ну, кто так шьет, голова? Нитка в три аршина, заплатка гнилая. Дай-ка сюда. — И в полминуты ставил прекрасную, аккуратную заплату.

Однажды, когда Сагайдак с Масляевым пошли на склад получать лопаты, кто-то там придрался к Масляеву — то ли он толкнул случайно, то ли лопатой задел — и обругал. Сагайдак молча подошел к обидчику, снял с него ушанку и забросил в Волгу.

— Заберешь свой мат обратно — принесу, не заберешь — пльви сам. Пострадавший, смерив Сагайдака взглядом, молча полез за своей ушанкой.

А вечером, когда я отчитывал Сагайдака, он смотрел в землю и бурчал:

— Сопляк еще.. Жалко, что вместе с ушанкой не выкупал. Что он против Масляева? Так, пшик какой-то, а туда же — матом...

Масляев тоже полюбил Сагайдака, иногда, правда, подсмеивался над ним, над его любовью похвастаться своей силой или умением и в шутку называл «бычком». Сагайдак никогда не обижался, хотя парень был вспыльчивый и во взводе его даже немного побаивались. Шушурин, я заметил, даже слегка ревновал своего «корешка» к Масляеву, но общих отношений это не портило.

Масляев был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить, но если уже начинал что-нибудь рассказывать, бойцов нельзя было от него оторвать. Говорил он негромким, слегка хриловатым голосом, без каких-либо внешних эффектов и красивых фраз. Видно было, что он много читал, много видал. Как-то само собой получилось, что он стал вести политзанятия. Я предложил ему «пост» замполита. Он наотрез отказался.

— Дело не в образовании, товарищ инженер. Дело в авторитете. Шушурин опытный боец, а я как солдат молокосос еще. У него больший авторитет, хотя он и комсомолец, а я партиец. Всею свое время. Ограничимся пока тем, что есть.

Я согласился и замполитом его не назначил, но политзанятия Масляев продолжал вести. И если раньше, когда их проводил Шушурин, бойцы больше спали, чем слушали, то сейчас даже после тяжелого дня или ночи, когда не привыкший к физической работе Масляев буквально валился с ног, бойцы не давали ему покоя.

— Да брось ты укладываться. Успеешь еще поспать. Объясни-ка лучше, почему это Черчилль с Рузвельтом без Сталина встречались. Где-то там в Африке. Сегодня в газете было.

Масляев объяснял. И про встречу в Касабланке — почему там Сталина не было, и про объявление войны Ираком Германии — «где же это они воевать будут, когда Ирак где-то там у черта на куличках?», и про Указ Верховного Совета о введении погон — когда же их наконец введут и почему на новых солдатских гимнастерках не будет карманов.

Слава о сапере, который «рассказывает газеты», проникла в соседние подразделения — на занятиях стали появляться химики, огнемётчики, даже один раз пара разведчиков. Дошла она и до замполита полка Чувькина.

— У тебя, я слышал, агитатор мировой появился? — сказал он мне как-то. — Пришли-ка его ко мне.

Но Масляев отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. То на задание надо идти, то оружие почистить, то Чувькина сейчас нет у себя — одним словом, явно отлынивал. Я не настаивал, боясь, что Чувькин отберет его у меня, и на этом дело кончилось.

Был и еще один случай, который поставил меня в тупик. Мне нужно было срочно отправить в штаб армии карту оборонительных сооружений полка. Сам я не хотел туда идти, так как однажды взял там «Фортификации» Ушакова, обещал вернуть через день, а держал больше месяца и в конце концов потерял. Терентьев же, мой связной, был занят изготовлением холодца — где-то ему удалось добыть «потрошки», какие-то копыта и уши, — и мне не хотелось отрывать его от столь важного дела. Зашел к саперам. После ночной работы все спали, один только Масляев

сидел у печки. Я попросил его отнести карту в штаб армии. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал после небольшой паузы:

— А обязательно надо идти?

Я удивился — конечно, надо. Он замялся.

— Ногу я вывихнул, ходить трудно...

Я послал Терентьева, но случай этот меня удивил: не в привычках Масляева было ссылаться на болезнь при получении приказа.

Вообще же Масляев был прекрасным, я бы сказал даже, образцовым бойцом — немножко слабоватым для сапера физически, но смелым, исполнительным и, главное, — это особенно бросалось в глаза и подкупало — он никогда не хотел казаться лучшим, чем он есть. Это очень редко встречаемая черта. Он знал свои слабости и никогда их не скрывал, так же, как, зная свои сильные стороны, никогда их не подчеркивал.

Он, например, не переносил бомбежек. К минам, даже к разминированию вражеских полей — а это самое опасное дело, — привык очень скоро, никогда не кланялся пулям (я даже сначала подумал, что он немного бравирует этим, но потом увидел, что это не так), на передовую ходил самыми короткими, хотя и наиболее обстреливаемыми тропами — одним словом, был по-настоящему храбрым человеком, а вот бомбежек боялся, и боялся смертельно.

Достаточно было появиться какому-нибудь «мессеру» или даже «раме», как он сразу же бледнел, и чувствовалось, что для него больших усилий стоит не залезать в щель.

— Вот боюсь я их, и все, что поделаешь. Сразу как-то сердце обрывается, вроде как тошнит... Даже когда за пять километров от тебя бомбят — все равно.

И ни один боец ни разу не подшутил над ним, хотя, будь на месте Масляева кто-нибудь другой, могли бы довести до слез. Кстати, того, предыдущего «экономиста», доводили-таки, и он не раз прибегал ко мне жаловаться. Но тот не только самолетов, тот всего боялся.

Так мы жили своей маленькой саперной семьей, никогда не превышавшей восьми — десяти человек, жили дружно, никогда не ссорясь и не обижаясь друг на друга. По ночам на передовой, днем всегда находилась какая-нибудь работа у себя в овраге или на берегу. А бывало, что и просто отдыхали — на фронте и такое случается.

Потом нас перекинули правее, и мы стали воевать за сопку Безымянную — северный отрог Мамаева кургана. Людей в полку было мало, каких-либо особо сложных операций проводить мы не могли и ограничивались главным образом артиллерийским и минометным обстрелом, а мы, саперы, все теми же бесконечными НП. Минировать, слава богу, было не нужно — немцы давно уже не атаквали, а только огрызались.

Январь был на исходе. Начали поговаривать о весне. И, хотя до нее было довольно-таки далеко, говорить о ней было весело и приятно — никто не сомневался, что встречать ее мы будем уже не здесь, а где-нибудь там, под Харьковом, на Украине.

\* \* \*

Двадцать шестого января — мы навсегда запомнили этот день — рано утром ворвался ко мне в землянку Казаковцев.

— Вставайте, товарищ инженер, вставайте! Фрицы драпанули!

— Что-о-о?

— Фрицы драпанули. Ушли за овраг Долгий. На Мамаевом никого нет. Вставайте скорей. Говорят, с Донским фронтом соединились.

Я вскочил. В овраге нашем никого уже не было — все ушли на Мамаев. Был ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Все сияло: небо,

Волга, начавший уже таять и потому чуть-чуть паривший снег, выкрашенные в белую краску и как-то весело постреливавшие среди развалин орудия, да и сами развалины стали как будто другими — не такими, как обычно, грустными и заброшенными. Мы не шли, мы бежали напрямик по местам, по которым раньше и ползти-то было опасно, — бежали веселые, расстегнутые, в ушанках на затылках. А навстречу нам мчались такие же расстегнутые, с сияющими лицами люди и что-то кричали и размахивали руками.

Мамаев нельзя было узнать. Голый, пустой, каким мы привыкли видеть его последние пять месяцев, сейчас он был заполнен людьми, по делу или без дела прибежавшими сюда, и хотя кое-где еще вспыхивали, редкие правда, букетики минных разрывов — немцы огрызались еще из-за оврага Долгого, — на них никто не обращал внимания. На венчавших вершину кургана водонапорных баках — ненавистных нам и стойвших столько жизней баках — развевался красный флаг, связисты тянули уже к ним связь, а на самой верхушке маячила всем знакомая нам массивная фигура генерала Чуйкова.

Сейчас же, не теряя ни одной минуты, надо было приниматься за работу. Курган вдоль и поперек утыкан был минами — нашими, немецкими и самыми опасными — дикими, поставленными кем-то, когда-то и не имевшими документации. Дивизионные саперы уже ходили с миноискателями и щупами, ограждая опасные места колышками с табличками «мины». Говорили, что двое солдат соседнего полка уже подорвались не вдалеке от баков.

Только к четырем часам нам кое-как удалось навести порядок на участке нашего полка. Ограждено было восемь минных полей и обезврежено никак не меньше трех десятков одиночных мин. Казаковцев с Терентьевыми приволокли в бидонах обед, и мы, усевшись на немецком блиндаже — внутрь залезать не хотелось, надоел земляночный мрак, — с аппетитом уничтожали гороховый суп, приправленный трофейным шпиком, любезно доставленным нам немецкими «юнкерами». Был, конечно, и шнапс — грешно не отметить такой день.

Внизу под нами расстилался разбитый город. Левее, за железнодорожной выемкой, по которой мы обычно ходили на передовую, виднелись розовые от заходящего солнца развалины освобожденного уже «Красного Октября» с единственной уцелевшей трубой, а дальше на север в дыму разрывов белели корпус Тракторного поселка, в котором еще сидели немцы. Над головой то и дело пролетали партии отбомбившихся «петляковых», и было непривычно, что вот летают над тобой самолеты, а ты только улыбаешься им и рукой помахиваешь, а они иногда в ответ крыльями.

Все понимали, что это уже конец или, вернее, начало конца. И потому было весело, и лица у всех как-то помолодели, и вообще все было хорошо.

Мы уже долизывали котелки, когда шагах в десяти от нас раздалось вдруг:

— Господи, боже мой! Николай Иванович!

Начальник политотдела полковник Стрелков и еще несколько офицеров стояли возле нас, и у Стрелкова было такое лицо, будто перед ним был не мирно дожевывающий свой обед саперный взвод, а что-то очень смешное и удивительное.

— Николай Иванович, черт вас забери...

Он не закончил. Подошел к Масляеву и крепко его обнял.

— Сидит, негодяй, и шнапс с солдатами дует. Как вам это нравится? — Он повернул свое смеющееся, в редких рябинах лицо в сторону сопровождавших его офицеров.

Масляев стоял, машинально дожевывая мясо. Стрелков опять повернулся к нему.

— Гуляка проклятый. Хоть бы в штаб когда заглянул, а? И редактор наш на вас в обиде. Пошли, говорит, ему навстречу, разрешили в полк уйти, так хоть какую заметку догадался бы прислать. Нехорошо, нехорошо... Ну, а шнапс-то начальству все-таки оставили?

Стрелков с наигранной укоризной посмотрел на Масляева, на мокрые и грязные от снега колени его, на руки в ссадинах и царапинах, потом перевел взгляд на его воротник.

— Пойдите, пойдите, дорогой товарищ. А где ваши «шпалы»?

— В целости и сохранности, товарищ полковник.

— Видали? — Стрелков переглянулся с сопровождавшими его офицерами, потом посмотрел на меня. — Кто здесь командует, вы?

— Я, товарищ полковник.

— Из какого полка?

Я ответил.

— И это ваши солдаты?

— Мои.

— А этот товарищ что у вас делает? — Он кивнул в сторону Масляева.

— Как — что? То же, что и все.

— Что и все? Великолепно! Ну и как, хороший солдат?

Я слегка замаялся, как всегда, когда не знаешь, с какой целью тебя спрашивают.

— Хороший.

— Дисциплинированный, исполнительный?

— Дисциплинированный, исполнительный.

— Может, представим его к награде?

— Петр Петрович, дорогой, — взмолился Масляев, — пожалейте меня, прошу! Не ставьте в смешное положение.

— Ну ладно. — Стрелков махнул рукой. — Только с одним условием. — Он повернулся ко мне. — Придется мне этого товарища у вас отобрать. Ничего не поделаешь. Мне самому он сейчас нужен. Пошлите-ка кого-нибудь за вещами товарища Масляева, пусть в политотдел отнесут.

— Да какие у меня там вещи, Петр Петрович, — сказал Масляев. — Вещмешок, и все. Никого посылать не надо. Я вечером к вам загляну.

— Заглянет! Вы слышите? Дудки. Знаем мы, как вы заглядываете. Пойдете сейчас со мной, и все. — Он взял Масляева за отворот шинели и провел ладонью по своему горлу. — Вот как вы мне сейчас нужны, понимаете? Не сегодня-завтра будем кончать всю эту петрушку. Вы такие вещи увидите, что... Да в конце концов, может, и я хочу увековечиться? А?.. В общем, — он повернул ко мне смеющееся лицо, — вещи доставите в политотдел. Ясно?

\* \* \*

Только месяц спустя мы встретились с Масляевым. Встретились на станции Поворино, где наш эшелон, двигавшийся уже на запад, стоял дня два или три. У нас был отдельный вагон, и хотя, кроме нас, восьми человек, в нем ехало еще две лошади и повозка, чувствовали мы себя в нем, по словам Сагайдака, как паны. Сделали нары, натаскали соломы обзавелись собственным патефоном — в общем, не тужили.

Масляев появился неожиданно.

— Алло! Здесь саперы сорок седьмого?

— Здесь.

— Разрешите к вам в гости?

Он вскочил в вагон и весело всех оглядел.

— Чайком угостите?

На нем была красивая подогнанная шинель, серебристая ушанка, от прежнего Масляева осталась только улыбка и смеющиеся глаза.

— Соскучился по вас, ей-богу! Ох, как соскучился. У нас там,— он сделал движение головой в сторону, где стоял, очевидно, их эшелон, — окурки на пол не брось. — Он опять оглядел вагон. — А где Сырцов?

— Ранило. В последний день, за «Красным Октябрем», — сказал Шушурин.

— А Кузьмин?

— Тоже.

— А остальные, значит, все здоровы?

— Слава богу.

Помолчали. Масляев сел на нары, расстегнулся.

— А вы неплохо устроились. С музыкой, вижу, по всем правилам. — Он кивнул в сторону нашего старенького, выдавшего вида патефона.

— Ага,— сказал кто-то, кажется Казаковцев. — Пластинок вот только маловато, две штуки. — И помолчав, добавил: — Может, у вас в штабе разжиться можно?

— У нас в штабе? — Масляев почесал затылок. — У нас в штабе, вероятно, есть. Наверное даже есть. В следующий раз обязательно принесу. — И после небольшой паузы: — Ну, так как же жизнь?

— Жизнь? Да понемножку. Загораем на зимнем солнышке.

— Правильно, так и надо... После Сталинграда можно и позагорать.

Кто-то вытащил кисет, и все по-деловому стали скручивать сигарки. Потом закурили. Казаковцев в углу возился с чайником.

— А я тут кое-что вам на память принес,— нарушил воцарившееся опять молчание Масляев. — От бывшего однополчанина, так сказать.

Он перекинул на колени планшетку, порылся в ней, вынул оттуда книжечку и протянул ее Шушурину. Тот осторожно, двумя пальцами, взял ее.

— Тут несколько довоенных рассказов, — сказал Масляев, — довольно слабеньких, но... В общем, почитаете — увидите.

Бойцы внимательно рассматривали книжечку, бережно передавая ее из рук в руки. Потом пили чай. Беседа не клеилась, чувствовалось, что солдаты стеснялись и не знали, как себя держать. Сагайдак, передавая Масляеву кружку с чаем, сказал:

— Не обожгитесь, товарищ подполковник, горячая.

— Какой я тебе подполковник, Сагайдак? — возмутился Масляев. — Давно ли ты меня винтовке учил?

Сагайдак смутился и ничего не ответил.

— Это все шинель виновата, — сказал Масляев. — Слишком она у меня красивая...

Все рассмеялись, как смеются шутке начальника — ровно и сдержанно. Масляев скинул шинель, бросил ее на повозку. Потом посмотрел на часы, зачем-то надел и затянул ремень. Солдаты молча перелистывали книжку, передавая ее друг другу. В вагоне стало совсем тихо, только лошади топтались в углу.

Чтоб разрядить напряжение, я затеял разговор о том, что вот война кончится, многое забудется, сотрется в памяти и что надо было бы всем нам вести все-таки записки — кто его знает, может, еще из Шушурина

или Сагайдака писатель получится, рассказать им во всяком случае есть о чем.

Сообразительный Казаковцев ловко подхватил эту тему и довольно забавно представил, как лет этак через десять придет он з роскошный кабинет к окруженному книгами Сагайдаку, и тот его не узнает, попросит позвонить через пару денечков, когда он освободится от спешной работы. Казаковцев когда-то занимался самодеятельностью и недурно копировал людей. Солдаты весело смеялись, не переходя, правда, границы, которую обычно охотно переходили.

Масляев сидел рядом со мной на нарах и тоже улыбался. Но по глазам его я видел, что он думает о чем-то другом.

— О чем задумались, Николай Иванович?

Он встрепенулся.

— Да так, просто... Смотрю вот на всех вас и...— Он не закончил, отвернулся и обнял за плечи сидевшего рядом с ним Сагайдака.— Расскажите-ка лучше, хлопцы, как вы там в Сталинграде без меня жили? Долго еще пришлось Мамаев чистить?

Весь последний месяц мы были заняты в основном разминированием, довольно скучной и кропотливой работой. Приходилось обшаривать буквально каждый метр усеянной металлом земли, и эта возникшая вдруг тема, связанная с воспоминаниями о том, как бойцы в озаренные ракетами ночи ковырялись в замерзшей земле, ставя мины, как будто разрядила напряженность и неловкость первых минут. Стали вспоминать всякие эпизоды, часто довольно забавные,— а недостатка в них не было,— происходившие во время выполнения заданий, вспомнили и первую масляевскую вылазку на разминирование, когда у него дрожали пальцы и он никак не мог вставить взрыватель.

— Паршивая все-таки работенка, ну ее...— вырвалось как-то неожиданно у Казаковцева, лучшего, кстати сказать, в полку, если не во всей дивизии, минера.— Век бы их не видел...

— Работенка не из веселых,— согласился Масляев.

Сагайдак лукаво подмигнул:

— А вам что? Вон и на пальцах, гляди, уже чернила, бинтиков не надо...

— Да, превратился в канцелярскую крысу,— вздохнул Масляев.— Теперь ведь все дивизии свою историю пишут, а мне вот правь, редактируй...

— Такая уж специальность,— сказал Сагайдак.— Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь,— согласился Масляев.

— А жаль...

— Кому жаль?

— Да нам, конечно. Привыкли все-таки... Вот и газету рассказать некому. Шушурин, что ли?

Сагайдак махнул рукой и стал возиться с обмоткой. Масляев встал, прошелся по вагону, сказал «м-да...» и опять сел. Видно было, что ему хочется о чем-то рассказать или просто сказать, но он не знает, с чего начать. А может быть, и просто не уверен, нужно ли об этом говорить.

— А все-таки эти две недели недаром прошли,— сказал я, чтоб как-то подтолкнуть его.— И минировать теперь научились, и НП делать, и...

Я на секунду остановился, вспоминая, чем еще приходилось заниматься Масляеву,

— И?.. Доканчивайте.

— Ну, и вообще стали заправским сапером.

Он опять встал.

— Нет. Не то... Не сапером я стал... Больше... Значительно больше...

Прошелся по вагону, подошел к раскрытой двери, постоял там. В черном прямоугольнике было видно, как по небу, сужаясь и расширяясь, лениво ползали лучи прожекторов. Из соседнего вагона разведчиков доносился веселый хохот — там, видно, играли в «козла».

Солдаты сосредоточенно молчали. Очевидно, до них не совсем доходило то, о чем он хотел сказать.

— А может, это самое, к медикам, что ли, сходить? — неожиданно спросил Сагайдак, взглянув на Масляева, а затем на меня.

— Зачем? — не понял Масляев.

— Ну, горючего, что ли, раздобыть малость...

Масляев как-то очень серьезно посмотрел на Сагайдака, насупил брови, но почти сразу же лицо его изменилось, и он рассмеялся.

— А может, действительно сбегать?

Я воспротивился — хватит с меня прошлых неприятностей.

— А что, действительно неприятности были? — спросил Масляев.

— Еще какие. А что, если б с вами случилось что-нибудь? Кто в ответе? Я.

— Простите тогда, Христа ради. Но кто знал, что так получится. Думал, приду в полк, разыщу дежурного, представлюсь командиру полка...

— А вместо этого — кирку в руки и пожалуйста бриться, — не выдержал и прыснул Сагайдак. — У нас дело просто. Без лишних разговоров.

— Какие там разговоры, никто тебя не слушает, кричат. Хотел я сказать — виноват, уважаемый товарищ, но я пришел, как у нас говорят, ознакомиться, а вовсе не атаки там отбивать или землю рыть. Так даже рта не дали открыть. Шагом марш, и все...

Все рассмеялись.

— Сами виноваты. Надо было на следующий день поговорить, — сказал я, чтоб как-то оправдать свое поведение. — После передовой, когда все успокоилось. Почему не пришли?

Масляев развел руками.

— А черт его знает... Постеснялся, что ли...

Где-то далеко на станции прогудел паровоз. Масляев шагнул к фонарю и посмотрел на часы.

— Батюшки, заболтался!

Он стал искать шинель, потом крепко пожал всем руки и выскочил из вагона.

— Не поминайте лихом!

Держась за поручень, он посмотрел вверх, на нас.

— Так если опять появлюсь у вас, не прогоните?

— Каждому новому бойцу рады, сами знаете, — сказал я.

— Ну, смотрите же!

Масляев рассмеялся, махнул рукой и скрылся в темноте.

Укладываясь спать, Сагайдак долго возился, кряхтел, чиркал спичками, вздыхал, а когда я цыкнул на него, мрачно взглянул на меня и сказал:

— Напрасно вы меня не пустили, товарищ инженер.

— Куда?

— Да к медикам...



## Из блокнота

### 1. Царь-рыба

Как известно еще из старых учебников, город Киев стоит на пересечении великих торговых путей. Когда-то по этим путям «из варяг в греки» проплывали в своих челнах викинги и купцы, сейчас же на поездах и самолетах проплывают на юг и обратно друзья и знакомые. И всем им обязательно почему-то нужно останавливаться в Киеве.

«Встречайте шестнадцатого поезд четырнадцать вагон двенадцать». «Прилетаем субботу симферопольским тчк Рассчитываем обычное гостеприимство». «Дороге Коктебель можем задержаться Киеве три—пять дней телеграфьте возможность гостиницы». «Соскучились Киеву будем завтра бесконечно рады встрече»... А иногда просто уверенный звонок в дверь: «Не ожидали? А мы прямо к вам. С вокзала и прямо к вам на голову. Вырвалась неделька свободная».

Обычно все это происходит летом — июнь, июль, август, — в этом же году захлестнуло почему-то и сентябрь. Приблизительно к середине месяца я уже острой ненавистью ненавидел вокзал, аэродромы, городскую станцию, кассы Аэрофлота, а заодно любимые мои киевские каштаны, Андреевскую церковь, Русский музей («Говорят, там у вас великоколпная богоматерь Врубеля»), Софию со всеми ее фресками, набережную, Выдубецкий монастырь и бесконечно благодарен был только тем неизвестным мне людям, которые надумали закрыть на ремонт Лавру.

Веселые и отдохнувшие или только собирающиеся отдохнуть, в высшей степени любознательные и неутомимые гости восторгались красотами Киева, поражались нам, киевлянам, которые зачем-то едут на юг, «когда у вас тут настоящий курорт, и воздух, и зелень, и пляж», покупали к чаю обязательные торты, рылись в книгах, спать ложились не раньше двух часов ночи («мы так еще мало поговорили»), вставали в восемь, а то и в семь («у вас такие тут утра!»), а мне надо было кончать работу.

К двадцатому числу я созрел полностью. Надо бежать! Куда угодно — в лес, в пустыню Гоби, на Северный полюс, но бежать. И тут мне повезло — выяснилось, что у моего друга, художника, третью уже неделю живут родственники жены и он, так же как и я, мечтает о тишине, покое и возможности хоть немножко уединиться и поработать.

— А что, если мы с тобой, — сказал он мне, — рванем на недельку-полторы, ну, хотя бы в Остер? Я когда-то там жил, местечко чудесное, на берегу Десны, хозяева знакомые, дом у самой речки, дачники разъехались, что еще надо? Ты будешь кончать свою работу, я напишу малость этюды — третий год собираюсь, и все нет времени. Ей-богу, имеет смысл...

И мы рванули в Остер.

Трясясь в междугородном автобусе, мы сначала только ликовали. Все позади — родственники, знакомые, телефонные звонки, дни рождения, свадьбы. Вот так вот, решительно взяли и отрубили. Надо же в конце концов и поработать. После Дарницы мы расстались с прошлым и перешли к планам на будущее.

Решено было жить по строгому регламенту. В семь подъем, легкая зарядка на берегу реки, завтрак — молоко с куском хлеба, и — за работу. Мой друг на лодочку и на этюды, я же где-нибудь в саду, под деревом привожу в порядок и заканчиваю свои записки о поездке во

Францию, до которых за последние два месяца никак не дотягивались руки. После обеда небольшая прогулка пешком или на лодке, вечером еще часика два-три работы, потом легкий ужин и в десять отбой. Распорядок железный. Никаких отклонений. Дисциплина в работе — самое важное. За десять дней можно сделать бог знает сколько. Главное — втянуться, войти в ритм.

В Остер приехали часа в три. Городок действительно оказался чудесный — небольшой, зеленый, с одноэтажными беленькими домиками, широкими, мягкими, заросшими травой улицами и удивительно уютной гостиницей с бродящими по двору курами и развешанными майками и носками на крылечке. Мест в ней, правда, не оказалось, но мы на нее и не рассчитывали и с легким сердцем, подхватив свои рюкзаки и чемоданчики, отправились к хозяевам моего друга, которые приняли нас с распростертыми объятиями. В наше распоряжение предоставлена была комната с верандой, две кровати, лодка и утром и вечером по литру молока. Фундамент был заложен.

В виде исключения, да и вообще день был уже разбит, решено было сегодня не работать. Взяли хозяйскую плоскодонку и не торопясь двинулись вверх по течению.

Описывать красоты Десны не буду, скажу только, что те три часа, которые провели на реке, мы только ахали и вздыхали. Восторгались всем: берегами, бакенами, чистым песочком, высокими одинокими осокорями, быстрым течением реки, галдящими стаями грачей, солнечным закатом, плавающими уточками, тоненьким молодым месяцем. Вздыхали и ахали.

— Ну и ну. Е-елки зеленые. А воздух-то, воздух... Работаться здесь будет — не говори...

На обратном пути, сидя на правилке и поглядывая на усеянный рыбаками берег, мой друг сказал:

— Здесь рыбы прорва. Надо будет разок-другой посидеть с удочкой. У хозяина есть, я видел. Ты давно не пробовал свежей рыбки?

— Миллион лет! — беспечно ответил я, увлеченный сладостным ритмом взмаха своих весел и не подозревая всего, что нас ждало впереди.

А ждало нас то, что на следующий день был «храм». Хозяева бог весть когда ушли в церковь, забыв оставить нам молока, и мы с горя пошли на базар. Это был роковой шаг.

На базаре мы купили рыбы. Купили подлещиков. Десять штук. Мой друг посмотрел им под жабры и сказал:

— Дай бог какая!

Придя домой, мы взяли таз и пошли на речку потрошить рыбу. Мой друг потрошил, а я смотрел. Делал он это очень ловко, будто всю жизнь этим занимался. Потом мы жарили подлещиков на керогазе. Муку и подсолнечное масло пришлось взаимнообразно стащить у хозяев. Потом мы подлещиков съели. Все десять штук сразу. Нет, мы не ели — мы стонали. Обсосали все головы, все косточки — хозяйская кошка глядела на нас с ненавистью.

Потом, раздувшись, лежали на теплом песочке на берегу Десны и, лениво глядя на проплывавших мимо в своих челноках рыбаков, думали о разнообразии фауны украинских рек и о том, какого счастья лишены мы, жители больших городов, довольствующиеся мороженой камбалой и исландскими судаками из «гастрономовских» холодильников.

Так мы лежали на песочке и думали, подставляя солнцу то спину, то живот, потом перестали думать и заснули. Ни о какой работе в этот день не могло быть и речи.

На следующий день мы решили до работы еще, утречком, сбегать все-таки на базар, купить рыбы, почистить ее и оставить до обеда. Рыбы

на базаре оказалось много. Мы купили два довольно крупных леща, три окуня и с десяток красноперок. Потом довольно долго стояли в очереди за газетой. Когда вернулись домой, выяснилось, что мы очень голодны и глупо тянуть с обедом, когда есть хочется именно сейчас. Хрустящие и румяные наши окуни и лещи превзошли даже вчерашних подлещиков (подлещик все-таки рыба костистая), но и они в свою очередь померкли перед линьками, купленными нами на следующий день. Это была уже вершина, царь-рыба, форель, нежная, бескостная, тающая на языке. В этот день мы жарили ее два раза — утром и в обед.

Хозяева заинтересовались: где мы покупаем рыбу — неужели на базаре? Там же все в два раза дороже. Рыбу надо покупать прямо на берегу, у рыбаков, когда те возвращаются домой. Вечерком, часиков в семь, или рано утром, перед восходом солнца. Бывает, правда, и в двенадцать, в час — это те, которые не на ночь, а утречком уходят на ловлю. У них можно за рубль купить столько, сколько на базаре за три не достанешь.

И мы стали ловить рыбаков — утром, днем, вечером. Мы потеряли покой. Мы ни о чем другом не думали — только о рыбе. Нам все время казалось, что у нас ее мало, что мы купили не ту, что надо, что вот не пожадничай мы и дожись старика с бельмом, мы имели бы десяток первоклассных толстых линьков, а так приходится жевать жестковатых все-таки окуней.

В довершение всего мой друг достал где-то удочку. Этим была поставлена последняя точка. Сев в лодку, мы уходили далеко на пустынный островок возле понтонной переправы, и там, пока мой друг на все виды наживки — хлеб, тесто с яйцом, речную улитку (шкальку), мотыля, червя, пареный горох и даже на овес — пытался пополнить наш рыбный запас (за неделю было поймано четыре красноперки величиной с палец, три плотички и две бублицы), я нежился на солнце, смотрел на проплывавшие мимо самоходные баржи, бил на себе злых осенних мух и твердо давал себе обещание завтра же приступить к работе. Потом, борясь с течением и споря, к какому берегу надо ближе держаться, мы торопились домой, боясь прозевать вечерних рыбаков, а добравшись домой, бросались к керогазу, жарили, а затем, сопя и стеная, уничтожали двухдневный запас линьков и лещей.

К концу недели стало ясно, что надо из Остра бежать. Во всяком случае мне, если я действительно хочу кончить работу. Куда угодно — в дремучий лес, на Северный полюс, в пустыню Гоби, на худой конец просто в Киев...

После этого мы прожили еще три дня — надо было дожидаться пятницы, когда должны были вернуться с рыбалки старые, опытные рыбаки, ушедшие вверх по течению на пять суток. Не возвращаться же домой с пустыми руками...

За десять дней не было сделано ни одного мазка кистью, ни одного штриха карандашом, не раскрыт даже этюдник, не развязана папка с моими бумагами, не написана ни одна строчка... Впрочем, вру — две первые страницы этого очерка (признаюсь, у меня была тайная мысль между делом написать страничек двадцать об Остре, о красотах Десны) написаны были на телефонном переговорном пункте в ожидании, пока мне дадут Киев. Вот и все, что я успел.

Кончаю я эти скорбные заметки уже в Киеве, вернее, на Бориспольском аэродроме. Самолет из Москвы («Буду субботу пролетом Киеве рейс 324 встречай твой Колька») задержался с вылетом на три часа, ресторан закрыт на ремонт, вот и пристроился на скамеечке, вспоминаю Остер, Десну, керогаз, линьков... Царь-рыба, ей-богу!

## 2. Из Касабланки в Дарницу

Как это часто бывает, в последнюю минуту ТУ-104 заменили на АН-10, и написанные на билетах номера мест потеряли свою силу. У трапа к самолету началась легкая давка. Я вошел в самолет одним из последних. Свободных мест оказалось два. Одно рядом с немолодым человеком, на лице которого было написано явное желание поговорить или предложить партию в шахматы, другое — возле двух молоденьких солдат. Я выбрал солдат — мне почему-то всегда стыдно признаться в своем неумении играть в шахматы. Солдаты уже ели сало, аккуратно нарезая его тоненькими, красивыми, розоватыми ломтиками. Оба были слегка навеселе.

Тот, что резал сало, был боек, хитроглаз и в силу определенных обстоятельств говорил немного громче, чем следовало бы. Багаж его состоял из небольшого чемоданчика и аккуратно сложенной шинели, покоившейся в сетке. Он демобилизовался и ехал к себе домой, под Киев. Звали его Петро. Другой солдат был поскромнее, молчаливее и загадочнее. У него не было ни чемоданчика, ни шинели. Судя по всему, парень вырвался на воскресенье по каким-то своим, думаю, амурным (сужу по взглядам и улыбкам), делам в Киев. Звали его тоже Петром, вернее, Петей. Познакомились оба Петра час тому назад во Внукове.

Пока ели сало (мне тоже кое-что досталось) и самолет выруливал на старт, бойкий Петро весело смеялся, предвкушая эффект своего неожиданного появления дома.

— Ох, и удивляться же мамо. Ох, и удивляться. И все плакать будешь, все плакать. Три года все-таки...

Второй Петр помалкивал, налегая на сало.

Когда сало было уничтожено и мы поднялись в воздух, оба солдата заснули. Я тоже. Так мы летели час двадцать минут. В девять вечера, минута в минуту, сели на Бориспольский аэродром.

— Я думаю, надо взять такси, — сказал бойкий Петро.

— Я тоже так думаю, — согласился молчаливый Петя.

Я вошел в долю.

Такси оказалось вместительным, поэтому решено было, пока таксист подберет еще двух пассажиров, сбегать в буфет.

В буфете выпили какой-то дряни, потом Петро сказал:

— Я думаю, надо все-таки чего-то взять домой. А, солдат?

Солдат согласился. Мы взяли три бутылки венгерского «токая» — крепче ничего не было. Я зачем-то тоже взял.

Вернулись к такси. Там уже сидели двое.

— А-а, привет, — донеслось с заднего сиденья. — Издалека летишь?

Я наклонился и с трудом в темноте узнал знакомого детского писателя.

— Из Москвы, — сказал я. — А ты?

— Из Касабланки. — Он указал на своего соседа, скрытого каким-то большим предметом, лежавшим у него на коленях. — Знакомься, товарищ из обкома комсомола.

Мы познакомились, солдаты тоже. Рассевшись по своим местам, тронулись. Поехали по прямому, обсаженному деревьями Бориспольскому, оно же Харьковское, шоссе.

— Да, все-таки странно, — сказал детский писатель. — Никак к этому не привыкнешь. Утром Касабланка, днем Париж, вечером Москва... А через час буду уже дома...

Я согласился, что странно, а бойкий Петро сказал: «Техника!» — и спросил, на каком самолете писатель летел из Парижа.

— На «Каравелле» компании «Эр-Франс». Хороший самолет. Впрочем, наш ТУ ему не уступит.

Потом он начал рассказывать о Марокко. Страна поразила его главным образом своими контрастами. На одном полюсе роскошь и богатство, громадные отели, «эр-кондишен», на другом нищета, болезни, голод.

— Мы были делегацией, поэтому могли видеть только то, что показывали, но кое-что удалось уловить все-таки. Были в Марокко — в Фесе, Касабланке, Марракеше. Видали живого султана.

— А что они там пьют? — перебил Петро.

— Кто?

— Ну, маракеша эти самые?

— Марокканцы то есть? Как и везде на Западе: богатые — коньяк и всякие там виски, бедные — дешевое вино или какую-нибудь гадость вроде самогона.

— А какую именно, не знаете?

— Нет, не знаю, — сказал писатель и стал опять рассказывать о марокканском султанине.

Так, постепенно расширяя свой круг знаний о Марокко, мы подъехали к Дарнице. Тут Петро сказал:

— Товарищи, я тут совсем недалеко живу. До моего села четыре километра. Вот от этого поворота четыре километра. Может, завезете?

— А ты дорогу знаешь? — спросил шофер.

— А как же. С закрытыми глазами.

Шофер обернулся к нам:

— Как вы, товарищи?

— Четыре так четыре. Подвезем защитника родины?

— Подвезем, — согласился писатель.

Работник обкома ничего не сказал, он спал.

От «того поворота» повернули налево. Проехали минут пять. Появились какие-то большие строящиеся дома. Петро похлопал шофера по плечу:

— Погоди малость. Что-то этих домов не было.

Шофер затормозил.

— Не туда, что ль, едем?

Работник обкома проснулся, приплюснулся носом к стеклу:

— Заблудились никак? Из Борисполя? Нужно уметь...

— Ничего не заблудились, — слегка раздраженно сказал Петро. — Ладно, поехали дальше.

Через несколько минут Петро опять остановил машину.

— Дай-ка я вылезу, погляжу по сторонам. Что-то и трубы я этой не узнаю.

Поглядев, вернулся.

— Свертай направо. Там деревянный мостик должен быть.

Но никакого мостика не оказалось. Оказался лес. Потом какой-то буерак. Машину качало из стороны в сторону. Петро чесал затылок.

— Три года все-таки... А ну, стой, давай сюда!

Шофер повернул. Нам попался какой-то исключительный шофер. Он почему-то не ворчал — ехал и ехал. Остальные молчали. О Марокко забыли.

Проснувшийся работник обкома закурил и спичкой присветил часы.

— Одиннадцатый час уже. Нехорошо как-то получается. Дома ждут...

— Ладно, ладно, — примирительно сказал писатель.

Проехали еще сколько-то там времени. Пересекли вброд ручеек, и тут вдруг Петро оживился:

— Погоди, погоди. Это уже наше. Давай прямо, вон туда.

Впереди мигнул огонек. Село.

— Давай, давай!

Въехали в село. Оно спало. Мигнувший издали огонек тоже погас.

— Стоп! Тут...

Петро выскочил первый, стал стучать в окно.

— Э-э... Кто там?

...В хате негде было повернуться. Нас шестеро, мать Петра, его сестра, муж сестры и еще племянник — восьмилетний Гриць.

Мать — Килипа Петровна, на одно лицо с сыном, только поморщистее и потемнее — поплакала, пообнималась с сыном и засуетилась у стола.

— Ох, лишенько мое, что ж ты телеграмму-то не дал... Самогон-то только у Козланючки есть, а ее не будишься, спит как колода.

— Ничего, мамо, у нас венгерское есть... Перша кляса...

Оба солдата скинули с себя гимнастерки, переоделись в ковбойки и сразу стали деревенскими ребятами.

Сестра, коренастая и тоже похожая на брата, стала разводить огонь. Зятя послали все-таки к Козланючке за самогоном. Гриць возился у чемодана: «А мне что, мне что?»

«Токай» был разлит в две фаянсовые и одну медную кружку, два граненых стакана и зятевский стаканчик для бритья. Шофер не пил, только улыбался — славный парень, никогда я таких покладистых шоферов не видал.

Работник обкома — он почему-то принес с собой из машины большой предмет, который держал на коленях, это оказалась детская лошадка-качалка лилового цвета, — поприветствовал мать и сына, которые не видались три года, пожелал им успеха в мирном труде и личной жизни.

Писатель заплодировал (все его поддерживали) и тоже сказал несколько слов о том, что ему очень приятно, ступив, так сказать, по-настоящему на советскую землю, оказаться сегодня именно здесь.

— Вы не представляете, — сказал он, — какое счастье возвращаться домой. Сегодня утром мы были еще в Африке, в далеком Марокко, днем в Париже, а сейчас вот у вас...

Под конец он попросил разрешения от имени двух присутствующих писателей, представителя обкома комсомола и славного водителя такси, а заодно — тут он улыбнулся — от трудящихся той страны, из которой мы сейчас прилетели, пожелать всем всего самого наилучшего.

К концу его маленькой речи вернулся зять еще с двумя заспанными парнями. Карманы их оттопыривались. Все были немного смущены.

Работник обкома посмотрел на часы и взял свою лошадь.

— Товарищи, двенадцатый час... В шесть мы еще в Марокко были.

— Да ніякої мороки нема. Останьтесь. Тільки ради будемо, — суетилась старуха. — Выпьем по рюмочці...

Петро тоже просил остаться, остальные молчали. Гриць открыл чемодан и пытался влезть в диагональные галифе.

Мы распрощались. В комнату входили все новые и новые люди.

Когда мы тронулись, до нас донеслись первые тягучие аккорды баяна.

Весь остаток дороги писатель рассказывал о контрастах Марокко.



---

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

★

## БРЯНСКИЕ

*Рассказ*

**П**о осени на деревне темнеет рано, все заметней убавляется день. И какая запустелая тишина тогда вокруг их хатки, что стоит на горе, высоко над нашей низиной, в окружении леса, откуда засветло легко видится вся курчавая рыже-крапленая округа.

Пока я прохожу засыхающее поле, прыгаю по камням и отмели через речку, пока кружу, опускаюсь и поднимаюсь по хуторской дороге мимо домишек и взбирающегося по горке леса, пока медленно, врасстяжку, бреду, прячась в густой тропе, цепляя за ветки и принимая на плечи, на голову осенние листья, и выхожу к их дому на свет окошка, уже пологом стелется ночь, такая пустая, похолодавшая, а над низиной, на той стороне, повисает тяжелая искрасна-смузлая луна.

Как хорошо-то у них, как здорово проходить по двору с пряслами, опять видеть корову под шелковицей, бабку за дойкой, старика, сидящего на земле, приморившегося за день на выпасе, здороваться, садиться рядом или валиться спиной к траве, видеть густо посыпанное звездами небо, а после брать ведро и, сделав несколько шагов, нагнуться под ветками, щупать тропу к роднику у белюстки и, черпая воду, вдыхать сырой запах с исподу. Кажется, никогда бы не оставил этого места, ни на какие городские прелести не променял этой тишины и одинокости леса, их комнаты с кислым запахом, с двумя окошечками на огород и вниз на долину.

Когда я иду к ним, всегда думаю, что согласился бы купить у них эту хату и пожить в одиночестве хотя бы до весны, пока что-нибудь не переменится и пока не насытятся в тоскливые ночи другие места.

Но всего в жизни не предусмотреть, и вот иду я к ним этой осенью в последний раз — попью молочка, угощу деда сигаретами, напишу под диктовку письма их детям. И все.

Знакомы мы давно, но говорим мало, скупое, и все равно мне уютно бывать у них. Потому что мы почти свои и все нам понятно друг в друге. Я обычно сижу и как-то благодарно-радостно гляжу на бабку: как она процеживает в кринку вечерошник, изредка замолвит про день, про письма, то посмеется, то попечалится, то удивит словом брянским, а старик дремно пережидает на кровати, бесконечно чадит махоркой и о чем-то думает.

— О чем думаете, Терентий Кузьмич?

— Ни о чем, Иванович,— просто откликается он.— Ни о чем.

Ему семьдесят четыре года, он сухошав, тонок лицом, глаза синие, были детскими, но они усталые, уже вековые. Родом он с Брянщины и лишь пятый год как приехал на Кубань — сперва погостить к доче-

вдовушке, но потом, осмотревшись, остался насовсем. И до сих пор не выпускает из рук бича, до сих пор пасет колхозных коров, гоняет их весь день по лучшим местам, обедает у речки, пока коровы топнут по брюхо в воде, а старуха сидит рядом, подсовывает яичек, огурцов, застывшей картошки.

Редко и неохотно рассказывает он о Брянщине.

— Хорошо жилось там?

— Туго, Иванович. Туго. Последние годы вот полегчало. С пятьдесят... да как раз после Сталина.

— А на Кубани?

— Наравится. Наравится, Иванович.

Два года ходил к ним, привечали, как сына, говорили: напоминаю им чем-то их младшего Мишу, даже рука у него такая же «кашеляя», и ест он так же мало, и разговаривает тихо, и вообще здорово мы с ним схожи.

— Да вот он, вот, глянь-кось,— подводит бабка к карточкам на стене.— А это самый старший, бригадиром в Юрово. Летось не являлся, позалетошний год был на покровах. Этот учитель, там у вас, в Сибири. Этот железнодорожник у дepe. А это дочка моя, еще девушка, в Брянском на заводе. Я говорю: давно ли матери за юбку держались, а теперь у самих детки. И мы со старым усей век думаем об них, где они там, чи не болеют?

Они рады каждому встречному, каждому прихожему, наговорятся досыта, всю жизнь свою перескажут. Тягучи и дождливы на юге зимние ночи, не спится, стонет под мокрым ветром лес, льет под порог с крыши, и старик уже начинает тосковать по весне, по работе.

А то как-нибудь к весне заглянут к ним из станицы гости. Тогда бабка засуетится, захлопочет, станет укорять: что ж они раньше не пришли, она и хлеб пекла свой—такой свежий был, а нынче теслеватый,— и яичек сколько было, и творог, и сметана, а сегодня и угостить-то нечем. А сама бежит в сарайчик, тащит полведерка огурцов соленых, помидоров, достает колбаски, зажигает керогаз, сует старику рубаху «под бороду» и стираные штаны, он выходит за дверь и там переодевается, долго его нет, потом является, молча ставит бутылки на стол, разливает и говорит:

— Ну, будем живы. На том свете не поднесут.

Гости так заговариваются, что впору оставаться, да нет, завтра хлопот много. Бабка с дедом провожают их вниз к дороге и прощаются.

— Ну, не обессудьте, гостечки дорогие, может, что и не так, да чем богаты, тем и рады.

— Что ты, что ты, тетя Дуня, спасибо, хорошо посидели.

— Заходите еще.

— Заходите вы теперь к нам.

— Живы будем — зайдем,— обещает дед.

— А то бы оставались,— просит бабка.

— Да нет, там дома коровушка да заботушка.

— А луна-то, луна-то...

Луна высоко-высоко, и аллея, по которой они тихо возвращаются к себе, дымит бледным полуночным светом.

И только-только вздремнет старик, как потянется третий час ночи, сереет в окне двор—пора и вставать. Смотришь, бабка уже возится во дворе, будто и не ложилась, слышны через дверь ее шаги и разговор. Старик спускает ноги на пол, скребет, чешет пальцами грудь, ощущая внутри чадный осадок курева, ищет воду, пьет, крепко и часто кашляет, долго натягивает, будто примеривает, сапоги, закуривает натошак и выходит на улицу.

Утро еще дремлет, еще нежится, но уже просыпается, с нехотью растворяется темнота. В такие утра я был с ним не раз и очень радовал-



ся такому пробуждению до света, когда ждешь, пока не забелеют сквозь зелень стены хат, когда все запахи леса и поля отстоялись и свежо, неповторимо терпко пахнут на тропах и возле порога, когда еще сыра дорога и четки на восходе и мутновато-мягки на западе края гор, когда еще доживает свое полуночная жизнь и уже начинается новая, когда никого, кроме тебя, нет, разве что затарахтит телега внизу, проедет, развалившись на споды, мужик, и опять никого. Чуть побелеет, мы уже с косами, чуток шершавый звон, холоден росяной блеск стали, по телу разливается тепло, уже хочется пить, и, став на колени, падаешь ртом к роднику, разгибаешься, охаешь, ощущая привкус листьев во рту. А небо все белее, белее, и уже кричат на той стороне у магазина голоса: продавец собирается на воскресный базар в станицу.

Уезжать мне всю жизнь в деревню, уезжать и возвращаться, уезжать и возвращаться! И уже никто не переменит во мне этого желанья, никто не остановит.

— Иванович, не отставай! — кричит дед и широко запускает косу в траву.— У-ух!

Едва мы докашиваем, идет, косолапит к нам сторож Гаврила, рябой, косоглазый, с ружьем на плечах, ленивый до одури.

— Косите? — спрашивает он заспанно.

— Поздновато ты сторожить вышел,— говорит дед.

— Обошел с Гудимовым круг склада, Гудимов лошадей выгнал, говорит: я по той дороге пойду.

— Ведь как люди врать привыкли,— возмущается дед уже дома за чаем.— Спал же, рябой, усю ночь. А еще в колхозе заведовал. А? Турнули, хватит. поговорил речи, да, да, поговорил — хватит. А я ведь, Иванович, не поверишь, усей век работаю. Усей век на ногах, зарями вставал.

— Скоро отдыхать-то будете?

— Да вот до декабря, как травы не станет. Весной опять. Осень нынче крепкая.

Осень хорошая, уже ноябрь, еще светлы дали, еще солнце желтит округу, и даже не верится, что на Брянщине теперь снег, белые просторы, ездят теперь на санях по дрова, скоро остывают комнаты и утрами из коровников валит пар. До Брянщины теперь так далеко, и вся жизнь там осталась, и как ни кинешься вспоминать — одно лезет в голову: дом у колодца, поле до леса, детишки, бабка, незаметно старевшая, и коровы, коровы, коровы...

— Иванович! — кричит дед.— Молодой ты еще, а мы время прожили.

— А что, Иванович,— сказал он последний раз,— сколько мы с тобой знаем, а еще и не выпили.

Ой ты, черт возьми, думаю я, как же мы еще не выпили? Не порусски получается. Как же это я забыл, что выпить с таким дедом — одно удовольствие?

И вот я иду, в сумке вино, выпьем, посидим, но уже напоследок.

— Мы думали, что ты уже уехал,— встречает бабка.

— Здравствуй, Иванович,— говорит дед.— Закурим? Дай закурить, Иванович.

Бабка садится под корову, ласково уговаривает корову не двигаться:

— Зоря, Зоря, стой, стой. Зоря, Зоря, стой, Зорюшка, стой. Дед, возьми отгони комарей.

— Да откуда они?

Потом мы садимся за стол.

— Вспоминать будешь? — спрашивает дед после первого стакана.— Мы тебя часто вспоминаем.

— Письмо хоть какое пришли,— просит бабка,— а ты закусуй, закусуй вволю.

— Иванович,— хлопает дед ладошкой после второго стакана.— Где ни будешь — заходи. На Новый год заходи, кабана завалю. Да, да, Иванович.

— Закусуй, закусуй.

— Старуха,— кричит он после третьего стакана,— давай песню закричим!

Бабка развязывает косынку, жарко ей, и такая она сейчас простоволосая, рассердечная, как все женщины по деревням, когда выпьют.

Солнце ни-изко, вечер бли-изко...

— Обожди.

— Ну, ну, зачни...

Старик опускает локоть на стол, подпирает голову, начинает сиплым голосом.

Видится мне поле и по нему, по далекому полюшку, три разные дорожки. Идет парень к девчонке, ой, и зачем он ходит так поздно?..

— Это старая песня,— замечает бабка, передыхая.— Как Мишу нашего провожали, я кричала.

А девчонка да и никакой, ох, и никакой славушки не бонтся, ждет у двери:  
ах, поночуй, друг, со мной, поночуй, друг, со мной, да хоть ночечку,  
а я — я, девка молодая, я зарями встаю, тебя рано сбужу...

— Иванович! Ня обижайся! Ня обижайся, Иванович!

— Да ну!

— Ня обижайся, Иванович.

Вино, песня, слова деда, последний вечер, ночь студится по лесу — грустно мне. Вот уеду, буду до поры до времени гулять по городу, толковать о высоких вещах, и вдруг скучно мне станет, тоска по простору и дорогам забьется внутри, и вспомню я и девчат на ферме, и ранние зыбкие утра, и звонки колокольчиков на шеях коров, и запах фуфаек в клубе, где девки хихикают при поцелуях на экране, и вспомню, как хорошо мне было на горе, в отдаленной тишине, среди родной простоты этих брянских стариков, певших мне о трех разных дорогах, о молодости и расставании... И потянет меня вдаль.

— Иванович,— прощается дед в аллее,— не обессудь, заходи к нам, если будешь недалеко. На Новый год заходи, кабана завалю, да, да, заходи.

Я обещаю, но куда уж, долог путь, едва ли еще сведет нас жизнь. Я вдруг остро чувствую, как хочется и невозможно объехать мне всех, кого я оставил в разных местах, кто нерастанно был во мне все эти годы.



---

МОРИС КАРЕМ

★

## СТИХИ

*Морис Карем (родился в 1899 году) — известный бельгийский поэт. Автор многочисленных стихотворных сборников («Волшебный фонарь», «Маленькие легенды», «Флейта в саду», «Похититель искр» и других).  
Ниже публикуются переводы четырех стихотворений Мориса Карема.*

### *Возвращение короля*

Железный шлем,  
Деревянный костыль:  
С войны король возвращался домой.  
Солдаты пели,  
Глотая пыль,  
И пел с ними вместе король хромой.

Троянский бархат,  
Немурский шелк:  
На башне ждала королева. И вот  
Платком она машет,  
Завидя полк.  
Она смеется. Она поет.

Обувь рваная,  
В шляпке цветок:  
Плясал на площади люд простой.  
Он тоже пел,  
Он молчать не мог  
В такую минуту и в день такой.

Бой барабанный,  
Знамен карнавал:  
С войны король возвратился домой.  
Войну проиграл,  
Полноги потерял,  
Но рад был до слез, что вернулся живой.

## *Горе*

Пошли с молотка и буфет, и кровать,  
И пес с конурой, и корова...  
Лишь горе крестьян не сумели продать.  
Крестьян, лишившихся крова.

Осталось оно, это горе, сидеть  
У входа в пустое жилище  
И стало от скуки на галок смотреть,  
Круживших над двориком нищим.

Затем, осознав свою силу и власть  
И действуя с зеркалом ловко,  
Оно при луне позабавилось всласть,  
Восстановив обстановку:

Сумело оно из осколков стекла  
Извлечь отраженье буфета,  
И стульев, и старой скамьи, и стола,  
И отблесков тусклого света.

Вот так развлекалось оно при луне,  
И словно кому-то в отместку,  
Шуршала всю ночь на разбитом окне  
Проданная занавеска.

## *Флейта в саду*

Ты в жизни ничего не сделал,  
Что будет помниться потом.  
Так тень сороки над холмом,  
Мелькнув, скрывается несмело.

Для одного себя ты пел,  
Слагая песнь в молчанье сада,  
Игрок на флейте, пастырь стада  
Бездумных радостей и дел.

И возносил хвалу ты богу,  
Плоды вкушая. Но о тех,  
Чей труд и руки кормят всех,  
Не помнил ты. Тебя не трогал

Удел их трудный. И теперь,  
Когда к тебе подкрался вечер,  
Ты одинок. И только ветер  
В твою заглядывает дверь.

И неумелою рукою  
Беря осенние цветы,  
Себе венок сплетаешь ты,  
Пытаясь справиться с тоскою.

## *В королевстве трéфовом*

В королевстве трéфовом  
Лето трижды в год,  
В королевстве этом  
Все наоборот.

В королевстве трéфовом  
Листья на деревьях  
Синие-пресиние,  
Как павлиньи перья.

В королевстве трудятся  
По воскресным дням,  
Но зато уж в будни  
Отдыхают там.

В королевстве трéфовом  
Правит королева,  
А король за прялкою  
Восседает слева.

В королевстве трéфовом  
У лихих солдат  
Сабли шоколадные  
На боку висят.

В королевстве трéфовом  
Мудрые порядки:  
Ружья за ненадобностью  
Там сажают в грядки,

Чтоб на грядках выросла  
Целебная трава  
Против лицемерия,  
Против ханжества́.

*Перевел с французского М. Кудинов.*



---

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

★

## ГОЛУБОЙ ПЕРИОД ДЕ ДОМЬЕ-СМИТА

**К**ак ни мало сейчас в этом смысла и как ни проста эта история, подчас такая добродетельная, мне хочется посвятить ее памяти моего далеко не добродетельного отчима Роберта Агаджаняна, или Бобби-младшего, как все, и в том числе я, называли его. Он умер в 1947 году от тромбоза, без единого приступа, но не без некоторых угрызений совести. Мой отчим был живой, удивительно обаятельный и великодушный человек. После того, как я столько лет упрямо отказывался признать его рыцарские достоинства, сейчас я считаю вопросом жизни и смерти вознаградить его этими эпитетами.

Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было восемь лет, а в конце весны мать вышла замуж за Бобби Агаджаняна. Через год во время финансового кризиса Бобби разорился и потерял все, что было у них с матерью, кроме, как казалось, волшебной палочки своего обаяния. Во всяком случае за одну ночь из вполне заурядного биржевого маклера и несостоятельного *bon vivant*<sup>1</sup> он превратился в энергичного, хотя и не вполне квалифицированного агента-оценщика Американского объединения картинных галерей и музеев изящных искусств.

Через несколько недель, то есть в начале 1930 года, наша весьма неоднородная семейная троица перебралась из Нью-Йорка в Париж, чтобы Бобби мог совершенствоваться в своей новой профессии. В то время я был десятилетним мальчишкой, чья невозмутимость граничила с равнодушием, и потому великое переселение не причинило мне ни малейшего огорчения. Но меня глубоко потрясло наше возвращение в Нью-Йорк, когда мы приехали туда с Бобби после девятилетнего отсутствия через три месяца после смерти матери.

Дня через два после нашего приезда в Нью-Йорк произошел примечательный случай. Я ехал по Лексингтон-авеню в переполненном автобусе и держался за никелированную стойку возле сиденья водителя, стоя зад к зад у каким-то парнем. На протяжении нескольких кварталов водитель довольно решительно предлагал столпившимся у передней двери пассажирам «пройти в конец автобуса». Кое-кто пытался сделать ему такое одолжение, а кое-кто нет. Наконец, воспользовавшись красным светом светофора, раздраженный водитель повернулся на своем сиденье на сто восемьдесят градусов и посмотрел на меня, потому что я стоял прямо за его спиной. В девятнадцать лет я был одним из тех юнцов, что никогда не носят шляпы, зато над далеко не античным лбом у меня торчал черный и не особенно чистый кок на европейский манер.

---

<sup>1</sup> Прожигатель жизни (франц.).

— Ну вот что, приятель,— обратился ко мне водитель негромко и почти вежливо,— подай-ка свой зад назад.

Ему не следовало называть меня «приятель». Не потрудившись даже слегка наклониться к нему, чтобы наша беседа осталась между нами, и таким образом отвергнув предложенный им *bon goût*<sup>1</sup>, я сообщил ему по-французски, что считаю его неотесанным, грубым, тупоголовым кретином и что он никогда не сможет себе представить, до чего он мне противен. Затем, чрезвычайно довольный собой, я протиснулся в конец автобуса.

Но это еще что. Когда спустя неделю я вышел однажды перед вечером из отеля «Риц», где мы с Бобби остановились на неопределенное время, мне показалось, что на улице расставлены все сиденья из всех нью-йоркских автобусов и всюду идет какая-то невообразимая игра в «море волнуется». Может, я и захотел бы вступить в эту игру, если бы манхэттенская церковь клятвенно заверила меня, что, пока я не сяду, все остальные играющие будут почтительно стоять. Когда же выяснилось, что ничего подобного в ближайшем будущем, по-видимому, не произойдет, я начал действовать более решительно: стал молиться о ниспослании мне милости, чтобы из города исчезли все люди и я остался один — ОДИН! — единственная молитва жителей Нью-Йорка, которая почти всегда доходит по адресу и исполняется без промедления. И очень скоро все, к чему я прикасался, окружило меня беспросветным одиночеством. Я посещал школу живописи, которую ненавидел всей душой,— то есть мое тело пребывало там, на углу 48-й улицы и Лексингтон-авеню, с утра до обеда. (За неделю до того, как мы с Бобби уехали из Парижа, я получил три первых премии на национальной выставке юных художников, которая была устроена в галерее Фрайберга. Все время пока мы плыли в Америку я не отводил глаз от зеркала в нашей каюте, отыскивая в своем лице таинственно-жуткое сходство с чертами Эль Греко.) Три вечера в неделю я проводил в кресле дантиста, где за каких-нибудь несколько месяцев лишился восьми зубов, причем три из них были передние. Остальные два вечера обычно проходили в картинных галереях, чаще всего на 57-й улице, где я только что не плевался, любуясь новыми творениями. После ужина я обыкновенно читал. Я купил полное Гарвардское собрание классиков — главным образом потому, что Бобби сказал, что наш номер для них тесноват,— и из упрямства прочел все пятьдесят томов. По ночам я неизменно устанавливал мольберт между кроватями в нашей с Бобби спальне и рисовал. Как свидетельствует мой дневник за 1939 год, только за один месяц я написал восемнадцать картин маслом. Небезынтересно, что семнадцать из них были автопортреты. Однако иногда, когда моя муза вдруг начинала капризничать, я бросал краски и принимался рисовать карикатуры. Одна сохранилась у меня до сих пор. На ней изображен широко раскрытый рот человека, сидящего в кресле дантиста. Вместо языка во рту американская сто долларовая банкнота, и дантист говорит сочувственно по-французски: «Пожалуй, коренной зуб можно оставить, но вот язык, боюсь, придется удалить». Мне эта карикатура нравилась чрезвычайно.

Как соседи мы с Бобби были приблизительно столько же совместимы, как беспредельно терпимый и к самому себе, и к ближним выпускник Гарвардского университета и ужасно неуживчивый новичок Кэмбриджа. Не помогло нам и сделанное по мере того, как шли недели, открытие, что оба мы любим одну и ту же женщину, которой уже нет. Почему-то после этого мы стали неестественно любезны и предупреди-

<sup>1</sup> Хороший тон (франц.).

тельно друг с другом, отчего нас обоих тошнило. Сталкиваясь на пороге ванной, мы обменивались лучезарными улыбками.

Однажды в мае 1940 года, месяцев через десять после того, как мы с Бобби обосновались в отеле «Риц», я прочел в одной из квебекских газет (я подписался всего на шестнадцать газет и журналов, выходящих на французском языке) объявление, занимавшее четверть газетного столбца и помещенное дирекцией школы заочного обучения живописи в Монреале. Дирекция предлагала всем опытным преподавателям немедленно — нет, «немедленно» не то слово — буквально в тот же самый миг, не теряя ни одной секунды, предложить свои услуги самой новой, самой прогрессивной школе заочного обучения живописи в Канаде. Кандидаты должны одинаково хорошо владеть как французским, так и английским языком, причем обращаться к дирекции следует только людям с безупречной репутацией и ведущим умеренный образ жизни. Летняя сессия в Les Amis Des Vieux Maîtres<sup>1</sup> официально должна была начаться 10 июня. Образцы работ, выполненных в академической манере, а также рисунки рекламного характера надлежало присылать на имя мсье И. Йошото, directeur'a<sup>2</sup>, бывшего члена Императорской Академии изящных искусств в Токио.

С чувством полнейшей независимости и безграничной уверенности в себе я немедленно извлек из-под кровати Бобби его портативную пишущую машинку и напечатал мсье Йошото длинное и отнюдь не свидетельствующее об умеренности моего характера письмо по-французски, для чего пришлось пропустить все утренние занятия в школе живописи на Лексингтон-авеню. Вступление заняло три страницы. Печатал я с таким жаром, что чуть не испепелил бумагу. Я писал, что мне двадцать девять лет и что я — внучатый племянник Оноре Домье. У меня есть небольшое поместье на юге Франции, но после недавней смерти жены я переехал в Америку, где временно — я ясно дал это понять — поселился у своего престарелого родственника. Я писал, что занимаюсь живописью с раннего детства, но никогда не выставлялся, следуя совету лучшего и старейшего друга нашей семьи — Пабло Пикассо. Однако несколько моих картин маслом и акварелей украшают лучшие дома Парижа (речь идет, конечно, не о домах нуворишей), где они неизменно привлекают внимание самых суровых критиков наших дней. После безвременной трагической кончины жены, последовавшей от *ulcération cancéreuse*<sup>3</sup>, я решил никогда больше не брать в руки кисти, но нынешние финансовые затруднения заставили меня изменить принятое *resolution*<sup>4</sup>. Я почту за честь представить свои работы, как только мой агент, которому я напишу, — конечно, *tres pressé*<sup>5</sup> — вышлет их мне из Парижа. С уважением Жан де Домье-Смит.

Псевдоним я придумывал почти столько же, сколько сочинял все письмо.

Я напечатал письмо на папиросной бумаге, но вложил его в конверт с гербом отеля «Риц». Наклеив марку для заказного письма, которую я нашел в верхнем ящике стола Бобби, я спустился в холл и бросил письмо в почтовый ящик. По пути я зашел к портю, который явно не выносил меня, и поставил его в известность, что в ближайшее время на имя де Домье-Смита начнет поступать корреспонденция. В 2.30 я незаметно

<sup>1</sup> Друзья старых мастеров (франц.).

<sup>2</sup> Директор (франц.).

<sup>3</sup> Раковая опухоль (франц.).

<sup>4</sup> Решение (франц.).

<sup>5</sup> Немедленно (франц.).



проскользнул в аудиторию школы живописи на 48-й улице, где в 1.35 начались занятия по анатомии. Первый раз в жизни мои товарищи позачались мне вполне сносными ребятами.

Следующие четыре дня я употребил на изготовление дюжины образцов того, что считал типичной американской рекламой; на это ушло все мое свободное и не вполне свободное время. Работая акварелью или пером — когда мне хотелось блеснуть, — я изобразил театральный подъезд в вечер премьеры, с лимузинами, из которых выходят стройные, изящные люди в вечерних туалетах — шикарные пары, чьи подмышки никогда не причиняли ни малейшего беспокойства ничьему обоянию, пары, у которых, если хотите знать, вовсе нет подмышек. Я изобразил юных загорелых гигантов в белых смокингах, сидящих за столиками на фоне бирюзового бассейна и взволнованно поднимающих за здоровье друг друга высокие бокалы с дешевым, но якобы ультрамодным ржаным виски. Я изобразил румяных, счастливых, пышущих здоровьем детей с открытыми лицами за завтраком, радостно протягивающих пустые тарелки, чтобы им положили еще. Я изобразил смеющихся девиц с высоким бюстом, бесстрашно летящих на аквапланах, потому что они надежно защищены от таких национальных бедствий, как слабые десны, веснушки, волосы, растущие не там, где положено, а также ненадежное или недостаточное страхование жизни. Я изобразил хозяек с огрубевшими, но изящными руками в грязных, но огромных кухнях, которые ходили лохматые и несчастные, никак не могли укротить своих детей и угодить своим мужьям, пока не приобрели мыльный порошок, изготовляемый данной фирмой.

Как только образцы были закончены, я немедленно отослал их мсье Иошото вместе с полдюжиной рисунков, которые привез с собой из Франции. В конверт я вложил коротенькую записку, где, как мне казалось, вскользь намекнул на некую в высшей степени романтическую историю о том, как я совершенно без всякой помощи преодолел бесчисленные препятствия и достиг сверкающих ледяным блеском вершин мастерства, доступных только избранным.

Следующие несколько дней я провел в ужасном волнении, но не прошло и недели, как мсье Иошото прислал письмо, соглашаясь принять меня преподавателем. Письмо было написано по-английски, хотя я писал ему по-французски. (Позже я догадался, что мсье Иошото, который знал французский язык, но не знал английского, поручил по каким-то соображениям написать ответ мадам Иошото, располагавшей необходимыми для дела познаниями в этой области.) Мсье Иошото сообщал, что летняя сессия должна начаться 24 июня и что, по всей вероятности, предстоит чрезвычайно много работы. Таким образом, писал он, в моем распоряжении имеется пять недель для устройства своих дел. Он выражал свое безграничное соболезнование по поводу моих недавних потерь и финансовых затруднений. Он надеялся, что я закончу все свои дела и смогу явиться в *Les Amis Des Vieux Maîtres* в воскресенье 23 июня, дабы ознакомиться со своими обязанностями и «подружиться» с коллегами-преподавателями (как я потом узнал, их было всего двое и состояли они из мсье Иошото и мадам Иошото). Он выражал глубокое сожаление по поводу того, что вновь принятым преподавателям не положено высылать деньги на дорогу. Для начала я буду получать двадцать восемь долларов в неделю — он понимает, конечно, что это не так уж много, но поскольку мне не придется платить за комнату и стол и поскольку он почувствовал во мне человека, поистине призванного стать настоящим художником, он надеется, что я не подумаю, будто со мной поступили несправедливо. Он с нетерпением ждет телеграмму, подтверждающую мое официальное согласие, и будет очень рад моему приезду. Внизу

стояло: «Ваш новый друг и директор И. Иошото, бывший член Императорской Академии изящных искусств в Токио».

Телеграмма, подтверждающая мое официальное согласие, была отправлена через пять минут. Странно, но то ли от волнения, то ли из чувства вины перед Бобби за то, что телеграмма была послана по его телефону, я сочинил совершенно прозаическое послание всего в десять слов.

В тот вечер я, как обычно, встретился с Бобби в Овальном зале за обедом и с неудовольствием увидел, что он привел гостью. До сих пор я ни словом не обмолвился о деятельности, которую развил за последнее время и которая вовсе не была предусмотрена учебной программой школы живописи, и сейчас просто умирал от желания ошарашить отчима своей новостью с глазу на глаз. Гостя его была удивительно милая молодая женщина, всего несколько месяцев назад получившая развод; Бобби проводил с ней довольно много времени. Я уже несколько раз встречал ее. Все попытки этой очаровательной женщины подружиться со мной и мягко убедить меня расстаться со своей броней — или хотя бы снять шлем — я был склонен рассматривать как замаскированное приглашение лечь в ее постель, когда мне будет угодно, то есть как только дадут отставку Бобби, который для нее явно стар.

За обедом я был враждебно лаконичен. Наконец, когда подали кофе, я кратко обрисовал Бобби мои планы на лето. Когда я кончил, он задал мне один-два вопроса, доказывавших, что он неплохо разобрался в обстановке. Я отвечал ему сдержанно и в высшей степени сжато, как и подобает человеку, завоевавшему неоспоримое право самому решать свою судьбу.

— Наверное, это очень интересно, — сказала гостя Бобби, легкомысленно ожидая, что я передам ей под столом записку со своим адресом в Монреале.

— А я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд, — сказал Бобби.

— Не стоит отговаривать человека, раз он уже все решил, — отозвалась миссис Х.

— Я не отговариваю, но мне хотелось бы узнать некоторые подробности, — ответил Бобби, однако по его тону я мог с уверенностью сказать, что мысленно он уже обменивает на нижнюю полку наше отдельное купе в поезде, следующем на Род-Айленд.

— Я думаю, это очень приятное и в высшей степени лестное предложение, — дружески сказала мне миссис Х., и глаза ее порочно заблестели.

В воскресенье, когда я вышел на платформу вокзала Виндзор в Монреале, на мне был двубортный бежевый габардиновый костюм (о котором я был чрезвычайно высокого мнения), темно-синяя фланелевая рубашка, ярко-желтый ситцевый галстук, белые с коричневым башмаки, шляпа (она была мне несколько маловата, потому что первоначально принадлежала Бобби), и еще у меня были трехнедельные рыжеватые усы. Меня встретил мсье Иошото. Это был крошечный, не выше пяти футов, человек в довольно грязном полотняном костюме, черных башмаках и черной фетровой шляпе с отогнутыми полями. Он не только не улыбнулся, пожимая мне руку, но, насколько я помню, не произнес ни слова. На лице его было не проницаемое выражение (это слово я заимствовал непосредственно из французского издания рассказов писательницы Сакс Ромер о Фу Манчу). Я почему-то улыбался во весь рот, не в силах ни прогнать улыбку, ни хотя бы сделать ее менее радостной.

От вокзала Виндзор до школы нужно было ехать на автобусе несколько миль. За всю дорогу мсье Иошото не произнес и пяти слов. Именно

поэтому я говорил без умолку, **вытирая** время от времени потные ладони о носок на правой ноге, которую я закинул на левое колено. Я считал необходимым не только повторить все прежние измышления о своих родственных связях с Домье, о покойной жене и небольшом поместье на юге Франции, но и всячески **развить** их. Наконец, не желая углубляться дальше в эти тягостные воспоминания (а они действительно начинали тяготить меня), я переключился на лучшего и старейшего друга моих родителей—Пабло Пикассо. Я называл его *le pouvre Picasso*<sup>1</sup>. (Собственно, я выбрал именно Пикассо потому, что считал его наиболее известным в Соединенных Штатах французским художником. Канаду я тоже относил к Соединенным Штатам.) Я поведал с достаточной долей вполне естественного участия к поверженному гиганту, как часто я спрашивал его: «Мсье Пикассо, *ou allez vous?*»<sup>2</sup> — и как в ответ на этот проникновенный вопрос maestro неизменно направлялся, медленно и тяжело ступая, в угол своей мастерской, где висела маленькая репродукция его «Les Saltimbanque»<sup>3</sup>, которые принесли ему такую славу, теперь уже давно забытую. Несчастье Пикассо в том, объяснил я мсье Йошото, когда мы выходили из автобуса, что он никого не слушает — даже самых близких своих друзей.

В 1939 году школа *Les Amis Des Vieux Maîtres* занимала второй этаж маленького трехэтажного дома, где квартиры сдавались внаем. Дом этот находился в Вердене, то есть наименее привлекательной части Монреала, и отнюдь не вселял уверенности, что владельцу удастся извлечь из него постоянный доход. Школа располагалась непосредственно над магазином ортопедических принадлежностей, занимая одну большую комнату и крошечную незапирающуюся уборную. Тем не менее, едва успев войти в *Les Amis Des Vieux Maîtres*, я нашел помещение чрезвычайно презентабельным. И не без причины. По стенам «преподавательской» было развешено несколько заключенных в рамку акварелей работы мсье Йошото. До сих пор мне иногда снится некий белый гусь, летящий на фоне необыкновенно бледного неба, голубизна, или, вернее, отсвет голубизны которого отражается в перьях птицы,— я никогда не видел ничего подобного этому творению дерзкой кисти мастера. Картина висела прямо над рабочим столом мадам Йошото и вместе с одной-двумя другими акварелями, близкими ей по духу, определяла стиль комнаты.

Когда мы с мсье Йошото вошли в преподавательскую, мадам Йошото, седоволосая женщина в красивом черно-оранжевом шелковом кимоно, подметала пол щеткой с короткой ручкой. Она была по крайней мере на голову выше своего мужа и скорее походила на малайку, чем на японку. Она бросила щетку и подошла к нам. Мсье Йошото коротко представил нас друг другу. Мадам Йошото показалась мне столь же непроницаемой, как и ее муж, если не больше. После этого мсье Йошото предложил мне посмотреть мою комнату, в которой, как он объяснил (по-французски), жил раньше его сын, уехавший недавно в Британскую Колумбию, где он поступил на ферму. (После его длительного молчания в автобусе я был благодарен мсье Йошото за несколько связных слов, которые выслушал почти с радостью.) Он стал было извиняться, что в комнате его сына нет стульев, а лежат на полу циновки, но я тут же уверил его, что это как раз то, о чем я мечтал всю жизнь. (Кажется, я сказал, что ненавижу стулья. Я так нервничал, что если бы он сообщил мне, что комната его сына круглые сутки залита водой по щиколотку, я вскрикнул бы от

<sup>1</sup> Бедняга Пикассо (франц.).

<sup>2</sup> Куда вы идете? (франц.)

<sup>3</sup> «Бродячие комедианты» (франц.).

удовольствия. Наверное, я сказал бы, что страдаю редкой болезнью ног и что потому их нужно держать в воде по восемь часов в день.) Потом он повел меня по скрипучей деревянной лестнице в комнату. По пути я достаточно ясно дал ему понять, что изучаю буддизм. Позднее я узнал, что и он и его жена были пресвитерианцы.

Поздно ночью, когда я тщетно пытался уснуть в то время, как японско-малайский обед мадам Иошото то поднимался, то опускался у меня по пищеводу *en masse*<sup>1</sup>, как лифт, кто-то из супругов Иошото начал стонать во сне за стеной как раз напротив моей кровати. Казалось, этот высокий, тонкий, надтреснутый звук издает не взрослый человек, а жалкий недоразвитый ребенок или маленькое искалеченное животное. (Стоны раздавались регулярно каждую ночь. Я так никогда и не узнал, кто же из Иошото издавал эти звуки, не говоря уже о том, почему.) Когда стало совершенно невыносимо слушать стоны лежа, я встал, надел ночные туфли, походил по темной комнате и сел на циновку. Часа два я сидел так, скрестив ноги, и курил сигареты, которые потом тушил о подошву туфли; окурки складывал в карман пижамной куртки. (В семье Иошото никто не курил, и во всей квартире не было ни одной пепельницы.) Часов в пять утра я наконец заснул.

В шесть тридцать мсье Иошото постучал ко мне в комнату и сообщил, что завтрак будет подан в шесть сорок пять. Он спросил меня через дверь, хорошо ли я спал, на что я ответил: «Oui»<sup>2</sup>. Затем я облачился в синий костюм, который считал наиболее подходящим одеянием для преподавателя в день открытия школы, завязал красный галстук, подаренный мне матерью, и, не умываясь, побежал в кухню. Мадам Иошото возилась у плиты, готовя рыбу. Мсье Иошото в нижней рубашке и брюках сидел за столом и читал японскую газету. Он сдержанно кивнул мне. Оба они казались еще более непроницаемыми, чем раньше. Наконец мне подали тарелку с какой-то рыбой. Мадам Иошото спросила меня по-английски (у нее оказалось удивительно приятное произношение), может быть, я хочу яйцо, но я ответил: «Non, non, madame, merci!»<sup>3</sup> Я сказал, что ненавижу яйца. Мсье Иошото прислонил газету к моему стакану, и мы все трое стали есть в полном молчании, то есть они ели, а я все время что-то глотал.

После завтрака мсье Иошото надел рубашку без воротничка прямо в кухне, мадам Иошото сняла фартук, мы осторожно спустились друг за другом по лестнице и вошли в преподавательскую. На широком рабочем столе мсье Иошото в беспорядке лежала гряда огромных нераспечатанных конвертов. Их было больше дюжины. Они напомнили мне чистеньких и аккуратных учеников в первый день учебного года. Мсье Иошото показал мне мой стол, одиноко стоявший в дальнем конце комнаты, и пригласил сесть. Он распечатал несколько конвертов, и они с мадам Иошото принялись изучать их содержимое, следуя какой-то особой системе и время от времени советуясь друг с другом по-японски, а я сидел на другом конце комнаты в своем синем костюме и красном галстукe, всем своим видом показывая, что жажду начать работать, но терпеливо жду и что для школы я незаменимый человек. Я вынул из внутреннего кармана пиджака целую горсть мягких угольных карандашей, которые привез из Нью-Йорка, и тихонько разложил их перед собой на столе. Один раз мсье Иошото зачем-то взглянул на меня, и я послал ему в ответ чарующую улыбку. Потом, не сказав

<sup>1</sup> Целиком (франц.).

<sup>2</sup> Да (франц.).

<sup>3</sup> Нет, нет, мадам, благодарю вас! (франц.)

ни слова и не взглянув в мою сторону, супруги Иошото уселись каждый за свой стол и углубились в работу. Было около половины девятого.

В девять часов мсье Иошото снял очки, встал и направился к моему столу с пачкой бумаги в руке. Я провел полтора часа, не делая абсолютно ничего, занятый только тем, что старался унять громкое бурчание в животе. Как только мсье Иошото приблизился ко мне, я быстро встал и слегка сгорбился, дабы не казаться таким непочтительно высоким. Он вручил мне пачку и любезно попросил перевести его письменные исправления с французского на английский. Я сказал: «Oui, monsieur»<sup>1</sup>. Он слегка поклонился и побрел к своему столу, а я сдвинул все свои мягкие угольные карандаши в сторону, вынул авторучку и приступил к работе, совсем упав духом.

Подобно многим настоящим художникам, мсье Иошото обучал своих учеников рисунку ничуть не лучше, чем самый посредственный живописец, который знает, как это делается. Применяя метод «наложения» (то есть поправляя рисунок ученика по образцу на кальке) и сопроводжая «наложение» письменными комментариями на обратной стороне рисунка, он легко мог показать ученику со средними способностями, как нарисовать свинью в хлеву так, чтобы всем было ясно, что это именно свинья и именно в хлеву. Он даже мог показать ему, как нарисовать живописную свинью в живописном хлеву, но, сколько бы ни бился, не сумел бы научить рисовать красивую свинью в красивом хлеву (а это, конечно, было единственным, чего жаждали его лучшие ученики). Нужно ли говорить, что дело было вовсе не в том, что он умышленно или неумышленно берег свой талант, не желая растрачивать его. Он просто не умел делиться им. Как ни безжалостна эта правда, я не был по-настоящему удивлен, столкнувшись с ней, и потому поначалу не очень огорчился. Замедленный эффект сказался значительно позднее — нужно принять во внимание, где я сидел, — так что, когда наступило время ленча, мне потребовалось немало стараний, чтобы не смазать свои переводы мокрыми от пота ладонями. В довершение всех бед, у мсье Иошото оказался очень неразборчивый почерк. Кончилось тем, что я отказался от ленча в обществе четы Иошото, сказав, что мне нужно на почту. Я почти бегом спустился по лестнице и бесцельно устремился в лабиринт незнакомых мне темных и узких улиц. Я заглянул в какое-то кафе и на ходу проглотил четыре горячих сосиски и три чашки мутного кофе.

Пока я шел в Les Amis Des Vieux Maîtres, мне пришло в голову, что мсье Иошото оскорбил меня, заставив все утро переводить. С первыми приступами тревоги, которая иногда охватывала меня, я кое-как справился, но потом меня охватила уже настоящая паника. Неужели старый Фу Манчу с самого начала знал, что в числе всех моих доспехов и прочей бутафории, имеющих целью ввести его в заблуждение, были усы девятнадцатилетнего мальчика? Одна мысль об этом казалась непереносимой. Мое чувство справедливости было оскорблено. Как, меня, художника, получившего три первые премии, близкого друга Пикассо (я и в самом деле начинал считать себя другом Пикассо), заставили переводить какие-то бумажки! Преступление не заслуживало такого жестокого наказания. Во всяком случае усы у меня были хоть и редкие, но настоящие, а не приклеенные спиртовым клеем. Я потрогал их пальцами, как бы желая убедиться, что они на месте. Но чем больше я думал обо всей истории, тем быстрее становился мой шаг, так что в конце пути я почти бежал, как будто боялся, что в меня вот-вот полетят со всех сторон камни.

<sup>1</sup> Да, мсье (франц.).

Хотя я ходил по улицам всего минут сорок, Иошото уже сидели за своими столами и работали, когда я вернулся. Они не подняли головы от работы, чтобы взглянуть на меня, и никак не реагировали на мое появление. Обливаясь потом и задыхаясь, я добрался до своего стола и сел. Минут пятнадцать—двадцать я просидел совершенно неподвижно, мысленно перебирая в памяти «самые свежие» анекдоты из жизни Пикассо на тот случай, если мсье Иошото вдруг встанет и направится ко мне, чтобы разоблачить обманщика. И вдруг он в самом деле встал и направился ко мне. Я поднялся со стула, чтобы встретить его — грудью, если нужно — и дать отпор, рассказав никому еще не известный анекдот о Пикассо, но, к моему ужасу, когда он подошел, я не мог вспомнить ни единого слова. Тогда я принялся восхищаться картиной, висевшей над столом мадам Иошото, где был изображен летящий гусь. Расхваливал я ее довольно долго, не жалея слов. Я сказал, что знаю в Париже человека — очень богатого паралитика, — который даст за нее мсье Иошото любую цену. Если мсье Иошото хочет, я могу связаться с ним немедленно. Но, к счастью, мсье Иошото сказал, что картина принадлежит его кузену, который в настоящее время гостит у родных в Японии. Не дав мне времени высказать свое сожаление по этому поводу, он попросил меня, назвав «мсье Домье-Смит», исправить несколько рисунков. Он вернулся к своему столу, взял три огромных, раздутых конверта и положил их передо мной. Пока он объяснял мне метод обучения, принятый (впрочем, вернее сказать, несуществующий) в школе, я стоял в полном изумлении и только кивал головой, перебирая в кармане свои карандаши. Мсье Иошото уже давно вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.

Все три ученика, с которыми я должен был заниматься, говорили по-английски. Первой была двадцатитрехлетняя домашняя хозяйка из Торонто; она избрала для себя псевдоним Бэмби Крамер и на это имя просила школу адресовать свою корреспонденцию. *Les Amis Des Vieux Maîtres* предложила всем своим ученикам заполнить анкету и прислать фотографии. Мисс Крамер вложила в конверт снимок, сделанный на глянцевой бумаге форматом восемь на десять дюймов, где она была запечатлена в купальном костюме без бретелек, в белой матросской шапочке и с браслетом на ноге. В анкете она написала, что ее любимые художники — Рембрандт и Уолт Дисней. Она сообщила, что надеется когда-нибудь стать их достойной соперницей. Свои рисунки она скромно подколола к фотографии. Все до одного были поразительны, один — незабываем. Незабываемый был сделан акварелью в самых ярких тонах и назывался «Простите маленьких нарушителей». На нем были изображены три маленьких мальчика, удыщие рыбу в странного вида водоеме; куртка одного из них была выброшена на столбик с надписью: «Ловля рыбы воспрещена!» Одна нога самого высокого мальчика на переднем плане казалась пораженной рахитом, а другая — слоновой болезнью: несомненно, мисс Крамер сознательно применила этот прием, желая показать, что мальчик стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником был пятидесятишестилетний «фотограф, снимающий высшее общество», из Виндзора, штат Онтарио, которого звали Р. Говард Риджфилд. Он признался, что уже много лет жена убеждает его заняться живописью, чтобы иметь дополнительный источник доходов. Своими любимыми художниками он назвал Рембрандта, Сарджента и «Тицана». Впрочем, он благообразно оговорился, что сам он не стремится работать в их манере, ибо его привлекают не столько живописные, сколько обличительные возможности искусства. В подтверждение своего кредо он представил значительное количество оригинальных работ,

выполненных карандашом и маслом. Одна из них — по-моему, это было его лучшее и любимейшее творение — неотступно преследовала меня потом много лет вроде песенки «Крошка Сью» или «Будь моей». Картина эта трактовала в сатирическом плане обычную, повседневную трагедию юной и чистой девушки с распущенными по плечам белокурыми волосами и вымяподобным бюстом, которую прямо в церкви, под самой сенью алтаря, бесстыдно соблазнял священник. Одежды обоих были более чем в живописном беспорядке. Но что касается меня, я был потрясен не столько сатирическим подтекстом картины, сколько мастерской отделкой деталей, потребовавшей от художника массу времени. Если бы я не знал, что Бэмби Крамер живет за сотни миль от Риджфилда, я бы поклялся, что она оказывает ему чисто техническую помощь.

Когда в свои девятнадцать лет я оказывался в критических обстоятельствах, то, за исключением очень редких случаев, частично или полностью утрачивал способность двигаться, причем паралич начинался с локтевого сустава. Риджфилд и мисс Крамер причинили мне немало хлопот, но ни разу мне не пришло в голову посмеяться над ними.

Пока я просматривал содержимое их конвертов, у меня три-четыре раза возникало искушение встать и заявить мсье Йошото свой официальный протест. Но я не имел ни малейшего представления, в какую форму облечь его. Я боялся, что подойду к его столу и крикну: «У меня умерла мама, я должен жить с ее прелестным муженьком, а в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, и в комнате вашего сына нет ни одного стула. И после этого вы думаете, что я могу научить этих двух умалишенных рисовать?» В конце концов я все-таки усидел на месте, потому что давно научился подавлять приступы отчаяния, и распечатал следующий конверт.

Третьей моей ученицей оказалась монахиня ордена сестер святого Иосифа. Звали ее сестра Ирма, и она преподавала «домоводство и рисование» в начальной школе при монастыре возле Торонто. Не знаю, с чего начать описание содержимого ее конверта. Во-первых, вместо своей фотографии сестра Ирма прислала снимок монастыря без единого слова объяснения. Кажется, она оставила незаполненной строку анкеты, где нужно было указать возраст. На все остальные вопросы она ответила так, как того не заслуживает ни одна анкета в этом мире. Она родилась и провела свое детство в Детройте, штат Мичиган, где отец ее работал «контролером на автомобильном заводе Форда». Ее светское образование закончилось после первого года обучения в средней школе. Сама она никогда не училась рисованию, и теперь ей приходится учить детей рисовать единственно по той причине, что сестру такую-то повысили в должности и отец Циммерман (имя это сразу привлекло мое внимание, потому что так звали дангиста, который вырвал у меня восемь зубов) назначил ее, сестру Ирму, на место прежней. Она писала: «В классе домоводства у меня учится 34 малышки, а в рисовальном классе — 18». Часы досуга она посвящала любви к богу и слову божьему, а также «собираанию листьев, но только когда они упали с дерева на землю». Любимым художником сестры Ирмы был Дуглас Бентинг. (Должен признаться, что имя это так и осталось для меня загадкой, несмотря на многолетние, но тщетные попытки получить какие-нибудь сведения об этом художнике.) Она писала, что ее малыши любят рисовать бегущих людей, а у нее это совершенно не получается. Она обещала очень стараться, чтобы немножко научиться рисовать, и надеялась, что мы не будем слишком строги к ней.

В конверте сестры Ирмы было шесть рисунков. (Ни один из них не был подписан — казалось бы, пустяк, но в тот момент это обстоятельство произвело на меня в высшей степени отрадное впечатление. На всех

творениях Бэмби Крамер и Риджфилда красовались имена авторов или — и это было еще хуже — инициалы.) С тех пор прошло тринадцать лет, но я очень хорошо помню все рисунки сестры Ирмы, особенно четыре из них. Для моего собственного спокойствия было бы лучше не помнить их так ясно. Ее лучшая вещь была нарисована акварелью на оберточной бумаге. (На ней очень приятно и удобно рисовать, особенно если она толстая. Многие большие художники любят работать на оберточной бумаге, когда не стремятся создать шедевр.) Несмотря на небольшой размер картины (десять на двенадцать дюймов), на ней была с мельчайшими подробностями изображена церемония перенесения тела Иисуса Христа в гробницу, находящуюся в саду Иосифа Аримафейского. На переднем плане в правом углу картины двое мужчин — по всей видимости слуги Иосифа — довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел следом за ними, держась, может быть, чуть-чуть более прямо, чем требовали обстоятельства. На почтительном расстоянии от него следовала пестрая толпа женщин из Галилеи, плакальщиц, зевак, детей. Там было даже по крайней мере три неподобающе резвых дворняги. Но самое сильное впечатление произвела на меня женщина, стоявшая в левом углу на переднем плане лицом к зрителю. Подняв правую руку над головой, она самозабвенно звала кого-то — может быть, своего ребенка, мужа или просто знакомого, — чтобы тот бросил все и бежал смотреть. У двух женщин в первом ряду толпы были нимбы вокруг головы. Не имея под рукой библии, я мог только очень приблизительно догадаться, кто они. Зато я сразу же нашел Марию Магдалину. Во всяком случае я был уверен, что это она. Она шла среди толпы с опущенными вдоль туловища руками, не видя ничего вокруг. Она затаила свое горе глубоко в душе, и ничто в ней не показывало завистливым людям, как много она значила в последнее время для Усопшего. Лицо ее, как и лица всех других персонажей картины, было сделано дешевой краской телесного цвета. С первого же взгляда становилось ясно, что сестра Ирма сама осталась очень недовольна цветом и безуспешно пыталась смягчить и приглушить его. В картине не было больше ни одного серьезного недостатка. Если бы я стал говорить о чем-то еще, это были бы просто придиришки. Насколько я мог судить, эта картина была написана настоящим, большим художником в расцвете таланта, который не пожалел на нее ни времени, ни труда.

Конечно, первой моей реакцией было броситься к мсье Иошото с конвертом сестры Ирмы. Но я снова усидел на месте. Я не мог рисковать — а вдруг сестру Ирму отнимут у меня. В конце концов я осторожно убрал ее рисунки в конверт и отложил его в сторону, полный волнующих планов заняться ими в свободное время, ночью. Преисполнившись терпимости, которой я никогда в себе не подозревал, даже доброты, я провел все время до обеда, исправляя при помощи «наложения» изящные «ню»<sup>1</sup> мужского и женского пола, которые весьма игриво, хотя и sans<sup>2</sup> половых органов, изобразил Р. Говард Риджфилд.

Когда наступил час обеда, я расстегнул на рубашке три пуговицы и сунул конверт сестры Ирмы за пазуху, куда ни воры, ни даже Иошото не могли проникнуть.

Обряд вечерней трапезы совершался в Les Amis Des Vieux Maitres в полном молчании, следуя раз и навсегда заведенному порядку. Ровно в 5.30 мадам Иошото вставала из-за своего стола и поднималась паверх, чтобы приготовить обед, а мы с мсье Иошото присоединялись к ней ровно в шесть. Мы шли друг за дружкой по лестнице и входили в кухню,

<sup>1</sup> Обнаженная натура (франц.).

<sup>2</sup> Без (франц.).



минуя прочие помещения, куда нас призывают естественные потребности или правила гигиены. Однако в тот вечер благодаря конверту сестры Ирмы, спрятанному у меня на груди, я чувствовал себя как нельзя более легко и свободно. Во время обеда я просто превзошел самого себя. Я «выдал» первоклассный анекдот о Пикассо, который можно было бы приберечь на черный день. Мсье Йошото даже не опустил свою японскую газету, чтобы послушать его, зато мадам Йошото, кажется, как-то заинтересовалась или по крайней мере не осталась безучастной. Во всяком случае, когда я кончил, она заговорила со мной — впервые после утреннего вопроса, не хочу ли я яйцо на завтрак. Она спросила, не нужно ли все-таки поставить мне в комнату стул. Я быстро ответил: «Non, non, merci, madame» — и объяснил, что циновки положены прямо возле стен, а мне это очень полезно, потому что так удобнее сидеть прямо. Я поднялся, чтобы они увидели, какой я сутулый.

Когда после обеда супруги Йошото принялись обсуждать по-японски какой-то по всей вероятности щекотливый вопрос, я извинился и встал из-за стола. Мсье Йошото взглянул на меня, как бы не понимая, как я вообще мог очутиться у него в кухне, но потом кивнул головой, и я быстро прошел к себе в комнату. Я зажег верхний свет, запер дверь, вынул из кармана свои карандаши, снял пиджак, расстегнул рубашку и сел на циновку с конвертом сестры Ирмы в руках. Разложив все необходимое для работы перед собой на полу, я трудился до четырех утра, составляя для сестры Ирмы план действий на первое время.

Прежде всего я сделал около десятка карандашных набросков. Не имея ни малейшего желания спускаться за бумагой в преподавательскую, я вырвал несколько листов из собственного альбома и сделал наброски на обеих сторонах. После этого я написал сестре Ирме длинное, почти бесконечное письмо.

Я никогда не мог ни с чем расстаться, как самая беспокойная сорока, и у меня до сих пор хранится предпоследний черновик письма, которое я написал сестре Ирме той далекой июньской ночью 1940 года. Я мог бы привести его здесь слово в слово, но в этом нет нужды. Большую часть письма — можно себе представить, какой огромной была эта поистине бóльшая часть, — я посвятил подробному разбору маленьких недостатков ее лучшего рисунка, уделив особое внимание цвету. Я рекомендовал ей приобрести некоторые необходимые для художника принадлежности и указал их примерную цену. Я спросил ее, кто такой Дуглас Бентинг и где можно посмотреть его работы, а также (это была политика дальнего прицела) видела ли она когда-нибудь репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я просил ее написать мне, сколько ей лет, и клятвенно заверил, что цифра эта навсегда останется известной только мне одному! Я писал, что спрашиваю об этом только потому, что так мне будет легче руководить ее обучением. Не переводя дыхания, я тут же спросил, разрешается ли посещать ее монастырь.

По-моему, здесь все-таки следует привести последние строки моего письма (измеряемые в кубических футах), сохранив синтаксис, пунктуацию и прочее. Вот они:

«...Пожалуйста, напишите мне, знаете ли вы французский язык, потому что я провел большую часть своей юности в Париже во Франции и гораздо лучше говорю на этом языке.

Вы пишете, что хотите научиться рисовать бегущих людей, чтобы потом передать свою технику ученикам школы при монастыре. Поэтому я посылаю несколько своих набросков, которые могут Вам пригодиться. Конечно, они очень далеки от совершенства, потому что я сделал их довольно быстро, но все-таки, я надеюсь, Вы найдете в них основы того, что Вас интересует. Мне кажется, у директора нашей школы нет ника-

кой системы обучения. Я очень рад, что Вы такая талантливая ученица, но просто не представляю, что мне делать с другими — по-моему, они не только бездарны, но и глупы.

К сожалению, я агностик; но все-таки я всегда восхищался святым Франциском Ассизским — издали, разумеется. Вы, наверное, помните, что сказал святой Франциск перед тем, как ему выжгли глаз каленым железом. Вот его слова: «Брат мой Огонь, бог создал тебя прекрасным, могучим и полезным для человека. Молю тебя, будь милосерден ко мне». Ваши рисунки напомнили мне эти слова святого Франциска, в них очень много хорошего. Напишите мне, пожалуйста, правильно ли я решил, что молодая женщина в синем на переднем плане — Мария Магдалина. Я, конечно, имею в виду рисунок, который мы с Вами разбирали. Если это не Мария Магдалина — значит, я горько ошибся. Что делать, со мной это не впервые.

Я буду рад сделать для Вас все, что смогу, пока Вы будете заниматься в *Les Amis Des Vieux Maîtres*. Если хотите знать правду, я считаю, что у Вас настоящий, большой талант, и ничуть не удивлюсь, если через несколько лет Вас признают гениальным художником. Я никогда не стал бы хвалить Вас незаслуженно. Именно поэтому я и спросил Вас о той женщине в синем, которую называю Марией Магдалиной. Боюсь, она заставляет думать скорее о Вашем пробуждающемся гении, чем о Вашей набожности. Но, по-моему, в этом нет ничего плохого.

Я от души надеюсь, что Вы совершенно здоровы.

С искренним уважением

Жан де Домье-Смит,  
преподаватель *Les Amis Des Vieux Maîtres*.

P. S. Я чуть не забыл сообщить Вам, что ученики должны представлять свои работы раз в две недели по понедельникам. В качестве первого задания я прошу Вас сделать несколько набросков уличных сцен. Сделайте их быстро и не думайте над ними слишком долго. Конечно, я не знаю, располагаете ли Вы у себя в монастыре свободным временем, чтобы заниматься рисованием, но надеюсь, Вы сообщите мне и об этом. Я также прошу Вас приобрести все необходимые принадлежности, которые я взял на себя смелость рекомендовать Вам, потому что хочу, чтобы Вы как можно скорее начали писать маслом. Надеюсь, Вы простите меня, если я скажу, что, по моему мнению, у Вас слишком страстная натура, чтобы продолжать работать акварелью. Я говорю это совершенно абстрактно, вовсе не желая обидеть Вас. По правде сказать, это даже комплимент. Пришлите мне, пожалуйста, все Ваши старые рисунки, которые у Вас сохранились, я очень хочу посмотреть их. Нужно ли говорить, что время будет тянуться для меня непереносимо долго, пока я не получу Вашего письма.

Если Вы не сочтете мой вопрос бестактным, напишите мне, пожалуйста, удовлетворяет ли Вас жизнь в монастыре — в духовном смысле, конечно. Я буду Вам очень благодарен. Дело в том, что я начал заниматься изучением сущности различных религий — после того, как прочел тома 36-й, 44-й и 45-й Гарвардской библиотеки классиков, с которой Вы, наверное, знакомы. Меня особенно восхищает Мартин Лютер. Он был протестант, разумеется. Пожалуйста, не обижайтесь. Я вовсе не собираюсь защищать какую-то одну веру, мне это не свойственно. Пожалуйста, не забудьте сообщить мне, когда посетителям разрешено навещать Вас, потому что субботные и воскресные дни у меня, насколько я знаю, свободны, и я могу оказаться в Ваших краях как-нибудь в субботу. Еще раз прошу Вас написать, достаточно ли хорошо Вы владеете французским, потому что сам я почти беспомощен в английском, так как полу-

чил хоть и разностороннее, но довольно беспорядочное образование, не смотря на наилучшие намерения моих родителей».

В половине четвертого утра я вышел на улицу и опустил в почтовый ящик письмо с рисунками сестре Ирме. Радость переполняла меня, когда я раздевался, и пальцы плохо повиновались мне.

Я свалился на постель, но только что начал засыпать, как за стеной в спальне четы Иошото опять кто-то застонал. Я представил себе, как утром оба они придут ко мне и будут просить и умолять, чтобы я выслушал их ужасную тайну со всеми ее зловещими подробностями. Я ясно видел, как все это произойдет. Мы все сядем за стол на кухне — я в середине, а они по бокам. Подперев голову руками, я буду слушать, слушать, слушать их обоих, и когда наконец мне станет не под силу выносить все это, я возьму сердце мадам Иошото в руки и буду греть его, как птицу. А когда все станет хорошо, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они будут радоваться вместе со мной.

Основная разница между счастьем и радостью заключается в том, что счастье — твердое тело, а радость — жидкое, но понимать это начинаешь слишком поздно. Моя радость начала выливаться из сосуда, в который была заключена, как только наступило утро и мсье Иошото положил мне на стол конверты с рисунками еще двух новых учеников. В этот момент я без всякой злобы трудился над рисунками Бэмби Крамер, зная, что мое письмо благополучно идет к сестре Ирме. Но я был совершенно не подготовлен к капризу судьбы, создавшей двух людей, одаренных еще более жалкими способностями к рисованию, чем Бэмби и Р. Говард Риджфилд. Чувствуя, как улечучиваются все мои благие порывы, я закурил сигарету в преподавательской в первый раз с тех пор, как меня приняли в штат. Это принесло мне некоторое облегчение, и я снова принялся за рисунки Бэмби. Но не успел я сделать и трех-четырёх затяжек, не поднимая глаз от стола, как почувствовал, что мсье Иошото смотрит на меня. Как бы в подтверждение моей догадки я услышал, что он отодвинул свой стул. Я по обыкновению встал, когда он подошел ко мне, чтобы объяснить на редкость противным шепотом, что лично он не возражает против курения, но, увы, правила школы запрещают учителям курить в преподавательской. Величественным жестом мсье Иошото прервал поток моих извинений и вернулся в занимаемый им с мадам Иошото угол комнаты. Меня охватила настоящая паника, когда я подумал, как прожить еще тринадцать дней и не сойти с ума до того понедельника, когда должно прийти письмо от сестры Ирмы.

Было всего-навсего утро вторника. Конец этого дня и рабочие часы двух следующих я заставлял себя лихорадочно работать. Я буквально не оставил живого места на рисунках Бэмби Крамер и Р. Говарда Риджфилда и придумал для них десятки примитивных и оскорбительных, но в высшей степени полезных упражнений. Я написал им длинные письма: Р. Говарда Риджфилда я умолял отказаться на время от своей сатиры, а Бэмби Крамер, призвав на помощь всю свою деликатность, смиренно просил не присылать некоторое время рисунки типа «Простите маленьких нарушителей». Настроенный вполне благожелательно, я тем не менее с некоторым беспокойством приступил к концу дня в четверг к новому моему ученику, американцу из Бангора, штат Мэн, написавшему в своей анкете с искренностью и прямотой цельной натуры, что его любимый художник он сам. Он считал себя реалистом-абстракционистом.

Что касается моего свободного времени, то во вторник вечером, когда занятия в школе кончились, я доехал на автобусе до центра города и посмотрел там в каком-то третьеразрядном кинотеатре фильм, снятый на выставке карикатур, который состоял главным образом из сцен, где

стаи мышей забрасывали пробками из бутылок из-под шампанского бесконечное количество котов. В среду вечером я собрал все циновки, захламлявшие мою комнату, положил их одна на другую и попытался набросать по памяти картину сестры Ирмы «Погребение Христа».

Мне бы хотелось назвать вечер четверга странным, может быть, даже зловещим, но у меня просто рука не поднимается написать ни один из этих пошлых эпитетов, когда я вспоминаю тот день. После обеда я вышел из *Les Amis* и куда-то пошел — может быть, в кино, может быть, просто побродить; что было вечером, я не помню, а в моем дневнике за 1940 год нужная страница совершенно пуста.

Впрочем, я знаю, почему эта страница пуста. Возвращаясь откуда-то, где я провел вечер, — я хорошо помню, что было уже совсем темно, — я остановился на тротуаре возле школы и заглянул в освещенную витрину магазина ортопедических принадлежностей. И тут произошло то страшное и непонятное, чего я не могу забыть до сих пор. Меня оглушила мысль, что как бы спокойно, благоразумно и приятно я ни научился жить в будущем, я навсегда останусь в лучшем случае всего лишь гостем в саду из эмалированных писсуаров и ночных горшков, где над всем возвышается слепое деревянное божество — манекен в уцененном бандаже против грыжи. Конечно, я мог вынести эту мысль только несколько секунд. Помню, я взлетел по лестнице к себе в комнату, разделся и бросился на кровать, не только не сделав записи в дневнике, но даже не открыв его.

Долгие часы я пролежал без сна, весь дрожа. Я слушал стоны, доносившиеся из соседней комнаты, и заставлял себя думать о своей гениальной ученице. Я пытался представить себе день, когда я приеду в монастырь повидаться с ней. Я видел, как она идет ко мне вдоль высокого забора — прелестная застенчивая девушка восемнадцати лет, еще не принявшая пострижения и свободная вернуться в мир со своим избранником — мужчиной типа Пьера Абеляра. Я видел, как мы тихо и молча проходим в дальний конец тенистого монастырского сада. Я обнимаю ее, и это совсем не считается грехом. Мой восторг доходил до экстаза, но постепенно я успокоился и заснул.

Почти всю пятницу я тяжело трудился, пытаюсь с помощью кальки создать какое-то подобие деревьев из леса фаллических символов, старательно изображенных на дорогой веленовой бумаге человеком из Бангора, штат Мэн. К половине пятого я совершенно выдохся морально, интеллектуально и физически и только слегка приподнялся со стула, когда ко мне на минуту подошел мсье Йошото. Он положил на мой стол какую-то бумажку — так официант небрежно кладет перед посетителем меню. Это было письмо матери-настоятельницы монастыря, в котором жила сестра Ирма, извещавшее мсье Йошото, что по не зависящим от него обстоятельствам отец Циммерман был вынужден изменить свое решение и запретить сестре Ирме заниматься в *Les Amis Des Vieux Maîtres*. Мать-настоятельница выражала глубокое сожаление по поводу затруднений и неудобств, которые их изменившиеся планы могли причинить школе. Она от всей души надеялась, что епархии будет возвращен первый взнос за обучение в размере четырнадцати долларов.

Много лет я не сомневался, что искалеченная мышь возвращается с ярмарки, где сгорело колесо обозрения, замыслив такие козни против кота, что уж теперь-то ему не уйти. Я прочел письмо матери-настоятельницы один раз, перечитал его снова, потом очень долго рассматривал его. Наконец я с трудом оторвал от него взгляд и тут же написал остальным своим ученикам, советуя отказаться от мысли стать художниками. Я сказал каждому, что они просто теряют свое

драгоценное время и напрасно отнимают его у школы. Все четыре письма я написал по-французски и тут же вышел на улицу и бросил их в почтовый ящик. После этого я пережил несколько коротких минут глубокого и полного удовлетворения.

Когда наступило время торжественного шествия в кухню, я извинился и сказал, что чувствую себя не совсем хорошо. Тогда, в 1940 году, ложь в моих устах звучала гораздо более убедительно, чем правда, и я уверен, что мсье Йошото поглядел на меня довольно подозрительно, когда я сказал, что плохо себя чувствую. Я поднялся к себе в комнату и опустился на циновку. Я просидел так целый час, глядя на луч света, пробившийся сквозь щель в шторе. Я не закурил, не снял пиджак, даже не ослабил узел галстука. Потом я вдруг встал, взял целую пачку своей собственной бумаги и написал второе письмо сестре Ирме прямо на полу.

Это письмо так никогда и не было отправлено.

Вот оно слово в слово, воспроизведенное прямо с оригинала:

«Монреаль, Канада.

28 июня 1940 г.

Дорогая сестра Ирма!

Неужели я написал что-нибудь обидное или неподобающее в своем последнем письме, которое привлекло внимание отца Циммермана? Неужели оно принесло Вам какие-нибудь огорчения? Если это так, позвольте мне по крайней мере просить прощения за обиду, которую я, сам того не ведая, нанес Вам, стремясь стать не только Вашим учителем, но и другом. Разве я прошу слишком много? Думаю, что нет.

Я скажу Вам всю правду: если Вы не овладеете еще некоторыми знаниями, составляющими основу профессионального мастерства, Вы всю жизнь будете всего лишь очень интересным явлением в живописи, но никогда не станете большим художником. По-моему, это ужасно. Понимаете ли Вы, как все это серьезно?

Может быть, отец Циммерман принудил Вас уйти из школы, боясь, что занятия живописью отвлекут Вас от исполнения Вашего долга монахини? Если так, то он поступил в высшей степени опрометчиво во многих отношениях. Живопись вовсе не помешала бы Вам оставаться монахиней. Я сам веду образ жизни нечестивого монаха. Самое худшее, что Вас ожидает, если Вы станете художницей, это постоянное сознание того, что Вы немного несчастливы. Но, по-моему, в этом вовсе нет ничего трагичного. Много лет назад, когда я был семнадцатилетним мальчишкой, я пережил самый счастливый в моей жизни день. В кафе меня ждала мама, она первый раз вышла из дому после долгой болезни. Я шел к ней по авеню Виктора Гюго (это улица в Париже) и был счастлив до экстаза, как вдруг на меня налетел какой-то безносый парень. Прошу Вас, нет, не прошу, умоляю, задумайтесь над этим случаем. В нем скрыт огромный смысл.

Или, может быть, запрещение отца Циммермана объясняется тем, что монастырь не располагает достаточными средствами, чтобы платить за Ваше обучение? Я всей душой хочу, чтобы это было так, не только потому, что такое объяснение снимает с меня вину, но и с практической точки зрения: Если я действительно прав, то достаточно одного Вашего слова, и я предложу Вам свои услуги *gratis*<sup>1</sup> на какое угодно время. Согласны ли Вы обсудить со мной этот вопрос? Позвольте мне еще раз спросить Вас, когда у Вас в монастыре приемные дни? Можно ли мне надеяться навестить Вас 6 июля в субботу между тремя и пятью часами.

<sup>1</sup> Даром, бесплатно (лат.).

в зависимости от расписания поездов между Монреалем и Торонто? Жду Вашего ответа с величайшим терпением.

С уважением и восхищением,  
искренне Ваш  
Жан де Домье-Смит,  
преподаватель Les Amis Des Vieux Maîtres.

Р. С. Между прочим, в последнем письме я спросил Вас, не грешница ли Магдалина женщина в синем, которую Вы нарисовали на переднем плане Вашей картины на сюжет из библии. Если Вы еще не ответили на мое письмо, пожалуйста, не говорите ничего о ней. Возможно, я и ошибся, но мне сейчас совсем не хочется сталкиваться еще с одним разочарованием. Я предпочитаю оставаться в неизвестности».

Даже сейчас, спустя много-много лет, я не могу без боли вспомнить, что взял с собой в Les Amis смокинг. Окончив письмо к сестре Ирме, я облачился в него. Обстоятельства требовали, чтобы я напился, а поскольку я за всю свою жизнь ни разу не был пьян (из страха, что вследствие чрезмерного увлечения спиртным начнет дрожать рука, которая создала удостоенные трех первых премий картины, и так далее), я счел необходимым одеться в соответствии с трагическим поворотом событий.

Пока Йошото сидели в кухне, я тихонько спустился вниз и позвонил в Виндзор Отель — его мне рекомендовала миссис Х. (приятельница Бобби), когда я еще был в Нью-Йорке. Я заказал столик на одного на восемь часов.

В 7. 30, одетый и готовый к предстоящему вечеру, я высунул голову за дверь, чтобы посмотреть, не бродят ли поблизости Йошото. Почему-то я не хотел, чтобы они видели меня в смокинге. Уверившись, что никого нет, я быстро спустился на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме лежало во внутреннем кармане смокинга. Я хотел еще раз прочесть его во время обеда, предпочтительно при свете свечей.

Я шел квартал за кварталом, не видя ни свободного, ни даже занятого такси. Мне здорово не везло. Верденских обитателей Монреаля меньше всего можно было обвинить в том, что они шикарно одеты, и мне казалось, что все прохожие оборачиваются и глядят мне вслед в высшей степени неодобрительно. Когда я наконец дошел до кафе, где в понедельник ел сосиски, то решил махнуть рукой на столик в Виндзор Отеле. Я вошел в кафе, сел где-то сбоку и заказал суп, булочку и черный кофе, прикрывая рукой свой черный галстук. Я надеялся, что посетители кафе примут меня за официанта, идущего на работу.

Когда принесли вторую чашку кофе, я достал из кармана неотосланное письмо и прочитал его. Оно показалось мне не вполне убедительным, и я решил как можно скорее вернуться в Les Amis и слегка исправить его. Что касается моих намерений повидаться с сестрой Ирмой, то мне пришло в голову, что, может быть, стоит взять билет на поезд в тот же день вечером. Раздумывая об этом (по правде сказать, ни та, ни другая мысль не вселяла в меня должного воодушевления), я вышел из кафе и быстро пошел к школе.

То, что случилось со мной пятнадцать минут спустя, было так странно, что может показаться неправдоподобным. Но все это было, и все это правда. Мне предстоит сейчас рассказать о совершенно необыкновенном явлении, которое до сих пор кажется мне абсолютно непостижимым, но которое я все-таки не хочу истолковывать сколько-нибудь мистически. (Иначе, мне кажется, это было бы равносильно намеку или прямому утверждению, что разница в духовных проявлениях святого Франциска и заурядного истеричного проповедника, демонстрирующего

по воскресеньям свою любовь к ближним, будет всего лишь количественной.)

Было около девяти часов. Подходя в сумерках к зданию школы, я увидел с другой стороны улицы свет в окне магазина ортопедических принадлежностей. Я вздрогнул при виде живого человека в витрине — крепкая, здоровая девушка лет тридцати в зелено-желто-лиловом шифоновом платье меняла бандаж, надетый на деревянный манекен. Когда я подошел к окну, она, по всей видимости, только что сняла старый бандаж, который прижимала к себе локтем (девушка стояла ко мне правым боком), и теперь зашнуровывала манекен в новый. Я стоял и смотрел на нее как зачарованный, пока она не почувствовала, что за ней кто-то наблюдает, и не увидела меня. Я быстро улыбнулся — в знак того, что существо в смокинге, стоящее в сумерках за стеклом витрины, вовсе не желает ей зла, — но напрасно. Невозможно описать, как смутилась девушка. Она покраснела, уронила снятый бандаж, шагнула назад и споткнулась о груды клистирных кружек. Я бросился к ней и больно стукнулся пальцами о стекло. Она тяжело плюхнулась, как конькобежец, но тут же вскочила, не глядя на меня. Откинув рукой волосы, она принялась быстро шнуровать бандаж на манекене. И тогда это случилось. Вдруг взойшло солнце (надеюсь, я рассказываю об этом со всей подобающей скромностью) и устремилось к моей переносице со скоростью девятости трех миллионов миль в секунду. Слепленный и очень испуганный, я оперся рукой о стекло витрины, чтобы не упасть. Все вместе это длилось не более нескольких секунд. Когда ко мне снова вернулось зрение, девушки уже не было, в витрине сверкало дважды благословенное поле изысканных эмалированных цветов.

.. Я отшатнулся от окна и два раза обошел квартал, пока не перестали дрожать колени. Потом, не смея еще раз взглянуть на витрину, я поднялся к себе в комнату и лег. Через несколько минут или часов я написал в своем дневнике по-французски: «Я даю сестре Ирме свободу следовать своей судьбе. Весь мир — монастырь (Tout le monde est une poppe)».

Прежде чем заснуть, я написал своим четырем исключенным ученикам, восстанавливая их в школе. Я объяснил им, что в канцелярии произошла ошибка. Письма написались очень легко. Может быть, потому, что писал я их, сидя на стуле, который принес снизу.

Каким ни прозаичным может показаться такой конец, я должен сказать, что не прошло после этого и недели, как Les Amis Des Vieux Maîtres закрылась из-за неправильно оформленной лицензии (то есть из-за полного отсутствия какой бы то ни было лицензии, если говорить правду). Я собрал вещи и присоединился к своему отчиму Бобби, который отдыхал на Род-Айленде, где и провел следующие шесть или восемь недель — пока не начались занятия в школе живописи, — изучая самое любопытное из всех пробуждающихся с наступлением лета животных — Юную Американку в Шортах.

Не знаю, хорошо это или плохо, но о сестре Ирме я больше никогда не слышал.

Однако до сих пор я иногда получаю весточки от Бэмби Крамер. По последним сведениям, она занялась изготовлением рождественских открыток. Публике будет на что посмотреть, если только Бэмби не утратила свой творческий почерк.

*Перевела с английского Ю. Жукова.*



---

# МУБЛИЦИСТИКА

## БОЛЬШАЯ ХИМИЯ

В. АЗЕРНИКОВ

★

### ХИМИЯ И ПЛОДОРОДИЕ,

*как об этом рассказал академик С. И. Вольфович*

**З**емледелие — древнейшее занятие человека. Химия — куда более молодое. Многие века земледельцы возделывали землю, не помышляя о химии. Многие десятилетия химики соединяли, разъединяли, создавали молекулы, не помышляя о земледелии.

Настало время, когда земледelec понял, что истощенная урожаем земля нуждается в подкормке. День, когда человек впервые приметил полезность навоза, был вехой в развитии земледелия.

Органические удобрения — необходимая мера, но недостаточная. Почва требует большего: отдавая растениям свой азот, фосфор и калий, она нуждается в возмещении истраченного.

Геологи нашли агоруды — фосфорные и калийные соли. Но вносить их в почву в том виде, в каком произвела их мать-природа, можно лишь после тщательного измельчения. Бедные агоруды надо обогатить, избавить от излишних примесей, сконцентрировать. Сделать агоруды усвояемыми растениями — дело химиков и инженеров.

Известно, что в воздухе — над каждым квадратным метром земли — находится восемь тонн азота. Это во много тысяч раз больше, чем надо растениям, занимающим этот квадратный метр. Но опять-таки в натуральном виде азот им бесполезен, его надо перевести в усвояемую форму. И молекулярный азот связывают с молекулярным водородом, чтобы получить аммиак — будущее удобрение. Это тоже дело химиков и инженеров.

Мало накормить растение — надо позаботиться, чтобы подкормка не попала в «чужой рот». На поле у полезных растений всегда есть зловредные соседи — сорняки. Они норовят урвать для себя побольше питательных веществ и действительно съедают значительную долю урожая. Извека землепашцы боролись с ними один на один, вручную — прополкой, но такая победа давалась дорогой ценой. И только в самые последние годы, когда в их поединок вмешались химики, на поля пришли действенные защитники полезных растений — гербициды. Эти вещества уничтожают сорняки, оставляя нетронутыми культурные растения.

Нелегка жизнь хлебного злака. Преодолевая многие препятствия, несет он человеку свои дары. Опасности подстерегают его на каждом шагу — болезни, вредители. Колос один, вредителей сотни. Пока колос созреет, многие из них дадут пятнадцать — двадцать поколений; это уже тысячи вредителей. Как отбиться от всех? Механически — долго и трудно, биологически — сложно. Быстрее и эффективнее — химически. Инсектициды и фунгициды надежной броней хими-



ческих свойств защищают растения от вредителей и болезней. Ассортимент препаратов, возможность варьирования свойств делают защиту гибкой, примиряют, казалось бы, исключаящие друг друга качества — массовость и вместе с тем избирательность действия.

Но большие возможности — это почти всегда и большие хлопоты. Претендентов на звание инсектофунгицидов в лабораториях всего мира было зарегистрировано десятки тысяч, а получили это звание лишь несколько сот. Создание каждого нового препарата — труднейший поиск. Испытания новых препаратов затягиваются на многие месяцы, нередко — годы, превращаются в своего рода марафон с препятствиями. Препятствий много: безвредность для человека, сельскохозяйственных животных, пчел и самого растения; устойчивость к свету, к жаре, к холоду; влияние на вкус и запах пищевых продуктов; экономичность и многое другое. Лишь единицы приходят к финишу — самые сильные, самые стойкие, самые безвредные. Их-то и отправляют на поля. А через шесть-семь лет многих из них тихонечко отзывают обратно: действие притупилось, вредители дали новые поколения, устойчивые к этим инсектофунгицидам. Значит, снова поиски.

В борьбе за высокие урожаи есть еще и другие виды химического оружия: стимуляторы роста, дефолианты, десиканты, мутагены. Одни из них вносят в почву, другими опрыскивают созревающее растение, третьи вводят в действие, когда растение созрело и его надо убирать, а для этого следует избавиться от мешающих при машинной уборке листьев, как, например, у хлопчатника.

И когда мы делаем смотр этой армии — на бумаге, в исследовательских институтах, даже на опытных полях, — мы преисполняемся уверенности и успокоенности. А потом мы приходим на настоящее поле, где выращивают хлеб, который мы едим, и уверенность сменяется настороженностью: между опытной делянкой и полем, где опытное становится массовым, «дистанция огромного размера». Между ними — производство.

Вот о некоторых проблемах, связанных с внедрением химии в сельскохозяйственное производство, мы и беседуем с академиком Семеном Исааковичем Вольфовичем.

С воодушевлением встречено всем нашим народом письмо Центрального Комитета КПСС и Совета Министров об увеличении производства минеральных удобрений и химических средств защиты растений для повышения урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственная химия выдвигается на передний край борьбы за увеличение производства продуктов земледелия и животноводства.

По производству минеральных удобрений Советский Союз занимает третье место в мире и второе в Европе. А по норме внесения на один гектар — еще весьма далекое. Мы вносили в 1960 году на один гектар двенадцать килограммов питательных веществ, а, например, в Голландии вносили четыреста пятьдесят девять килограммов. Конечно, СССР по площади и населению не сравнить с Голландией. Чтобы удобрить все наши поля, надо иметь ежегодно около ста миллионов тонн удобрений. В наших планах — это цифра 1970 года. А в минувшем году мы внесли семнадцать с небольшим миллионов тонн. И то только под технические и частью плодовые и овощные культуры.

По природным запасам фосфора и калия мы — одна из самых богатых стран. Запасам же азота нет границ, однако он усваивается только некоторыми видами растений и лишь при помощи определенных бактерий. Вот и получается: необходимых растениям питательных веществ много, а полям, садам, плантациям их не хватает. Что делать, вроде бы ясно: добыть агроруды, переработать и внести удобрения в почву. В общем, так и делают. Но как это происходит?

Основные запасы агроруд у нас в Хибинах, в Соликамске, в Каратау, то есть на Севере, на Урале и в Южном Казахстане. А кормит нас кто? В основном Украина, Северный Кавказ, Сибирь, средняя полоса России. И вот миллионы тонн удобрений везут через всю Россию. Таких дальних перевозок нет в боль-

шинстве стран мира. И вместе с полезными веществами везут огромные массы балласта. Главное фосфорное удобрение — суперфосфат — содержит питательного вещества всего двадцать процентов. Так что из десяти вагонов восемь гонят почти впустую. Фосфоритная мука тоже небогата фосфором. А богатых фосфором концентрированных удобрений, содержащих пятьдесят — семьдесят процентов и более питательных веществ, мы до сих пор в промышленных масштабах не производили. Только сейчас, в наши дни, начинаем их вырабатывать.

По дороге часть питательных веществ удобрений утрачивается: ветер, дождь. Наконец привезли. Сгрузили. Как сгрузили? Как придется. Никита Сергеевич Хрущев рассказывал недавно в одном из выступлений, что зимой удобрения, сваленные на одной из станций, заносит снегом и ребятишки с них, как с гор, на санках катаются.

Итак, удобрения до поля еще не дошли, а сколько их уже потеряно.

Наконец самый процесс внесения удобрений в почву — скорее пристрелочный огонь, а не стрельба в цель. До двадцати — тридцати процентов мимо. Часть питания попадает в междурядья, далеко от корней, вносится не на необходимую глубину, на глазок. Нередко бывает, что сыпят удобрения, не зная точно, в каких — калии, фосфоре, азоте — элементах питания нуждается данная почва и растения.

Применять удобрения надо грамотно. Внесение удобрений требует прежде всего знаний химического состава почв — каких питательных элементов в ней недостает, какие имеются в достатке или избытке. А чтобы производить анализы почв и инструктировать земледельцев, надо организовать агрохимическую службу, готовить специалистов. Без агрохимической культуры неизбежны ошибки, неизбежны потери и низкий коэффициент полезного действия удобрений. Еще несколько месяцев назад в Министерстве сельского хозяйства был всего один специалист по удобрениям. Но куда хуже то, что нет достаточно агрохимиков и химиков-аналитиков в колхозах и совхозах. Где их взять? Недавно принято постановление об усилении подготовки агрохимиков, но пока их подготовят, пройдет пять лет. А нужно их много и сегодня.

— В РСФСР, — говорит Семен Исаакович, — всего два агрохимических факультета — в Москве и Перми. И несколько кафедр агрохимии в других институтах. Выпускают некоторое количество специалистов и техникумы. Надо срочно и резко увеличить число и повысить квалификацию агрохимиков. Вот еще одна проблема химизации сельского хозяйства.

В прошлом году Академия педагогических наук внесла разумное предложение: готовить химиков-аналитиков для агрохимических лабораторий в старших классах сельских средних школ. Кончат ребята школу в своем районе и останутся на интересной, полезной работе. Однако это прекрасное предложение, как ни странно, не было подхвачено министерствами. Досадно также то, что более года прошло с тех пор, как были разработаны конкретные мероприятия по организации агрохимслужбы в нашей стране, а они до сих пор не вышли из стен кабинетов.

А как обстоит дело в промышленности? Сейчас для нужд сельского хозяйства запланировано строительство около ста предприятий. Каждый крупный завод требует десятков инженеров — специалистов по производству удобрений, ядохимикатов, кормовых и других средств для животноводства и земледелия.

Академик Вольфович только что побывал на двух строящихся заводах. На заводе под Ленинградом есть лишь один специалист по технологии фосфатов. Разумеется, руководители заводов обеспокоены недостатком специалистов. В пусковом периоде им, несомненно, будут помогать инженеры с других предприятий, проектировщики, работники научно-исследовательских институтов, но это не решает задачи. Химико-технологические и политехнические институты выпускают совершенно недостаточное по сравнению с потребностями количество специалистов. Хотя наши вузы выпускают много химиков и инженеров, но

у молодых специалистов почему-то мало интереса к производству удобрений, инсектофунгицидов и т. д.

Но ведь после майского Пленума ЦК КПСС (1958 года), наметившего огромный рост производства полимеров, почти во всех химических вузах были созданы новые кафедры и лаборатории. И результаты не замедлили сказаться. Разумеется, Пленум оказал большое влияние и на высшее химическое образование, усилилась подготовка специалистов по высокомолекулярным соединениям, но, к сожалению, для основной химической промышленности, для производства минеральных удобрений и химических средств защиты растений кадры еще готовятся в совершенно недостаточном количестве. А ведь подготовка специалиста — пять лет. Даже если считать, что специализация начинается с третьего курса — это все же три года. Заводы же будут вводить в строй начиная с будущего года во все возрастающем количестве. Поэтому, на наш взгляд, необходимы более оперативные меры. Надо посылать инженеров и химиков на действующие заводы на переподготовку, значительно увеличить приемы в высшие школы и техникумы.

Итак, удобрения везут часто бедные. Транспорт и тара дороги. Часть удобрения теряется в пути и при хранении, часть — при внесении в почву. Много ли остается?

— Увы, — сокрушенно подтверждает Семен Исаакович. — Вы попали в точку. Продукция примерно каждого четвертого завода по существу бросается на ветер. Это мрачная цифра. Она усугубляется еще и недостаточной агрохимической культурой. Тут, видимо, необходимы срочные действенные меры.

Химикам должны помочь геологи, горняки, обогатители, машиностроители, конструкторы. В сельскохозяйственных районах, где нет собственных агроруд, необходимо усилить геологическую разведку фосфатов и калийных солей. Следует также доразведать уже известные месторождения, чтобы обеспечить в ближайшие годы большой рост добычи руд. Одновременно необходимо организовать обогащение бедных руд. Тогда мы не будем возить балласт на большие расстояния. В последнее время приняты меры для значительного укрепления химического машиностроения, слабость которого сильно задерживала новое строительство. Поэтому в скором времени темпы строительства и освоения новых заводов и рудников значительно возрастут.

Наша азотная промышленность переходит на новое сырье — природный газ. Это резко удешевляет себестоимость продукции и облегчает производство. Будет построено значительное количество крупных заводов синтетической мочевины (карбамид) — самого концентрированного азотного удобрения и кормового средства для жвачных животных.

Основа производства этих удобрений — аммиак, который синтезируют из азота и водорода. Азот получают из воздуха, водород — из воды или природного газа. Простейшая на бумаге реакция синтеза аммиака на деле превращается в сложнейшее химическое производство. Нужны огромные давления — сотни атмосфер. А высокое давление требует механически прочных и химически стойких многоступенчатых мощных компрессоров. Для синтеза необходимы также высокие температуры и специальные катализаторы. Синтез аммиака — это высокая техника. Это сложное и тонкое производство, требующее больших капиталовложений. Знают ли и оценивают ли эти огромные усилия химической промышленности работники земледелия? Может быть, если бы все это знали, то бережнее хранили и рачительнее использовали бы удобрения.

Фосфатная промышленность будет развиваться в направлении производства концентрированных удобрений — двойного суперфосфата и аммофоса. В больших количествах будут производиться комплексные или многосторонние и смешанные удобрения. Они облегчат труд и повысят культуру земледелия. Для калийной промышленности строятся новые мощные рудники и химические фабрики. Заманчивые перспективы открываются перед микроудобрениями, очень эффективными. Это такие элементы, как бор, медь, марганец, молибден, цинк и другие. Их вносят всего лишь несколько килограммов на гектар. Правда, микроудобрения не заме-

няют основных — макроудобрений, они оказывают свое благотворное действие лишь при одновременном внесении в почву.

— Мы умышленно подняли здесь самые болезненные вопросы химизации сельского хозяйства,— сказал в заключение академик Вольфович.— Наши трудности — это трудности роста. В 1938 году мы изготовили три с лишним миллиона тонн удобрений. в 1962 — уже более семнадцати миллионов тонн, в 1965 должны будем дать тридцать пять миллионов тонн, а в 1970 — дадим сто миллионов тонн. Чтобы реализовать такую грандиозную программу, нужны многочисленные и квалифицированные кадры, мощное химическое машиностроение, быстрое строительство, солидная база для опытных работ. Ну и, конечно, непрерывные научные поиски, теоретические и методические исследования. Сегодня, быть может, они не задерживают внедрение в сельское хозяйство ранее достигнутых научно-технических успехов, но, чтобы в будущем нам не снижать творческого потенциала, чтобы продолжать ускоренными темпами прогресс химизации, надо продолжать усиливать и укреплять научные учреждения.

Внесение удобрений может повысить средние урожаи зерновых примерно в два с половиной раза! Повышение культуры земледелия и применение химических средств может сохранять весьма значительное количество урожая. В 1965 году удобрения и средства химической защиты растений дадут (по ориентировочным подсчетам) дополнительной продукции на сумму около пятнадцати миллиардов рублей. А сколько дадут химические средства в животноводстве, где химизация лишь начинается!

В том, что химизация даст много, очень много, можно не сомневаться. Но для этого надо приложить усилия уже сейчас, не откладывая.

В химизации сельского хозяйства — в деле важном, возведенном партией в ранг первой государственной необходимости,— много аспектов. Все они, несомненно, заслуживают самого пристального внимания. Было время, когда химизацию сельского хозяйства тормозило отставание химической науки, сегодня ее задерживает недостаточная мощность промышленного производства. Скорейшее строительство химических заводов — ныне одна из самых неотложных задач. Столь же важно поднять культуру земледелия, четко наладить агрохимическую службу. От этого зависит эффективность и будущее химизации сельского хозяйства. Только тогда волнующие воображение цифры будущих урожаев превратятся в изобилие продуктов питания.

---

П. ВОЛИН

★

## ПОЛИМЕРЫ В СТАНКОСТРОЕНИИ,

*как об этом рассказал главный конструктор  
Московского завода «Красный пролетарий»  
Ю. М. Жедь*

Среди длинного списка определений, которыми человечество наделило наш богатый научно-техническими открытиями двадцатый век, часто слышится слово, пришедшее из древней науки — химии. Наш век называют не только веком атома и электроники, но и веком полимеров!

Каких-нибудь три десятилетия назад искусственные синтетические материалы делали первые робкие шаги из колыбели лабораторий в производство. В них видели более или менее удачные заменители старых, привычных материалов. Ныне они уже сами становятся и «заслуженными» и «незаменимыми», вытесняют металл и дерево, камень и ткани, резину и кожу.

Будем точны. Полимеры пока еще не стали основным «строительным» материалом. Но без них сегодня не может успешно, в ногу с веком, развиваться, пожалуй, ни одна область народного хозяйства. Недаром же пластмассы и технические ткани из нейлона на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году были признаны вторым после алюминия по значению и новизне материалом.

И тогда же, в мае 1958 года, значение химии полимеров для создания материально-технической базы коммунизма в нашей стране подчеркнул Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, созданный специально для того, чтобы обсудить состояние и перспективы химической промышленности.

Прошедшие годы можно смело назвать пятилеткой Большой химии. Выпуск синтетических смол и пластмасс в нашей стране по темпам роста обогнал производство таких важнейших, определяющих экономический «лик» страны видов промышленной продукции, как чугун и сталь, бумага и цемент, станки, электровозы, тракторы, автомобили. За последние четыре года он увеличился на восемьдесят четыре процента!

Цифра огромная, но вполне естественная: сегодня развитие производства полимеров и должно идти быстрее других отраслей.

Но хотя рост производства пластмасс, синтетических волокон и других полимерных материалов огромный — все настойчивее, жестче, нетерпеливее звучат требования многочисленных потребителей. Кто только не жалуется на то, что химия не обеспечивает потребности в новых веществах и материалах! Работники тяжелой индустрии и сельского хозяйства, представители легкой промышленности, транспортники, строители, работники связи, различных служб быта... Значение химии для всего народного хозяйства непрерывно и неизмеримо повышается. Ширится применение полимеров, растет в них потребность. И это в свою очередь подталкивает развитие Большой химии.

Химия полимеров, проникнув ныне во все области тяжелой индустрии, достигла ее «сердцевины» — машиностроения. Это особенно важно: ведь машиностроители «забирают» половину всего металла, выплавляемого в стране. Ясно, какое большое значение приобретает здесь замена чугуна, стали, меди, олова, бронзы и других металлов пластмассами.

В станкостроении, например, к последнему году семилетки должно быть заменено полимерами десять процентов потребляемой стали (это составит примерно двадцать — двадцать пять тысяч тонн). Как же идут к этому рубежу, как готовятся взять его создатели и потребители продукции Большой химии?

Поиски ответа на этот вопрос привели меня на столичный завод «Красный пролетарий» — одно из старейших и ведущих станкостроительных предприятий нашей страны.

Главный конструктор «Красного пролетария» Юрий Михайлович Жедь весьма заинтересованно отнесся к теме нашей беседы.

— Мы охотно идем на замену различных материалов пластмассами, — заявил он. — Однако это вовсе не слепая дань моде. Поверьте, отнюдь не желание лишь прослыть передовыми, прогрессивно думающими специалистами, отличиться на «выигрышной» проблеме определяет наше отношение к полимерным материалам. Оно диктуется совсем другими, куда более, так сказать, «приземленными» обстоятельствами. Вы вспомните, что такое полимеры!

Семь древних чудес света были созданы силой человеческого ума и человеческих рук. Но ни в природе, ни среди «рукотворных» материалов не было чуда, подобного полимерам — веществам, которые так счастливо сочетают в себе ценнейшие свойства. Тут надо оговориться: никаких принципиально новых, доселе невиданных качеств полимеры человечеству не принесли. Свойства, которыми они обладают, были известны до них, присутствуют и в других вещах. Но там, то есть в других вещах, природа и человек разбросали, разделили лучшие свойства между многими материалами, будто заботились о том, чтобы никого «не обде-

лить». А тут, в полимерах, эти свойства собраны, сконцентрированы, словно лучи в фокусе линзы.

Почти воздушная легкость и высокая прочность. Удивительная стойкость в агрессивных средах (даже таких, как соляная и азотная кислоты). И близкая к идеальной электроизоляционность. И антикоррозионность. Прибавьте к этому податливость обработке, позволяющую относительно просто формовать из пластмасс изделия любой конфигурации. Учтите наконец возможность заранее и предельно точно проектировать их структуру и тем самым прицельно задавать им те или иные свойства...

— И вы, безусловно, согласитесь, что пластмассы — материалы совершенно исключительные, — говорит Юрий Михайлович. — Мы практики и подходим к делу сугубо практически. Чем привлекают нас пластмассы? Тем, что их применение чрезвычайно выгодно. Со всех точек зрения. Тут, знаете, редкое единодушие между конструкторами, технологами, экономистами.

Вот несколько примеров, которые привел в подтверждение своих слов главный конструктор «Красного пролетария».

Деталь «крышка фартука» из металла весила около восьми с половиной килограммов. Чтобы ее изготовить, требовалось проделать одиннадцать операций, и на это уходило тридцать шесть с половиной минут. Эта же деталь из волокнита весит всего полтора килограмма, она изготавливается методом прессования, а на ее отделку уходит лишь немногим более семи минут. В итоге стоимость пластмассовой детали на двадцать шесть процентов ниже металлической.

Снижение себестоимости станков — один из главных аргументов в пользу замены в них металла полимерами. «Крышка фартука», кстати, в этом отношении даже не самый характерный пример. В среднем пластмассовые детали обходятся краснопролетарцам на сорок процентов дешевле, чем металлические.

Чтобы реально представить такую цифру, можно привести следующий пример. Если бы настолько была снижена себестоимость всей промышленной продукции, наша страна только в одном 1965 году сэкономила бы восемьдесят четыре миллиарда рублей. Такую сумму намечено вложить за всю семилетку в развитие черной металлургии, химии, топливной промышленности, машиностроения, лесной, бумажной и деревообрабатывающей отраслей, легкой и пищевой промышленности, в строительство электростанций, электрических и тепловых сетей — всех этих отраслей, вместе взятых!

И это, между прочим, без учета того, что стоимость самой пластмассы («Пока еще довольно высокая, — замечает Юрий Михайлович. — Я на этом остановлюсь немного позже») по мере увеличения ее выпуска уменьшается. Следовательно, экономический выигрыш от ее применения возрастает еще более. Сейчас, пожалуй, невозможно найти другой путь такого колоссального сокращения трудовых затрат на производство машин, который мог бы по эффективности сравниться с заменой металла полимерными материалами.

А вот пример исключительно действенного решения технологической проблемы. Всем, должно быть, известна «вечная» проблема стружки. Только на машиностроительных заводах ежегодно превращается в стружку четыре с половиной миллиона тонн металла. Это полторы тысячи мощных экскаваторов! Но металл потерян, так сказать, не окончательно, его еще можно переплавить и снова пустить в дело. А непроизводительная трата времени и сил рабочих, электроэнергии, которые идут на «перевод» металла в стружку, загрузка транспорта для ее перевозки — ведь эти-то потери безвозвратны!..

Так вот, покончить с этой проблемой раз и навсегда может применение полимерных материалов. Их обработка не сопровождается образованием сколь угодно заметного количества отходов. Шкив для передачи движения от электромотора на шпindelь станка, например, до недавнего времени изготовлялся на «Красном пролетарии» из чугуна. При этом заготовка шкива весила тридцать килограммов, а сам он — чуть более семнадцати. Остальное — свыше сорока про-

центов металла! — уходило в стружку. Пластмассовый же шкив и изготавливается намного быстрее, и, самое главное, количество отходов сокращается в пять раз!

Замена металлических деталей пластмассовыми позволяет достичь гораздо более высоких результатов по сравнению даже с такими технологическими приемами, которые еще вчера считались наиболее прогрессивными и эффективными. Когда-то один из колпачков на заводе делали из стального прутка, обрабатывая его на металлорежущих станках. Потом перешли на более современный метод: колпачок начали штамповать из стального листа. Технико-экономические показатели (расход материала, коэффициент его использования, вес детали, время на ее обработку) резко улучшились. Но когда тот же колпачок стали делать из полистирола, то и эти показатели остались далеко позади. Себестоимость пластмассовой детали снизилась в десять раз по сравнению с колпачком из стального прутка и почти в полтора раза в сравнении с колпачком из листового металла.

— Юрий Михайлович, примеры эти весьма убедительны. Но не могли бы вы назвать более обобщающие, итоговые данные о применении пластмасс на вашем заводе?

— Могу. Всего за последние пять лет на токарном станке модели «1К62» — это основное серийное изделие «Красного пролетария» — мы заменили пятьдесят одну деталь, которые прежде делали из чугуна, стали, цинкового сплава, пластмассовыми. Благодаря этому ежегодный расход металла снизился на тысячу сто тонн. А экономия в денежном выражении достигла ста сорока тысяч рублей. Разумеется, в новом масштабе цен.

Пятьдесят одна пластмассовая деталь. Много это или мало?

Все познается в сравнении. «1К62» состоит из восьмисот пятидесяти деталей.

— Вот и считайте, — предложил Ю. М. Жедь.

Должен сказать, что перспективы применения пластмасс в станкостроении Юрий Михайлович оценивает достаточно реалистически и старается не делать слишком поспешных, неоправданно восторженных прогнозов. Во всяком случае разговоры о создании сегодня целиком пластмассового станка он считает скорее прожектерством, нежели серьезным инженерным подходом к проблеме.

— Мы ведь производим не выставочные экспонаты, а машины для работы, — замечает он, делая ударение на последнем слове.

И все-таки цифру «51» он считает мизерной по сравнению уже с сегодняшними возможностями и задачами. Ведь она составляет только шесть процентов общего количества деталей станка. На остальные девяносто четыре процента он сделан по-прежнему из металла.

Чем же объяснить такое соотношение? Почему пластмасс еще так мало в «фактуре» станка?

— Давайте пока отвлечемся от цифр, — предлагает главный конструктор. — Посмотрим, как и где детали нам удалось перевести с металла на пластмассу.

Он объясняет, что это в основном те детали, которые не несут силовой нагрузки. Или во всяком случае испытывают такие нагрузки в минимальной степени.

Но подобных деталей в станке очень немного. Большинство составных частей станка подвергается значительным силовым воздействиям и должно противостоять этим воздействиям длительное время. Только при этом условии станок будет работать исправно. Следовательно, пластмасса способна заменить сталь, чугун и другие металлы лишь в том случае, если она обладает достаточно высокой прочностью. Вот такие полимерные материалы еще очень редки. Во всяком случае на станкостроительных заводах. В частности, на «Красном пролетарии».

Признаюсь, все это мне показалось немного странным. В последнее время столько довелось слышать, читать о пластмассах, равных по прочности металлу и даже превосходящих его.

— Да, это так, — соглашается Ю. М. Жедь. — Но зачастую состав и структура нового полимера широко известны; ему уже и название придумано, а самого его

мы все-таки не имеем. Все дело в том, что еще слишком велик разрыв между опытным и массовым производством пластмасс.

И снова факты, случаи, примеры. Три года назад краснопролетарцы получили небольшое количество маслобензостойкого пластика на замену в станке медных грубок. Отличный заменитель! Но опытной партии нового материала, изготовленного в научно-исследовательском институте пластмасс, хватило едва на полторы тысячи станков. Завод «проглотил» его за месяц с небольшим и дальше был вынужден опять потреблять дефицитную медь: сколько ни просили этой пластмассы, не получили больше ни грамма.

«Продегустировали» на «Красном пролетарии» и поликарбонаты, убедились, что они обладают высокой степенью износоустойчивости. Из них получались бы отличные шестерни, рычаги управления и другие детали, несущие средние силовые нагрузки. Но и этих материалов станкостроители вот уже несколько лет добиться от химической промышленности не могут.

Я вспоминаю, как впервые увидел на Выставке достижений народного хозяйства автомобиль «москвич» с кузовом из стеклопластика. Было это года четыре назад. Нам объяснили, что такой кузов не боится ни воды и солнца (его окраска всегда будет свежей и яркой), ни механических повреждений. Даже столкновение ему не страшно: кузов не искорежится, не разобьется. Самый сильный след, который может оставить столкновение, — это небольшие вмятины, которые легко выправит сам водитель.

Когда я слушал вдохновенную речь экскурсовода, мне казалось, что совсем скоро по улицам и дорогам помчатся красные, синие, желтые, оранжевые малолитражные автомобили. Прошло немало времени, но ни автомобильных кузовов, ни других очень нужных предметов из стеклопластика нет. Нет в том числе и многих деталей станков, которые также можно было делать из великолепного материала. В промышленном масштабе наша химия его пока не выпускает.

А порой бывает и так. Начался массовый выпуск нового полимера. Его образцы отвечают всем требованиям станкостроителей, они охотно принимают его на вооружение. Однако вскоре начинают раскаиваться: новый материал оказался совсем непохожим на первый образец. Так получилось, например, с одной из рукояток включения. Эту чугунную деталь стали изготавливать из пластмассы, испытание опытных образцов которой прошло весьма успешно. Но затем производство пластмассы передала другому химическому заводу, и на «Красном пролетарии» это сразу почувствовали. Прочность материала оказалась гораздо ниже той, которой обладали первые образцы. Пришлось увеличивать размер детали, чтобы станок работал надежно.

Другой подобный случай. Начали делать из пластмассы один из шкивов, изготовлявшихся раньше тоже из чугуна. Причем произвели такую замену после тщательного испытания нового материала. А через некоторое время на завод начали поступать рекламации: шкивы деформируются, выходят из строя. Выяснилось, что они сделаны из пластмассы, которая хотя и значится под прежней маркой, но по качеству резко отличается от той, которую станкостроители испытывали.

Отчего же все это происходит? Почему выпуск многих отличных материалов затягивается так надолго, порой на многие годы? Почему наконец массовая продукция заводов, производящих пластмассы, иногда столь резко отличается от первых, пробных партий?

Не потому ли, что химики подчас больше заботятся о том, чтобы выдать прекрасные образцы нового материала — тут они не жалеют ни сил, ни средств, — нежели о том, чтобы быстро наладить широкое производство этого материала и добиться, чтобы сотни заводских тонн его ничуть не уступали первым килограммам, полученным в лаборатории? Не потому ли, что вопросы технологии и производства пластмасс еще не занимают подобающего места в деятельности лабораторий и научно-исследовательских институтов? В Экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих станков (ЭНИМСе), например,



можно увидеть множество пластмассовых деталей, которые изготовлены и испытаны давным-давно, а за пределы института пока не вышли. Почему? Потому что ученые и специалисты-химики не позаботились о том, чтобы создать рациональную технологию их промышленного производства. Ведь тот же стеклопластик до сих пор изготавливается вручную!

Опытные партии новых материалов, и пластмасс в том числе,— это не самоцель. Ведь они нужны нам не как выставочные экспонаты. И не для служебных отчетов. И не для сенсаций, не для рекламы. Они должны служить эталонами продукции, выпускаемой серийно, в массовом масштабе. Пока же они часто лишь «дразнят» потребителей.

А если мы хотим, чтобы выпускаемые для промышленности полимерные материалы отвечали всем ее требованиям, надо, чтобы над созданием пластмасс рука об руку с химиками работали сами машиностроители. Тогда разработка новых материалов будет вестись именно в том направлении, которое более всего важно потребителям. Тогда борьба за прочность пластмасс, их стойкость против силовых нагрузок — как раз то, что необходимо машиностроителям в первую очередь,— выдвинется на первый план.

Представьте себе на минуту, что получилось бы, если бы автомобильный, скажем, завод должен был сам обеспечивать своих поставщиков всевозможной технологической оснасткой, штампами, различными приспособлениями и т. д. Что было бы, если бы ему пришлось фактически налаживать производство необходимых для себя вещей на десятках «чужих» предприятий, выпускающих металл и приборы, электрооборудование и резину, станки и инструмент, ткани, краски, стекло?.. Путаница, неразбериха! Нет, просто невозможно представить эдакую кустарщину — настолько она не сообразуется с современным укладом многоотраслевого хозяйства. А между тем...

А между тем в отношении пластмасс именно такая кустарщина процветает.

«Красный пролетарий» получает пластмассу в основном с Карачаровского завода. Там станкостроителям заявляют: «Хотите иметь пластмассовые детали — делайте для нас штампы». И станкостроители делают. Они вынуждены заниматься совершенно несвойственной им работой: проектировать и изготавливать оснастку исключительно высокой точности и большой трудоемкости. Делают они это с огромными усилиями и — не всегда достаточно квалифицированно. Неудивительно: завод не имеет (да и не должен иметь!) ни соответствующего оборудования, ни специалистов.

Но это еще не все. Краснопролетарцы по многу раз возят штампы на Карачаровский завод и обратно к себе, чтобы там испытывать, а у себя переделывать и исправлять. Потом снова в Карачарово — проверить и отлаживать, и снова к себе — вносить дополнительные коррективы. И так несколько раз. Поэтому-то освоение пластмассовых деталей затягивается на многие месяцы и даже годы, обходится очень дорого.

Говорить о том, что подготовка производства пластмасс и само производство должны быть сосредоточены в одном месте, на специализированном предприятии с хорошей конструкторской и экспериментальной базой,— это значит повторять старую, абсолютно прописную истину. Но что делать, приходится повторять. Потому что только в этой истине и заключается ответ на вопрос, как ускорить внедрение новых пластмасс в промышленность и сократить затраты на их производство.

— Кстати, о затратах на пластмассу,— замечает Юрий Михайлович Жедь.— Это, знаете ли, своего рода заколдованный круг: пластмасса дорога, потому что ее мало, а мало ее потому, что она дорога.

Станкостроители охотно идут на замену металлических деталей пластмассовыми. Но при двух неперемennых условиях: если пластмасса отвечает техническим требованиям и если при этом снижается себестоимость станка. Иначе к чему же

и применять новые материалы, если это невыгодно? И тут цены на пластмассы порой не стимулируют, а, напротив, сдерживают внедрение пластмасс.

Вот пример. На «Красном пролетарии» давно хотят заменить бронзу полиамидами. Однако сделать этого не могут по единственной причине: стоимость их чрезмерно высока. Достаточно сказать, что цены на полиамиды превышают цены, скажем, на применяемые станкостроителями фенольные пресспорошки и волокнит более чем в тридцать раз! Естественно, что, как ни привлекательны полиамиды, использовать их не спешат. А значит, и увеличение выпуска этого материала идет крайне медленно.

Получается парадокс. Ценные полимерные материалы не внедряются в практику, не находят широкого спроса, а следовательно, и не производятся в больших масштабах из-за своей высокой стоимости. Стоимость же их столь высока потому, что отсутствует массовое производство. Действительно, заколдованный круг! И, между прочим, это очень сковывает применение пластмасс в станкостроении даже самых развитых капиталистических стран.

Однако у нас выход из этого круга есть. У нас иные принципы ценообразования, нежели в капиталистическом обществе. Вероятно, возможно, чтобы цены на новые полимерные материалы в период освоения их выпуска и применения в технике устанавливались ниже их себестоимости. Тогда почти неизбежная на первых порах высокая себестоимость пластмасс не будет препятствовать быстрому росту их производства. А это в свою очередь позволит наладить их массовый выпуск и, значит, удешевить. Таким образом, первоначальные потери быстро окупятся и будет достигнута основная цель: максимальная замена металла пластмассами.

Между прочим, такой метод социалистического хозяйствования в нашей стране не нов. Он был испытан не раз и всегда оказывался действенным средством технического прогресса и экономического роста.

В два, в три раза увеличить использование пластмасс в основном своем серийном изделии — станке «1К62» — на «Красном пролетарии» готовы уже сегодня. Станкостроителям нужно для этого только одно — достаточное количество высококачественных и недорогих пластмасс.

Да только ли на этом заводе ждут от химии больших молекул — новых материалов? Для всех областей техники и экономики она сегодня — надежнейшая точка опоры, позволяющая «перевернуть мир».



---

В. СМОЛЯНСКИЙ,  
комментатор Агентства печати Новости

★

## ЭКОНОМИКА И ИДЕОЛОГИЯ

**В** последнее время на Западе небывало широко развернулась атака буржуазных идеологов и политиков на принципы экономической политики СССР и международного социалистического разделения труда. Коммунистам приписывают самые нелепые благоглупости. Обозреватель газеты «Нью-Йорк пост» Макс Лернер, например, в своей книге «Эпоха многократного убийства. Введение в международную политику» внушает широкой публике, на которую рассчитано его произведение, что коммунизму свойственны «абсолютизм планирования» и стремление «извлечь производительную энергию людей путем их превращения в муравейник». Миру, мол, грозят две одинаково страшные опасности: превращение в радиоактивные развалины и в «коммунистический муравейник». Но будущее, заверяет он, «не за коммунистическим планом, а за экономикой всеобщего благосостояния». Однако в наши дни многие буржуазные экономисты уже не пытаются противопоставлять «благосостояние» «плану». Напротив, все серьезные расчеты, сделанные на Западе, так или иначе подтверждают, что народнохозяйственные планы СССР — это этапы пути к обществу изобилия. Причем изобилия для всех. Без тех резких социальных контрастов, которые характерны для сегодняшней Америки. Без «экономического дна». Без многомиллионной армии бедняков.

Почему же наши идеологические противники так рьяно ополчились ныне против социалистического планирования? Ответ один: они наконец-то поняли, что это и есть ключ к «русскому чуду», к тому стремительному взлету нашей страны, который перенес ее из века кирки и тачки в век атома. Именно поэтому критики коммунизма селятся оторвать советское планирование от марксистско-ленинской теории. И, больше того, противопоставить одно другому. Они твердят о каких-то советских «истолкованиях» и «поправках», якобы «изменивших сущность» марксизма.

Примерно о том же голкует и бывший итальянский посол Лука Пьетромарки. В начале 1963 года в Милане (Италия) вышла его книга о современной внутренней и внешней политике Советского Союза с экскурсами в историю. Пьетромарки критикует марксистско-ленинскую теорию и противопоставляет ее практике социалистического строительства. Но, сопоставив затем итоги развития — в самых различных областях — социалистического и капиталистического миров, Пьетромарки вынужден признать, какую огромную притягательную силу представляет для трудящихся капиталистических и бывших колониальных стран Советский Союз. Он считает необходимым глубоко изучать стратегию Советского Союза, чтобы «лучше бороться с ним». Он навязывает своим читателям вывод, совершенно противоречащий признанным им фактам: «Коммунистическая идеология не способствует, а скорее замедляет производственные усилия». Марксизму он противопоставляет... «стимулирующую силу частной инициативы».

## «ВЕНТИКУАТТРЕ ОРЭ» СРАЖАЕТСЯ С ФАКТАМИ

Взгляды Пьетромарки типичны для буржуазных идеологов. Они особенно отчетливо были выражены в заявлении итальянской Конфедерации промышленников по поводу прошлогодней экономической дискуссии, развернувшейся на страницах нашей прессы. Это заявление было опубликовано в органе итальянских деловых кругов, газете «Вентикваттре орэ» (Милан).

С одной стороны, Конфедерация промышленников, комментируя выход в свет сборника статей, опубликованных в советской печати, отмечала, что «эти статьи не означают ни пересмотра принципов советской экономической политики, ни пересмотра идеологических принципов». А с другой, в заключительной части заявления говорила, будто марксизм отстает перед реальной действительностью, «постепенно рушится один из столпов коммунистической пропаганды». Это обосновывалось тем, что, поскольку советское «хозяйство развивается не в направлении централизованной направляемой экономики или тех ее форм, которые предусматривает коммунистическая теория, появляется необходимость постепенного возвращения к правилам, отношениям, системам, обязательно присущим рыночной экономике». Однако такое утверждение построено на глубочайшем, мягко говоря, заблуждении:

В самом деле: в чем отличие плановой организации социалистического общества и его экономики от рыночной? В том, в частности, что хотя при плановой организации и сохраняются такие экономические категории, как рынок, товарное и денежное обращение, но они претерпевают весьма существенные, принципиальные изменения. Рынок подчиняется плану; обмен и распределение товаров организуются через систему цен и договоров на поставку и сбыт продуктов, включаемых в общегосударственный план.

Нельзя забывать и то, что главная цель плана в СССР — интересы потребителя. Они определяются и учитываются всесторонне. В частности, дополнительной проверкой соответствия планов производства потребностям служит реализация товаров. Она помогает установить в каждом конкретном случае, правильно ли был увязан выпуск изделий с потребностями.

Изменилось ли и меняется ли сейчас такое соотношение между планом и рынком в СССР? Отнюдь нет. В принципе все остается по-прежнему. Теперь в противоположность характерным для периода культа личности Сталина методам администрирования в экономике у нас все более возрастают роль и значение экономических рычагов планового руководства. Смысл прошедшей в СССР дискуссии по экономическим вопросам и состоит в повышении эффективности планирования, в подведении под наши планы еще более прочной базы материальной заинтересованности людей в результатах их производства. Разве не об укреплении планового начала в экономике СССР свидетельствуют и факты нашей хозяйственной жизни последнего времени — создание Высшего Совета Народного Хозяйства страны, расширение функций Государственного планового комитета (Госплана), предложения Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева о коренном улучшении планирования?

В ходе экономической дискуссии в СССР шла речь о расширении хозяйственных прав предприятий. Однако такое расширение прав должно сочетаться, по мнению советских экономистов, с укреплением централизованного планирования. Таково существо дела, «не замеченное» ни Конфедерацией промышленников, ни редакцией «Вентикваттре орэ». Вопреки фактам «Вентикваттре орэ» продолжает утверждать, будто бы «осуществление марксистско-ленинских постулатов наталкивается на неизменные экономические требования и неизбежно ведет к движению вспять».

Но что имеют в виду, говоря о «движении вспять», итальянские оппоненты, ежели наша экономика развивается гораздо быстрее, скажем, американской? Это так и остается невыясненным. Современный научный аппарат позволяет с безошибочной точностью определить не только нынешние, но и будущие итоги великого экономического состязания двух социальных систем. И дело вовсе не в том, «кто считает», как уверяют некоторые, а в добросовестном, объективном отборе показателей.

Сопоставление экономических показателей СССР и США было у нас недавно предметом широкой научной дискуссии. В ней принимали участие видные советские эконо-

мисты, деятели государственных плановых и статистических органов. Это обсуждение проходило под свежим впечатлением только что опубликованных официальных данных за минувший год.

А данные эти говорят вот что:

по сравнению с 1961 годом производство промышленной продукции в расчете на душу населения изменилось следующим образом: производство стали в СССР выросло на шесть процентов, а в США оно сократилось на полтора процента, производство электроэнергии в СССР увеличилось на одиннадцать процентов, а в США увеличение составило лишь шесть процентов, добыча нефти в СССР увеличилась на десять процентов, а в США она сократилась на полпроцента, производство цемента на душу населения в СССР увеличилось на одиннадцать процентов, а в США — только на два процента.

И если за последнее пятилетие прирост промышленной продукции в расчете на душу населения составил в СССР сорок восемь процентов, то в США — лишь восемь процентов. В целом же объем промышленной продукции СССР в минувшем году составил около шестидесяти трех процентов продукции США против сорока семи процентов в 1957 году.

Даже правые западные газеты отмечают быстрый рост народного хозяйства СССР. «Таймс», например, уделяет особое внимание тому факту, что по производству стали СССР обогнал страны Общего рынка, вместе взятые. А президент Дж. Кеннеди на пресс-конференции 15 февраля заявил, что «больше всего» его беспокоит угроза нового спада в США. Характеризуя состояние американской экономики, Кеннеди сказал, что в 1962 году безработица в среднем составляла 5,6 процента общей численности рабочей силы страны, то есть была на том же уровне, что и в период кризиса в 1954 году. «Я не преисказываю спада в 1963 году, — говорил Кеннеди, — но мы не можем уйти от того факта, что период стабилизации между первым и вторым послевоенными спадами продолжался сорок пять месяцев, между вторым и третьим — тридцать пять месяцев, между третьим и четвертым — двадцать пять месяцев и что американская экономика находится сейчас на двадцать четвертом месяце стабилизации после четвертого послевоенного спада».

Народное хозяйство СССР и народное хозяйство США во многих отношениях, и притом коренным образом, отличны друг от друга и по условиям исторического развития, и по характеру географической среды, и по составу отраслей производства, и по уровню производительности труда, и по классово-структуре. Из-за особых климатических условий у нас стоимость обеспечения человека значительно выше, чем, например, в США. Нашим людям требуется и зимняя теплая одежда, и осенняя, и летняя легкая одежда. Жителям же США теплая одежда нужна в значительно меньшей степени. Нам и дома надо строить с более толстыми стенами, чем строят в США. Нам надо больше топлива для отопления. Скот у нас полгода находится на стойловом содержании. Это условия, с которыми нельзя не считаться.

Но что еще существеннее — это качественное различие между хозяйственными системами СССР и США. Его не выразишь простым количественным сравнением. К тому же, чтобы выразить действительное соотношение национальных общественных продуктов обеих стран, их национальных доходов и других показателей, необходимо исчислять их на основе единой статистической методологии. Наши сравнительные данные экономического развития СССР и США, рассчитанные объективно, по глубоко научной методологии, дают такой ответ на вопрос: на кого работает время — социализм шагает в три раза быстрее капитализма.

В последовательной демократизации советской экономической системы «Вентикватгре орэ» усматривает «отход» от марксистско-ленинских принципов. Людям, мыслящим привычными для них экономическими категориями капитализма, просто невдомек, что централизация в социалистическом планировании сочетается с широчайшим демократизмом. По логике наших итальянских оппонентов, Советское государство прежде якобы не учитывало требований рынка, и потому в социалистической экономике возникли «узкие места». Они видят смысл всех перемен, происшедших в Советском Союзе, в том, что в хозяйстве страны возрастает роль рыночных элементов, аналогичных капита-

стической системе, и те изменения, которые приводят к рационализации производства (повышение роли принципа материальной заинтересованности, рост товарно-денежных отношений с колхозами и т. д.), они пытаются причислить к элементам капиталистической экономики, хотя ничего общего между ними и капитализмом нет.

В Советском Союзе рынок, обмен, процесс реализации — одно из средств дополнительной проверки того, согласуются ли производственные планы выпуска изделий с общественными потребностями. Мы вовсе не отрицаем того, что в советской экономике происходит развитие товарно-денежных отношений. Мы считаем даже, что уровень и масштабы их использования ранее были явно недостаточными, отставали от потребностей народного хозяйства.

Что же касается потребителя, то он в Советском Союзе всегда был участником производственного процесса, субъектом плана и продолжает им оставаться.

Всякая разумная организация производства, в том числе плановая, требует включения личности в общее движение, подчинения ее общему в интересах как личных, так и общественных. В Советском Союзе труд планируется и в масштабе всего общества, и в масштабе предприятия. И это делается прежде всего для рационального распределения рабочей силы между отраслями производства, экономии затрат рабочего времени на каждом участке. При планировании труда на основе заданий по росту производительности у нас предусматривается повышение реальной заработной платы и подготовка квалифицированных кадров.

Советский человек — сам творец плана и одновременно его корректировщик. И это не громкая фраза. Всем известно, что планирование у нас начинается снизу — на заводах, фабриках, шахтах, рудниках. Ведь никто лучше самих работников предприятия не знает возможностей роста своего завода, фабрики, шахты. Именно здесь разрабатываются технико-экономические показатели и производственная программа. К тому же работники производства кровно заинтересованы в разумных прогрессивных плановых заданиях. Они заинтересованы и материально и морально. Материально потому, что увеличение выпуска продукции и повышение ее качества означает для каждого добросовестного участника производственного процесса рост его реального дохода — как заработной платы, так и той доли благ, которые он получает из общественных фондов. Морально потому, что трудовой поиск, рационализация труда, открытие эффективного нового метода прежде всего приносит глубокое личное удовлетворение советскому человеку и отмечается государственным и общественным признанием, правительственными наградами, присвоением почетных званий, да и всей новой общественной моралью.

Предприятия и стройки, а затем советы народного хозяйства экономических районов, министерства и ведомства, государственные комитеты строят хозяйственный план страны. Но поскольку отдельное предприятие не может в полной мере знать, каковы потребности страны в выпускаемой им продукции, высшие плановые органы готовят предварительные расчеты объема производства по отраслям народного хозяйства, которые и служат ориентиром при планировании на предприятиях. Так, в сочетании планирования снизу и сверху, рождается окончательный план.

Но в жизни ничто не стоит на месте. Меняется и организация планирования. Однако в основе ее сохраняется принцип демократического централизма в руководстве народным хозяйством, выдвинутый Лениным. Что означает это на практике? А то, что в общегосударственных планах устанавливаются лишь важнейшие, решающие задания, определяющие главные направления, темпы и пропорции в развитии советской экономики.

Конечно, и в планировании, как во всякой субъективной деятельности, возможны просчеты и ошибки. В этом смысле ничто человеческое советским плановикам не чуждо. Нельзя сбрасывать со счетов и последний культ личности Сталина. В последние годы его жизни никто, кроме Госплана, разработкой общенациональных экономических планов по существу и не занимался. Ленинская идея участия масс в управлении производством, в составлении хозяйственной программы осуществлялась непоследовательно. Ныне положение совершенно изменилось и принципы демократического централизма проводятся неукоснительно. Теперь все просчеты и неполадки, как только они становятся очевидными, быстро устраняются системой государственного управления. Теперь

установлен новый порядок планирования капиталовложений, при котором в первую очередь выделяются средства на развитие наиболее важных, прогрессивных отраслей промышленности.

И это факты, а не «пропаганда». Однако наши оппоненты, в том числе и «Вентикуаттре орэ», никак не хотят согласиться с тем, что именно планирование — одно из решающих условий высоких темпов непрерывного хозяйственного роста Советского государства. Так же, как и другие органы западной прессы, «Вентикуаттре орэ», взхлеб расхваливая «преимущества» капитализма, всячески принижает и искажает роль планирования. Римская «Орэ додичи» писала, например, 22 июля нынешнего года, выступая против «веры в труд, которому удастся восторжествовать и т. д.»: «Если бы труд сам по себе представлял систему, — утверждает «Орэ додичи», — к тому же наилучшую, то все было бы решено с момента изгнания Адама из земного рая. Но истина заключается в том, что труд должен быть частью определенной экономической системы, для того чтобы он дал какой-то результат — хороший или плохой. Западная система — это еще не самое лучшее, но это все-таки лучшее из того, что есть в этой области, так как она уважает экономический закон, согласно которому человек обладает инициативой только тогда, когда у него есть способности и когда он заинтересован в этом».

Но если бы те, кто писал и публиковал эти заявления об «убиваемой» планом личной инициативе, был просто объективен и сообщил читателям, что по количеству, скажем, рационализаторских предложений с Советским Союзом вряд ли сравнится любая капиталистическая страна, то им не приходило бы затрачивать столько усилий и средств на свою, выражаясь деликатно, голословную пропаганду.

В последнее время западная буржуазная пресса, и в особенности итальянская, не без ехидства пишет, что сам, мол, Хрущев признал «превосходство производственной системы капитализма» и призвал-де русских «подражать буржуазному строю». Странное истолкование слов главы правительства СССР, напомнившего известное выражение Ленина о том, что нам нужно учиться у капиталистов, перенимать то умное и дельное, что у них есть. Но это отнюдь не означает, что мы собираемся воспроизводить буржуазные общественные порядки, брать за эталон капиталистическую систему производственных отношений. Речь идет лишь о технике и технологии производства — о разумной специализации и централизации конструкторских сил на наиболее совершенных капиталистических предприятиях и быстрейшем внедрении в практику новейших научно-технических достижений Запада, о том лучшем, рациональном, что есть в его производстве. Ведь осуществить все это в условиях планового хозяйства куда проще и легче, чем в условиях капиталистической конкуренции.

«Учиться у капитализма» в понимании советских людей — это значит рачительно пользоваться достижениями мирового научно-технического опыта для создания общества коммунистического изобилия. Преимущества советской системы производства столь очевидны, столь ощутимо материально выражены в темпах хозяйственного роста, что нет никакого резона ни с социальной, ни с общеэкономической точки зрения хоть в какой-то мере заимствовать общественную структуру, «учиться у капитализма» в этом смысле. Напротив, это идеологам капитализма следовало бы из хода нынешнего экономического состязания сделать вывод, кому у кого учиться.

Десятки стран, вставших на путь национальной независимости, глубоко изучают наш опыт и стараются в той или иной мере следовать ему и использовать в своем национальном хозяйственном строительстве. Так происходит, например, в крупнейших странах Азии: им-то очевидно, что советские планы — могучая экономическая сила!

А в Европе? Разве не изучают его западные экономисты? Разве не пытаются извлечь практические уроки, хотя, конечно, максимум того, что они могут достичь в условиях частной собственности, — это не всеохватывающие обязательные планы, а лишь конъюнктурные предсказания, прогнозы отдельных отраслей экономики. И поле их деятельности просто несопоставимо с полем действия единого всеохватывающего плана Советского Союза.

Но как же в действительности обстоит дело с научно-техническими достижениями? Да, Советский Союз кое в чем «учится у капиталистов», заимствует их опыт в химической промышленности, изучает и осваивает новые виды материалов, созданные на

Западе, наиболее прогрессивную технологию производства. Но и капиталисты кое в чем учатся у Советского Союза. Вспомним хотя бы закупленные Соединенными Штатами лицензии на советские турбоуры. Вспомним многие другие советские изобретения, используемые на Западе.

Парадоксально, что незадолго до того, как первый советский спутник своим сигналом «бип-бип» разбудил миллионы американцев, не замечавших гигантского скачка нашей страны в развитии науки и техники, Объединенная экономическая комиссия конгресса Соединенных Штатов уверяла, будто бы СССР лишь идет по следам достижений Запада.

Ныне сторонники такой точки зрения уже не в состоянии отрицать превосходства и приоритета Советского Союза в ряде решающих областей науки и техники. Доказательство тому — и космические корабли, и глобальные ракеты, и патенты на самые различные открытия и изобретения.

Таковы факты. Учась кой-чему у капиталистов, мы строим коммунизм и не приближаемся, а все дальше и дальше удаляемся от буржуазного строя.

### ЧЕЛОВЕК И ПРОИЗВОДСТВО

Идеологи антикоммунизма в своей пропаганде противопоставляют план рынку, чтобы затем противопоставить социалистическую систему хозяйства человеческим потребностям. Этому служит и пресловутая «теория жертв», и прочие рассуждения, сводящиеся к тому, что «коммунизм видит человека лишь в материальном плане». Вот их типичный тезис, сформулированный западногерманским экономистом Гюнтером Вагенленером в его книге «Карл Маркс и советская хозяйственная система». В ней он пытается противопоставить экономическую теорию Маркса советской хозяйственной политике. «Дилемма советского хозяйства, — пишет Вагенленер, — заключается в том, что Советы стали пленниками их экономических представлений. Темп накопления определяется объемом капиталовложений в тяжелую индустрию. Когда все производство должно расти, то и капиталовложения должны быть по возможности больше. и, напротив, промышленность потребительских товаров, продукция которых служит не производству, а населению, для накопления не имеет значения. С другой стороны, производство может увеличиваться в предусмотренных размерах только тогда, когда люди готовы повышать производительность своего труда, а это достижимо, если промышленность потребительских товаров обеспечивает рабочих в достатке товарами, то есть она должна развиваться значительно быстрее, чем до сих пор». Вот и получается, по мнению Вагенленера, «заколдованный круг», из которого «нет выхода».

Спору нет, накопление и потребление — две части единого целого — национального дохода. Но оперируя этими показателями, никак нельзя забывать о темпах роста национального дохода — иначе сбрасывается с чаши весов реальная динамика жизненного уровня народа.

Яснее ясного, что трудящийся выигрывает больше в Советском Союзе, где в национальном доходе удельный вес накоплений выше, чем в Соединенных Штатах, и сам национальный доход растет быстрее в три с лишним раза. Да и темпы развития отраслей, производящих товары народного потребления, в СССР значительно выше, чем в США.

К тому же темпы роста капитальных вложений в советскую экономику превосходят инвестиции в хозяйство Соединенных Штатов. За последние десять лет (к 1962 году) объем капитальных вложений в США увеличился на двадцать два процента (в последние годы объем капитальных вложений в США даже несколько сократился). В то же время в СССР объем капитальных вложений возрос более чем в три раза, и уже в 1959—1960 годах наши вложения по абсолютным размерам превышали американские. И это происходит именно благодаря такому соотношению между накоплением и потреблением.

По расчетам наших планирующих органов, при намеченных Программой КПСС темпах роста реальных доходов населения, среднедушевой уровень их к 1970 году



сравнивается с современным уровнем доходов трудящихся США, а в 1980 году превзойдет его примерно на семьдесят пять процентов.

Разумеется, такой рост народного благосостояния в сочетании с коммунистическим воспитанием нового человека создает уже вполне реальную основу для распределения по потребностям. Но буржуазная пропаганда пытается и здесь навести тень на плетень и породить в умах широкой публики превратное представление о нашем настоящем и будущем.

В конце прошлого года я получил письмо из ФРГ от некоего И. Сапихи (Ганновер, Сибелиусвег, 17). Вот что он пишет:

«Многоуважаемый господин Смолянский!

Извините, что я Вас беспокою. Недавно я прочитал Вашу... статью «Мифы антикоммунизма». Во многом я с Вами вполне согласен, но я хотел бы, чтобы Вы ответили мне на страницах «Нового мира» на следующие вопросы.

Верите ли Вы, что советские люди за 20 лет так изменятся, что не нужно будет иметь полиции. Все будут честные и трудолюбивые. Никто не будет красть и убивать. Никто не будет стремиться иметь «мелочн жизни»: свою квартиру, хорошую мебель, красивую одежду, красивую жизнь и т. д.

Я здесь заметил, что советские люди — эмигранты прежде всего — хотят иметь свой дом, свой автомобиль, телевизор и много денег. Это ж те, которые получили советское воспитание!..

Я не враг коммунизму, а все-таки считаю, что что-то там нужно изменить или, точнее, поправить.

Я не верю, чтоб Вы ответили мне. Такое у всех нас создалось впечатление, что советским людям воспрещается иметь контакты без соизволения властей с заграницей. Простите, многоуважаемый, что, вполне возможно, этим моим письмом я принес Вам неприятности.

С искренним уважением Сапиха».

Я не знаю, что побудило г-на Сапиху покинуть родину и почему он ищет черты человека будущего коммунистического общества в отщепенцах, порвавших со своей социалистической родиной, променявших ее на капиталистический «рай» и стремящихся — это их главная цель — «получить много денег».

В моей статье, опубликованной в номере седьмом «Нового мира» за 1962 год, речь шла о нормальном советском человеке, а не о человеческой аномалии. В ней отнюдь не было каких-либо призывов отрешиться от «мелочей жизни». В ней говорилось, что сила строителей коммунизма в том, что капиталистические представления о счастье и «свободе выбора» для нынешнего поколения советских людей — позавчерашний день истории. Разумеется, это поколение и за комфорт, и за изобилие, и за культурный и веселый досуг, но оно испытывает полноту жизни не в спекулятивных комбинациях, а в гворческом, созидательном труде, в полезной обществу и ему самому деятельности. Личное счастье неотделимо от интересов общества, коллектива, семьи, оно не может притвипоставляться им или достигаться за их счет.

Разумеется, никто не может дать гарантию, что и при коммунизме совсем не будет дураков или людей, совершающих аморальные поступки. Уродов — единицы, и число их будет сокращаться, а настоящих новых людей — легион.

Кстати говоря, если бы г-н Сапиха внимательно осмотрелся вокруг, то и в той стране, где он живет, в Западной Германии, он смог бы увидеть немало поучительного. Ведь не от хорошей жизни бастовали в апреле нынешнего года четыреста тысяч западногерманских металлстов. Забастовка эта, как известно, была вызвана резко возросшей за последнее время стоимостью жизни в Западной Германии. Ни для кого не секрет, что в то время, как Флик — один из крупнейших акционеров автомобильных заводов «Даймлер-Бенц» — получал в прошлом году ежедневный доход в семьдесят тысяч марок, рабочие требовали повышения заработной платы всего лишь на тридцать гри марки в месяц.

Да и положение западногерманских крестьян не так уж сладко. Ежегодно разоряются тысячи хозяйств, а их владельцы пролетаризируются. Даже по данным офи-

циальных западногерманских органов, более половины всех крестьянских хозяйств ФРГ существуют только потому, что их владельцы или члены семей имеют дополнительный заработок.

Таковы факты. И они говорят о том, что капиталистический рынок перемалывает миллионы людей, опуская значительную их часть на «экономическое дно», в то время как социалистический план служит процветанию всего народа.

### НОВАЯ ЛЕГЕНДА ОБ «ИНТЕГРАЦИИ»

Итак, буржуазные идеологи стараются не только противопоставить марксизм социалистической хозяйственной политике, но и плановую экономику — «интеграции экономики» как в национальном, так и в межгосударственном масштабе. Им очень хочется дискредитировать новый общественный строй и в области разумного интернационального разделения труда, открывающего действительно колоссальные возможности и преимущества социализма.

Слово «интеграция» сейчас очень модно на Западе. Говорят об интеграции Западной Европы. Атлантического Сообщества, либеральных сил. Слову этому буржуазные пропагандисты пытаются придать какую-то магическую силу. Интеграция изображается чуть ли не как панацея от всех социальных бедствий. Ею козыряют, чтоб доказать, будто «притягательная сила коммунистической идеологии ослабла», что теперь, мол, «призрак коммунизма» больше не бродит по Европе. Именно так, например, говорится в книге «Международный коммунизм и мировая революция», вышедшей в конце прошлого года в Лондоне. Да и остальные авторы многочисленных работ о Восточной Европе и социалистическом лагере из кожи лезут вон, убеждая в превосходстве капиталистической интеграции над социалистической. Их главная аргументация — высокие темпы хозяйственного роста в таких странах, как ФРГ, Франция, Италия. Мы не станем сейчас заниматься анализом сущности и форм пресловутой западноевропейской и атлантической «интеграции». Отметим лишь, что в воспеваемой на все лады западноевропейской «идиллии» все острее сказываются противоречия. Нынешний канцлер ФРГ Эрхард в ультимативной форме требовал общего снижения таможенных тарифов, в чем кровно заинтересованы западногерманские монополисты, рассчитывающие на свою высокую конкурентоспособность, но что никак не устраивает монополистов других западноевропейских стран, да и по ту сторону океана. Британский государственный деятель Ллойд выступил, например, с твердым заявлением насчет того, что для Англии этот план приемлем лишь при условии, если будут точно продуманы и установлены экономические мероприятия, необходимые для его выполнения... Словом, в Европейском Экономическом Сообществе ведутся непрерывные споры по вопросу о темпах снижения внутренних тарифов и сроках выравнивания внешних тарифов; происходят конфликты, вызванные явными и тайными дискриминационными действиями друг против друга, в частности, такими приемами «торговой войны», как запрещенное договором государственное субсидирование экспортных отраслей, создание для конкурентов неблагоприятных транспортных условий и т. д. Объектом острейших противоречий служат единые цены на сельскохозяйственную продукцию, количественные ограничения импорта этой продукции и т. д.

О межгосударственных противоречиях, возникающих вокруг и по поводу Общего рынка, убедительно свидетельствует такой бесспорный некоммунист, как консерватор лорд Хинчингбрук, заявивший, что в «Соединенных Штатах и государственном департаменте есть люди, которым существование Англии и содружества представляется известным неудобством. Ничто не порадовало бы их больше, как если бы часть Общего рынка проглотила Великобританию сначала по голову и плечи, а затем — по пояс и потихоньку бы отгрызла придатки нашей империи, великое морское содружество, которым мы так гордимся».

«Интеграция» не только не освобождает страны Общего рынка от кризисов и классовой борьбы, но еще более обостряет их, потому что диктат монополий в «интегрированной» экономике усиливается. Растут все противоречия, свойственные современ-

ному капитализму. Глубоко была затронута кризисом, например, угольная промышленность ФРГ и Бельгии. Общеизвестно, что из-за серьезных внутренних противоречий Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и неспособности его верховного органа вывести угольную промышленность из состояния кризиса в 1959—1960 годах это объединение оказалось под угрозой развала. И хотя распад был предотвращен, тем не менее Бельгия потребовала, чтобы ее угольная промышленность была временно изъята из ведения ЕОУС и развивалась на национальной основе.

К тому же следует учесть, что монополии стремятся переложить тяжесть кризиса на трудящихся, «выровнять» заработную плату и социальные пособия по низшему уровню, «заморозить» их. Напомним лишь, что реальная заработная плата во Франции сейчас ниже, чем в 1957 году. Словом, за фасадом «интеграции» скрывается очаг острых трений и конфликтов.

Советский Союз выступает за экономическое и политическое сотрудничество и всемерное сближение европейских народов на началах добровольности и равенства. «Европе трестов и НАТО» мы противопоставляем социалистическое братство европейских народов. «Наши коренные интересы,— писал Н. С. Хрущев в своей статье «Насущные вопросы развития мировой социалистической системы»,— интересы строительства социализма и коммунизма требуют сочетания усилий в деле развития национальной экономики каждой из стран и усиления могущества всего социалистического содружества, постоянной заботы об укреплении единой материально-технической базы социализма. В этом мы видим столбовую дорожку развития мирового социалистического хозяйства».

Поскольку «интеграция» означает простое объединение в целое каких-то частей, мы не употребляем этот термин в применении к странам социализма, потому что наше понимание мировой социалистической системы гораздо шире его — оно предполагает всестороннюю интернационализацию хозяйства.

Свои теоретические атаки на мировую социалистическую систему, на ленинские принципы отношений между социалистическими странами критики коммунизма начинают обычно с артиллерийской подготовки, направленной против многонационального характера Советского государства. Профессор Лондонского университета Хью Сетон-Уотсон в своей недавно вышедшей книге «Новый империализм» заявляет, например, что Советское государство, мол, продолжает колониальную политику царизма в отношении бывших национальных окраин и что в этом СССР—наследник царской империи. Об этом же ведет рассуждения на страницах теоретического журнала французской социалистической партии «Ревю социалист» Дариус Ле Корра, выступая против новой Программы КПСС. Странное, даже смехотворное обвинение! Ведь и г-н Сетон-Уотсон и г-н Ле Корра вряд ли будут возражать против того, что колонии — это страны, находящиеся под властью какого-либо государства, лишенные суверенитета, не составляющие его равноправной части и управляемые на основании специального режима. Словом, это страны, начисто лишенные экономической и политической самостоятельности. Но в какой из советских союзных республик, обладающих широчайшими правами и в управлении экономикой и всей внутренней жизнью вообще, а в ряде аспектов международных отношений и полной суверенитета, они узрели признаки колониального режима? Все это — чистейшая ложь, в которую не верят, видимо, и те, кто высказывает подобные утверждения. Десятки тысяч непредубежденных иностранцев, посетивших Советский Союз, в том числе многие национальные республики, воочию наблюдавшие их жизнь, в сотнях книг, тысячах статей свидетельствовали совсем об обратном!

Тогда зачем понадобилась этим, да и другим критикам коммунизма столь нелепая ложь? А вот зачем: им очень хочется доказать, что Советский Союз в международных отношениях так же следует империалистической политике царизма: эксплуатирует страны народной демократии, использует их людские и материальные ресурсы в своих корыстных целях, навязывает им невыгодные условия торговли, сдерживает искусственными мерами их развитие. И хочется им это доказать неспроста: ведь их сокровенная мечта и главная цель — под вывеской «мирового правительства» и «Соединенных Штатов Европы» ликвидировать революционные завоевания народов социалистических стран и установить здесь порядок, который они называют «демократическим социализмом», или «третьей системой». Отправным пунктом их теоретических и политических

построений служит искажение нового типа межгосударственных отношений. Вот как это изображается, например, в программном документе Социалистического союза Центрально-Восточной Европы<sup>1</sup> «Социалистическая альтернатива для Восточной Европы»:

«Социалистический союз Центрально-Восточной Европы приветствует объединение Западной Европы. Великая идея Соединенных Штатов Европы имеет глубокие отклики в государствах Востока, отделение которых... противоречит их устремлениям. В условиях советского господства отношения стран Восточной Европы с СССР и между самими этими странами направлены к тому, чтобы служить интересам советского империализма, а не благосостоянию заинтересованных народов. Это насильственное объединение находится в полном противоречии с принципами добровольного согласия, равенства и социалистического интернационализма. В Восточной Европе создана новая империя, в которой номинально независимые страны фактически превратились в эксплуатируемые Советским Союзом колонии».

А профессор так называемого «Свободного университета Западного Берлина» Бруно Кизиветтер, говоря о социалистическом лагере, например, утверждает, будто «целью экономической интеграции было подчинение экономики стран восточного блока потребностям Советского Союза». Обманывая своих читателей и, конечно же, не опираясь ни на какие факты, он пишет, что отдельные страны восточного блока должны строго придерживаться указаний Совета Экономической Взаимопомощи, тогда как Советский Союз «оставляет за собой право производить промышленную продукцию в любой из сфер производства без учета этих указаний».

Нужно ли говорить, что и в первом и во втором случае — заведомая ложь, грубое искажение фактов?! Социалистическое содружество не имеет ровно ничего общего с тем, что ему приписывают западные пропагандисты. Ну как можно отрицать, что социалистические страны независимы и самостоятельны в решении собственных национальных проблем, если это факт, в котором может убедиться любой честный человек? Или что каждая из них обладает равным правом, равным голосом в решении общих проблем мировой социалистической системы, — если это именно так! СЭВ — это не директивный, надгосударственный орган, вмешивающийся во внутренние дела суверенных государств, а инструмент сотрудничества и международного социалистического разделения труда. И по Уставу СЭВ в отличие от Европейского Экономического Сообщества решения принимаются только при полном согласии всех стран, только после одобрения их органами государственной власти или управления в соответствии с национальным законодательством. И в этом отношении положение Советского Союза ничем не отличается от положения других стран — участниц СЭВ.

Что же касается рассуждений об «эксплуатации» Советским Союзом сырьевых и прочих ресурсов стран народной демократии, то приведем лишь несколько цифр, которые начисто опровергают это заявление. Советский Союз поставляет Польше более девяноста процентов ее ввоза нефти, Венгрии — семьдесят процентов импорта лесоматериалов, хлопка, более девяноста процентов железной руды, ферросплавов, серы и так далее. Некоторые виды сырья, такие, как медь или асбест, Советский Союз в отличие от торговых взаимоотношений, существующих между капиталистическими государствами, поставляет социалистическим странам по клирингу.

Таковы факты. Но западным «экспертам» по Восточной Европе до того хочется дискредитировать роль Советского Союза в социалистическом содруестве, подорвать его авторитет и доверие к нему, что они не останавливаются даже перед откровенным извращением истины. Однако, как говорится в восточной пословице: «Собаки лают, а караван идет». Жизнь развивается, социалистическое содружество крепнет, потому что доверие к СССР ложью не сломить, его авторитет возрастает и причины этого — в силе примера нашей страны, строящей новый мир. «Что касается Советского Союза, — говорил Н. С. Хрущев, —...его роль состоит не в том, что он руководит другими странами, а в том, что наша страна первой проложила дорогу человечеству к социализму, является наиболее мощной страной в мировой социалистической системе и первой вступила в период развернутого строительства коммунизма».

<sup>1</sup> Эмигрантская ассоциация социалистических партий, ведущих подрывную деятельность против Советского Союза и стран народной демократии.

### АВТАРКИЯ? НЕТ, РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА!

Критики коммунизма старательно игнорируют в своих писаниях общность социально-экономической основы социалистических государств, зато на все лады твердят о «тотальном планировании» человека в новом обществе, которое делает невозможной разумную, экономически эффективную интеграцию. Тот же орган деловых кругов Италии «Вентикваттре орэ» заявила по этому поводу: «Экономическая интеграция стран советского блока не только не названа как цель, которая должна быть достигнута в течение более или менее продолжительного периода, но даже не упоминается как возможная перспектива современных отношений между социалистическими странами». Автор уверяет, что «препятствие на пути к интеграции заключается именно в планировании, что «в международном разделении труда страны советского блока остаются по существу на позициях техницизма... в силу присущей им плановой структуры с естественной замкнутостью в узкой перспективе экономической автаркии».

Однако исторический опыт свидетельствует как раз об обратном. Именно социализм, его социально-экономическая основа и государственный строй раскрывают невиданные до сих пор перспективы международного разделения труда, объединения хозяйственных усилий. Напомним также, что путь самодовлеющего, изолированного от других социалистических стран развития отвергается подавляющим большинством социалистических государств, стоящих на твердой ленинской позиции, как несостоятельный и вредный. Любой добросовестный наблюдатель может убедиться в этом, ознакомившись с народнохозяйственными планами и программными документами Советского государства и стран народной демократии. И сколько бы ни говорили критики об отсутствии «цели интеграции», основная задача Совета Экономической Взаимопомощи — этого интернационального органа социалистических государств, в том и состоит, чтобы всемерно развивать их экономическое сотрудничество, объединять их производственные усилия в общих целях хозяйственного роста, неуклонного подъема благосостояния народа, создания общества подлинного изобилия.

Вопреки утверждениям итальянских критиков все страны — участницы Совета Экономической Взаимопомощи имеют целостную программу экономического интегрирования. Еще три года назад они завершили координацию своих планов развития национальной экономики на 1961—1965 годы. Они заключили долгосрочные торговые соглашения о взаимных поставках товаров, сырья и оборудования. Взаимно согласованы планы роста основных отраслей экономики.

Вот типичный пример. Для того, чтобы увеличить выплавку стали и проката во всех социалистических странах в 1965 году на семьдесят процентов по сравнению с 1958 годом, решено построить несколько металлургических предприятий в Болгарии, Румынии, Чехословакии и Советском Союзе, а также расширить некоторые предприятия в нашей стране и в Польше. А разве не ярким проявлением социалистической интеграции служит строительство магистрального нефтепровода «Дружба» протяженностью более четырех с половиной тысяч километров? Или совместное строительство рудников по добыче калийной соли и железных руд? Или совместные конструкторские и проектные бюро тракторного и сельскохозяйственного машиностроения? Все дело в том, что критикам коммунизма просто не по душе эти факты подлинной интеграции, наиболее эффективного, наиболее разумного развития комплекса отраслей внутри каждой страны и гармоничного хозяйственного роста всех социалистических стран в целом. Разумеется, при такой интеграции нет нужды в затратах на создание непременно всех отраслей в каждой стране. И вместе с тем им не угрожает одностороннее, «монокультурное развитие»: ведь координация планов подразумевает сочетание интересов общих и особых, интернациональных и национальных.

А вот как, например, обстоит дело со специализацией машиностроительного производства в социалистических странах. СЭВ планирует его, учитывая существующую структуру национальной экономики, а поэтому и потребности страны, и материально-сырьевой базы машиностроения, и наличных производственных мощностей, и трудовых ресурсов, и так далее. Не случайно, скажем, в странах, где преобладает рудная или угольная индустрия, развивается производство оборудования для горных работ, строят-

ся брикетные фабрики. Не случайно и то, что взаимные поставки машиностроительной продукции стран — участниц СЭВ возросли за 1958—1961 годы на семьдесят процентов.

Чего же стоят все разговоры об «узком техницизме» в международном социалистическом разделении труда?

Один из принципов нового типа разделения труда — постепенное преодоление исторически сложившихся различий в уровнях экономического развития разных стран. И можно уже смело сказать, что именно взаимная помощь, сотрудничество в эксплуатации сырьевых ресурсов, в перевозке топлива, в энергетике, безвозмездный обмен научным и техническим опытом, рост внешнеторговых оборотов — все это, вместе взятое, привело к значительному выравниванию в развитии производительных сил стран — участниц СЭВ. Координация планов позволяет преодолеть тенденции к национальной экономической замкнутости и добиться наиболее полной интеграции народных хозяйств.

Разумеется, такая роль планирования в социалистической интернационализации сложилась не сразу. Известно, что на первых порах индустриализации европейские страны народной демократии создавали новые виды производства, исходя, главным образом, из внутренних потребностей и своих реальных возможностей. Рождались самостоятельные хозяйственные комплексы, включавшие основные отрасли и виды современного производства. Появился ненужный параллелизм, излишне расходовались материальные и людские ресурсы. К 1955 году стала особенно остро ощущаться потребность в согласовании производственных программ и планов капитального строительства социалистических государств. С той поры национальные экономические планы стали координироваться. Начался новый этап международного социалистического разделения труда. Теперь все страны социалистического содружества, разумеется, пока еще не в равной степени, но опираясь на уже достигнутый экономический уровень, могут помогать друг другу, и вклад каждой страны в общее дело увеличивается.

Ныне, когда социалистические страны объединены экономической взаимопомощью, каждой из них вовсе нет нужды расходовать силы и ресурсы на создание таких отраслей экономики, для которых она не располагает ни природными богатствами, ни соответствующими хозяйственными предпосылками. Это раньше, когда, будучи единственным пролетарским государством, СССР строил социализм в капиталистическом окружении, он должен был создавать целостную промышленную систему, развивая свое хозяйство, опираясь лишь на внутренние ресурсы и разделение труда в пределах одной страны. Теперь же у вновь возникших социалистических стран есть все условия для того, чтобы целиком использовать огромные преимущества международного разделения труда и не стремиться к автаркии. Вот потому-то еще народнохозяйственные пропорции каждой социалистической страны должны увязываться с народнохозяйственными пропорциями всей мировой системы. Естественно, с учетом того места, которое каждая страна занимает в социалистическом международном разделении общественного труда.

Ни одной стране — члену СЭВ, какой бы маленькой она ни была, не угрожает опасность превратиться в аграрно-сырьевой или какой-либо иной придаток к более сильному в экономическом отношении государству. Что служит гарантией этого? И сама идеология марксизма-ленинизма, и сама экономическая природа мировой социалистической системы.

Социалистические страны, составляя свои экономические планы на будущее, руководствуются соображениями хозяйственной целесообразности. Этим же определяется специализация и кооперирование национальных производств, в процессе которых ликвидируется ненужный параллелизм. Практика подтверждает, что создание замкнутого хозяйственного комплекса — не в интересах национальной экономики, особенно в малых странах, потому что ведет к значительному снижению эффективности национального производства: ведь в каждой стране нет и не могут быть одинаково благоприятные условия для развития всех его отраслей.

Теперь международное социалистическое разделение труда вступило в такой этап, когда социалистические страны имеют возможность не только согласовывать свои хозяйственные планы, но и составлять своего рода сводный баланс, который выполнял бы роль коллективного плана всех стран Организации Экономической Взаимопомощи.

Об экономическом эффекте социалистического разделения труда свидетельствует, в частности, такой факт: в 1962 году страны — члены СЭВ произвели в полтора раза больше стали и электроэнергии, чем страны Общего рынка, хотя в 1948 году, накануне создания Совета, уровень был одинаков.

### СИЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

«Вентикваттре орэ», как и другие органы западной прессы, сетует на «замкнутость в узкой перспективе экономической автаркии» стран — участниц СЭВ. Но что такое автаркия? Это самодовлеющее, изолированное хозяйственное развитие, выключение из разделения труда в мировом масштабе. На Западе нередко говорят о том, что социалистические страны, объединившись в Совет Экономической Взаимопомощи, будто бы сами создали свой «торговый блок» и отгородились от остального мира, хотят создать самодовлеющую экономику и даже не торговать с другими странами. Но это опять-таки далеко от истины. «Совет экономической взаимопомощи совершенно не похож на замкнутые рынки и блоки, которые образованы в Западной Европе. Об этом говорит хотя бы тот, например, факт, что страны СЭВ не имеют никаких соглашений о таможенных и других торговых льготах между собой, отличающихся от тех, которые применяются ими по отношению к другим странам мира. Поэтому никакой торговой дискриминации, в том числе таможенной, страны социализма в отношении других стран не допускают. Они придерживаются в отношении со всеми странами принципа наибольшего благоприятствования», — писал А. И. Микоян.

Социалистические государства стремятся развивать взаимовыгодные экономические связи со всеми странами. Это право зафиксировано в Уставе СЭВ. И разве не о том же свидетельствует предложение XV сессии СЭВ — создать международную торговую организацию, в которую вошли бы, например, как страны Общего рынка, так и страны — участницы СЭВ.

Социалистическая интернационализация хозяйства имеет в разных странах однотипную экономическую основу — общественную собственность на средства производства, однотипный государственный строй — власть народа во главе с рабочим классом, единую идеологическую основу — марксистско-ленинскую теорию, единую цель — построение коммунизма. Такова же материальная и моральная база и социалистического интернационализма, принципами которого пронизана вся наша интеграция.

Против этих принципов и ведут свои атаки критики коммунизма. Но какими средствами? Фальсификации и передергивания фактов.

Вопреки всему социалистический интернационализм как добровольное объединение усилий для совместной борьбы за построение социализма и коммунизма, как братская взаимная поддержка равноправных и суверенных государств изо дня в день демонстрирует свою жизненную силу.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

## ОБ АРТЕМЕ ВЕСЕЛОМ

Летом 1930 года А. М. Горький задумал организовать издание серии книг по истории гражданской войны. «Историю гражданской войны,— писал он,— должны литературно обработать наши наиболее талантливые литераторы, активные ее участники, непосредственные свидетели и люди, хорошо знающие места действия». Среди таких литераторов Горький назвал Артема Веселого.

Настоящее имя Артема Веселого — Николай Иванович Кочкуров. Сын волжского грузчика, активный участник гражданской войны, член партии с марта 1917 года, он вошел в советскую литературу в самом начале двадцатых годов и сразу же привлек к себе внимание как писатель яркого и своеобразного дарования. Его рассказы, повести «Реки огненные», «Страна родная» и романы «Россия, кровью умытая» и «Гуляй Волга» отличаются необычной яркостью красок, эмоциональностью и народностью языка.

Посвящены они по преимуществу изображению гражданской войны. И хотя Веселый отдал дань поэтизации стихийности и разного рода «излишества» стиля, его лучшие произведения надолго останутся в литературе.

В 1937 году Артем Веселый был незаконно репрессирован и вскоре погиб в заключении. С тех пор в течение долгого времени его книги не издавались. После реабилитации писателя Гослитиздат выпустил в 1958 году однотомник его избранных произведений. К этому однотомнику мы и отсылаем читателей, желающих основательно ознакомиться с творчеством одного из зачинателей советской литературы. Ниже мы помещаем воспоминания об Артеме Веселом некоторых из его друзей, собранные и подготовленные к печати дочерью писателя — Г. А. и З. А. Веселыми.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ

★

Молодой Артем

**П**исать об Артеме Веселом, дорогом моем друге, мне и трудно и радостно, радостно — потому что мало было у меня в жизни друзей, которых я бы так любил, как его. И этот друг, талантливейший русский писатель, был в годы культа личности жестоко вырван из советской жизни и труд его, и память о нем — все было на долгий срок предано несправедливому забвению. Сейчас несправедливость исправлена. Артема переиздают, о нем пишут книги, вспоминают. Как же не радоваться?

Наша первая встреча произошла на главной улице Тулы в холодный сентябрьский день 1919 года. Было ясно, очень ветрено. Я вышел с женой из сокобеса, где она работала, и лицом к лицу столкнулся с высоким, плечистым парнем в зеленой красноармейской стеганке и такого же цвета военной фуражке без козырька, с трудом натянутой на большую голову. Продолговатое безусое лицо парня было пушицею от холодного ветра. Большие карие глаза, вдумчивые и добрые (Гомер назвал бы их обладателя «волооким!»), радостно расширились, когда он узнал мою жену. Они уже были знакомы по Ефремову.



— Николай! — обрадовалась и она и тут же познакомила нас: — Это Кочкуров, твой преемник по газете.

Николай Кочкуров в июне приехал в Тулу в числе коммунистов, мобилизованных на Южный фронт, где создавалось все более угрожающее положение. Но на фронт его не послали из-за осложнения с прошлогодним ранением (он был ранен в колено на Восточном фронте) и до поправки использовали в тылу. Так Кочкуров, уже имевший опыт газетной работы, стал после меня редактором ефремовской газеты. Эта работа не очень увлекала его. Нога поправилась. И в сентябре он добился вызова в Тулу, чтобы вновь воевать.

Живя в казарме, Кочкуров ждал перевода из ЧОНа в действующую армию. Но спустя месяц военная ситуация изменилась коренным образом: разгромленные под Орлом денкинцы стремительно откатывались на юг. Необходимость в пополнении Красной Армии добавочными кадрами отпала, и Кочкуров не был послан на фронт, а оставлен в Туле на журналистской и партийной работе.

Артем, потеряв казарменный кров, остался бездомным, и мы его приютили у себя. Так образовалась наша маленькая коммуна, всегда жестоко голодная и всегда тем не менее веселая и шумная. Топили кафельную печь старыми газетами. Ели что продотдел послал — преимущественно вонючие похлебки из воблы и тюрю из гнилой свеклы, сдобренную чайной ложкой зеленого конопляного масла. Лишь изредка, раздобыв крупы или мяса, варили себе что-нибудь более сносное в чугушке, с трудом втиснутом в кабинетную печь, на том же газетном топливе.

Агроном, в доме которого мы жили, естественно, имел широкие связи с деревней и то из одного уезда, то из другого получал продовольственные дары, позволяющие ему жить в полном благополучии. Его супруга, в недавнем прошлом блиставшая в тульском «свете», а теперь опростившаяся до того, что стала носить кумачовую косынку, непрерывно пекла пироги и жарила мясо. Она добросердечно угощала и нас, но мы, не желая поступиться коммунистической принципиальностью, гордо отказывались, что ее не только удивляло, но и обижало. Еще больше удивляло агрономшу постоянное веселье в нашей комнате. Так голодать — и при этом веселиться!

Появление в нашей комнате Артема стало поводом для серии новых конфликтов с агрономшей. Стопроцентное отсутствие у него «приличных манер», бездумное грохание подкованными чоботами, а зимой обильный снег на них, не счищенный внизу о скребок, и тому подобные «проступки» сделали беднягу Артема настоящим жуломом в глазах хозяйки. Тщетно я, защищая его, говорил ей о необыкновенной литературной одаренности этого парня, его прирожденном юморе, доброй душе и прочих достоинствах — агрономша стояла на своем: «Это дикарь, а дикарь не может быть писателем!»

Дикарем Артем не был, но «дикость» в нем тогда была. И как не быть ей в двадцатилетнем парне, не видевшем ничего, кроме «страшного детства среди скотов и зверей» (так он писал мне в одном письме)! С четырнадцати лет — нещадная эксплуатация на самарском заводе. С восемнадцати — ожесточение гражданской войны. Вот весь его жизненный опыт. А образовательный стаж сводился к четырем классам городского училища и нескольким десяткам разношерстных книжек, прочитанных самостоятельно.

Можно лишь изумляться, как с т а к и м общекультурным багажом человек сумел проявить себя талантливейшим писателем. А он именно так проявил себя уже тогда, написав в нашей общей комнате свою малявински яркую «Масленицу», позже вошедшую (почти без изменений), как один из самых колоритных эпизодов, в повесть «Страна родная». «Масленицей» он меня поразил и покорила навсегда. Я понял, что передо мной крупный, совершенно самобытный талант, уверовал в его большую будущность и делал все, что было в моих силах, чтобы ему помочь.

Прежде всего помог напечатать в «Пролетарском строительстве» и газете «Коммунар» несколько рассказов и очерков: «Молодой полк», «Под черным крылом» и другие. Вначале Кочкуров подписывался своим настоящим именем или псевдонимами «Ив. Лаптев», «Лукиянов» и другими. Потом, откровенно подражая Горькому, которого боготворил в то время, стал подписываться «Артем Невеселый». И лишь позже, после очередной душевной бури — «душетрясения», как он сам говорил, — стал в один прекрасный день Веселым.

Однажды хмурым декабрьским утром мы проснулись (я с женой на диване, Артем на полу) и, как обычно, собирались с духом, чтобы отважиться вылезти из теплой постели в «космический» холод остывшей за ночь комнаты. На дворе был тридцатиградусный мороз, а в комнате ниже нуля. Обыкновенно первым вставал и уходил за дверь Артем, давая возможность одеться женщине. Но в это утро, сине-мглистое, особенно морозное, он не торопился подняться.

— Ребята, знаете, что я надумал ночью? С сегодняшнего дня начинаю новую жизнь.— Он сделал интригующую паузу, потом пояснил: — Буду резать правду-матку в глаза всем и каждому. Надоело, понимаешь, врать. Все врем, врем. На каждом шагу врем. Жмешь кому-нибудь руку, а сам знаешь, что он врач, подлец, сука. И все-таки жмешь! Ему бы плюнуть в его мерзопакостную рожу, а ты улыбаешься! Надоело.

Мы молчали, озадаченные. Потом жена сказала:

— Интересно будет послушать.

— Интересно? — обрадовался Артем.— Так слушай! — И тут же «выдал» ей, а потом и мне кучу «комплиментов», смысл которых сводился к тому, что хотя он очень любит нас обоих и благодарен нам за то, что мы дали ему кров, но не может впредь молчать о наших недостатках, таких-то и таких-то. Все было сказано напрямик, без каких бы то ни было околичностей или смягчений, после чего он встал и ушел по утреннему маршруту.

Не успели мы обменяться мнениями по поводу его откровенностей, как внизу слышался визг агрономши. Артем, встретившись с ней, вместо пожелания доброго утра сказал, что с первого дня, как увидел ее, желает ей подавиться собственной слюной; до сих пор он двурушнически скрывал это от нее, а теперь решил быть правдивым. Загудел возмущенный голос самого агронома. Артем вернулся в комнату явно смущенный, но вместе с тем довольный собой. В дверь застучали, заколотили. Вошли хозяева, красные, вне себя, и разыгралась пренеприятная сцена. Агронома и агрономшу нимало не успокоило, когда мы сказали, что и нам досталась от Артема хорошая порция правды-матки. Агроном грозил немедленно пойти в губисполком и потребовать нашего выселения.

— Вам дали ордер на проживание у нас, а не на оскорбление меня и моей жены! И так далее и тому подобное.

Артем вскоре ушел. Вернулся он поздно вечером, заиндеветый, багровый, мрачный.

— Ну как? — поинтересовались мы.

То, что он рассказал, могло бы послужить сюжетом отличной сатирической комедии. Но тут не место рассказывать подробности. Достаточно сказать, что «правда-матка», бесхитростно и прямолинейно выложенная Артемом добрым двум десяткам людей в учреждениях и на улице, привела его в конце концов в милицию. Рассказав о своих злоключениях, он мрачно резюмировал:

— Нет правды на свете.

В начале 1920 года на почве голода и переутомления у меня начались жестокие головные боли, от которых я терял сознание и приходил в себя по-настоящему лишь в середине дня. Меня уложили в постель. По особому разрешению губпродкома выдали полфунта сливочного масла. Но этого было слишком мало. И Артем, чтобы спасти мне жизнь, самоотверженно пустился за продуктами в деревню.

Он ехал с намерением кое-что обменять, но с обменом дело шло туго, и неожиданно мой друг оказался в роли... лекаря. Это произошло, как он рассказывал, совершенно случайно: увидев девочку, залепленную золотушными болячками, Артем посоветовал искупать ее в отваре череды и поить им, как делала его мать. К нему обратился за советом еще кто-то. Он дал совет и этому. И тут набежали больные со всей деревеньки, кто с чем (врачей-то ведь не было!). Артем растерялся, но, когда ему стали сулить за «лечение» продукты, покривил душой и надавал советов всем, заботясь об одном — не посоветовать бы вредного и опасного.

Он долго и сложно переживал этот случай. То радовался, что поставил меня на ноги; то говорил, что лучше бы мне протянуть ноги, чем случиться такому, потому что

все интеллигенты, вместе взятые, не стоят одной деревенской бабки; каялся, бранил себя и опять радовался, что опас товарища.

Случайно ему подвернулась комнатка в нижней части города, и Артем переселился туда, чтобы не стеснять нас и свободнее жить самому. Комнатка была тесная, темная, холодная, без малейших признаков уюта, и в ней царил фантастический беспорядок (какого моя жена в агрономском кабинете, ясно, не допускала). Но Артему было тут вольготней. Он много работал, читал и писал, а на беспорядок не обращал ни малейшего внимания.

Он писал тут пьесу «Во тьме», рисующую беспросветную жизнь рабочей массы до революции. Это было явное подражание «На дне» Горького, но подражание, в основе которого лежали собственные воспоминания, полные жуткой правды. По стилю пьеса была ультранатуралистической; композиция ее (как и других пьес Артема) страдала крайней рыхлостью, отсутствием сквозного действия.

А между тем театр неудержимо влек к себе Артема в течение первых лет его литературной деятельности. Он не пропускал ни одной премьеры тульского Пролеткульта, руководимого Василием Васильевичем Игнатовым, бывал на репетициях, подружился с актерами-кружковцами.

Игнатов собирался поставить пьесу Артема в Туле. Но Артем весной 1920 года внезапно уехал в Москву, в распоряжение Управления агитационно-инструкторских поездов и пароходов при ВЦИК РСФСР. Его назначили редактором газеты поезда «Красный казак» (начальником поезда был бывший председатель Реввоенсовета XI Северо-Кавказской армии Ян Полуян). С этим поездом Артем сделал ряд интереснейших рейсов, необычайно обогативших его как писателя. По его рассказу, в каком-то из рейсов зародился замысел романа «Россия, кровью умытая».

Меня судьба в ту же пору временно бросила на дипломатическую работу. С весны 1920 года я жил в «Савойе», одном из московских общежитий Наркоминдела, и новые встречи с Артемом происходили уже тут.

Работая в агитпоезде, он не расстался с драматургией. В конце июня 1920 года я получил от него новую пьесу «Мы», являющуюся коренной переделкой пьесы, написанной в Туле. Собственно говоря, от той пьесы остались лишь кусочки, вкрапленные в новый текст.

С осени 1920 года Артем жил у меня в «Савойе», а работал в «Гудке», железнодорожной газете, начавшей выходить весной того года. Работа у него была очень своеобразная: он числился «завывалой» в созданной при «Гудке» устной газете (распространенная в ту пору форма агитпропаганды).

Надо было его видеть той зимой! Вывернутый наружу полушубок огненно-рыжей шерсти и без рукавов, туго подпоясанный военным ремнем. Полученная по ордеру черная папаха, номера на три меньше его огромной головы, лопнувшая на затылке клином. Какая-то сердобольная женская рука вшила в клин кусок бордового шелка. Сзади издали казалось, что на голове кровавая расселина. В довершение всего обладатель этого диковинного наряда не расставался с барабаном, носимым на перевязи.

Бывало, ночью на пустой и немой Рождественке раздавалась сухая барабанная дробь. Это Артем будил швейцара отеля. Излишне говорить, что администрация «Савойи» (одного из самых относительно чопорных общежитий Москвы в те годы) относилась к нему не лучше тульской агрономши, не уставала ставить передо мной вопрос о незаконности его проживания тут и в конце концов добилась своего — выселила.

Артем был на крутом повороте своей жизни. Еще продолжались нелепые выходки. Но в то же время он много, жадно читал, неустанно продолжал писать, и воочию видно было, как растущий человек преодолевал в себе «дикарство», в значительной мере уже показное, романтизируемое. День ото дня Артем становился серьезнее и углубленнее.

В сентябрьской книжке «Красной нови» за 1921 год появилась его драма «Мы», а в ноябрьской — «Масленица». Артема заметила и включила в свой круг литературная Москва. Он притянулся редактору «Красной нови» А. Воронскому, и это несколько

позже привело его в литературное объединение «Перевал» (откуда, впрочем, он ушел одним из первых покинувших это объединение).

В заметке, присоединенной Артемом к книге «Пирующая весна» (1929), он назвал годы, о которых я пишу, порою своего «оголтелого ученичества» (к «ученичеству сравнительному» относя следующее пятилетие).

Рост мастерства в художнике неотделим от роста нравственного и интеллектуального. Зрел не только писатель, зрел и человек стремительно и сложно, и это созревание происходило у меня на глазах.

Зима 1921 года. Пустынный, темный Кузнецкий мост. Мы идем с Артемом часов в десять вечера вниз, к Петровке. Редкие, спешащие прохожие. Снег, метель. Артем уезжает в Поволжье, где свирепствует голод, и уговаривает меня ехать с ним. Но у меня в кармане уже лежит назначение в Турцию. В связи с этим мне нужно выехать в Петроград, отобрать на фарфоровом заводе подарки для турок. Артем бранит меня на чем свет стоит.

— И какая нелегкая занесла тебя в этот Наркоминдел? Ты писатель! А тут высохнешь, как мумия, Акакием Акакиевичем станешь. Плюнь на все заграницы. Едем со мной.

Сейчас я жалею, что не последовал его совету. Но тогда это казалось мне невозможным. Мы разлучились на два с лишним года. Но, конечно, переписывались.

В Поволжье Артем пробыл, видимо, недолго. Во всяком случае в феврале пришло от него в Анкару письмо, датированное 20 января 1922 года, из Тулы. Первые шесть строк, написанные чернилами, гласили: «Дорогой Толя, извивы моей коварной судьбы таковы: моск. литер. богема, в плену у жены, Тула с 1/2 провалившихся домов». Дальше было написано очень крупно красным карандашом: «В аду! Я в аду! Кто бы мог подумать? Молодой человек и вдруг... Конфуз!..» И опять чернилами: «Теперь? Пока еще в преисподней. Но я уже готов порубить золотые якоря любви, распустить кумачовые паруса страстей и в раззоренном челноке легкомыслия помчаться по дивному морю фантазии. Ветер безрассудства и безалаберности будет надувать мои паруса. Мечта будет моей путеводной звездой и рулем — безволие. Грезы, приплясывая, погонятся за мной и зацелуют меня (ты, м. б., подумай: захотят ли они такую рожу целовать? — не волнуйся и не порть кровь!).

Испанская весна утопит меня в аромате сменяющихся цветов. Мои глаза залепит соленая пена южных морей, меня оглушит рев горных проходов Гималаев, мой прекрасный взор будут ласкать безграничные океанские дали.

Я буду драться в приморских кабачках, буду пить пиво из оловянных кружек, пошляюсь по девственному лесу в поисках девственных негритянок, потом отдохну у ночных костров дикарей.

Николай.

Ниже приписочка: «Еще в моей волжской груди теплится надежда, что ты рано или поздно уйдешь из дипломатов и станешь пьяницей и бродягой. Ха-ха-ха! А?»

В этот период Артем неистово увлекался Грином и в немалой мере под его влиянием решил стать моряком, что и осуществил в том же году.

Вот строки из его севастопольского письма:

«Толя, теперь я матрос-альбатрос, вольный скиталец морей!

Живу здесь 2 недели — еще не надоело, но через м-ц, думаю, что потянет.

?

Куда-нибудь — все равно.

Написал 2 рассказа.

Много задумал.

Заложив руки в карманы парусиновых шаровар, гуляю по пляжу и мечтаю.

Обо всем на свете!

Потом захожу к греку пить какао.

Весь провонял смолой и морем...»

Творческим плодом пребывания Артема на Черноморском военном флоте была в основном повесть «Реки огненные», сделавшая его имя широко известным.

Мы встретились вновь, когда он ее дописывал — после его демобилизации с флота и моего возвращения из Турции. Артем еще носил морскую форму, богатырски окреп, загорел, а внутренне цвел и играл всеми цветами радуги. Жизнь была из него гейзерами. Это была лучшая, самая радостная пора Артема, ничем еще не омраченная, каун большого литературного успеха.

## О. МИНЕНКО-ОРЛОВСКАЯ

★

### *Мандат Артема Веселого*

Как-то зимой двадцать третьего года Артем неожиданно приехал из Москвы в Самару. Морозы стояли двадцатиградусные. Он вошел в бескозырке, матросской тельняшке и матросской куртке. Его щеки, нахлестанные ветром, как всегда, пылали темным румянцем (его мать, Федора Кирсановна, шутила, любуясь сыном, что о них можно спичку зажечь), но я слишком хорошо его знала, чтобы не уловить в глазах грусть и тревогу.

Дома у Артема было не все благополучно. Болела Федора Кирсановна, у молодой жены, готовящейся стать матерью, обнаружили туберкулез. Я долго думала: чем помочь? Вдруг меня осенило. У моего отца в селе, где он учительствовал, был дом и большой хороший сад — гектара два. Там жила наша бабушка, но уже с полгода назад она умерла.

— Артем, — сказала я, — мы с братом будем рады, если дом возьмет Федора Кирсановна. Пусть едут туда с Гитей, засадят огород — они там быстро поправятся.

Артем просиял и рассердился одновременно.

— Да ведь в этом саду можно посадить великолепный росток коммунизма, — сказал он, — а ты — Федору Кирсановну! Коммуну труда или детский сад по крайней мере!

Я схватила бумагу, чтобы написать сельсовету дарственную грамоту. Артем совсем рассердился:

— Неужели у тебя душа смолоду мертва, что ты согласна потопить живое дело в бумажках?

Мое возвращение в университет с зимних каникул, его дела в Москве — все было забыто. Мы двинулись в деревню Бузулукского уезда, за двести шестьдесят километров от Самары, насаждать ростки коммунизма.

В Кинзельку — мое родное село — мы приехали ночью. Наутро Артем взялся за организацию коммуны. Первым делом пошли по бедняцким дворам «подогреть сердца». На это Артем был мастер. Помню, как говорил Артем бедняку по прозвищу Кутырь: «Жил ты на свете без праздника, наподобие как вол в яре, и имя тебе в насмешку определили: «Кутырь». А теперь советская власть открыла тебе дорогу к счастью. Но чтобы дойти к этому своему счастью, должен ты понять две вещи, указанные нам Лениным: во-первых, что счастье не дается одиночкам — один не можешь ты выставить силы против своей судьбы, а потому шагай косяком и держи друг друга плечами. Во-вторых, что работаем теперь при советской власти мы только на себя, для себя».

В первый день в коммуну записалось семь семей.

Собрали в школе организационное собрание. На собрание пришло все село. Кулаки выступили против коммуны.

— Это на нашу шею ярмо прилаживаете! — кричали они. — Нынче коммуна, а завтра — вспаши ей, посеи ей.

Интересно было наблюдать Артема на крестьянских собраниях. Он никогда не выступал вначале. Сидит, подперев щеку, с застывшими чертами и вроде как бы равнодушно слушает, кто что говорит, до тех пор пока не возьмет людей на учет и не прояснится картина соотношения сил. Тогда он встанет, воинственно прямой, веселый и едкий, и начнет бросать по намеченной цели словами тяжелыми и горячими, как камни, выхваченные из огня.

Сначала все шло хорошо. Растерявшиеся кулаки под разными предлогами начали подаваться к выходу.

— Кум, дай огниво, пойду покурю,— сказал один из них, направляясь к двери.

Ему ответили хохотом:

— Тебе уж дали прикурить! Вон на трибуне и кремь и огниво!

Но под конец произошел маленький инцидент. Секретарь сельсовета, сын одного из кулаков, узнав, что приезжий чинов и мандатов не имеет, поехал в волость за помощью. Уже проголосовали за организацию коммуны, когда на собрание заявился начальник из волости.

— Вы кто такой будете? Ваш мандат? — обратился он к Артему.

— Коммунист,— отвечал Артем,— и других мандатов, кроме этой книжечки, не имею.

— Что вы тут делаете?

— То, что положено делать коммунисту: сажаю ростки коммунизма, вам помогаю, потому что вы просмотрели эту возможность.

— А почему ты в волость не явился? — повысило голос начальство.— Почему разрешения не спросил на организацию собрания?

— А ты что — вождизмом заболел в волостном масштабе? — тяжело уставился на него Артем, наливаясь гневом.— А может, я у Ленина совета спрашивал, так у тебя не обязательно!

Я испугалась, что сейчас произойдет одна из ссор, в которых Артем бывал необуздан.

Но, к моему изумлению, волостной начальник резко изменил тон и стал оправдываться тем, что в нашем доме он якобы предполагал разместить сельсовет. Артем показал ему кукиш.

Когда мы собрались уезжать, волостной начальник обратился к Артему с просьбой рассказать ему, как он видел Ленина. Артем засмеялся:

— Видал, как и ты видал — на портретах и картинках.

Начальник опешил:

— А как же...

— Насчет организации коммуны,— перебил Артем,— очень просто: когда тебе захочется посоветоваться с Лениным, можешь не беспокоиться ехать в Москву на прием, возьми его книжки и почитай. Там все сказано — и про коммуны, и про то, как надо работать на селе коммунисту.

Артем любил Ленина со всей страстью своего огромного темперамента. Характерным в этом отношении является такой факт. Зимой 1925 года, когда я была в Москве, Артем повел меня на литературный вечер. В небольшой комнате у поэта Крученых собралось человек пятнадцать—двадцать. Сидели вплотную так, что негде было пройти. Я приютилась в углу дивана. Артем сидел рядом на валике. Маяковский читал отрывки из своей еще не оконченной поэмы «Ленин». Я чувствовала, как Артем вздрагивает от внутреннего напряжения. И когда Маяковский прочел слова: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше», Артем не выдержал.

— Стой! — закричал он.— Повтори!

Маяковский, который очень не любил, когда его перебивали, на этот раз повторил. Артем ринулся к нему по нашим ногам и, схватив голову Маяковского, повернул ее к себе (Маяковский стоял спиной) и поцеловал его в лоб.

Маяковский пустил в него остротой о тяжелой участи поэта: не нравятся стихи — бьют, нравятся — шею вывертывают, но, кажется, остался доволен безудержным порывом этого молчаливого, с виду угрюмого человека.

— «Я себя под Лениным чищу»,— несколько раз повторил Артем, когда мы шли домой.— Слова-то какие! Мы все, вся Россия, должны себя под Лениным чистить, скрести, чтобы всю старую кожу содрать, без этого не придешь к коммунизму.

Помнится, осенью 24 года Артем повел меня к Фурманову на литературную вечеринку. Я видела Фурманова еще в Чапаевской дивизии в девятнадцатом году и несколько раз в Самаре. Вместе с Артемом мы прочли первый вариант «Чапаева».

В маленькой квартирке Фурманова в Нашекинском переулке мы появились первыми из приглашенных. Дмитрий Андреевич вышел к нам своей быстрой и легкой походкой, в штатском платье (таким я его еще не видала), по-прежнему юношески стройный и как будто даже помолодевший против девятнадцатого года. Он посмотрел на нас веселыми внимательными глазами и, пожимая руки, сказал с упреком:

— Вы, самые аккуратные, все же опоздали на шесть минут.

— Шесть минут — это чепуха, — сказал Артем, — я дни и месяцы пускаю по ветру. Фурманов возмутился.

— Это преступление, — сказал он. — За границей писатель из народа, чтобы добыть себе право писать, должен пройти сквозь игольное ушко и пробить стену лбом, а у нас каждого едва вылулившегося из литературного яйца цыпленка народ греет своим теплом и носит за пазухой. И вот мы так отплачиваем народу, пускаем по ветру дни и месяцы.

— Я перед народом не останусь в долгу, — усмехнулся Артем. — Лет до тридцати — тридцати пяти погулять хорошенько надо, силенок поднакопить, подрасти до уровня богатырской нашей эпохи, а там как засядем лет на шестьдесят и воспоем ее в советской «Войне и мире».

— Ошибаешься, Артем, — взволнованно сказал Дмитрий Андреевич. — Расчет неправильный. Если сейчас, смолоду, по горячим следам Октября, не войдешь с головой в работу, не станешь тружеником искусства, то растеряешь свой талант и удивительный материал и упустишь навсегда возможность стать поэтом своей эпохи, которая, как ты понимаешь, была в истории один-единственный раз. Второе поколение авторов, что поднимается за нами на дрожжах революции, будет более многочисленным и более сильным. Мы потеряемся среди них.

Эта беседа, продолженная, когда собрались писатели, видимо, произвела сильное впечатление на Артема. Месяца два спустя он писал мне в Воронеж, где я училась в университете: «Работаю, как черт. Не выхожу из библиотек. Читаю о прошлом, чтобы осознать лучше сегодняшнюю действительность. Что-то делается со мной странное. С некоторых пор не могу слышать тиканья часов: физически ощущаю, как бегут минуты, и каждую жаль, хочется удержать. Все кажется, что я не успею сделать что-то важное. Так, вероятно, чувствуют старики, сроки жизни которых ограничены. И я вместе с ними. Смешно!»

Таким был Артем в пору юности. Таким же размашистым и горячим, только внешне более причесанным, остался он и в разгар своей жизни. Он был чужд лицемерия и двоедушия, и всякое проявление их тяжело корбило его.

Помню, как Артема взволновало решение о выселении «чернодосочных районов». Мы жили тогда в Минске. Мой муж работал в ЦК Белоруссии.

Артем уважал Наума. Он приезжал к нам в минуты душевных сомнений и, отворяя дверь, начинал с шутки: «Наум, наставь меня на ум!» На этот раз он рассказал, что ходил в ЦК, возражал против решения выселять колхозников, просил послать его секретарем «чернодосочного» района, чтобы он мог доказать, что дело не в плохих колхозниках, а в плохом руководстве.

— Что же, дали тебе район? — живо спросил Наум.

— Где там!

Тогда Наум сказал ему:

— Эта твоя идея попроситься секретарем «чернодосочного» района очень правильная. Тебе не удалось, попробую я. Мне, я думаю, не откажут.

Наум написал письмо в ЦК. Он просил дать ему «чернодосочный» район, говорил, что каждый район можно вытянуть, не доводя дело до репрессий. Его послали первым секретарем «чернодосочного» Сенненского района БССР. Наум уехал в район зимой, а весной в Сенно приехал Артем. Я почти не видела его в этот приезд. Шли дожди. Дороги разбухли и превратились в месиво. Наум и Артем ездили от колхоза к колхозу на фордике, который больше ташили на себе. Домой заезжать было некогда. Через неделю, когда Артему нужно было возвращаться в Москву, они вернулись в Сенно, довольные друг другом.

— Вижу, вытянешь, не сомневаюсь,— говорил Артем.— Когда ехал сюда, признаюсь, сомневался. Думаешь, удастся ли — человек ты городской.

Наум — сын рабочего, никогда ранее не имевший дела с деревней,— рассказывал мне, как много ценного дала ему поездка с Артемом. Он говорил:

— Крестьянина видит насквозь. Определяет, кто чем дышит, с одного погляда. Принимают друг друга с полуслова.

Он рассказал, что в одном из колхозов не оказалось председателя. Науму понравился один колхозник своими деловыми предложениями и советской настроенностью. Он хотел провести его в председатели. Артем сказал:

— Ошибаешься, Наум! Этот человек — ни пава, ни ворона. Колхоз провалит, авторитета иметь не будет.

Наум навел о нем справки, и действительно, оказалось, что этот человек уже был председателем соседнего колхоза, о деле не заботился и довел его до ручки.

Через год, когда Сенненский, бывший «чернодосочный», район получил красное переходящее знамя ЦК партии за самый высокий в республике урожен и большое количество первосортного льна (основная культура в районе) сверх плана, Артем был в восторге. Я была в то время редактором политотдельской газеты в том же районе. Артем просил меня записать для него имена людей и факты, создавшие предпосылки для резкого скачка района, и говорил, что ему это необходимо для задуманной им книги.

В 1936 году, в одну из последних наших встреч, он читал нам огрывки из своего нового романа о том, как Максим Кужель организует колхоз и работает в нем председателем.

В тридцать шесть лет, перед концом своей жизни, Артем был полон творческих замыслов,

## И. И. ПОДВОЙСКИЙ



### *Он верил в народ*

С Артемом Веселым я впервые встретился в редакции сборника «Красная армия и Красный флот в революционной войне Советской России 1917—1921 гг.» летом 1921 года. Редакция сборника одной из первых в Москве начала собирать материал по истории Октябрьской революции и гражданской войны. Помещалась она в одном из особняков в Мертвом переулке (теперь переулок Н. Островского), дом № 10.

Однажды, делая сообщение в редакции о плане сбора материалов по истории гражданской войны на Северном Кавказе, я заметил внимательно слушавшего молодого, довольно нескладного, лобастого детину. Когда обсуждение плана было закончено, этот парень подошел ко мне, протянул огромную ручищу, дернул вниз мою руку и пробурчал:

— Артем. Хочу с вами познакомиться. Мне очень интересно послушать, как вы там воевали: казаки с казаками, сыновья с отцами, мусульмане с православными, все вместе: рабочие, солдаты, моряки, иногородние с «кадюками». Хочется мне разобраться в этой буре народного движения.

Домой мы пошли вместе. Я тогда жил на Арбате, 35. Поднялись ко мне пешком на седьмой этаж. Тут Артем получил первую порцию желаемого — встретил несколько командиров и политработников XI армии (Северо-Кавказской), приехавших в Москву по разным делам. В то время у меня часто останавливались на ночевку боевые товарищи, приезжавшие из Крыма, с Северного Кавказа, Украины. Радостные, дружеские объятия, расспросы, рассказы, смех, возмущение и обязательное: «Что нового, что будем дальше делать, как быть с тем-другим».

Артем здесь как-то сразу стал своим. Он больше молчал, но видно было, что все, о чем здесь говорили, спорили, ему было близко. Он вглядывался в лица, вслушивался



в манеру говорить, жадно ловил своеобразие языка, крепкие словечки. Здесь он в разное время познакомился с Мокроусовым, Соколовым, Ефремовым, Кулишом, Головченко — участвовавшими во время гражданской войны в боях против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов в Крыму, на Северном Кавказе и Украине. Позже, в Москве же, он познакомился с главкомом революционной армии Северного Кавказа Фелько, героем Таманской армии Ковтюхом, Калниным, Кочергиным и рядом других активных участников борьбы за установление советской власти на Северном Кавказе.

Героическая, насыщенная острыми и противоречивыми событиями борьба многонациональной, оторванной от центра и терпящей острую нужду в вооружении, снаряжении, обмундировании, медикаментах и деньгах, XI армии захватила Артема целиком. Он подолгу разговаривал с участниками этой борьбы, стараясь понять их «нутро», сущность. Распрашивая товарищей, он старался заинтересовать их самих историей пережитых событий, осмыслить их и помочь ему в сборе материалов. Он сам приходил к ним, приглашал к себе, заманивал в театр или еще куда-нибудь, обещая познакомить с интересным писателем, поэтом или артистом. По его приглашению мы иногда посещали Пролеткульт на Воздвиженке (ул. Калинина) и с интересом наблюдали горячие бои молодых зачинателей советской литературы, слушали «Синюю блузу», пили фруктовый чай с сахарином. «Вчера был на новой постановке Пролеткульта «На всяк мудреца дов. простоты», — писал он как-то в записке. — Советую сходить: «постановка очень и очень интересная, как достижение первого рабочего театра»...

В те времена молодые писатели охотно шли друг к другу, к народу, к бойцам армии и делились своими мыслями и планами. У меня осталось впечатление — если бы Артем не возражал, то многочисленные его друзья сидели бы у него в комнате круглые сутки. Привлекали непринужденная обстановка холостяцкой, но теплой (редкое в те времена явление) комнаты, острая тематика, прямота и резкость суждений хозяина.

Артем Веселый тогда жил на Воздвиженке, в доме, где сейчас Военторг. Тогда там помещался ЦК комсомола. У него была довольно большая комната на пятом или шестом этаже (ход с переулка). У противоположной двери стены стоял простой стол, направо железная кровать с солдатским серым одеялом и пара или тройка стульев. «Гости» располагались кто как мог. По каждому вопросу возникали горячие споры. Много курили, ничего не ели, но не уходили. Артему приходилось всячески ухищряться, чтобы можно было побыть одному, подумать, поработать. Одно время на стене в комнате появился большой кусок оберточной бумаги с призывом: «А на дворе прекрасная погода!»

В своем стремлении понять обстановку борьбы за советскую власть на Северном Кавказе Артем был неукротим. Ему мало было живых свидетелей и документов, находившихся в Москве. Он стремился как можно быстрее познакомиться с ней на месте и вскоре выехал на Кубань. Там он сделал отдельные наброски своей будущей книги «Россия, кровью умытая».

Возвратившись в Москву, Артем много рассказывал о своих встречах на Кубани, Ставрополье и Астрахани, о собранных материалах, отдельных заинтересовавших его типах и писал, писал. Время от времени он звонил мне или слал записки с приглашением зайти к нему послушать отрывок из написанного.

Еще в Москве Артем заинтересовался образом прогремевшего на Кубани неграмотного боевого красного командира — казака Кочубея. Артем собрал огромный документальный и устный свидетельский материал о Кочубее; некоторые факты биографии Кочубея он использовал при создании образа Черноярва.

После первой поездки на Кубань Артем написал несколько статей в журналы и газеты. В 1927 году в сборнике «Недра» была напечатана часть его романа «Россия, кровью умытая». Но это не удовлетворяло его. Его захватила картина развала царской армии, оставившей окопы и двинувшейся со всем своим добром разными путями в тыл, картина страшной злобы, которая годами копилась в сердцах солдат-фронтовиков, рвавшихся домой, чтобы сбросить гнет помещиков, полицейских, капиталистов и их прислужников. Он хотел дать более полную картину невиданного революционного подъема трудового народа, дать образ партии, образ революционного командира-большевика,

показать задор комсомола. Все события, о которых он писал, имели место в действительности. Он добивался того, чтобы быть верным фактам истории.

Артем очень много и упорно работал над своими произведениями. Оттачивал каждую фразу, каждое слово. Не раз говорил, что это очень трудная для него работа, называл себя тугодумом. На вышедшей в свет первой своей книге «Россия, кровью умытая» Артем Веселый написал мне: «Дорогому Ивану Ильичу — первому, толкнувшему меня на каторжный труд писателя».

Стремление углубиться в тему, проанализировать материал требовало от Артема спокойной обстановки, уединения. Но он не мыслил себя без людей, товарищей. По-видимому, поэтому Артем решил выделить один день в неделю, в который все желающие «поговорить» могли бы заходить без спросу и оберегались бы приходиться в другой день, рискуя не быть принятыми. Со временем (1927—1928 годы), когда Артем Веселый жил на Тверской, этот день стал как бы официальным днем встреч с Артемом. По-моему, это была суббота. У меня сохранилось несколько приглашений Артема прийти к нему вечером в субботу «почайпить». Все мы тогда много работали, и вечер субботы был наиболее удобным временем для встреч.

В эти дни Артем в зависимости от темы приглашал тех или иных товарищей и читал отдельные части своих работ. Читал медленно, вслушиваясь в звучание фразы. Эта манера чтения позволяла слушателям яснее представить себе картину, которую Артем подавал сжато, как бы мазками.

Артем Веселый очень радовался выходу в свет своей книги «Россия, кровью умытая». Но когда он принес ее мне, в его глазах можно было прочесть и радость и неудовлетворенность. Он еще собирался работать над романом, полнее охватить своеобразие борьбы на Северном Кавказе, увязать ее с общим размахом революционного движения проснувшихся народов России. Он строил планы новых поездок.

Артема Веселого интересовал трудовой народ, его мечта о воле, стремление сбросить с себя ярмо и путы, желание строить лучшее, светлое, радостное; интересовали и его вожаки. Он верил в народ, в его победу, так как видел его стремление к свету и его силу. Он стал коммунистом, потому что видел, что коммунисты могут поднять народ, организовать его и повести за собой. Он тянулся к молодежи, потому что видел там неисчерпаемую энергию и стремление к борьбе за светлое будущее.

М. О. ПАНТЮХОВ

★

### *Из воспоминаний*

Наша дружба с Артемом началась с 1923 года и продолжалась беспрерывно до несчастья, случившегося с ним.

Я моряк-балтиец, командир отряда моряков в 1917—1918 годах, и наша дружба с волгарем Артемом была крепкой, флотской дружбой.

Мне кажется, что к Артему нельзя было относиться с тепловатым чувством. Его можно было или крепко, беззаветно любить или так же сильно ненавидеть. Собственно, так это и было...

Мне часто приходилось слышать:

— Почему Артем выбрал такой псевдоним, который ему никак не подходит? Ничего веселого. Он даже улыбаться не умеет. Уж назвался бы Артем Мрачный.

Но мы, его друзья, знали, какое горячее сердце, удивительная душевная мягкость, благородство и радостное жизнеощущение скрыты под суровой внешностью.

Он очень мало значения придавал внешней форме. Ему было в высокой степени безразлично должностное положение человека. Для него ценен и интересен был человек сам по себе. В этом смысле нарком или волжский крючник в его глазах были одинаковы.

Он никогда не стремился стать литературным генералом, хотя в свое время считался выдающимся писателем. Артем не умел и не хотел создавать свое житейское благополучие за счет использования тех возможностей, которые давало ему его положение.

Для иных Артем казался талантливым примитивом, писателем, лишь ненамного приподнявшимся над уровнем своих героев.

А Артем был человеком высокой культуры. Он, например, очень любил французскую литературу. Будучи очень занятым своей работой, он тем не менее самостоятельно изучал французский язык, чтобы читать Бальзака, Флобера, Мопассана, Франса, Вольтера и других в подлиннике.

Я не знаю, в каком костюме Артем ездил за границу, но я его иначе себе не представляю, как в синей косоворотке, штанах-галифе, иногда даже красных, папахе.. Иные считали, что Артем оригинальничает и старается внешне походить на своих героев — партизан гражданской войны. А ему просто была удобна привычная одежда.

В 1931 году я приехал в Москву на работу в «Крестьянскую газету» и недели две жил у Артема на Тверской, на знаменитом диване за книжной полкой.

Это была «Артемова ночлежка», где находили приют и рюмку водки, кусок хлеба бездомные писатели. Несколько ночей рядом со мной спал Сергей Клычков.

Я не знаю человека более великодушного и снисходительного к человеческим недостаткам и слабостям, чем Артем, и вместе с тем не было человека более свирепого, беспощадного, способного на крайности, когда он встречался с подлостью, трусостью, вероломством.

Мои «хождения по мукам» начались раньше, и когда многие друзья стали перебегать при встрече со мной на другую сторону тротуара, письма Артема бодрили, радовали. Сколькo в них было человеческого тепла, суровой мужской ласки...

Помню, что несколько писем Артема я уничтожил перед своим арестом. Это те, где была подпись «Артем».

Осталось у меня три.

Вот несколько строк из одного письма.

«Здорово, бедолага!

Не раз и не два прочитал твоё письмо, заливая его слезами, смешанными с крымским вином... Посылаю тебе почт[овым] переводом 50 монет — аванс за частушки [книга уже вышла в ГИХЛе]. К концу марта думаю разбогатеть, тогда пришлю еще.

Пиши мне — Киев, до востребования — куда я на днях имею честь отбыть.

3 марта.

Целую тебя в сахарные уста.

П и р а т п е р а .

Р. S. Ты меня, корешок, действ[ительно] мало знаешь. Я тебе не опереточный кунак до первого черного дня, я — не хвально скажу — «мальчишечка с характером».

Скала моих к тебе добрых товарищеских чувств не дрогнет перед испытанием ни огнем, ни водою. Поручаю в том — мое тебе слово чести!»

Это письмо датировано 3 марта. Года нет, но это 1937 год. Я писал Артему об исключении меня из партии в январе 1937, о травле и т. п. Я был без работы и очень нуждался.

Сам Артем жил небогато, но прислал мне доверенность на получение его крупного гонорара в Ростове-на-Дону, но я получить не успел, а договор вскоре расторгли...

И сделал-то ведь как деликатно. Я по его просьбе написал часть речитатива донского трепливого казакишки в «Гуляй Волге»: «...У нас на Дону живут богато...» Будучи редактором выездной редакции «Крестьянской газеты», я собрал много частушек и, зная, что Артем готовит сборник, отдал их ему, о чем он упоминает в предисловии к сборнику... И вот он присылает доверенность как гонорар за мою помощь.

Очень многие, даже часто встречавшиеся с Артемом, так и не узнали в этом неулыбчатом, нескладном мужике человека очень сложной душевной конструкции... Живой Артем — это что-то человечески необычное и вместе с тем удивительно ясное, простое. Это одновременно мыслитель и боевой паренек с нашей улицы.

У Артема должно быть второе рождение, и его полюбит читатель с чистым сердцем. Ведь в этом сущность подлинного таланта: время над ним не властно.

## А. КОСТЕРИН



## «Слово должно сверкать»

Как-то Артем сказал мне по поводу одной темы:

— Надо написать об этом рассказ...— Замолчал, слегка сбывчил лобастую голову, и вдруг светлая улыбка озарила угрюмоватое лицо: — Нет, надо писать не рассказ, а «показ». Надо так писать, чтобы читатель мог не только видеть, понять, но и пощупать...

В начальной стадии творческого развития Артема слово для него было основой всякого литературного произведения.

— «В начале бе слово и слово бе бог»,— торжествуя читал он первые строчки одного из Евангелий: — Вот как тысячелетия назад боготворцы ценили и чтили слово! — И вразяжку скандировал: — «...и слово бе бог».

Однажды (кажется, в 1924 году) я посетил его в каком-то подмосковном санатории, в котором, по странным правилам, лечащимся было запрещено читать и писать. Артем, конечно, с первого же дня обошел эти правила и спрятал у себя в постели... один из томов Дала!

— Вот, Алеша, книга книг! Книжища — как хребет Кавказский! Читаю и тону — захлебываюсь! В этой книжище вся наша сила и все наши книги. Читай ее, Алеша, и перед сном и ото сна восстав. Я наизусть ее зубрю.

И не шутя стал наизусть приводить некоторые слова и все производные от них вплоть до поговорок и пословиц. Память Артема, в особенности на слова, словечки и крылатые выражения, была так отточена, что засекала в голове все яркое и выразительное, приметное, как резцом на мраморе.

Помнится, я одобрительно посмеялся над увлечением Артема, а Юрий Либединский пришел в ужас, решив, что Артем «рехнулся».

Однако бездумная и безоглядная страсть к слову владела Артемом недолго. Уже в конце 1924 года он со злым и угрюмым лицом как-то сказал:

— Плохо у меня с содержанием, Алеша. Вот задумал такое показать, чтобы все ахнули... Какие мы годы прожили, а? И слова для этого есть, и факты, а вот нацепить их не на что... плутаю в трех соснах...

Мы с Артемом почти одновременно вступили в литературный кружок «Молодая гвардия» и в литературно-художественный институт имени Брюсова.

В институте мы бывали редко. Неудивительно. Пять лет революционный шторм бросал нас из конца в конец страны, ломал и трепал так, что хрустели все косточки и мозги перетряхивались. Мы принесли с фронтов не только жадность к жизни, стихийный порыв к новому, но и полную уверенность, что вершины социалистической культуры мы возьмем также штурмом, каким брали Перекоп, и с тем же боевым кличем — «даешь!»

Вероятно, в качестве протеста против институтских требований, против редакторов и педагогов, требующих внимания к запятым, но не дающих «живой и мертвой воды» творчества, Артем поместил в журнале «Молодая гвардия» отрывок из «Рек огненных» без единого знака препинания.

— Слово должно играть и сверкать, а не запятые и всякие восклицательные знаки! — говорил Артем.

С 1922 по 1925 год мы вместе кочевали из одного литературного кружка в другой — «Молодая гвардия», «Октябрь», «Кузница». Москва тех лет была полна этаких мелких литературных ячеек, создававшихся порой просто вокруг какого-либо крупного имени. Кроме перечисленных кружков, были еще такие: «Союз крестьянских писателей», «Литкружок имени Неверова», «Леф», «Круг», «Союз писателей», «Союз поэтов», «Рабочая весна» и другие. Все они сочиняли и публиковали декларации, программы и клятвенные заверения обязательно дать «эпохальные» произведения. Мы посещали эту густую литературную поросль, слушали выступления и дискуссии. От всего этого

словотолчения и слововерчения в голове стлался туман. Вот пример того словесного тумана, которым застилали наши и без того неясные литературные тропы (из декларации пролетарских писателей «Кузницы»):

«Художник — медиум своего класса. Каково мироощущение класса, таково и мироощущение его художника. Каков миром пролетариата, таков и миром его функции — художника».

В отместку за такую заумь, которая, как ватным колпаком, отгораживала нас от жизни, мы (Артем Веселый, Эдуард Багрицкий, я и еще некоторые поэты) устроили Филиппченко на утренней зорьке под окном его номера в одесской гостинице кошачий концерт. У Филиппченко, выскочившего на балкон в одном белье, монашеское лицо перекопилось ужасом, когда он увидел, что в концерте принимают участие московские и одесские писатели и поэты. Инициаторами и вдохновителями «концерта» были Артем и Багрицкий.

Как-то зашел я с Артемом на заседание Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). Послушали, как лидеры МАПП «разоблачали» Воронского и литературную группу «Круг», Маяковского и «Леф», Есенина и имажинистов.

И мы ушли...

Буквально и фигурально ушли и создали из молодых писателей и поэтов еще одну «свободнотворческую группу» — «Перевал». Нашим шефом был Воронский.

Маповцы подвергали нас усиленному обстрелу, который в очень большой части был и точен и правилен. Но, конечно, тоже с большим перегибом.

Мы хотели учиться и писать, но не декларации. Мы хотели отображать жизнь, а не участвовать в многочисленных дискуссиях. К нам потянулись такие поэты и писатели, как Багрицкий, Пришвин, Караваева и другие.

Однако примерно через год я обратил внимание Артема на странный состав наших литсобраний. Наше довольно большое помещение заполняли какие-то завитые и накрашенные девицы в кисейных кофточках и юбочках выше колен, молодые люди, тоже подвитые и надушенные и чуть ли не с моноклями.

— Артем, что это за народ? — спрашиваю его.

— А черт их знает, из какой помойки и какой волной их к нам заплескивает...

Желая спугнуть это кисейнонадушенное сборище, Артем однажды начал очередное собрание почти откровенно полным матросским жаргоном. Однако девицы только захихикали, и Артем шепнул мне:

— Чем захотел девку запугать — она еще не то видала!

От всей этой мути я ушел в газету «На вахте», орган ЦК водников. Вскоре ушел из «Перевала» и Артем.

Как-то при случайной встрече в Одессе Артем попросил меня помочь провести его литературное выступление. Большие зевластые афиши извещали о выступлении московского писателя Артема Веселого. Публики собралось довольно много, пустовали только самые дальние ряды.

Сделав краткое вступление, я дал слово Артему.

Артем стал читать отрывки из произведения «Реки огненные». Читал наизусть. Читает десять минут, пятнадцать, двадцать: Рукопись у меня на столе, я только слежу за текстом, чтобы в случае необходимости подсказать Артему. Этого не потребовалось — Артем знал превосходно весь яркий, но очень извилистый фарватер своих бурных «Рек огненных».

Но читал он плохо, невыразительно. У него не хватало дыхания, он не имел необходимых голосовых данных и соответствующей постановки голоса. Вышел Артем в простой косоворотке (галстук он называл «удавкой»), подпоясанный шнурком-поясом, широко распространенным среди рабочих парней Самары и Саратова.

Публика — по большей части фланеры по Дерибасовской улице — была разочарована. Слушали плохо, а минут через пять струйками потекли к выходу. К концу чтения в зале осталась едва ли десятая часть. Но и эти самые терпеливые вопросов не задавали и с речами не выступали.

Уходя с этого неудавшегося выступления, Артем смеялся:

— Не ругайся, Алешка, они же по афише пришли смотреть и слушать Веселого!.. Анекдоты, а может, фокусы какие... А увидели торгового крючника. Что-то о революции читает... Нужна им революция, как мне кила!..

Последняя наша встреча была на Волге в 1935 году. Я жил лето в Хвалынске. Сплывая на лодке вниз по Волге с женой и двумя дочерьми, Артем сделал остановку в Хвалынске. Отсюда я поплыл вместе с Артемом. Ночевали на плотках, на песчаной косе, слушали разные балачки и песни плотовщиков и бакенщиков, ловили бреднем рыбу и варили уху...

В очерке «Дорога дорогая» Артем дает картинку, как он у костра плотогонов слушал и записывал частушки. Я в это время спал в лодке, которую мы зачалили за плот. Ночь выдалась теплая, многозвездная и как-то по-особому темная. В лодке в кормовом отсеке, прикрытые палаткой, спали жена и дочки Артема. Поздней ночью, по-видимому, около часа, меня встряхнул какой-то треск — будто дикий бурелом валил сосны и ели — и панические гудки двух пароходов.

Спросонком, еще не зная и не понимая, что за гул и треск стоит над Волгой, я первым делом схватился за весла. И оглядываюсь на плот, на куст розового света от тлеющего костра. От костра в разные стороны прыгают человеческие тени. Пытаюсь перекричать непонятный мне треск и гудки пароходов.

— Арте-ем!

Прыгавший мимо меня один из плотогонов крикнул:

— Отчаливай... смелет... — сорвал веревку, которой мы зачалились за плот.

Стремительная струя подхватила лодку и куда-то потянула ее. Плотогон, прыгая, как кенгуру, по бревнам в темноту, закричал:

— Выгребай... смелет...

И только в это время я понял, какая опасность грозит и мне, и семье Артема: на наш плот под острым углом медленно, но неудержимо полз другой плот. Под давлением нескольких тысяч кубометров древесины челюсть плота разрывались, сосновые бревна звонко трескались и взлетали на воздух. На стыке двух плотов кипел и плескался водоворот. В этот водоворот и тянуло нашу лодку...

Минут тридцать я чувствовал себя примерно так же, как однажды (в годы гражданской войны) в окружении белоказаков. Все силы, всю волю, все мысли направил только на весла. Треск бревен, гудки пароходов, крики людей на плотках. Память не сохранила, как я вырвался из водоверти меж двух плотов. Задыхаясь от гребли, неожиданно заметил, что уже огибаю матку плота и выхожу на чистый простор. И вскоре тьма разбавилась рассветным молочком, а затем и Волга вспыхнула и заиграла багряными огнями.

Недалеко открылась песчаная коса, и я выгреб к ней. Когда окончательно рассвело, с плота раздался крик Артема:

— Алешка-а... лодку...

Первое, что сказал мне Артем, прыгнув в лодку с плота, было:

— Эх, и частушки я записал...

Артема нет. Но слово его осталось. И тот, кто хочет ощутить аромат шквальных вихрей 1917—1921 годов, понять мощь народной стихии, пусть возьмет книгу Артема Веселого, и она расскажет ему то, что не расскажут никакие учебники и ученые исследования.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. МОТЫЛЕВА

★

## В СПОРАХ О РОМАНЕ

**О**бсуждение проблем современного романа, состоявшееся в августе этого года в Ленинграде на сессии Европейского сообщества писателей<sup>1</sup>, отразило многие сложные процессы, происходящие в международной литературе.

Правда, откровенно реакционные литераторы, отъявленные враги реализма, не получили слова — их на сессии не было. Никто из сорока двух ораторов не объявлял искусство романа умершим или умирающим, не сводил содержание современного романа к чистой выдумке или фикции, не утверждал прав романиста на выражение любых идей вплоть до аморальных и человеконенавистнических. Участники встречи были солидарны в своей воле к сохранению мира и высказали это в коллективном заявлении, приветствующем договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Всем, кто присутствовал на встрече европейских писателей, хорошо запомнилось, в какой атмосфере единодушия был принят этот документ.

И тем не менее разногласия, конечно, были. Они явственно обнаружались с первого же дня прений. Участники ленинградской сессии, или по крайней мере большинство их, не отрицают ответственности писателя перед человечеством, но по-разному толкуют эту ответственность. Они не отрицают, что искусство романа тесно связано с действительностью, но очень по-разному понимают эту связь.

Роман по самой своей природе отражает широкий поток бытия, воссоздает образ человека в многообразных отношениях с

окружающим миром, в гуще личных и общественных конфликтов. В тех или иных взглядах писателя на задачи романа неизбежно отражаются и его взгляды на более общие, более широкие вопросы искусства и социальной жизни. Понятно, что в ходе обсуждения проблем современного романа выявлялись разногласия, касающиеся оценки многих важных явлений литературы XX, а подчас и XIX века, затрагивающие разные стороны работы литераторов в наше время.

В речах многих западноевропейских писателей, при всей их лояльности по отношению к советским собратьям по перу, все же сказались воззрения, широко распространенные в буржуазном мире (само собой разумеется, что и представители Запада были не во всем едины и нередко вступали в спор друг с другом). Позиция писателей социалистического мира выразилась во многих выступлениях. Нашему читателю известны речи М. Шолохова, К. Федина, А. Твардовского, Л. Леонова, К. Симонова, Б. Рюрикова, И. Эренбурга, Л. Новиченко, И. Анисимова, Д. Гранина, В. Аксенова, опубликованные в центральных газетах. Ценный вклад в дискуссию внесли видные критики стран социалистического лагеря Овидиу Крохмэлничану, Иржи Гаек, Пантелей Зарев, Рышард Матушевский, Ганс Кох, Габор Толнаи. Все это способствовало содержательности разговора.

Участники сессии, выступавшие с разных идейных позиций, не могли убедить друг друга во всем — такого результата никто и не ждал. Но обмен мнений, состоявшийся в Ленинграде, был полезен: надо ожидать, что он даст стимул для развития прогрессивной литературоведческой мысли в разных странах. В речах и в заключительном заседании и Жан-Поль Сартр и А. Сурков

<sup>1</sup> Подробный отчет об этом обсуждении печатается в одиннадцатом номере журнала «Иностранная литература».

согласились на том, что обсуждение проблем романа надо продолжать.

Советская критика и литературная теория стоят на прочном фундаменте марксистско-ленинских идей. Наша позиция — принципиальная, она определяется политикой Коммунистической партии, ее решениями. Однако советская литературная наука не стоит на месте: есть много проблем современного литературного процесса, которые ждут дальнейшей разработки и исследования. Ни один советский романист или критик не вправе претендовать на монопольное владение истиной — споры о романе возможны и даже полезны и у нас.

Ленинградская встреча писателей вызывает желание задуматься заново над теми вопросами современного зарубежного романа, которые были предметом дискуссии.

### 1. Об отцах модернистского романа

Совершенно естественно, что в ходе обсуждения поднимался вопрос о традициях, о ближайших предшественниках современной повествовательной прозы. Однако три западноевропейских писателя, основные произведения которых были созданы свыше сорока лет назад, заняли в ходе прений неоправданно большое место. Их имена назывались чуть ли не в каждой речи и обязательно подряд: Пруст, Джойс, Кафка.

По словам итальянского литературоведа профессора Дебенедетти, Пруст и Джойс хотели «проникнуть в суть вещей». Пруст, Джойс и Кафка, утверждал итальянский романист Гвидо Пьевене, отразили «конец одной эпохи» и в то же время дали «набросок новой эпохи, то есть природы человека сегодняшнего дня». По мнению Натали Саррот, Пруст, Джойс и Кафка «совершили переворот в литературе». Западногерманский поэт и критик Ганс Магнус Энценсбергер сказал, что его сознание и память неотделимы от Пруста, Джойса и Кафки: если эти писатели не реалисты, добавил он с некоторой запальчивостью, значит сама действительность не реалистична! Генеральный секретарь Европейского сообщества писателей Джанкарло Вигорелли назвал Пруста, Джойса, Кафку отцами современного романа, — правда, уточнил он тут же свою мысль, их лучше называть не отцами, а дедами: они много сделали в свое время, но перед современным романом свои, новые задачи...

Западные участники дискуссии несколько раз выражали недовольство тем, что советские писатели высказывают отрицательные суждения о столь авторитетных художниках в слишком категорической форме.

Но надо сказать откровенно: зарубежные писатели сами говорили о всех трех мастерах модернистского романа очень категорично и недифференцированно, не слишком заботясь о том, чтобы обосновать свой взгляд на них как на «отцов» и открывателей новых путей.

Объединение имен трех писателей, работавших в разных странах и очень друг с другом несхожих, заключает в себе нечто искусственное. Творчество Кафки, впитавшее в себя нужду и горе старых пражских окраин, вряд ли пришлось бы по вкусу аристократически рафинированному Марселю Прусту, духовно тесно связанному с парижским высшим светом. И сам Франц Кафка, и его герои — беспомощные, пришибленные жестокой жизнью «маленькие люди» с болезненно уязвленной душой, — потерялись бы в лабиринте джойсовской прозы, рассчитанной на искусенное восприятие, совмещающей самые прозаические жизненные реалии с невиданно хитрым сплетением книжных, библейских, мифологических, исторических ассоциаций, инсказаний и символов.

Главные создания всех трех «отцов» очень не похожи одно на другое не только по материалу, не только по языку и всей художественной фактуре, но и по принципам романического строения. Нескончаемый многотомный роман-воспоминания Пруста «В поисках утраченного времени», где летопись жизни нескольких аристократических и буржуазных семей, пропущенная через созерцательно-болезненное сознание героя-рассказчика, растянута на десятилетия и где повествование то мчится через годы, то поворачивает обратно, то застревает и топчется на месте; и огромный роман Джойса «Улисс», где один день в Дублине — день, в течение которого, в сущности, ничего не происходит, — дает автору материал для многословной и многосложной аллегории; и, наконец, сравнительно небольшие по объему романы Кафки «Замок» и «Процесс», где с большой силой драматической концентрации, с необычайно причудливыми зигзагами совершенно алогичного сюжета воссоздана гибель человека, угнетаемого безликими и зловещими силами, — что общего



между этими произведениями и почему именно они должны быть признаны образцами современного романа?

Тут стоит сразу же ответить Г. М. Энциенбергеру: элементы реализма в каждом из этих романов, конечно, есть. И не только реализма, но и критицизма по отношению к буржуазному обществу. Пруст существенными сторонами связан с большой традицией французского реалистического обличительного романа; в его зарисовках типов и быта правых классов Франции конца XIX — начала XX века многое увидено беспощадно и точно, воссоздано с полным соблюдением жизненной достоверности. Леопольд Блум, главный герой «Улисса», — сатирическая гипербола с вполне конкретным социальным содержанием: в нем раскрывается низменность помыслов, пошлость поступков ирландского, а вместе с тем, по явному замыслу автора, и вселенского Мещанина. В фантастических ситуациях романов Кафки отражены некоторые подлинные черты старой Австрии и старой Чехии, в них по-своему — в зашифрованной, символической форме — передана бесчеловечность феодально-бюрократического государства с его многоступенчатой иерархией и полным бесправием рядовых граждан. Однако то конкретное содержание, которое заключено в творчестве каждого из основоположников модернистского романа, представляет для них не первую важность. Пруст не для того создавал свое гигантское повествование, чтобы развенчать Свана или Германтов, вывести на чистую воду Шарлюса или Вердюренов; Джойс не для того строил затейливо-громоздкое здание «Улисса», чтобы заклеить Леопольда Блума. И Пруст, и Джойс, и Кафка, каждый из них по-своему, хотели выразить в своих произведениях — и выразили с большой оригинальностью и талантом — свое отношение не столько к буржуазному обществу, сколько к жизни вообще. Они — каждый по-своему — выразили определенную философию, основы которой хорошо знакомы нам и по многим старым произведениям русского декаданса: непознаваемость мира, всеислие зла, непреодолимое одиночество человека. Именно эта система взглядов, приобретающая каждый раз — и у Пруста, и у Джойса, и у Кафки — свои оттенки и особенности, порождает и своеобразие художественного строя их романов. В этом смысле между нами, при всех существенных

различиях, действительно есть общее. Сверхтонченный психологический анализ Пруста и плоскостное, нарочито упрощенное изображение человека-щепки, человека-жертвы в романах Кафки опираются на сходную философскую основу. Каждый из трех больших мастеров-модернистов отразил в своем творчестве (и не только отразил, но и принял как роковую неизбежность!) разобщение человека в буржуазном обществе эпохи империализма.

«Каждый человек глубоко одинок»; эти слова Пруста — не случайно брошенное замечание. Это основа основ его мировоззрения, реализующаяся во всей образной системе романа «В поисках утраченного времени». Человек трагически, непреодолимо отъединен не только от других людей, но и от всего окружающего мира, от всей реальности бытия. А есть ли она, эта реальность? И можно ли познать ее средствами искусства? «Подлинная реальность, — утверждает Пруст, — образуется только памятью». Мир существует для художника лишь постольку, поскольку его видит или о нем помнит воспринимательное «я». «Места, которые мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной нашим воображением, куда мы помещаем их для большего удобства. Каждое из них есть лишь тоненький ломтик, вырезанный из смежных впечатлений, составлявших нашу тогдашнюю жизнь; определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи, столь же мимолетны, увя, как и годы». Пренебрежение к миру реальному, окружающему человека, гипертрофированное внимание к собственному внутреннему миру становятся особенно явственными у автора-повествователя тогда, когда речь идет о моментах эмоционального подъема: «Вид открытой шеи Альбертины, ее слишком румяных щек до такой степени меня опьянил — то есть переместил для меня реальность мира из природы в поток ощущений, едва мною сдерживаемых, — что рушилось равновесие между огромной, неистребимой жизнью, протекавшей во мне, и жизнью вселенной, такой жалкой по сравнению с ней...»

А. В. Луначарский, ценивший талант Пруста очень высоко, справедливо писал о нем во вступительной статье к собранию его сочинений, предпринятому у нас в тридцатые годы: «Марсель Пруст с самого на-

чала подходит к своим поискам пропавших времен не для того, чтобы восстановить эпоху (это задача для него второстепенная), а для того, чтобы с особенной глубиной и вкусом еще раз пережить свою жизнь, и притом, так сказать, вместе с читателем; поэтому вопрос об основном носителе всего процесса, о личности, в особенности о «моей личности», становится центральным для понимания всего смысла произведения». В исследовании тонкостей и деталей психического процесса, в передаче изгибов и изломов хрупкой и утонченной души у Пруста были и свои находки. Но субъективистский способ видения до крайности обеднял, отчасти и искажал создаваемую им картину жизни.

В «Улиссе» Джойса по сравнению с романом Пруста образ мира многообразнее и пестрее; в него входят очень различные элементы будничной действительности, разноголосые шумы города, уличные толпы, сутолока и проза обывательского быта, входит многое, от чего боязливо отворачивался изнеженный и замкнутый Марсель, герой «В поисках утраченного времени». В «Улиссе» автор не сливается с рассказчиком, а как бы прячется то за одного, то за другого из главных персонажей, передает поток их затаенных мыслей и способ видения жизни, присущий каждому из них,— это придает «Улиссу», хотя бы в отдельных его частях, своеобразный отпечаток рельефности. Но ограниченность, духовная и моральная ущербность героев Джойса окрашивают и картину мира в романе. Животная тупость Леопольда Блума и его жены Марион, снобистское равнодушие интеллигента-индивидуалиста Стивена Дедалуса — все это определяет общее настроение «Улисса»: мерзость мешанского бытия трактуется как мерзость бытия вообще.

Приведем отрывок из романа:

«С бьющимся сердцем он толкнул дверь ресторана Бэртона. Вонь стиснула его дрожашее дыхание: острый запах мясной подливки, бурды из овощей. Скотина у кормушки.

Мужчины, мужчины, мужчины.

Взобравшись на высокие табуреты у стойки, сдвинув шляпы на затылок, за столиками требуя еще хлеба бесплатно, прихлебывая, по-волчьи глотая полными ложками помон, выпуча глаза, вытирая мокрые усы. Бледный сальволицый юноша вытирает стакан, нож, вилку и ложку своей салфет-

кой. Свежая порция микробов. Человек с закапанной соусом салфеткой, по-детски подвязанной вокруг шеи, пропускает булькающий суп в свою гортань. Другой, выплевывая что-то на тарелку: полупрожеванный хрящ: зубов нет, нечем жеважеважевать. Подошва, поджаренная на рашпере. Давится, чтобы поскорей. Угрюмые глаза пьяницы. Много откусил, не прожевать. Неужели я такой? Посмотри на себя со стороны. Пусто в брюхе, сам не в духе. Работают не за страх, а за совесть. Стой! А! Кость попалась! Последний ирландский король-язычник Кормах, из хрестоматии, подавился насмерть в Слетти, к югу от Бойна. Интересно, что он ел. Уж верно какие-нибудь деликатесы. Святой Патрик обратил его в христианство. А все-таки подавился.

...Он попятился к дверям. Закушу слегка у Дэви Бирна. Червячка заморить. Для поддержания сил. Позавтракал сытно.

— Жаркое и пюре сюда.

— Пинту портера.

Все вцепились в свои тарелки, не оторвешь. Жевок. Глоток. Жевок. Жратва.

Он вышел на чистый воздух и повернул назад, к Графтон-стрит. Ешь или тебя съедят. Убивай! Убивай!»<sup>1</sup>

Здесь — в отличие от многих других страниц «Улисса» — нет ни тонко рассчитанного словесного хаоса, ни переусложненной ассоциативности, ни других хитросплетений стиля, которые воздвигают барьер между романом и читателем и местами начисто разрушают реалистическую ткань повествования. Тут намеренно выбран отрывок, вполне удобопонятный и вместе с тем характерный для манеры Джойса. Нельзя не почувствовать изобразительной силы писателя, нельзя не поверить в подлинность его отвращения к жадным, тупым, самодовольно жующим. Понятно, что брошенный попутно афоризм «ешь или тебя съедят» высказан не от имени автора, а от имени его героя Леопольда Блума; за цитируемыми строками следует длинный абзац, где Блум в самом отвратительном свете рисует себе «общую кухню» в каком-то туманном будущем — это, видимо, отражает представления мешанина о социализме. Но Джойс тут — как и в любом другом эпизоде «Улисса» — подчиняет себя своему пер-

<sup>1</sup> См. «Интернациональная литература», № 2, 1936.

сонажу, растворяется в нем. И мысль об исконной ущербности всех людей, о безотрадности человеческого существования вообще с неумолимой настойчивостью встает со страниц романа.

Иногда в нашей критике встречается противопоставление раннего Джойса, который оставался в основном в рамках реализма, Джойсу зрелому, модернисту. Такое противопоставление оправдано, но лишь частично. В раннем автобиографическом романе «Портрет художника в молодости» очень отчетливо обрисовано духовное становление молодого интеллигента-бунтаря, того же Стивена Дедалуса, который высвобождается из-под гнета обывательской семьи, школы, церкви, порывает со своей средой, чтобы начать новую жизнь. Но как, во имя чего он хочет жить? «Не боюсь одиночества. Не боюсь чьего-либо презрения. Не боюсь ошибки, даже если бы она и длилась всю жизнь или вечность». Он решает «не служить никому и ничему» и в качестве средства самозащиты от враждебного ему мира избирает «молчание, изгнание, хитрость». Такова была исходная точка развития автора «Улисса»: ненависть к буржуазному обществу, отчужденность от него, переходящая в отчужденность от всякого общества, в анархически-богемную асоциальность. Именно эта позиция влекла талантливого и одинокого художника на путь формалистических экспериментов. Может ли такая позиция быть образцом для современного писателя?

Обратимся к Кафке. Советский читатель с ним, как правило, незнаком, и потому, быть может, целесообразно прежде всего привести целиком одно из наиболее известных его произведений. Это рассказ-притча «Перед законом», который не раз публиковался отдельно и входит как важная составная часть в роман «Процесс»:

«Перед законом стоит стражник. Приходит к этому стражнику человек из деревни и просит пропустить его в закон. Но стражник говорит, что сейчас не может пропустить его. Человек, подумав, спрашивает, можно ли ему будет войти позже. «Возможно,— говорит стражник,— но теперь — нет». Так как ворота в закон открыты, как всегда, и стражник отошел в сторону, человек нагибается, чтобы заглянуть через ворота вовнутрь. Когда стражник замечает это, он смеется и говорит: «Если тебя туда так тянет, попробуй войти, несмотря на

мой запрет. Но заметь себе: я силен. И я только низший стражник. От зала к залу расставлены стражники, один сильнее другого. Уже на третьего я даже не в состоянии смотреть». Таких трудностей человек из деревни не ожидал; ведь закон должен быть доступен всем и каждому, думает он, но, посмотрев поближе на стражника в меховой шубе, на его большой острый нос, на его длинную жидкую татарскую бороду, он решает, что лучше уж подождать, пока позволят войти. Стражник дает ему табуретку и велит сесть в стороне от ворот. Там он сидит дни и годы. Он много раз пытается добиться разрешения войти и надоедает стражнику своими просьбами. Стражник часто учиняет ему небольшой допрос, расспрашивает его о родине и о многом другом, но спрашивает равнодушно, как это делают большие господа, и под конец снова и снова говорит, что еще не может пропустить его. Человек, основательно снарядившийся в дорогу, отдает все, что у него есть ценного, чтобы подкупить стражника. Тот принимает все это, однако говорит: «Я принимаю это только для того, чтобы ты не думал, будто ты упустил что-то». Много лет подряд человек почти непрерывно смотрит на стражника. Он забывает о других стражниках, именно этот первый кажется ему единственной преградой к тому, чтобы войти в закон. Он проклиная свою незадачу, в первые годы беззастенчиво и громко, а потом, состарившись, только ворчит про себя. Он впадает в детство и, разглядев за много лет даже блох в меховом воротнике стражника, просит блох помочь ему и умиловать стражника. Наконец у него слабеет зрение, и он не знает, то ли вокруг на самом деле темнеет, то ли глаза его обманывают. Но он и в темноте различает неугасимый свет, исходящий из двери, за которой — закон. Ему осталось жить недолго. Перед смертью все испытанное за это время претворяется в его голове в вопрос, который он покидая еще не задал стражнику. Он кивает ему, ибо не может поднять цепенеющего тела. Стражник низко наклоняется к нему, потому что разница в их росте очень изменилась не в пользу человека. «Что ты еще хочешь знать? — спрашивает стражник. — Вот ненасытный». — «Все стремятся к закону, — говорит человек, — как же получилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не пытался войти?» Стражник понимает, что человек

уже кончается, и, чтобы достичь его угасающего слуха, орет на него: «Сюда никто не мог войти, этот вход был предназначен только для тебя. Сейчас пойду и закрою его».

Как понять эту притчу? Американский почитатель Кафки У. Кауфман, включивший «Перед законом» в свою хрестоматию по экзистенциализму, говорит именно в связи с этим произведением, что творчество Кафки «допускает множество разнообразных толкований», ибо «двузначность — основа его искусства». Выражая широко принятый в буржуазной науке взгляд на Кафку, У. Кауфман утверждает, что в его произведениях рисуется человек «вообще» (безликий, лишенный индивидуальности человек, некто, «тап», по терминологии Хейдеггера), заброшенный в абсурдный мир<sup>1</sup>.

И в самом деле: притча «Перед законом» передает в предельно сжатой, спрессованной форме тот конфликт, на котором строятся основные романы Кафки. Землемер К., вызванный на работу в замок графа Вествеста, несмотря на отчаянные старания, не может проникнуть не только к графу, но и к тем графским служащим, от которых зависит его назначение, и умирает, так ничего и не добившись («Замок»); банковский служащий Иозеф К. приговорен к смертной казни за неведомое ему самому преступление, не может добиться справедливости и подвергается казни («Процесс») — словом, человек бессилён в столкновении с непостижимой Неправдой, с иррациональным Злом. Но для нас не безразлично, что герои Кафки принадлежат к миру бесправных и униженных; страдающий человек у Кафки, при всем схематизме его характеристик, не абстрактный и внесоциальный «некто», а представитель многомиллионного племени угнетенных, — это, хотя бы отдельными штрихами и намеками, отражено и в предельно упрощенном образе «человека из деревни» из притчи «Перед законом». У Кафки фантастическое смешивается с буднично реальным: в знаменитом рассказе «Превращение», где повествуется о том, как коммивояжер Грегор Замза неожиданно, по неведомым причинам обернулся сороконожкой, и сам Грегор, и его родители даны как вполне живые типы, порожденные определенными условиями, определенной средой.

Невероятная судьба Грегора по-своему отражает трагедию бедняка-обывателя, подавленного нуждой и служебной зависимостью, привыкшего кланяться начальникам и в поте лица своего обеспечивать «приличное» существование семье; нечто от насекомого было в Грегоре и до того, как совершилось роковое превращение...

Есть немало верного в работах тех западных критиков-марксистов, которые отмечают социально-обличительное начало в произведениях Кафки: оно особенно заметно и конкретно в его раннем неоконченном романе «Америка». При всей отвлеченности образов и сюжетов Кафки в них выражена глубочайшая боль по поводу того, как несправедливо устроен мир. Но силы, враждебные человеку, приобретают у Кафки мистические, гиперболизированные размеры, они окружены туманом злой таинственности, которая делает их неуязвимыми, — именно таков непостижимо жестокий Закон в приведенной выше притче.

И. Эренбург сказал в своей речи в Ленинграде, что Кафка предвидел страшный мир фашизма. Да, Кафка смутно предчувствовал нарастание реакционных, человеконенавистнических сил в самом центре Европы, — это предчувствие воплотилось и в том, как показан судебно-бюрократический произвол в романе «Процесс», и в кошмарных картинах пыток, утонченных истязаний, которым подвергаются персонажи рассказа «В штрафной колонии». Однако и здесь Зло загадочно, а люди — в положении пассивных жертв. Правда искусства сочетается с устрашающими фантазмагориями.

Можно понять, почему наследие Кафки, истолкованное в духе религиозного мистицизма или реакционной философии абсурда, так усиленно пропагандируется буржуазной критикой. Можно понять и то, чем оно привлекло после второй мировой войны немалую часть прогрессивно настроенной интеллигенции, почему его высоко ценят, например, такой большой художник-гуманист, как Генрих Бёльль. Кафка приобрел в эти годы известность как писатель, отразивший трагедийный характер эпохи. На Западе есть читатели, которых он привлекает именно своей отвлеченностью: каждый может подставить свои тяжелые воспоминания и травмы, свое личное одиночество, свои трудные поиски и блуждания под алгебраические формулы «Замка» и «Процесса». По-видимому, именно та-

<sup>1</sup> Walter Kaufmann. Existentialism from Dostoevsky to Sartre. N.Y. 1960, p. 122.

кая стихийная реакция на эти романы сказалась в признании Г. М. Энциенсберге-ра: «Я сам бывал в положении героев Кафки».

Энциенсбергеру возразил — в очень взволнованном, глубоко искреннем выступлении — известный поэт ГДР Пауль Винс, в прошлом узник гитлеровского концлагеря. Он сказал, что и ему, и его собратьям по заключению знакомы страдания героев Кафки. Но Винс тут же вспомнил о персонаже из сказки братьев Гримм, злом карлике Румпельштильцхене, который сохранял свою силу до тех пор, пока ему удавалось держать в тайне свое настоящее имя. Фашизм, по мысли Винса, «хотел бы остаться загадкой для нас». Однако изображение зла в ореоле загадочности никак не помогает борьбе со злом. Именно поэтому нельзя писать сегодня, сказал Винс, «как писал наш брат Кафка». Нужно ясно видеть зло, так же как нужно уметь ясно отвечать на вопросы, что такое добро, истина, справедливость...

В коллективном документе, принятом Ленинградской сессией, отчетливо выражено общее устремление писателей разных стран: помочь средствами литературного творчества «создать жизнь, достойную человека». Философия одиночества и отчаяния, капитуляция человека перед враждебными ему силами — все это в конечном счете препятствует осуществлению гуманистических задач, которые участники сессии признали своим общим делом. Именно поэтому советские литераторы не принимают творческих принципов Пруста, Джайса, Кафки, отдавая должное крупному таланту каждого из них и в полной мере осознавая их историко-литературное значение.

## 2. Подлинно живое наследие

Если романисты Европы хотят участвовать своим творчеством в отстаивании мира, в созидании жизни, достойной человека, то не естественно ли предположить, что в своей писательской работе они опираются и могут опереться на традиции тех писателей давнего и недавнего прошлого, которые внесли наиболее значительный вклад в гуманистическую культуру человечества?

В ходе прений действительно не раз возникали имена Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, но возникали по большей

части эпизодически. В иных случаях те зарубежные участники дискуссии, которые заявляли о своей приверженности к традициям классического романа, обнаруживали не слишком глубокое понимание этих традиций. Английский писатель Энгус Уилсон говорил о том, что «старые приемы построения сюжета» могут наряду с приемами более новыми помочь отобразить людей нашей эпохи и «удержать внимание читателя». Это верно. Но ведь наследие классиков западноевропейского романа не сводится для нас к определенной сумме испытанных приемов — об этом наследии стоило поговорить и в более принципиальном плане.

Некоторые из участников дискуссии обнаружили крайнюю путаницу в понимании элементарных историко-литературных истин. Ален Роб-Грийе выразил удивление, что советские литераторы защищают «форму романа XIX века»; помилуйте, как же так — ведь роман этот «соответствует эпохе власти буржуазии». У нас каждому школьнику старшего возраста известно, что величайшие мастера западноевропейского романа XIX века расшатывали власть буржуазии, а не укрепляли ее... К сожалению, в романах самого А. Роб-Грийе, будь то «Соглядатай» или «В лабиринте» — произведениях, оригинальных по манере письма, но не слишком богатых содержанием, мы не находим и сотой доли той смелости, новизны жизненных открытий, той антибуржуазной взрывчатой силы, какую обладал любой роман консерватора и монархиста Бальзака. И, на наш взгляд, не стоило бы другому французскому участнику дискуссии, Бернару Пенго, ссылаться на Бальзака в доказательство того, что романист не всегда может предвидеть, каким целям послужат его произведения. Не только творческая практика Бальзака, но и очень многое из его мыслей о природе искусства, о задачах романа имеет прямое отношение к сегодняшним спорам и говорит о прозорливости гениального французского писателя. Бальзак мог ошибаться в оценке тех или иных явлений современной ему действительности, но он мудро понимал назначение искусства, видел, в чем подлинный источник бессмертия художника. «Литература есть выражение общества», «Художник связанностями, — более или менее тонкими, узкими, — более или менее интимными, с нарождающимся движением», «Секрет всемирного, вечного успеха в правдивости» — эти

заветы Бальзака и сегодня поучительны для романистов, особенно для тех, кто склонен растворять правду искусства в сомнительных формальных экспериментах.

Разумеется, правду искусства можно понимать по-разному. Югославский писатель Душан Матич почти все свое выступление посвятил Толстому. Он подтвердил, ссылаясь на личный опыт, то, что известно нам и по многим другим примерам: Толстой помог ему — как помог и ряду других зарубежных литераторов разных поколений — преодолеть эстетские, формалистические увлечения, понять, что искусство должно быть отражением подлинной жизни. Но в истолковании Матича реализм свелся главным образом к внешнему жизнеподобию: в качестве образца и своего рода символа толстовского мастерства Матич выставил «платье Анны Карениной», для описания которого Толстой, мол, чтобы не ошибиться, прибег к помощи Софьи Андреевны. Спору нет, Толстой умел, быть может, как никто, добиваться осязаемости, наглядности своих образов, иной раз не пренебрегал и мельчайшими деталями быта, но разве в этом суть толстовского реализма?

Во вступительной речи председатель Европейского сообщества писателей Джузеппе Унгаретти очень проникновенно говорил о значении классиков русского романа для писателей Запада. Эта тема, к сожалению, не получила развития в ходе дискуссии. Толстой и Достоевский по большей части рассматривались ораторами как составная часть несколько отвлеченно понимаемого целого — «романа XIX века». Если бы участники дискуссии точнее определили место Толстого и Достоевского как художников, обозначивших этап в развитии романа, это могло бы оказаться плодотворным и для обсуждения более общих проблем традиции и новаторства. Ведь именно Толстой и Достоевский — каждый из них, конечно, по-своему — стоят у истоков тех художественных открытий, которыми обогатился роман нашего столетия. Ведь именно от них идут и новые способы строения романтического действия, и глубокое введение интеллектуальных, философских мотивов в ткань романтического сюжета, и безбоязненное исследование внутреннего мира человека, и реалистическое проникновение в мир подсознательного. Именно они с чудодейственной художественной мощью начали отражать средствами романа то действительно новое,

что созревало в жизни человечества на исходе прошлого столетия, чему суждено было развернуться во всю ширь в веке двадцатом: непримиримость антагонизма «верхов» и «низов», непрочность устоев эксплуататорского строя. Толстой первым задумался над тем, каким благодарным предметом для романа является «простая жизнь в столкновении с высшей»; он крепче, нежели кто-нибудь из прозаиков до него, полюбил «мысль народную» и сделал ее основой новаторски построенного романа-эпопеи, предвосхищая одно из важных завоеваний передовой литературы нашего века — изображение динамики исторического процесса через эпическое действие большого размаха. У Достоевского тема «униженных и оскорбленных» впервые стала психологическим и поэтическим стержнем не одного, а целой серии романов-трагедий, где коллизии будничного существования людей в бесчеловечно устроенном обществе были подняты на поистине шекспировскую высоту... Разве же было именно это — а не стилистические ухищрения «Улисса» — подлинным переворотом в литературе?

Новаторская роль русских классиков в развитии искусства романа нередко признается даже теми серьезными западными учеными, которые как нельзя более далеки от социалистических идей; так, американский литературовед Джордж Стейнер в вышедшей не так давно книге о Толстом и Достоевском относит всех западных прозаиков XX века к «послерусской эре», справедливо считая, что после обоих великих романистов уже нельзя было писать так, как писали до них.

Широко принятая на Западе переоценка значения модернистской «триады» отчасти связана с тем, что почитатели Пруста, Джойса, Кафки склонны без достаточных на то оснований присваивать им приоритет в тех областях романического мастерства, в которых они использовали — чаще всего односторонне и искаженно — то, что было найдено классиками русского романа. Внутренний монолог в его различных стилистических вариациях, включая и «поток сознания», то есть воспроизведение подспудной, неслышной, подчас логически неупорядоченной внутренней речи человека, был впервые широко применен Толстым, а не Джойсом и не Прустом; душевный мир бесправных и обиженных, включая тончайшие психологические оттенки человеческого стра-

дания, зависимости, приниженности, был по-настоящему глубоко исследован Достоевским, а не Кафкой. Притом великие русские реалисты в отличие от их модернистских эпигонов не обедняли образ человека, выводя его из системы общественных связей; напротив — изображение человека во всей сложной совокупности социальных условий, отношений, антагонизмов, притяжений и отталкиваний становилось у них средством невиданно гибкого и полного познания личности. А всестороннее изучение духовной и душевной жизни людей, принадлежавших к разным классам и слоям, помогало строить остро драматичный романический сюжет, создавать объемный синтетический образ общества, страны, эпохи.

Все это общеизвестно, обо всем этом уже не раз говорилось в работах советских литературоведов, многое из сказанного не раз отмечалось и в статьях и речах крупных западных писателей о Толстом и о Достоевском. Но обо всем этом стоит напомнить, потому что для дальнейшего развертывания международных дискуссий о романе очень важно, чтобы ценности, искусственно раздутые, не подменяли собою ценностей реальных, бесспорных и чтобы каждый из отцов или дедов современного романа встал на то место, которое им действительно заслужено.

И. Анисимов напомнил, что в ряду подлинных отцов современного романа необходимо назвать Горького. Действительно, этого требует элементарная справедливость. Нет необходимости пространно говорить здесь о роли Горького в развитии мировой литературы — об этом красноречиво свидетельствовали в разное время и Ромен Роллан, и Бернард Шоу, и Томас и Генрих Манны, и Эптон Синклер, и Шервуд Андерсон, и Анри Барбюс, и Бертольд Брехт, и многие другие всемирно признанные писатели XX века, притом далеко не только те, кто принадлежал к кругу политических единомышленников Горького. Есть все основания поверить Томасу Манну, сказавшему о Горьком в 1949 году: «От него исходило обновление, которое еще долго будет оказывать свое воздействие»<sup>1</sup>.

Недавно вышел 70-й том «Литератур-

ного наследства», содержащий переписку Горького с советскими писателями. Там можно найти немало характерных признаний — что значил Горький как старший друг и учитель, как самый доподлинный отец в сфере литературного творчества для М. Шолохова, К. Федина, Л. Леонова, Ф. Гладкова. «Около вас хочется жить, около вас жизнь приобретает особые формы — большие и устремляющиеся», — писал Алексей Толстой. «Мысль о вас заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил», — так сказано в письме И. Бабеля. Такие свидетельства ценны не только для историков советской литературы: ведь многие из духовных детей или младших братьев Горького сами приобрели международное значение, оказали и оказывают ощутимое влияние на романистов разных стран.

В этой же книге мы находим письмо к К. Федину от 20 декабря 1924 года, где Горький делится мыслями, имеющими прямое отношение к современному спорам о романе: «Вы говорите: вас мучает вопрос «как писать?»... Да, да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня вопрос этот формулируется так: как надо писать, чтоб человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою убедительностью его полуфантастической реальности, с какою вижу и ощущаю его? Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела. Черт побери все пороки человека вместе с его добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне, — дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петьель — тугой сепи исторического прошлого, подскокнуть выше своей головы, выдраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека.

Подлинную историю человека пишет не историк, а художник. Ни Соловьев, ни Момзен не могут написать д-ра Фауста, Дон-Кихота, Ивана Карамазова, Платона Каратаева, а именно эти люди — суть люди, творящие материал для Нибуров и Ключевских».

Не будем принимать буквально неожиданный полемический выпад Горького против

<sup>1</sup> «Tägliche Rundschau». 4.VIII-1949 (цитируется по книге Л. М. Юрьевой «М. Горький и передовые писатели XX века». М. 1961, стр. 44).

«хитростей разума» — судя по контексту, тут идет речь не столько о разуме, сколько о близоруким обывательском или догматическом рассудке. Важно, что Горький здесь — в полном согласии с Бальзаком, с Толстым, со всеми великими реалистами прошлых поколений — считал главной из главных задач писателя создавать жизненно убедительный образ человека. Мы видим и то новое качество гуманизма, которое отличало социалистического реалиста Горького от мастеров романа XIX века. Горьковское представление о настоящем человеке включало в себя дерзание, устремленность в будущее, «чудовищное упрямство быть чем-то больше себя самого»...

Любопытное совпадение! Ганс Магнус Энгенсбергер, который, конечно, не мог еще прочесть недавно опубликованных писем Горького к Федину, в речи в Ленинграде на свой лад варьировал горьковское сопоставление художника и историка. Литература, сказал он, — подлинная историография человечества. В трудах историков есть события, но нет конкретных рядовых людей, участников этих событий, — в романе такие люди должны быть. И в подтверждение своей мысли Энгенсбергер цитировал начало известного стихотворения Брехта «Вопросы читающего рабочего»: /«Кто воздвиг семивратные Фивы? В книгах названы имена повелителей./ Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы?» Мы помним, что Энгенсбергер горячо отстаивал ценность Пруста, Джойса, Кафки. Но если он считает, что современный романист обязан ответить на вопросы брехтовского рабочего и рассказать о людях, которые будничным трудом своим создают все богатства мира, проникнуть в душевную жизнь этих людей, показать их реальную и потенциальную силу, их роль в истории — то это значит, что в своих взглядах на литературу он ближе к автору «Матери» и «Жизни Клима Самгина», чем к авторам «Улисса» или «Процесса». Кружным путем, через Брехта — а еще больше, наверное, через революционную действительность нашего времени, — пафос Горького достиг сознания западногерманского писателя и воздействует на него.

Этот пример характерен. Спор об отцах имеет вовсе не академическое значение. Практика борьбы с реакционными силами современного мира подсказывает и будет

подсказывать честным литераторам Запада такие эстетические принципы, такие художественные решения, которые идут в русле прогрессивных традиций мировой литературы давнего и недавнего времени. Поэтому практически важно осмыслить то актуальное, сегодняшнее, что заключено в этих традициях. И поэтому особенно обидно, что многие из западных участников ленинградской сессии отнеслись, так сказать, не похозяйски к культурному достоянию собственных народов.

Есть основание и удивиться и огорчиться, что в речах этих писателей вовсе не прозвучало, например, имя Романа Роллана. Его память бессмертна для нас не только потому, что он отстаивал дело мира и взаимопонимания народов, не только потому, что он, как бы предвывая нынешние цели Европейской общности писателей, стремился сплотить лучшие творческие умы Европы во имя жизни, достойной человека. В счете проблем, которые обсуждались на сессии, важно другое: Роллан внес немало нового в развитие искусства романа.

Желая создать «интеллектуальную и нравственную эпопею современной души», эпопею, которую он сам считал «формой искусства, новой для Франции», он ломал рамки традиционных романических сюжетов, внедрял в повествование философию и публицистику, связывал личные судьбы своих героев — и Жан-Кристофа, и Аннеты Ривьер — с самыми острыми и сложными проблемами времени. В творчестве Роллана впервые проявилась и другая характерная тенденция романа XX века: сближение литературы со смежными искусствами, в частности с музыкой — сближение в смысле выразительных средств, законов композиции, — и вместе с тем рост внимания к высшим, сложнейшим процессам умственной деятельности человека; в «Жан-Кристофе» он достиг такой конкретности в изображении художественного творчества, какая вряд ли была доступна роману прошлого столетия; в «Кола Брюньоне» Роллан, опять-таки предвосхищая важные тенденции литературы наших дней, прославил человека из народа и его труд. «радость верной руки, понятливых пальцев», — разве не было все это вкладом в искусство романа? В творчестве Роллана немало художественно спорного, на сегодняшний взгляд, и художественно наивного, но вряд ли стоит проходить мимо свидетельства Роже Мартен дю Гара: многие



страницы «Жан-Кристофа» представляют «ни с чем не сравнимый урок для подлинного романиста, образец романа в его чистом виде». Кстати сказать, о Мартен дю Гаре, о его «Семье Тибо», своеобразно построенном монументальном повествовании, где история духовного становления двух братьев так убедительно переходит в политическую хронику эпохи,— тоже никто не вспомнил. А ведь значение «Семьи Тибо» для современности далеко не только в том, что романист очень достоверно и зримо передал напряженность событий «лета 1914 года» — событий, последствия которых так разносторонне и драматически отозвались на дальнейших судьбах человечества; оригинальность, новизна этого романа и в том, как рельефно удалось романисту воплотить в обоих братьях Тибо типические характеры людей нашего столетия, людей деятельных и духовно здоровых, живущих напряженной умственной жизнью, по-разному и в разные сроки выламывающихся из норм буржуазно-собственнического бытия. Неужели мятежный Жак Тибо, а тем более его прообраз и предшественник, гениальный бунтарь Жан-Кристоф меньше принадлежат двадцатому веку, чем рафинированный индивидуалист Марсель из «Поисков утраченного времени»?

Лишь изредка всплывало на ленинградской сессии имя Томаса Манна. Р. Матушевский назвал Т. Манна в ряду мастеров реалистического романа, находящихся на одной линии с Бальзаком и Толстым,— это совершенно верно. Однако есть все основания задуматься над ролью Томаса Манна не только как хранителя или продолжателя великих традиций, но и одного из новаторов романа XX века. Томас Манн живо откликался на проблемы времени и как публицист и оригинальный мыслитель, и как романист: он пытался осмыслить философию эпохи средствами реалистического повествования, передавал исторические сдвиги и борьбу идей современного ему мира, по-новому сплавы воедино образы и понятия в своих больших повествованиях, столь медлительных и столь исполненных драматизма. И «Волшебная гора», и «Лотта в Веймаре», и «Доктор Фаустус» подтверждают то, о чем, оперируя совсем другим материалом, говорил на сессии Д. Гранин: драма идей, добывание истины — увлекательный предмет для романиста. Не внешние события, не традиционная

фабула или интрига движут действие романов Томаса Манна, а поиски ответа на вопросы, имеющие для людей современности насущное значение. Гораздо более насущное, чем те мелкие заботы, какими поглощены герои французского «нового романа»!

О значении наследия таких мастеров прозы XX века, как Ромен Роллан или Томас Манн, стоит напомнить вовсе не для того, чтобы лишний раз отдать должное их заслугам,— об этих заслугах уже много раз говорилось в работах зарубежных и советских критиков. Тут стоит принципиальный вопрос: чье наследие важно, актуально для романистов наших дней? Ромен Роллан и Томас Манн во многом резко различались — и по манере письма, и по воззрениям. Но в них есть то общее, что делает их писателями XX века, и вместе с тем — что противостоит модернизму. Это общее заключено в самых основах их взгляда на мир и на человека. Оба они решительно отвергали и ницшеанскую концепцию человека-зверя, и декадентскую концепцию человека-насекомого. Оба они — уж конечно, не с меньшей остротой, чем Джойс или Кафка! — ощущали драматическое напряжение эпохи, видели, что человечеству суждено двигаться вперед, проходя через потрясения и катастрофы; ощущение этой катастрофичности исторического развития по-разному сказывается в их романах (само собой разумеется, что автор «Очарованной души» видел направление и перспективы исторического развития несравненно яснее, чем автор «Волшебной горы»). Но так или иначе — оба художника перед лицом великих потрясений современности утверждали высокое назначение человека, его долг, его возможности, стремясь отразить в романе возросшую душевную сложность человека XX столетия и построить новыми средствами большое синтетическое повествование. Вот это и определяет ценность того, что завещано ими, для романистов сегодняшнего дня.

У обоих писателей имеется немало замечательных страниц, которые могут помочь (и помогают) творческой интеллигенции нашего времени выработать в себе трезвое отношение к соблазнам модернистского искусства. Мы имеем в виду не только обличение «ярмарки на площади» у Романа Роллана, не только исполненное мужественной (во многом самокритической) горечи жизнеопи-

сание композитора Адриана Леверкюна у Томаса Манна, но и те прямые литературные оценки, которые содержатся в их статьях и письмах. Томас Манн высоко ценил оригинальный талант Кафки, но определял содержание его творчества как «невразумительность жизни, неприкаянность человека» и уже этим устанавливал дистанцию между ним и собою. Любопытно у Томаса Манна сравнение Достоевского с Прустом: «Достаточно привлечь для сопоставления Пруста и те психологические *poiveautés*, сюрпризы и побрякушки, которыми изобилуют его книги, чтобы понять разницу в направленности, нравственном смысле творчества этих писателей. Психологические находки, новшества и смелые ходы француза не более чем пустячная игра в сравнении с жуткими откровениями Достоевского, человека, который побывал в аду». Не менее примечательно добродушное, а по сути дела очень неприемлимое суждение Роллана о Джойсе, высказанное от имени героев «Жан-Кристофа». «Спасибо,— писал Роллан своему другу Луи Жийе в 1942 году,— что вы немного примирили меня с автором «Улисса», заставляющего моего Кристофа с отвращением морщить нос. Оливье, более вольный и более разносторонний, признает, как искусно это написано, но отворачивается с боязливой жалостью (которая оскорбила бы Джойса еще больше, чем ярость Кристофа) от этого тяжелобольного, запечатлевшего (вместе с четырьмя-пятью другими) трагическое разложение мозга целой большой цивилизации».

Все это имеет самое непосредственное отношение к тому спору об «отцах» современного романа, который развернулся на ленинградской сессии. В критике Пруста, Джойса, Кафки и их нынешних эпигонов советские литераторы имеют возможность опереться не только на опыт русских классиков, не только на заветы Горького, но и на традиции и суждения тех больших западных реалистов XX века, которые по самой сути своего творчества противостояли модернизму и к которым многие участники симпозиума отнеслись с досадным невниманием.

Некоторые из ораторов, вспоминая о Драйзере и Синклере Льюисе, с легким сердцем отсылали их в девятнадцатый век как романистов «традиционных». Но ведь Драйзер первым пробил брешь сквозь стену мешанских предрассудков, закрывавших американскому роману дорогу к худо-

жественной правде, первым стал искать способ воплотить в романе деляческий ажиотаж и мертвящее бездушие «американского образа жизни»; без его творческого подвига не были бы возможны ни Хемингуэй, ни Фолкнер, ни Стейнбек. А так ли уж традиционен Синклер Льюис? Во многих его романах видны результаты смелых поисков — без этих поисков не могли бы быть написаны ни «Бэббит», где сатирический комментарий повествователя так спокойно, неназойливо и убедительно дает ошутить все убожество и всю типичность изображаемых лиц и событий, ни «У нас это невозможно» — оригинально задуманный роман-памфлет и в то же время роман-утопия. В свете тех конкретных проблем, о которых говорил в своей речи Д. Гранин, стоит вспомнить, что именно «Эроусмит» открыл собою длинный ряд современных романов, где показан труд ученого и связанные с ним сложные общественные и психологические коллизии.

Многие из западных участников сессии, широко пользуясь формулой «традиционный роман», склонны были рассматривать как единое целое все, что создано в области реалистического романа и в XIX и в XX веках. По этой странной логике «Улисс», законченный в 1921 году, должен считаться романом «современным», а «Доктор Фаустус», вышедший после второй мировой войны, написанный по самым горячим следам ее событий и такой неожиданный по форме, — романом «традиционным». Несправедливо!

А ведь очевидно, что реалистический роман XX века не только в своем непосредственном, сегодняшнем выражении, но и в своих истоках — роман Роллана, Томаса и Генриха Маннов, Драйзера, а тем более роман Горького или Барбюса, знаменовавший рождение социалистического реализма, — не есть простое повторение традиций предыдущего столетия: он содержит важные новаторские элементы не только в смысле идейного содержания, не только в смысле жизненного материала, но и в области художественной формы.

Интересно проследить, например, как по своему расширялся диапазон эпического действия и в «Будденброках», и в «Жан-Кристофе», и в «Саге о Форсайтах», а затем в «Семье Тибо»; как традиционный роман об отношениях личности и общества перерастал в историю общества, роман-хронику или роман-эпопею; как возникали в романе

образы-гиперболы, вмещающие в себя большое эпохальное содержание, осмысленные в героическом или сатирическом плане: на одном полюсе Жан-Кристоф, а на другом — верноподданный Дидерих Гесслинг, а затем и мистер Бэббит; как индустриально-технический прогресс и связанные с ним общественные противоречия эпохи империализма уже в начале века стали давать новый материал и подсказывать новые формы романа не только Г. Уэллсу, но, скажем, и автору «Туннеля» Б. Келлерману; как у разных романистов XX века реалистическая достоверность все более смело и разнообразно приходила во взаимодействие с художественной условностью — не только у А. Франса, но впоследствии у К. Чапека; как не только в творчестве нашего Горького, но и у близких ему по духу западных писателей, отчасти и в «Кола Брюньоне», отчасти и у Джека Лондона, а тем более у Мартина Андерсена Нексе, стал входить в литературу новый герой, труженик, борец, рабочий человек, принося с собою в старое искусство романа новый мир эстетических представлений и образов, новое осмысление самых традиционных романических мотивов.

Над этими новаторскими особенностями реалистического романа XX века еще стоит задуматься.

### 3. Правда жизни и вымысел художника

Что такое реальность? — этот вопрос поставил в своей речи Ж.-П. Сартр как один из вопросов, требующих дальнейшего обсуждения. В самом деле: роман имеет дело с жизненной реальностью, отражает ее, но в каком смысле? По словам Сартра, «каждый писатель лжец, — он лжет, чтобы сказать правду». Иначе говоря — писатель оперирует вымышленными фактами и персонажами, чтобы таким путем раскрыть определенные стороны жизни.

Искусство — не копия реального мира, писатель творчески преобразует жизненный материал — этот мотив на разные лады варьировался в ряде выступлений, подчас приобретая полемический оттенок. В речах некоторых западных писателей звучали отголоски застарелых предрассудков, предубеждений против реалистической эстетики: реализм-де требует точного воспроизведения жизни, а художник должен, как сказал французский критик Роже Кайуа, прибавить к миру что-то свое.

Но эта полемика была мимо цели. Марксизм-ленинизм вовсе не рассматривает отношение искусства к действительности как тождество или механическое соответствие. Широко известна запись Ленина в «Философских тетрадах»: «Искусство не требует признания его произведений за действительность». С этим стоит сопоставить другое замечание Ленина: «Во всякой сказке есть элементы действительности»<sup>1</sup>. Для нас ясно, что даже самый жизнеподобный художественный образ не есть зеркально точное отражение реального мира; ясно, с другой стороны, что художественное обобщение может принимать формы, внешне не похожие на действительность, и вместе с тем заключать в себе жизненную правду. Все это нетрудно подтвердить практикой мировой реалистической литературы.

Притом совершенно очевидно, что правдивое отображение действительности в искусстве принимает в разные времена различные формы. Р. Кайуа пытался доказать, что пластичность, наглядность художественного изображения вроде бы и вовсе не нужны, ссылаясь на роман Прево «Манон Леско»: мы не видим физического облика Манон, но чувствуем силу ее обаяния. Да, в романе не описан облик Манон, но зато с большой конкретностью показано, как красота и обаяние Манон поразили и навсегда поработили несчастного де Грие. К таким приемам косвенной характеристики мировое искусство прибегало и задолго до «Манон Леско» — можно тут вспомнить замечание Толстого: Гомер, чтобы описать красоту Елены, говорит, что, когда она вошла, старцы изумились и встали... Толстой считал такой способ описания плодотворным для искусства и сам на свой лад применял его. У Толстого нигде не описан внешний облик Каренина, взятый в целом, но мы с первого чтения и на всю жизнь запоминаем его уши, на которые Анна обратила внимание после возвращения в Петербург, запоминаем еще несколько портретных деталей, с неприятно замеченных Вронским, — и этого достаточно. Каренин как живой перед нами. Этот простой пример показывает, что прием непрямого описания не противоречит художественной наглядности в реализме.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е, т. 29, стр. 53; т. 36, стр. 19.

С другой стороны, условный и даже фантастический элемент в реалистическом романе — явление возможное и даже частое, особенно если обратиться к западной литературе XX века. Весь вопрос в том, какую функцию выполняет этот элемент в каждом отдельном случае, — направлен он на то, чтобы раскрыть подлинные законы социальной жизни, как это нередко бывало у А. Франса или Г. Уэллса, или на то, чтобы затемнить их, подменить действительность кошмаром, мрачным наваждением, как это бывало в романах Кафки.

Стоит подумать над вопросом, который не был поставлен участниками сессии: над тем, как изменилось соотношение факта и вымысла в реалистическом искусстве в XX веке. Можно на многих примерах проследить, как возрастает в романе нашего столетия удельный вес подлинного жизненного материала, как все шире входят в романическое действие факты реальной жизни, факты современной истории. Иногда они присутствуют в романе как фон, иногда же становятся основой сюжета. Сплошь и рядом возникают произведения, где художественный вымысел сведен к минимуму или вовсе отсутствует; и у писателей и у читателей усиливается тяготение к роману-репортажу, роману-биографии. Об этом говорит и то широчайшее международное признание, которое получили такие выдающиеся произведения советской прозы, как «Чапаев», «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке», и громадный всемирный резонанс таких потрясающих человеческих документов, как фучиковский «Репортаж с петлей на шее», как «Дневник Анны Франк» или — в последнее время — «Допрос под пыткой» Анри Аллега. Тяготение к документальному жанру как одна из характерных тенденций литературы нашего времени по-своему сказало и в романе-автобиографии Симоны де Бовуар «Зрелый возраст», где Жан-Поль Сартр является одним из главных персонажей и где, по заверению автора, «есть умолчания, но нигде нет лжи».

В речи Гвидо Пьовене промелькнули интересные соображения о своеобразии тех условий, в которых находится современный писатель. Сегодняшняя действительность, сказал он, более отвлеченна, чем прошлое. Люди, с которыми мы в ней встречаемся, «менее конкретны, они кажутся нам растворенными в понятиях, в идеях, обретающих

почти физическую реальность, настолько, что мы, так сказать, можем потрогать эти идеи рукой». Взаимоотношения писателя и действительности, добавил Пьовене, «весьма суровы и жестки»... Все это сказано несколько смутно, но дает повод для размышлений.

«Историю творят теперь самостоятельно миллионы и десятки миллионов людей»<sup>1</sup>, — писал Ленин в 1918 году. За сорок пять лет, истекших с тех пор, еще намного шире стал круг людей, вовлеченных в крупные исторические события, намного повысился уровень сознательности масс, творящих историю. Вряд ли можно сказать, что отдельный человек сегодня обязательно «менее конкретен» для романиста. Но наверное можно сказать, что каждый отдельный человек обязательно видится романисту Запада в системе сложных исторических, социальных, политических связей и ассоциаций — как бывший прислужник фашизма или борец антифашистского сопротивления, как участник движения за мир или противник его, как избиратель, голосующий за ту или иную партию, как участник забастовок или штрейкбрехер, как политически активный гражданин или как обыватель, который самим фактом своего равнодушия к политике тоже служит определенным общественным силам... В наши дни общие понятия — такие, как прогресс, реакция, народ, нация, мир, война, — яснее, чем это могло быть в прошедшие эпохи, раскрываются перед взором художника в конкретных лицах (во всяком случае перед взором честного художника, не отуманенного антинародными предрассудками). Идеи конкретизируются в людях: не потому ли эти идеи обретают «почти физическую реальность»? Именно это и ставит не только вымышленного героя романа, но и самого романиста перед «суровой и жесткой» необходимостью осознать свою причастность к событиям истории, сделать выбор, принять решение, определить свое место в боях современности. Такое решение принимают самые разные персонажи новейшей литературы — от Роберта Джордана в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» до Пайла в «Тихом американце» Грэма Грина. Сама жизнь толкает романистов на то, чтобы отражать в повествованиях эту

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е, т. 36, стр. 82.

возрастающую связь отдельной личности с бурной, многосложной общественной реальностью наших дней. Отсюда и проистекает та закономерность развития современного романа, которая была отмечена в выступлении Л. Леонова: путь совершенствования романа — «повышение его мыслительной и образной емкости».

Это повышение емкости романа по-разному проявляется у различных писателей. Иной раз художники-реалисты, стремясь к обобщениям большого масштаба, создают своего рода образы-символы, вбирающие в себя большой жизненный материал, но как бы очищенные от мелочной достоверности, очерченные крупными штрихами, без особой детализации, — таков Флем Сноулс у Фолкнера, да, пожалуй, и Адриан Леверкюн у Томаса Манна. Иной раз, напротив, романисты обращаются к реальным жизненным фактам, полагая, что драматичная действительность нашего века сама по себе интересна и достойна отображения, — таковы большие автобиографические циклы Шона О'Кейси или Ярослава Ивашкевича. На одном полюсе роман-притча, роман с элементами иносказания, аллегория, на другом — роман-биография, роман-документ: эти разнообразные ответвления современного романа имеют общий корень — возрастание, укрепление связей между отдельной, частной судьбой и событиями исторического масштаба. Понятно, что и на том и на другом полюсе писателей подстерегают свои опасности. Чрезмерно скрупулезное воспроизведение будничных фактов — без достаточного отбора и обобщения — засоряет документальное повествование мелкими подробностями, может привести к стиранию граней между важным и неважным, — это идет во вред, например, большому автобиографическому повествованию Симоны де Бовуар. Тяга к чрезмерной обобщенности, давлении отвлеченных идей и символов на сюжет и образы, пренебрежение живой человеческой реальностью размывает ткань повествования — от этого страдают даже лучшие книги такого значительного художника, как Веркор. Само собой разумеется, что условные приемы, иносказание, символика и т. д. становятся особенно опасными, когда те общие идеи, которые захотел воплотить писатель, сами по себе сомнительны и нежизненны...

В ходе прений в Ленинграде много говорилось об обогащении романа новыми фор-

мами — тут упоминался и роман-аллегория, и роман-эссе, и роман полифонического, многопланового строения, и тенденция к вытеснению описания диалогом; очень интересны соображения, высказанные О. Крохмэлничану, о том, что в реалистическом романе XX века иной раз вовсе исчезает повествователь в традиционном смысле слова, всезнающий, вездесущий и безликий автор-демиург, — ныне повествователь либо сливается с главным героем, либо сам входит в действие, либо находит какой-либо иной способ осмысления и упорядочения фактов. В таких наблюдениях немало любопытного, их стоит проверить, продумать на широком материале современной литературы. Но нельзя согласиться с теми участниками дискуссии, которые выдвигали те или иные черты «современной формы романа» как нечто общеобязательное.

Такую попытку сделал, в частности, греческий писатель Илиад Венезис: ратуя за лаконизм и отказ от многословия, он рекомендовал романистам отказаться заодно и от анализа психологического состояния человека, его чувств и душевных движений, ибо такой анализ сегодня оказывается «чересчур громоздким»; по мнению И. Венезиса, в современном романе, по мере того как он становится хроникой эпохи, «личность теряет свое былое значение в интересах целого...» Подобного рода априорные требования могут лишь обеднить современный роман, они никак не подтверждаются практикой новейшей литературы. Они особенно наглядно опровергаются практикой романа социалистического реализма. На громадном полотне «Тихого Дона» личность не утрачивает свое значение: напротив, психологическая характеристика главных героев становится более объемной и глубокой благодаря тому, что каждая частная судьба рисуется во взаимодействии с большим общенародным, историческим целым. И. Венезис был, конечно, прав, когда советовал романистам отрешиться от велеречивости, от многословия. Велеречивость и вправду большой грех, особенно когда под ней скрывается скудость жизненного содержания. Однако под отвлеченное требование «лаконизма» никак нельзя подогнать такие выдающиеся произведения современного романа, как трилогия К. Федина или «Страстная неделя» Арагона. Пути отображения современной действительности в романе в высшей степени многообразны,

их и невозможно и не нужно приводить к некоему общему знаменателю.

Очень верно сказал Л. Леонов: «Нет, я не верю в искусство, которое начинается с барабанных манифестов. В искусстве можно как угодно, с одним лишь условием — чтобы было хорошо. Форму диктует практическая цель художника, гавань назначения, которую всякий серьезный мастер должен предвидеть наперед».

Хорошие романы можно писать сегодня очень по-разному, — об этом говорили и другие участники дискуссии. Одно из итоговых положений речи Энгуса Уилсона, отстаивавшего ценность классического наследия и коснувшегося различных элементов формы романа, прозвучало так: «Все, что полезно, идет оно от традиции или от авангарда, мы должны использовать».

В содержательной речи Иржи Гаека отстаивалась мысль о том, что нет навсегда данных «буржуазных» или «пролетарских» черт литературного стиля: идейное содержание романа, его жизненный материал влекут за собою и определенные художественные особенности.

Выступление Гаека (как и речи Р. Матушевского, О. Крохмэлничану, П. Зарева) напомнило, что в современном романе братских социалистических стран накопился интересный творческий опыт, который заслуживает исследования.

Изучая и приветствуя обогащение форм современного романа, мы не должны упускать из виду главного: полезно такое обогащение, которое помогает глубже познать подлинную реальность.

На сессии возник спор по частному, но очень важному вопросу — о современном антифашистском романе. По мысли Энциенбергера, такая страшная и сложная реальность, как фашизм, не может быть познана средствами «традиционного» романа — так, как это сделано, например, Ремарком в книге «Искра жизни»: о фашизме нужно писать так, как пишут современные прозаики ФРГ — Вольфганг Кёппен, Гюнтер Грасс... Но разве опыт немецкой антифашистской литературы сводится к одному Ремарку? Известный критик ГДР Ганс Кох напомнил о том большом вкладе в дело борьбы с фашизмом, который внесли на протяжении десятилетий немецкие писатели разных поколений — Генрих Манн и Л. Фейхтвангер, Арнольд Цвейг и Анна Зегерс, напомнил о большом международном успехе романа

Бруно Апитна «Голый среди волков». В творческой практике немецких писателей-антифашистов, по верному замечанию Г. Коха, реалистический метод оправдал себя, доказал свою жизнеспособность.

Если же говорить о современных писателях Западной Германии, то нам думается, что противопоставление творчества В. Кёппена «традиционному роману» совершенно не оправдано. Да, Кёппен в лучшем своем романе «Смерть в Риме» талантливо раскрыл «изнутри» гитлеровца Юдеяна, помог нам заглянуть в темные уголки психики нераскаившегося фашистского головореза. Но эта удача достигнута писателем именно на путях реализма: приемы внутреннего монолога служат здесь целям типизации, выявляют исторически существенное. И разве этою удачей Кёппена снимается то, что было сделано гораздо раньше другими немецкими писателями? Полнокровные, жизненно убедительные фигуры гитлеровцев возникали и до «Смерти в Риме» — достаточно вспомнить Ливена или Венцлова в романе Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми». Что до романа Ремарка «Искра жизни» — у нас его не раз критиковали как выражение заблуждений писателя: гитлеровский концлагерь изображен там жизненно и сильно, но трактовка антифашистского сопротивления получилась поверхностной, — беда Ремарка здесь не в приверженности к устаревшим якобы приемам изображения, а скорей в его обычном недоверии к политике. Однако если надо выбирать между Ремарком и Гюнтером Грассом — мы уж скорей за Ремарка! В нашумевшем на Западе, оригинально задуманном романе Грасса «Жестяной барабан», где описаны невероятные похождения чудака-лилипута, антифашистская сатира тонет в гротескной клоунаде, в причудливых изломах нарочито запутанного сюжета. Рассматривать такую книгу как образец современного романа по меньшей мере несерьезно.

Какова та реальность, которая подлежит отображению в современном романе? Об этом говорила Натали Саррот, представлявшая вместе с А. Роб-Грийе и Б. Пенго школу «нового романа». По мнению Н. Саррот, существует «реальность видимая», та, которая уже хорошо изучена, всем знакома, не раз изображалась в литературе, и реальность другая, та, которая доступна лишь внутреннему взору романиста и «изолирует и отделяет его» от всех остальных людей.

Задача художника, по словам Натали Саррот, — двигаться от известного к неизвестному, сделать невидимое видимым. У французского «нового романа» на сессии нашлись защитники — правда, немногочисленные — и среди литераторов других стран. Романисты такого типа, как А. Роб-Грийе, сказал финский писатель Кай Лайтинен, открывают новые пути, они «помогают нам лучше понять наше время и человеческую душу»...

Так ли это? Ценность литературных школ и направлений лучше всего проверять не декларациями, а практикой. В 1963 году вышла книга Натали Саррот «Золотые плоды». Как же реализуются принципы школы «нового романа» в этом новейшем ее произведении? Здесь нет персонажей, нет действия, по сути дела нет и сюжета. Здесь идет речь о судьбе романа «Золотые плоды», принадлежащего некоему писателю Брейе, но мы так и не узнаем, что это за человек и о чем написана его книга. На протяжении двухсот с лишним страниц передаются размышления, разговоры, мнения самых различных (и опять-таки неизвестных читателю) лиц о романе «Золотые плоды». Эти суждения — от самых панегирических до самых разносных — никак не мотивированы; они представляют собою набор штампов, имеющих хождение во французской литературной и окололитературной среде: «Человек в космосе», «Грандиозная фреска»... «Лучше «Войны и мира»...», «Современный человек лицом к лицу с большими проблемами нашего времени», — и с другой стороны: «...Не бог весть что, вот в чем беда»... «Тут есть некоторый лоск... в сегодняшнем вкусе... Написано не без ловкости»... «В братскую могилу... ну да, само собой... Такие книжонки всегда обречены на забвение»<sup>1</sup> и т. д.

В романе Натали Саррот есть элемент сатиры на парижские литературные нравы: мы чувствуем, с какой легкостью возникает и разлетается в прах сенсационная писательская слава; в диалогах невидимых персонажей передано многословие, напыщенность, бессодержательность, шаблонность ходячих суждений о литературе, внутренняя пустота людей, для которых искусство — предмет забавы или моды. В этом смысле можно сказать, что писательница не смогла

избежать контакта с той сегодняшней социальной действительностью, которая и может и должна служить материалом для реалистического романа. Но как бедна, как узка у нее картина этой действительности! «Золотые плоды» прямо-таки поражают несоответствием между элегантною средств и незначительностью результатов. Где уж тут открытие нового, какое уж тут проникновение в «неизвестное»! В романе Н. Саррот нет и намека на новое: тут имеется лишь немного ослабленная, ухудшенная вариация тех мотивов, которые хорошо знакомы нам по многим классическим образцам французского романа. Одаренность писательницы очевидна, но погоня за самодовлеющим экспериментом сковывает ее дарование.

Знакомство с новой книгой Натали Саррот подтверждает справедливость той критики, которой подвергли школу «нового романа» многие участники сессии. Отказ от познания подлинной реальности, подмена ее игрой писательского воображения обедняет и губит искусство романа. «Чистое» воображение всегда ограничено. Зато в реальном мире, по верной мысли Р. Матушевского, каждый писатель всегда может найти что-то новое, еще не познанное: «Богатство действительности, которая нас окружает, бесконечно. Поэтому объективная неожиданность реализма практически неисчерпаема».

#### 4. Об ответственности и гражданском долге писателя

В речах участников сессии, говоривших по-французски, несколько раз повторялось слово «*désagré*» — смятение, растерянность. Современный роман обязательно выражает (или отражает) настроения смятения, которые свойственны современному человеку — не человеку определенной среды или класса, а человеку «вообще», — это иной раз принималось чуть ли не за аксиому.

Такой взгляд находится в явном противоречии с теми гуманистическими идеями, которые выражены в уже цитированном коллективном документе сессии. Разве создание жизни, достойной человека, сопротивление силам, угнетающим народы, не есть более достойный, более значительный (а главное — более соответствующий духу современности!) мате-

<sup>1</sup> Nathalie Sarraute. Les fruits d'or Paris 1963, pp. 217, 214, 215.

риал для романиста, нежели пресловутое «смятие», распад буржуазной, обывательской личности в мире капитализма?

Взгляд, согласно которому «смятие» есть чуть ли не обязательное свойство современного человека, а выражение этого смятения — чуть ли не главный критерий современности в искусстве, широко открывает дорогу эпигонам Кафки, заражающим читателя настроениями бесперспективности и отчаяния.

Стоит выслушать мнение по этому вопросу, высказанное одним из крупнейших прозаиков Западной Европы. В только что вышедшей книге публицистики Г. Бёлля есть статья «О романе», где автор остроумно полемизирует с апологетами универсального пессимизма в литературе. Писатель ясно видит, что опасность атомной войны внушает тревогу множеству людей в разных странах. Но он отнюдь не делает отсюда вывода, что искусство должно поддаваться всеохватывающему чувству скорби. «Я, кажется, понимаю тех, кто возражает против взгляда, будто отчаяние должно быть непременной составной частью современного романа... Дешевый юмор нетрудно разоблачить, на удочку дешевого отчаяния нас поймать легче. Тогда как дешевые юмористы часто ведут безрадостную жизнь, проповедники дешевого, модного отчаяния часто живут весьма беспечно». Если отчаяние, по мысли Бёлля, и может представить ценность как материал для литературы, то только тогда, когда оно взаимодействует с ответственностью писателя. «Ответственность романиста — это большое слово; я тут не найду слова поменьше».

О том, как Бёлль понимает это большое слово, говорится в соседних статьях того же сборника: у них резко полемические названия — «В защиту прачечных», «Приверженность к литературе развалин». Писатель с горькой иронией, с искренней убежденностью отводит упреки тех критиков, которые хотели бы отвлечь его от «среды бедных людей» и от тематики, связанной с последствиями войны. Бёлль ссылается на пример Достоевского — он писал книги под чертовски неприятными названиями — «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»; ссылается на Диккенса — его юмор не мешал ему заглядывать в тюрьмы, сиротские приюты, городские трущобы. Писатель не должен носить ни розовых, ни черных

очков, хотя и то и другое может принести ему выгоду: нет, «глаз писателя должен быть человечным и неподкупным»<sup>1</sup>. К тому, что говорит Бёлль о задачах романиста, можно многое прибавить; можно и оспорить кое-какие формулировки в его книге. Но нам дорог здесь призыв к мужественной правдивости, ощущение ответственности писателя прежде всего перед теми, кто бедствует и трудится. Именно это предохраняет Бёлля и от модного на Западе эстетства, и от не менее модного «фанатизма отчаяния».

Да, ответственность романиста — большое слово. Кажется, единственным оратором на сессии, кто попытался начисто, впрямую отрицать эту ответственность, был англичанин Джон Леман. Он объявил реализм вовсе не существующим, а затем сказал, что роман не находится ни в каких отношениях с политической или социальной — за исключением тех отношений, которые «естественно и неизбежно вытекают из всей личности писателя и условий его жизни». Пожалуй, ни один вульгарный социолог не стал бы так прямолинейно, фаталистически выводить позицию писателя из заранее заданных свойств личности и условий бытия, как это сделал Джон Леман! Что ж: он по своему откровенно признал, что равнодушнее к общественной жизни, кастовый эгоизм, свойственный многим буржуазным литераторам, есть тоже определенное отношение к политике, определенная форма зависимости от нее...

«Во Франции и вообще на Западе», сказал А. Роб-Грийе, привыкли считать, что писатель ответствен «не за то, что он рассказывает, а за то, как он это рассказывает». Позицию Роб-Грийе у нас много и обоснованно критиковали — на сессии это сделали, в частности, А. Твардовский и О. Крохмэлничану. Стоит лишь добавить, что напрасно А. Роб-Грийе попытался представить точку зрения узкой группы французских прозаиков как некое коллективное мнение писателей Запады. Вряд ли решился бы Роб-Грийе отлучить от культуры Запады, скажем, такого мастера, как Генрих Бёлль, а как Бёлль понимает ответственность писателя, мы только что видели.

Большинство, можно сказать — даже почти все участники ленинградской встречи

<sup>1</sup> Heinrich Böll. Hierzulande. Aufsätze zur Zeit. München. 1963, s. 120, 133.



не подвергали сомнению гуманистическое призвание искусства. Писатель ответствен «перед всем лучшим в человеке», — сказал Р. Кайуа. Ж.-П. Сартр постарался уточнить эту мысль: слова «лучшее в человеке» звучат слишком расплывчато, писатель отвечает прежде всего перед тем обществом, в котором он живет. Бывает, добавил Сартр, что люди эксплуатируемые, придавленные нуждой, находятся в таких условиях, в которых им трудно быть «лучшими», потому что в них накопилось много ненависти и страдания; «однако я не вижу оснований занять иную позицию, чем занимают они, то есть позицию эксплуатируемых против эксплуататоров». Было очень радостно слышать, что большой французский писатель в такой категорической форме выразил свою солидарность с эксплуатируемыми. Но надо ли противопоставлять гражданский долг писателя гуманистическому долгу? Маркс и Энгельс не раз говорили, что в освободительной борьбе рабочий класс проявляет самые высокие, самые благородные свои черты. Геронизм, самоотверженность борцов за социализм — это и есть «лучшее в человеке»!

Чувство ответственности перед обществом должно побудить романистов задуматься над тем; в каком направлении влияет их творчество на читателей. Этот вопрос мало беспокоит литераторов формалистического склада: Натали Саррот сама признала, что произведения «школы нового романа» обращены к крайне узкому кругу лиц. Зато писатели-реалисты, и в особенности писатели социалистического мира, слово которых находит широкий отклик в народе, придают большое значение тому, какой резонанс получают их книги, какое общественное воздействие они окажут. Влияние художника на читающую публику — дело не такое простое: об этом с большим внутренним волнением говорил венгерский романист Тибор Дери. Его речь заключала не столько утверждения, сколько открытые вопросы: анализируя различные «пласты» влияния книги на читателей, Т. Дери приходил к выводу, что романист не всегда может предугадать, какие уроки извлечет публика из прочитанного. Речь Т. Дери была проникнута большой нравственной тревогой, ощущением того, какую важной общественной силой является художественное слово. Но вряд ли можно безоговорочно согласиться с тезисом Т. Дери о внутренней неуверен-

ности, будто бы обязательно присущей художнику. Да, иной раз читатель и выносит из романа такие впечатления, которые не были предусмотрены автором; да, работа романиста — не иллюстрирование готовых истин, а исследование действительности — исследование, ход которого порою вносит существенные поправки в первоначальный авторский замысел. Но если романист хочет повлиять на читателей в определенном направлении, он должен прежде всего быть сам страстно и до конца убежден в правоте и жизненности тех идей, которые он собирается защищать, — именно при такой убежденности он и сможет раскрыть эти идеи в художественно заразной форме. Ведь еще Толстой считал, что художник творит с целью «передать другим людям испытанное им чувство». Писатель и вправе и должен стремиться к тому, чтобы передать другим людям свои мысли и чувства, свое отношение к миру, — искусство романа дает ему для этого богатые и сильные средства.

Мысль о гражданском долге писателя, о его участии в общественных битвах все глубже проникает в сознание лучших художников современности — в том числе и тех, кто не стоит на социалистических позициях. Не так давно Джон Стейнбек в беседе с интервьюером вспоминал о своей работе над «Гроздьями гнева»: он не мог бы написать эту вещь, если бы не проникся настроениями разоренных, обнищавших фермеров-переселенцев, не захотел встать на их сторону. «Писателю, — добавил Стейнбек, — необходимо высказать то, что он думает и чувствует, в особенности если речь идет о чем-то таком, что глубоко его волнует. Он не может не встать на чью-то сторону, а если этого он не сделает, он перестанет быть самим собой, перестанет быть писателем»<sup>1</sup>.

Мудрые, верные слова! Потребность «встать на чью-то сторону» заложена в самой сути искусства и в особенности самого социального из художественных жанров — искусства романа. Погребность эта силою событий становится особенно властной и тревожной у честных художников в наши дни. На ленинградской сессии неоднократно произносилось французское слово «engagé». Его иногда неточно переводят — «завербо-

<sup>1</sup> «Иностранная литература», № 2, 1963, стр. 286. (Разрядка моя. — Т. М.)

ванный»; пожалуй, точнее было бы — «вовлеченный». Современные писатели самую логичную своей работы вовлекают в общественную жизнь и борьбу уже хотя бы потому, что вместе с громадным большинством человечества хотят предотвратить атомную войну, — об этом хорошо говорили в последний день заседаний и А. Сурков и Жан-Поль Сартр.

«Сорок пять лет, — сказал А. Сурков, — мы воспитывались на том, что моя судьба — это не только моя судьба, но и судьба моего соседа, который живет в этом доме, или на одной из улиц Парижа, или за Великой китайской стеной». Жизненный и творческий опыт советских писателей, отраженный в себе исторический путь нашего народа, дает им серьезные права на то, чтобы говорить об ответственности современного литератора перед человечеством. Понятно, что творческая практика советского романа привлекла к себе живое внимание зарубежных участников сессии.

В ходе прений рассеивались иные застарелые предрассудки, касающиеся метода социалистического реализма; были отмечены, в частности, упреки в «консерватизме формы», которые делают иногда западными писателями в адрес советских романистов. В речах Л. Новиченко, Б. Рюрикова, Д. Гранина, В. Аксенова содержалось много фактов и наблюдений, свидетельствующих о многообразии форм советского романа. И всегда ли надо отвергать те элементы формы, которые уже применялись в классическом романе? В. Аксенов привел убедительный пример: «Казалось бы, совершенно традиционная повесть Солженицына является, по сути, подлинно современной книгой. Старый излюбленный прием косвенно-прямой речи, когда сливаются голоса автора и героя, применяется Солженицыным с новым блеском. Кстати, этот прием все чаще употребляется в нашей современной прозе, потому что он открывает для нас новые возможности».

Речь Джанкарло Вигорелли наряду с отдельными спорными утверждениями содержала много добрых и верных слов о советском романе. Вигорелли решительно не согласен с теми нашими западными недругами, которые хотели бы представить годы, отмеченные культом личности Сталина, как период застоя или упадка всего советского искусства: нет, и в эти годы, сказал он, создавались книги, которыми

может гордиться европейская литература. Вигорелли перечислил длинный ряд советских прозаиков от Казакевича до Айтматова, произведения которых отражают то новое, что выросло в жизни советского общества за последнее десятилетие. Много ценного видит он и в книгах современной чешской, польской, югославской прозы. Писателю, напомнил Вигорелли, действительно необходим контакт с людьми, с читателями. В условиях современного Запада этот контакт подчас трудно поддерживать — отсюда и возникают явления кризиса романа, который рискует стать «литературой элиты». Труд романиста, конечно, всегда сугубо индивидуален, пока автор сидит за не готовой еще страницей; но в условиях социалистического общества каждая страница, написанная романистом, представляет «сообщение, диалог, исследование», обращенное к широкому кругу читателей. Именно в социалистическом мире литература становится тем, чем она и должна быть — средством общения людей. И Вигорелли и другие участники сессии высказывали пожелание, чтобы советскую литературу лучше узнали в странах Запада.

Обсуждение проблем современного романа показало, что в среде западноевропейских писателей, стремящихся к миру и прогрессу, не только растет авторитет реализма как художественного метода, но растет и авторитет социалистической литературы, ее творческих принципов. И это один из немаловажных итогов ленинградской дискуссии.

Ленинградская встреча писателей была во многом поучительной для советских критиков, занимающихся зарубежной литературой. Она показала силу и влияние наших идей, но показала и другое. Те истины, те оценки, которые для нас являются общепринятыми, иной раз оспариваются или берутся под сомнение не только прямыми идейными противниками, но и теми литераторами стран капитализма, которые относятся к нашей стране уважительно или даже дружески. В области литературы, искусства, эстетики — тонких и сложных областях идеологии — очень важно уметь вести борьбу с буржуазными взглядами не только путем острой и гневной полемики, но, когда это нужно, и путем спора, обмена мнений — неторопливо, вдумчиво, во всеоружии знаний и аргументов.

Недавно Д. Затонский в «Литературной газете» подверг в целом справедливой критике тех западных разрушителей романа, которые, несмотря на различные исходных позиций, сходятся на почве «абсолютной асоциальности». «И здесь,— добавил он,— совершенно неважно, что Готфрид Бенн делает это, исходя из неких консервативно-бюргерских убеждений, а, скажем, Роб-Грийе — в порыве бунтарской «антибуржуазности».

Оставим в стороне названные здесь имена. Так ли уж неважно, вообще говоря,— кто из западных литераторов является нашим политическим противником, а кто пытается бунтовать против буржуазного строя? Нет, для развития международной идеологической борьбы это очень важно! С врагами не дискутируют. А с теми западными интеллигентами, которые ищут выхода из тупика буржуазных отношений и хотя бы в важнейших вопросах современности— в вопросах мира и войны — стоят на близких нам позициях, дискутировать нужно. Таких интеллигентов на Западе совсем не так мало. И с ними необходим диалог: ведь это тоже форма столкновения идеологий и при умелом, принципиальном его ведении — форма очень действенная. А диалог, как отметил Б. Рюриков в «Коммунисте», «требует умения слушать собеседника и убедительно отвечать».

Критика идейно-эстетических основ модернизма, которая широко развернулась сейчас в нашей печати, наиболее убедительна тогда, когда ведется конкретно, дифференцированно, с привлечением фактического материала. Думается, например, что статья М. Кузнецова «Социалистический реализм и модернизм», опубликованная в «Новом мире» (№ 8, 1963), безусловно интересна и полезна там, где речь идет о явлениях модернизма в русской прозе двадцатых годов, и вообще там, где разговор ведется на материале отечественной литературы. Там же, где автор обращается к литературе зарубежной, кое-что сказано слишком общо и приблизительно. В частности, оценка художественного творчества Сартра нуждается в уточнении — вряд ли можно сводить все содержание романов и пьес этого весьма сложного писателя к мотивам пессимизма

и одиночества. Нельзя согласиться и с утверждением М. Кузнецова, что отсутствие историзма является «камнем преткновения» даже для передовых романистов Запада.

Работа М. Кузнецова строится на основе антитезы: социалистический реализм — модернизм. Такая антитеза вполне законна, когда речь идет об истории советской литературы. Однако в международном масштабе модернизму противостоит сегодня не только социалистический, но и критический реализм. Конечно, установить водораздел между здоровыми и нездоровыми, реалистическими и модернистскими тенденциями не всегда легко — не только при анализе положения в той или иной из национальных литератур Запады, но иной раз и при разборе творчества отдельных художников, будь то Томас Манн, Фолкнер или тот же Сартр. Но тем более необходима здесь точность и доказательность оценок. Нельзя легковесно относиться к противоречивым, сложным художественным явлениям, то есть дарить нашим противникам те ценные элементы современной литературы, которые можно и должно привлечь как средство борьбы против буржуазной идеологии, за мир и социализм. Есть все основания солидаризироваться с М. Кузнецовым в его недавней полемике с Роб-Грийе («Литературная газета», 22 октября 1963 года).

Ход ленинградской дискуссии подсказывает актуальные темы и проблемы для дальнейшей научной разработки. Немало западных литераторов со всей искренностью полагают, будто художественное новаторство обязательно связано с модернизмом (или, как они иногда говорят, — с авангардизмом). Это — устойчивый, живучий предрассудок, с которым еще предстоит сражаться. Продемонстрировать убожество современного модернизма — значит сделать полдела. Не менее необходимо другое. Показать богатство современного реалистического романа, многообразие его форм, изучить явления множественного новаторства в критическом и социалистическом реализме разных стран — все это важно в свете насущных задач международной идеологической борьбы. Участие в выподнении этих задач — прямой гражданский долг советской критики.



АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

★

## В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

(О рассказах Андрея Платонова)

**А**ндрея Платонова не стоит читать быстро. Он как бы сам не дает быстро читать себя: все время невольно останавливаешься, чувствуя потребность перечитать. Сам писатель признавал только неторопливое чтение. Вот что он говорит в своей статье «Пушкин — наш товарищ»: «Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, что бы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово». И дальше: «...тайна произведений Пушкина... в том, что за его сочинениями — как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу — остается нечто большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но предчувствуем океан... Это семя, рождающее леса».

Это прекрасно сказано именно о Пушкине, но в этом есть и что-то вроде замаскированного автопризнания о том художественном идеале, который стоял перед самим Платоновым, к которому он постоянно стремился.

Когда начинаешь припоминать один за другим рассказы Андрея Платонова, хочется не рассуждать о них, а попросту пересказать, но сразу понимаешь, что это почти невозможно. Своеобразие и неожиданность их не в сюжете, а в подробностях и в том едва уловимом словесном искусстве, с которым самая обычная фраза вдруг поворачивается по-«платоновски». «Мать не вытерпела жить долго», — говорится в рассказе «Третий сын», и это нельзя пересказать, а можно только повторить. В чем секрет этой простой фразы? Может быть, в том, что за ней угадывается старинный, печально торжественный оборот: «Приказала

долго жить». Но главное в фразе то, что мать «не вытерпела». Или ее сила в сочетании одного с другим — привычного звучания почти обрядовой фразы, сообщающей о смерти, и житейски обыкновенного и одновременно взволнованного: «не вытерпела». «Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить» («Фро»). «Светло на свете!» Любой литправщик немедленно покусится на этот оборот и будет, конечно, не прав. То, что может показаться неловким, непривычно, то есть негладко, сказанным, почти намеренно неуклюжим, тут, во всем контексте фразы, абзаца, страницы и всего рассказа, является и верным и точным, ибо это не «общее», а «платоновское». «Уехал — не умер, назад возвратится!» — говорит подруга Фро, жена ночного сторожа. И это неправильное «возвернется» вдвое сильнее, чем «возвратится» или «вернется». Это вовсе не речевой натурализм, хотя само слово, может быть, и подслушано писателем в жизни, и не надуманное словотворчество, как у А. Белого и его эпигонов. «Поговорила сейчас с тобой — как сестру двоюродную встретила...» — говорит дальше подруга Фро. «Как сестру» — это бытовой разговорный штамп; «двоюродную» — то живое «чуть-чуть», которое уничтожает этот штамп. Платонов знает, что каждый штамп — это вечерашний образ живой народной речи. Его язык не обесцвечен страхом перед этими штампами: он их не избегает, а смело поворачивает и неожиданным, но верным эпитетом и как бы неуместным и иногда почти комическим изменением смысла. «Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием» («В сторону заката солнца»). «Я тоже уснул, пользуясь ненужным

временем, чтобы оно не проходило зря» («Маленький солдат»). «Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось» («Возвращение»). «Грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру» («Жена машиниста»). «Светило позднее солнце, нетеплое как звезда» («Третий сын»). «Ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем» («На заре туманной юности»).

Я нарочно беру примеры словесных находок Платонова из разных рассказов, потому что, о каких бы людях и событиях ни рассказывал писатель, они все принадлежат к одному миру, тому самому, который он называл прекрасным и яростным, к миру увиденному и воссозданному художником. Едва ли не самый удивительный по непритязательной естественности повествования, захватывающей читателя сильнее, чем самый ловкий литературный трюк, рассказ «На заре туманной юности» заканчивается так удивительно по-«платоновски»: «Она долго и терпеливо болела, но выздоровела, стала жить и живет до сих пор». Почти незаметным поворотом фразы, едва уловимым изменением ее ритма автор заставляет нас поверить в очевидность продолжающейся жизни полюбившейся нам героини рассказа Ольги. Все эти «находки» писателя просты, неброски, естественны и лишены какой бы то ни было стилистической позы: это брюлловское «чуть-чуть» или то, что Серов называл в искусстве «волшебной ошибкой».

Но никакое владение фразой не сделает рассказ жизненным, если автор видит только привычное, заурядное и не может нас поразить остротой и зоркостью наблюдения тех неожиданностей, которыми полна подлинная жизнь. Андрей Платонов вместе со своей Ольгой верит в то, «что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной,—похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце» («На заре туманной юности»). «Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами» («Фро»). «Он втайне прощался со всеми здешними предметами, обреченными существовать без него. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою: он хотел, чтобы предметы запомнили его. По детскому воспоминанию он

знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты еще с ним связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, разнообразную жизнь, а ты был одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними незнакомым существом» («Счастье вблизи человека»). «Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадильце на цепочке. Он быстро оставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадильце и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, шел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился,—это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении» («Третий сын»).

В системе Станиславского есть понятие, которому Константин Сергеевич придавал большое значение в последние годы: «физическое самочувствие». Правда «физического самочувствия», по Станиславскому, предшествует правде психологии и определяет ее. Платонов точно чувствует правду «физического самочувствия» своих героев: тепло им или холодно, сидят они или стоят, полны утренней силы или устали. Он не терпит в этом никакой приблизительности или условности, хотя и не тратит на эти описания лишних слов. Но иногда он и не жалеет слов, если для максимальной пластичности описания ему нужно передать то, что в театре называется мизансценой. «В окно смотрела внучка Наташа; за спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка. Он спал сейчас, положив большую голову на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась под тяжестью брата. Одной своей рукой она удерживала обнимавшие ее руки Антошки, чтоб они не разлучились, а другой ухватилась за его штанину, чтоб ноги мальчика не висели в воз-

духе и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинке, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно («Июльская гроза»). Читаешь и физически ощущаешь и вес маленького Антошки, и затекающие руки Наташи, и то, как ей неудобно. Точность описания—поразительная. И словно по Станиславскому—от точного «как» приходит верное «что». Верному слову предшествует точное видение

В годы своей литературной молодости Андрей Платонов, как и многие его ровесники, часто прибегал к «сказовой манере», бывшей тогда в ходу: она давала иллюзию подлинности перенесенных в литературу своеобразных языковых пластов послереволюционной России. Кто в двадцатых годах не писал в этом цветисто-натуральном роде? Писал так и молодой Платонов. Почти анекдотическая яркость речи заменяла и маскировала и отсутствие психологической объемности, и однообразие характеров, и неумелую композицию. Настоящим искусством эта манера стала лишь в произведениях М. Зощенко, во многих рассказах И. Бабеля, в некоторых ранних произведениях Вс. Иванова и Л. Леонова, в поражающих по экспрессии фрагментах эпоса Артема Веселого, но зато у скольких литераторов этот «сказ» выродился в пустую манерность, с трудом ими впоследствии преодолевавшуюся (а многими так и непреодоленную). Андрей Платонов быстро одолел эту моду. Как ни талантливы и ни яркие рассказы и повести раннего периода его работы, лучшее из того, что оставил нам писатель, приходится на вторую половину ее. Именно тогда Платонов стал самим собой—художником удивительной нежности ко всему человеческому, редкой психологической зоркости и прозорливости, гравюрной точности почерка и особенного лиризма, никогда не слашавого, а чуть терпкого, с едва ощутимой горчинкой, будто рябина осенью. Приходится удивляться, как под градом безосновательных критических попреков и не идущих к делу советов писатель вырабатывал свою новую манеру, беспримесно чистую, лишенную подражательности, выразительную без всякой внешней броскости. Для Платонова никогда не существовал вопрос, о чем писать: о темных сторонах жизни или о светлых? Искусственность подобной дилеммы была ему органически чужда. Он писал о всей жизни, окружавшей его, ничего не обходя, ничем не гнушаясь, все

замечая и все освещая чудесным даром своей доброй привязанности к людям, способностью находить поэзию везде, богатым юмором, открывающим в каждом человеке под внешне странным и диковинным безмерную щедрость души.

В одном из писем Горького к писателю Алексей Максимович сделал верное наблюдение: «При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являясь перед читателем не столько революционерами, как «чудаками»...» Да, конечно, многие герои Платонова, особенно в ранних рассказах, чудачки. Но упреки это в устах Горького? Ведь он сам утверждал, что чудачки украшают мир, и описал в своих произведениях великое множество талантливых русских чудачков. Разница между ранним и поздним Платоновым в том, что, описывая вначале чудачков превеличенной необыкновенности и удивительной яркости, впоследствии писатель, не перестав любить в людях высокое и странное чудачество, уже искал это свойство во всех встречаемых людях («Вы странный, прекрасный человек!»—говорит Чагатаев Вере в рассказе «Счастье вблизи человека». Заметьте: «странный, прекрасный», а не «прекрасный, но странный»). Можно, пожалуй, также назвать эту общую черту почти всех героев писателя внутренним своеобразием человека. Может быть, постоянная вера Платонова, что все люди чем-то замечательны и по-хорошему не похожи друг на друга, и делает то, что сейчас его проза читается не только из любопытства к прошедшим, описанным им временам и нравам, а с чувством жизненного открытия как наиболее современнейшее в литературе.

В молодом Платонове легко заметить определенные литературные влияния: Гоголь (об этом тоже писал Горький), Салтыков-Щедрин, из современников—Зощенко. Зрелый Платонов похож только на самого себя. Вся его писательская биография—это постепенное и неуклонное выпрямление в себе собственного художнического характера. Редко писатели, даже крупно одаренные и с успехом начинавшие, открывают настоящих самих себя в своих первых произведениях. Чаще они дебютируют подражательно, и очень часто их расхваливаемая оригинальность бывает одеждой с чужого плеча. Быть самим собой—это значит стать самим собой. Многие писатели так и не проходят до конца этого трудного пути к са-

мому себе — и даже писатели, много создавшие и знаменитые. С. Т. Аксаков, писавший в разных жанрах с ранней юности, только в глубокой старости открыл в себе себя. Андрей Платонов этот путь прошел. Было бы неверным сказать, что он во второй половине жизни стал писать проще, чем вначале: дело не в этом. Пожалуй, он стал писать сложнее (я имею в виду не словарь, строение фразы или сюжет). Об одном из героев своих ранних рассказов Платонов сказал: «Думать он не умел, но о многом догадывался». Герои зрелого Платонова научились думать, но думают по-своему, иногда как бы непоследовательно и угловато, но всегда глубоко.

«Работать хорошо...» — говорит одна из героинь Платонова, и кажется, что эту фразу могли бы повторить почти все описанные им люди — большинство героев его страстно и упорно трудятся. И даже влюбленная Фро — один из самых пленительных женских образов нашей богатой замечательными женщинами литературы, — даже Фро, томящаяся и не находящая себе места от переполняющей ее всю любви, даже эта смешная, жалкая и прелестная Фро, может быть, больше всего томится именно потому, что не умеет найти точку приложения небывалым силам, которые разбудила в ней любовь. Для героев рассказов Платонова труд не суровый долг, не тяжкая обязанность, а первая потребность, такая же, как есть, спать, дышать, а также — страсть и вдохновение. В опубликованных в журналах «Витязна» и «Искусство кино» дневниках Александра Довженко очень много раздумий художника посвящено плоскому пониманию труда. «Как хотите, а по-моему, не надо быть героем, чтобы трудиться, — пишет Довженко, — и доблести особой не надо. Не следует запугивать людей трудом. Труд штука приятная, радостная. Боже мой, как, бывало, выедем в поле рано-рано...» К этим мыслям Довженко возвращается не раз на протяжении многих страниц дневников — он в последние годы ими болел, мучался. Дневники Довженко полемичны, но Платонов без всякой полемичности, как само собой разумеющееся, утверждает радость осмысленного человеческого труда.

В одном из его ранних рассказов «Родина электричества» повествуется, как электрическая энергия пришла после революции в деревню. Рассказ «Песчаная учительница» описывает удивительный трудовой подвиг

сельской учительницы Марии Никифоровны, превратившей пустыню в цветущий сад. «Ему еще долго предстояло жить на свете, работать и быть счастливым», — говорит автор о герое рассказа «Счастье вблизи человека», молодом выпускнике Технологического института Василии Чагатаеве. Без труда жизнь человеческая пуста — так можно сформулировать тему самых разных и не похожих один на другой рассказов Платонова. Переживания отставного машиниста Евстафьева, отца Фро, описаны писателем с сердечным юмором, за которым чувствуется сочувствие и понимание. А страдания бывшего из строя после несчастного случая замечательного машиниста Мальцева (рассказ «В прекрасном и яростном мире») поднимаются до высоты трагедии.

Многие рассказы Андрея Платонова посвящены людям железнодорожного транспорта, чей трудовой быт он отлично знал и любил. Вот автор описывает работу машиниста Мальцева: «Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вообразившего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, как пустые, отвлеченно, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станет после нас, куда он полетел?» Трудно отделаться от впечатления, что этот отрывок автобиографичен, что писатель персонифицировал в машинисте Мальцеве самого себя, внутренне сопоставив свой тоже «прекрасный и яростный» художнический труд с далекой на первый взгляд от этого труда работой машиниста. Может быть, потому так зримо убедительны рассказы Платонова о людях труда, что он говорит о них не издали, не свысока, а становясь сам техником-монтером, учительницей, паровозным машинистом, не с почтительным восхищением стороннего человека, а просто, по-своейски, как их товарищ. На следующей странице рассказа эта скрытая и ненавязчивая автобиографичность становится очевидной.

Обнаруживается и спрятанная причина ее — скромность. Вряд ли Андрей

Платонов решился бы от своего имени на признание, которое он делает, говоря о машинисте Мальцеве. «Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины... И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли». Что ж, бывают и такие раздумия у талантливых людей, будь они машинисты или сочинители рассказов. Как мы видим, автор одаряет своего Александра Васильевича собственной умной сложностью, и думается, он прав. Передавая ему свои очень личные сомнения, писатель выказывает ему высшую степень уважения и выдает душевную нераздельность автора и героя. Понимание мира, понимание своего дела, властная уверенность в своем умении, прекрасная и яростная страстность во всем, что делаешь,— вот главные черты почти всех героев зрелого Платонова, сменивших былых озорных и «полоумных» (тоже выражение Горького) персонажей его молодой прозы.

Начав как сатирик-бытописатель, Андрей Платонов завершил свой писательский путь как поэт человеческого сердца, как художник-психолог. Ему удалось то, что удавалось не всем,— уйти от своей ранней, яркой манеры, принесшей ему первое признание. Отказавшись от преимущественно сатирического взгляда на мир, он не утратил дар юмора, но его усмешка стала улыбкой, иногда светлой, а иногда и печальной. В одном из лучших его рассказов— в «Возвращении», который с первой до последней строки читаешь с комком в горле, в этом одновременно светлом и горестном рассказе о бедах и травмах прошедшей войны есть замечательная сценка ночного объяснения между вернувшимся с фронта домой мужем и изменившей ему— по горькому стечению обстоятельств — женой.

«Алеша, ты не шуми, дети проснутся,— тихо говорила мать.— Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...» — «Не нужно нам его любить,— сказал отец.— Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он любил!» Если бы этот диалог прозвучал в театре, в зрительном зале обязательно раздался бы смех. Да, смех!

Правда, он сразу бы умолк, но все же он был бы, и художественной неправдой стало бы, если бы этот смех не раздался. Смешное и нелепое рядом с трагическим. Так бывает в жизни. Что это? Зачем? Расчетливый эффект искусства светотени или правда жизни? И то и другое. Но какая безошибочная смелость!

То, что можно назвать функцией юмора, в лучших, зрелых рассказах Платонова очень сложно, как сложно сочетание в них мажора и минора, света и тени. «Ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе» («Фро»). Вспомним описание танца Фро с маневровым диспетчером, персонажем, которому автор не дал даже собственного имени. «Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он делал под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фрö. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фрö опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более зволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекокущие капли влаги— там, где растут у него мужественные волосы. «Вы плачете?»— испугался диспетчер. «Немножко,— прошептала Фро.— Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать». Почти зошенокский анекдотический жанризм и щемящая лирическая нота тоски Фро. Надо быть большим мастером, чтобы с таким тактом (в искусстве такт называется вкусом) сочетать так непринужденно и естественно столь разнородные стилиевые элементы. Что же это такое— тончайший артистический расчет или «странная и прекрасная» правда жизни? Опять же— и то и другое.

Хочется сказать еще об одной черте художника: его мир не однотонен, а резко



контрастен. В нем рядом, вблизи друг от друга люди умирают, любят, плачут, смеются, едят блины, читают бессонными ночами книги, скучают до зевоты и совершают подвиги самопожертвования. В рассказе «Третий сын» взрослые сыновья, приехавшие на похороны старушки матери, затевают ночью шутливую возню и хохочут, припоминая свои детские проказы. Это могло бы показаться дурным анекдотом о человеческой бессердечности, но под пером у Платонова это становится поэтическим выражением торжествующего колдовства вечно юной жизни над смертью. Это, бесспорно, один из лучших и самых «светлых» (рассказ о смерти!) рассказов Андрея Платонова. С каким тонким контрапунктическим музыкальным мастерством в нем проходит несколько тем: тема старика, мужа покойной, тема девочки и тема третьего сына! Подробно пересказывать его невозможно, невольно тянет цитировать.

Писатель умеет остановить наше внимание на мимолетном и забавном, растрогать, заставить смеяться или вдруг затаить дыхание перед неожиданным поворотом сюжета и властно принудить нас сделать вслед за собой строгий и точный вывод из только что рассказанного. Именно таким выводом заканчивается рассказ «Возвращение». «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Таков моральный итог рассказа. В ином, не платоновском контексте он мог бы выглядеть дидактическим довеском, но писатель и здесь стоит выше мелких ухищрений ремесла — он не боится ничего и в том числе того, что принято называть морализированием или дидактикой. Перечтите еще раз этот маленький кусочек. В нем говорится о том, что перечувствовал капитан Иванов, герой рассказа, в самый острый момент своей простой и трудной жизни, но разве не то же самое чувствуем и мы, читатели Андрея Платонова, также только что узнавшие из рассказа то, что знали прежде, но «гораздо точнее и действительней», как бы коснувшись в нем жизни тоже без всяких преград своим «обнажившимся сердцем». Так часто бывает у писателя: мужество и точность его психологических формулировок просятся

стать афористическим выражением формулы его искусства.

У Платонова много рассказов о детях. Показ мира глазами ребенка — один из самых соблазнительных (и благодарных) литературных приемов. Чаше всего это делается далеко с не детскими целями: в наши дни то, что может быть названо инфантилизмом — это последовательное и цельное мировосприятие, а иногда даже философия. Одолев поток рассказов, повестей и романов, героями которых являются дети, почти с предубеждением начинаешь читать детские рассказы Андрея Платонова, ожидая встретить все то, что уже порядком приелось в последнее время, и какое освежающее и неожиданное «разочарование» — и здесь писатель не похож ни на кого, кроме самого себя. Его дети гораздо менее инфантильны, чем герои иных повестей из студенческой жизни: это маленькие люди-человеки, по-своему ответственные за собственный огромный до необъятности умный и серьезный мир. Таков и не по годам зрелый Петрушка из «Возвращения», и маленький Афоня с его бесконечными вопросами, и Артем, для которого короткий путь от маминого передника до школьного крыльца полон захватывающими приключениями и опасностями. И любимые героини писателя очень любят детей — и задумчивая Ольга, и непонятная Фро. Чувствуется, что любит их и сам писатель. Любит и понимает по-своему. Отсюда особая, ни с чем не сравнимая «платоновская» свежесть его детских рассказов.

Русская литература знает чудесные произведения, где героями были собаки и лошади. Платонов, кажется, первым написал рассказ о корове. Он так и называется — «Корова». Пусть не покажется это дешевой остротой — это один из самых человеческих рассказов писателя.

А платоновские старики и старухи... Впрочем, идя по этому пути, нам придется перебрать все литературное «хозяйство» писателя.

Вышедшая в конце прошлого года книга избранных рассказов Андрея Платонова составлена значительно лучше, чем предыдущая, выпущенная пять лет назад. В сборнике нет слабых вещей, включенных ради «тем», и торопливых очерковых набросков военных лет. В него вошли и произведения, ранее не перепечатывавшиеся в прежних сборниках Платонова, и в том числе замечатель-

ный рассказ «Возвращение» («Семья Ивановых»), несправедливо раскритикованный после первой журнальной публикации. Бережно собранная и снабженная серьезной вступительной статьей В. Дорофеева, выпущенная сравнительно большим тиражом, книга эта — хороший подарок нашим читателям. Не хочется повторять затасканной цитаты и говорить, что эта небольшая книжка «томов премногих тяжелей», но что правда, то правда. Прошли годы, много когда-то высоко возносимых произведений сгнуло в безвестность, а рассказы Андрея Платонова, как зимнее яблоко, стали как бы еще пахучее и крепче.

Но, перелистывая книгу, вместе с законным чувством радости и гордости за то, что родная наша литература вырастила такого тонкого, проникновенного и доброго художника, с горечью задумываешься и над тем, что Андрей Платонов не дал нам всего, что он мог дать по силе своего дарования. Вот, например, этот пресловутый рассказ «Возвращение», о котором так много в свое время писалось, — ведь это же один из лучших в сборнике, где почти нет слабых рассказов. Правдивый и превосходный по мастерству, рассказ этот из какой-то преувеличенной осторожности не был даже включен в предыдущий сборник писателя. В свое время его обвинили в искажении жизни, в подчеркивании черных сторон действительности, в «оглулении» (был и такой «критический» термин) советских людей. Перечитываешь сейчас рассказ и диву даешься — с какого потолка все это было взято? Может быть, следует с большей свободой перечитать и другие ранее не опубликованные или «осужденные» произведения Платонова? Зная теперь весь путь честного, искреннего советского писателя Андрея Платонова до конца, как-то не очень веришь, что он был способен на «злорадное глумление» и прочее разное, в чем его в свое время обвиняли. Разумеется, это не значит, что Платонов был совершенным праведником, не сделавшим никогда ни одной ошибки. Так, например, однажды он написал слабый, слезавый и психологически приблизительный рассказ «Бессмертие», и его тогда за него очень хвалили. Вероятно, были у него и другие ошибки, в том числе и в ранних произведениях, но, право же, неизмеримо меньше, чем это ему приписывалось.

У меня сохранилось в памяти большое литературное собрание в середине тридцатых годов под председательством М. Горького. Это было уже после Первого съезда писателей — видимо, какой-нибудь открытый пленум правления ССП. Один из выступавших резко бранил А. Платонова, называя его рассказы бессмысленным кривлянием и злонамеренным юродством. Звучали и такие слова, как «клевета» и «злопахательство». Уж не помню, какие именно рассказы писателя имелись в виду, но хорошо помню во время этой речи лицо Горького, на котором было явное выражение неодобрения и какой-то хмурой скуки. Он сидел, подперев кулаком подбородок, и смотрел не на говорившего, а куда-то вбок и вверх. Незадолго до этого Горький писал Платонову: «Пишете вы крепко и ярко...» Не знаю, был ли на собрании сам Платонов, но я на всю жизнь запомнил выражение тоскливой скуки на лице Горького. Не я один обратил на это внимание. Кто-то сидевший сзади сказал со вздохом: «Да, постарел Алексей Максимович!..» Но дело было вовсе не в том, что он постарел. Он был откровенно недоволен, и это его старило.

Платонова бранили часто — и в начале тридцатых годов, и в середине тридцатых, и в середине сороковых — и редко издавали. Но не писать он не мог: не печатали рассказы — он возвращался в журналистику как очеркист и литературный критик. В конце тридцатых годов А. Платонов напечатал более сорока критических статей, многие из которых превосходны и заслуживают быть собранными вместе. Любопытно, что, насквозь русский по характеру дарования и, так сказать, по тембру своего художнического голоса, обладавший удивительным чувством родного языка и тсой интонацией, которая сама художество и елва ли переводима, Платонов вовсе не чурался знакомства и внимательного изучения больших зарубежных писателей-современников: Хемингуэя, Стейнбека, Колдуэлла, Олдингтона и других. Он писал о них с восхищением и благодарностью, но подражать им не искался.

Высшей мерой глубины содержания, вкуса, широты охвата темы, сопряжения подробностей и целого, уровня моральной высоты для зрелого Платонова был Пушкин. Надо надеяться, что его полузабытая статья о нем будет когда-нибудь переиздана. В ней

много неожиданных и глубоких мыслей: о поэте и декабристах, о «Медном всаднике», о пушкинском понимании трагического, о тайне неисчерпаемости пушкинского вдохновения и еще о многом другом, но я хочу здесь привести из нее всего одну фразу — в ней и платоновское понимание Пушкина и его собственный этический идеал; Пушкин «хотел, чтобы ничто не мешало человеку изжить священную энергию своего сердца, чувства и ума». К этому же стремился и писатель Андрей Платонов.

И еще одна цитата. В конце 1938 года безвременно и неожиданно умер друг писателя, талантливый пародист-сатирик Александр Архангельский. В небольшой статье-некрологе о покойном А. Платонов писал: «Художество без темы, и темы обязательно значительной, художество без человеческой глубины, которую истинный писатель имеет, во-первых, в своей собственной натуре и, во-вторых, придает изображаемому характерам, — такое художество есть род наивности или мошенничества». В этой не знающей оговорок категоричности — весь Платонов.

Я нарочно перемежаю беглый разбор рассказов Платонова некоторыми его критическими и публицистическими высказыва-

ниями. Платонов никогда не писал о том, к чему он был равнодушен, и редко как критик — о том, что ему не очень нравилось. Поэтому его эстетика удивительно тесно совпадает с его творчеством. Платонов-критик помогает понять до конца Платонова-художника.

Обычно его книги называются просто: Андрей Платонов. «Рассказы». Или — «Избранные рассказы». Это хорошо, потому что ясно и коротко. Но они могли бы быть названы и иначе. В бумагах писателя сохранилась страничка с планом его новой, неосуществившейся книги под названием «У человеческого сердца». Впрочем, пожалуй, самым лучшим названием сборника произведений А. Платонова было бы название одного из них: «В прекрасном и яростном мире». Выразительнее и точнее ничего придумать невозможно, ибо прекрасный и яростный мир — это и есть мир, созданный и населенный Андреем Платоновым.

И последнее. Не пришло ли время выпустить большой однотомник А. Платонова, включающий и лучшие из ранних произведений писателя, и избранные очерки, и самые интересные критические статьи?

Очень хочется поставить наконец такую книгу на свою полку.



# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ф. Светов.** Утоление жажды.— **Л. Лебедева.** Рахманкулов боится здоровых людей...— **Ст. Рассадин.** Надо ли любить литературу?— **Н. Коржавин.** Образ Тютчева.— **В. Герасимова.** Звезды Севера.— **А. Анастасьев.** На прочной основе фактов.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Дмитриев, Е. Перовский.** Парламент революционной Балтики.— **Софья Виноградная.** Сестра Ильича.— **Л. Зак.** Летопись современности.— **С. Окунь.** Ценный сборник.— **В. Попов.** Открытие континента.

## Литература и искусство

### УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ

**Юрий Трифонов.** Утоление жажды. Роман. «Знамя», № 4—7, 1963.

В течение ряда лет на страницах журналов появлялись рассказы, очерки Ю. Трифонова о работе геологов в Туркмении, о пустыне. Было видно, что материал у писателя большой, что он «отстаивается» и все, что публиковалось,— только подступ к чему-то более серьезному. И вот роман — «Утоление жажды».

О чем он? О пустыне, где летом ящерица спекается живьем, стоит подержать ее пять минут на солнце, о вековой и тяжелой экзотике пустыни. О том, как человеческие руки преобразуют эту пустыню, как строят шлюзы, заливают арматуру бетоном, как в песках вырастают железнодорожные мосты над сухим еще руслом канала, как встают улицы будущих городов, а в бараках уже горит электричество, в клубе читаются лекции, устраиваются танцы под радио...

Но «Утоление жажды» — это не просто произведение о том, как строители покоряют пустыню, об их победах и неизбежных в таком деле поражениях, о более или менее серьезных конфликтах, хороших и плохих людях. «Люди спорили о крутизне откосов,

о дамбах, о фразях, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени». Это — слова автора, и они точно выражают авторский замысел, то, ради чего роман написан.

Но пока что мысль эта звучит слишком общо и «расшифровать» ее, разумеется, можно по-разному. Роман называется «Утоление жажды», и название не только имеет прямое отношение к пустыне, где так остро стоит проблема воды и потому канал необходим. «Есть жажда не менее сильная, чем жажда воды,— это жажда справедливости! Восстановления справедливости!» — говорит один из героев романа. И эта мысль, уже значительно более конкретная, вырастая из общего замысла романа, становится, так сказать, «рабочей» его мыслью. И если, вырванная из контекста, она все еще звучит несколько декларативно, то в повествовании она тут же «уточняется». «Вах, зачем так кричать?» — говорит в ответ на тираду о «жажде справедливости» другой герой романа.— Вы знаете, как туркмены утоляют жажду? Вот послушайте: сначала утоляют «малую жажду», две-три пиалки, а потом, после ужина,— «большую жажду», когда

поспеет большой чайник. А человеку, который пришел из пустыни, никогда не дают много воды. Дают понемногу». «Иначе ему будет плохо», — уточняет еще один из собеседников. И тогда третий взрывается: «Да не будет никому плохо! Чепуха это! Не верю!.. Как может быть чересчур много правды? Или чересчур много справедливости?..»

Как видим, разговор идет всерьез, и — судя по нему — проблемы покорения пустыни, строительства канала, превращения Туркмении в цветущий сад будут ставиться не только как проблемы народнохозяйственные, но как проблемы моральные и идейно-философские. Именно в этом смысле и говорится в романе о характере времени и о месте человека. Именно эта главная мысль и должна освещать собой все, что происходит в романе.

А происходит в нем многое. «Утоление жажды» — роман многоплановый, многопроблемный. Порой проблемы романа связаны между собой и с основной мыслью глубоко и органично — здесь автора ждут удачи, порой же существуют параллельно, не «пересекая» друг друга. Эта возникающая иногда «необязательность» проблематики романа компенсируется «обязательностью» сюжетной. Все его герои сюжетно связаны, они встречаются, зависят друг от друга, входят в более или менее сложные отношения. Но роман не слоеный пирог; отсутствие органичного сцепления проблем, подменяемое сцеплением только сюжетным, ведет к искусственности и натяжкам... Но об этом дальше, а пока о том, как развивается главная линия повествования.

Петр Коришев приезжает в Ашхабад из Московской области, из районной газеты устраивается в газету областную. Он предварительно договорился, ему твердо обещали место, но все оказывается не так уж просто — идет «какая-то странная волынка». К подобным «волынкам» Коришев привык, они начались у него с отрочества, с тех пор, как в тридцать седьмом году отец, старый большевик, был арестован. Сейчас год 1957, отца два года назад посмертно реабилитировали, «и волынка должна была прекратиться. Она, наверно, и прекратилась. Но она продолжалась во мне самом. Я так привык жить с ней бок о бок, что не в силах ее забыть», «может, и нет никаких причин волноваться, но я ничего не могу поделать

с собой. Проклятая неуверенность. Она сидит во мне, как бацилла».

Легко понять Коришева, причины его «неуверенности» и то, что он не в силах забыть «волынку», преследовавшую его всю жизнь; легко понять его растущее раздражение к приятелю Саше Зурабову, равнодушно-«гастрономически» вспоминающему «хорошее времечко»: «Мы были молоды, жили как-то весело, жадно. Бар номер четыре помнишь?.. Митьку Ципурского с его «синкопическим языком»?» У Коришева другая память. Он помнит, что Митьку Ципурского исключили из комсомола, помнит «бесконечные персональные дела», исключения, выговоры... Зурабов обо всем этом забыл: «Нет, и все-таки было ничего!.. Знаешь, для меня эти годы, жизнь в Москве, так и остались лучшей полосой...»

Какой разной, оказывается, бывает память! Одна из родственниц Зурабова, обрадовавшаяся приезду москвича — Коришева, хвастается тем, что и она была в Москве, весело вспоминает дождливое лето тридцать восьмого года — у нее свои ассоциации. Коришеву эти дожди запомнились иначе. Он с необычайной отчетливостью видит свои долгие поездки в трамвае на Матросскую тишину, маленькие черные домишки, мокрую булыжную мостовую и темные молчаливые толпы людей, вытянувшиеся в бесконечные очереди — женщины, дети, старухи, и то, как начинало колотиться сердце, когда он приближался к окошечку, в котором давали справки и принимали передачи...

Но память — это не просто констатация того, что было. Память вызывает чувства активные, формирует характер, «определяет» человека во времени. Зурабов убежден, что то «времечко» было «хорошим» прежде всего потому, что ему тогда было хорошо, что сейчас хуже прежде всего потому, что ему стало хуже: раньше были лыжи, веселые девчата, молодость («Вот ты говоришь: тогда было время дрянь, сейчас лучше. А чем лучше? Лично я не чувствую. Торчу в этой газетке литсотрудником. Да и ты не блещешь, ни хрена не добился за семь лет, верно же?»). У Коришева понимание времени и того, что «лучше», а что «хуже», казалось бы, тоже исходит из личного опыта: была «волынка» — сейчас ее нет (она осталась внутри, но это только инерция). Однако его понимание времени перерастает личный опыт. «После того, что было сказано в прошлом году на съезде, обратного

пути быть не может»,— говорит Корышев. Для него в этой невозможности «обратного пути» не столько гарантия личного спокойствия и безопасности, сколько понимание восстановления норм справедливости для всех. А это уже принципиально иное отношение к жизни.

Саша Зурабов обзавелся семьей: сын, жена— научный работник, у него квартира, положение— корреспондент областной газеты, он увлекается «собираением спичечных этикеток». Но за этим видимым благополучием и удачливо прожитой «половиной жизни»— поразительная пустота, никчемность, тщательно скрываемая за легкостью характера, завистливость, даже готовность делать людям неприятности более или менее крупные. Когда-то, в юности, радующийся молодости Саша не решился подать голос в защиту товарища, исключавшегося из комсомола (Корышев скрыл, что отец его арестован), и хотя теперь Саша рассказывает всем, что тогда выступил «против», Корышев-то отлично помнит, что он промолчал. («Может, он и выступал где-нибудь в коридоре или в мужском туалете, но не на собрании.») Зурабов и теперь не защищает товарища в ситуации куда более простой и ничем ему не грозящей, разве что обострением отношений с руководством газеты. Зато сейчас из соображений личных— обида, ревность отвергнутого мужа— он выступает со статьёй против прогрессивного метода строительства в поддержку рутинеров и перестраховщиков...

Так воспоминания, то, как человек понимает свое прошлое, разъединяя или объединяя «личное» и «общее», накладывают печать и на его сегодняшнее поведение.

Ну, а что сделали «воспоминания» с Корышевым, во что вылилась его неуверенность? Прежде всего «воспоминания» научили Корышева думать. И он действительно размышляет о том, как он прожил свою «половину жизни», размышляет о своей непрерывной борьбе за то, чтобы «поправить непоправимое»: «Вот куда ушли эти годы: в настоящую жизнь». Порой его охватывает «безотчетная тревога», ему кажется, он «куда-то опаздывает», «от чего-то отстает»... Но все это не инфантильность рефлектирующей и сломанной натуры, это опыт души, он вырастает в страстную потребность работать, делать сегодня что-то важное и нужное людям, желание найти настоящее дело и себя в нем. Отсюда

его конфликт с Лузгиным— заместителем редактора газеты, человеком, просто не умеющим принять новые нормы жизни, они раздражают Лузгина, кажутся лично против него направленными, он не может поверить в то, что безвозвратно ушло время, когда все было, как он считает, и ясно и просто. Отсюда стремление Корышева в спорах строителей пробиться через дебри инженерской премудрости и понять главное— суть «спора о времени»... Корышев с головой уходит в проблемы строительства канала, активно, непосредственно участвует в жизни, выбирает свою позицию...

Но пока что мы «подняли» только один «слой» романа. А между тем в центре Каракумской пустыни, в «барханных дебрях» остервенело рвут землю экскаваторы. На одном из них работает Семен Нагаев, не однажды прославленный газетами передовик. Он и четверо его товарищей живут в деревянных будках-временках, но большая часть их жизни протекает в железных кабинках машин: «Работали не по часам, а от силы. Кто сколько выдюжит...» Семен Нагаев работает с необычайным воодушевлением. Не выходит из забоя по десять— двенадцать часов, работает до изнеможения, буквально до потери сознания. Его пьянит «необъятность пустыни», он видит в ней «необъятность «кубов», еще не вынутых, не оприходованных прорабом». Он достигает небывалой цифры выработки, заработка кружат ему голову. Он не задумывается над тем, что они строят, его не беспокоят успех или неудачи строительства, его раздражают те, кто проявляет интерес к делу, считает оставшиеся километры: «Чего считать, дурью мучиться?» Когда случается несчастье на стройке— вода прорвала дамбу, уходит в песок,— размах бедствия трудно себе даже вообразить, и все, не раздумывая, бросаются к месту происшествия,— Нагаев пытается остановить товарищей: «Я вот что: как оплачивать будут?» В конце концов Нагаев остается один, товарищи сами отстраняют его от работы, жена уходит от него.

Характер Нагаева выписан отчетливо, резко, его жесткое, злое лицо запоминается, об его отношениях с Мариной, ненадолго ставшей ему женой, написано сильно и ярко. И тем не менее невольно задумываешься: что же это за человек? Что означает его неожиданное признание тестю: «Мне, Демидыч, не деньги нужны, а устаю я на одном

месте...» Почему он на одном месте не уживается? О чем «думает-думает»? Что такое знает про Нагаева Марина, которая однажды крикнула ему, «чтобы он, жмот, подавился своими деньгами», но сама-то знала, что «это была неправда», что «он не такой»? А какой?

Аналогия с Виктором Пронякиным — героем «Большой руды» Г. Владимова — непременно приходит в голову, стоит только задуматься о Нагаеве. Но Пронякин, его драма, внутреннее неустройство, его неумение сидеть на одном месте проанализированы глубоко и беспощадно. А вот в чем драма Нагаева? Да и несет ли этот человек в себе какую-то серьезную драму? О ней только глухо заявлено, а в финале автор скороговоркой досказывает вполне стандартную историю героя: загулял, запямятствовал, исчез, пытался спекулировать, потом снова попросился на стройку, пошел сначала слесарем, потом опять получил бульдозер — перековался. Сначала «утолял жажду» деньгами, потом, видимо, понял высший смысл «утоления жажды» ..

Колодец Инча, а тем более забой, где работал Нагаев,— маленькая точка в гигантских Каракумах. Знает ли о Нагаеве и о том, что в нем происходит, начальник строительства Ермасов? Впрочем, едва ли это входит в обязанности начальника строительства. Между тем в характере Ермасова заключен один из центральных конфликтов романа, по замыслу серьезный и глубокий.

Что за человек Ермасов? Если прислушаться к тому, что говорят о нем люди, то понять что-либо в нем будет невозможно. С одной стороны — «невоздержанный крикун и ругатель», «он капризен, неуважителен, груб». С другой — «светлая голова», «абсолютно бескорыстный человек! На таких, как он, держится наше государство». И опять: Ермасов «не считается ни с чьим мнением, кроме собственного. Решительно не признает коллективного руководства. Да, его стиль работы — это в какой-то степени стиль прежних времен, самоуправство, своя рука владыка и так далее...» Но он же «замечательный человек. Он руководитель нового типа. И сам умеет находить новых людей, деловых, инициативных, смело их привлекает...» Не правда ли, тут только руками разведешь — умеет же человек поворачиваться по-разному к разным людям! Или здесь дело в другом — разные люди ждут разного от Ермасова и соответ-

ственно реагируют, выражая собственное раздражение или одобрение? Во всяком случае Ермасов, очевидно же, фигура примечательная.

Когда-то, много лет назад, Ермасов служил в пограничных войсках, воевал с басмачами, над ним «всю жизнь бушевали грозы, но молнии его щадили». В тридцать седьмом году он «попал под колесо, как многие», но выбрался через два года. Был он и на войне, потом работал на строительстве Главного Туркменского канала, а «как только умер Сталин, Ермасов написал в ЦК письмо о том, что строительство ГТК нерационально и его надо закрыть... Там одних бросовых затрат... на полмиллиарда рублей». Строительство закрыли.

В романе Ермасов с необыкновенной энергией ведет борьбу с «проектировщиками», предлагает «дерзновенные планы», переворачивающие существующие проекты «вверх тормашками», порой решается «на подвиг, а может, на преступление», медлительные экскаваторы заменяет бульдозерами — это очень смелый шаг... Люди молодые и свежие поддерживают Ермасова, консерваторы держатся за «бумажку» проекта. Ермасов на свой страх и риск перевооружает свою «армию» и побеждает. Он человек эмоциональный, страстный, необычайно работоспособный, самоотверженный, собственная физическая слабость (он немолод, у него большое сердце) вызывает у него только чувство досады — мешает работать...

Кое-что в Ермасове проясняется. Его можно поставить даже в определенный «ряд». С такими героями наш читатель встречался неоднократно, часто сталкивался и с похожими конфликтами: особенно не задумываясь, такой герой идет обычно на «подвиг или преступление», да, он и сам рискует, но имеет ли он право рисковать жизнью и здоровьем других? Автор «Утоления жажды», казалось бы, хотел уйти от шаблона, замысел романа предполагал более глубокий анализ существа характера. Но что сделало начальника строительства Ермасова таким, каким он стал,— на это нет ответа.

Петр Коришев порой интересно размышляет о движении лет и времени в человеке. Его отец, например, «всю жизнь пронес на себе печать семнадцатого года», а есть люди «конца двадцатых годов», «середины тридцатых» и т. д. «Я ненавижу некото-

рых, — говорит Корышев, — оттого, что читаю у них на лбу ненавистный мне год, тридцать седьмой, а они, может, и рады были бы измениться, да не могут, не могут! Время испекло их в своей духовке». Собственный душевный опыт развил в Корышеве способность к такому анализу. Но почему ни он, ни автор не могут свою логику продолжить, довести ее до ее же логического конца? Печать какого времени несет на себе Ермасов: он начинал в тридцатые годы, работал в сороковые и пятидесятые, работает сейчас. Какие годы сделали Нагаева тем, кем он стал? И как связаны между собой Нагаев и Ермасов?

Разумеется, нелепо было бы натужно выискивать некий «год» на лбу у каждого — в одних время выражено более, в других — менее определенно. Важно не «указывать» год, а раскрыть характер, исследовать его существо, тогда «время» обозначится само собой. Иначе герой просто перестает быть характером, он всего лишь иллюстрирует мысль автора — не больше.

Я намеренно остановился подробно на разных и далеких пластах жизни, поднимаемых в «Утолении жажды», чтобы дать представление о его слоистости. Как и чем связаны Корышев с Нагаевым, а Нагаев с Ермасовым? Общей мыслью об «утолении жажды» или связями конкретными — чисто сюжетными? Корышеву поручают взять интервью у Ермасова; когда ему это не удается, он приходит на заседание бюро обкома, где обсуждается злополучная статья Зурабова, принесшая делу столько вреда; здесь в обкоме Корышев и Ермасов встретились — пока что связь только сюжетная. Корышев по долгу службы выезжает на трассу строительства канала, с Нагаевым он не видится, но оказывается на похоронах Бяшима, бывшего ученика Нагаева. Связь еще более отдаленная. «Необязательность», «несвязанность» ряда проблем и «планов» романа, его композиционная слоистость способствуют неопределенности в раскрытии характеров героев, в раскрытии главной мысли об «утолении жажды».

Читатель чувствует жаркое дыхание пустыни, вдыхает чистый кремнистый запах песка в ясные ночи, запоминает удушающий запах ураганов — все это ощущается так явственно, что кажется, песок скрипит на зубах, и видно, как сквозь ураганную тем-

ноту «наподобие бледной луны» едва мерцает солнце. Страницы, посвященные пустыне, лучшие в романе.

Читателю близка конкретная борьба героев с пустыней, он «за» мероприятия, проводимые Ермасовым, инженерами Карабашем, Гохбергом, он понимает, что означает для экскаваторщиков Бяшима и Беки Ясенова канал, который пересечет пустыню и приведет за собой жизнь.

Но «утоление жажды», как идейно-философский центр книги, понималось шире конкретных ирригационных мероприятий. Речь шла о «жажде справедливости», о «времени». Стараясь как-то выбраться из громоздкой слоистости романа, автор совершает отчаянную попытку связать концы с концами в финале, прибегнув к «спасительной» скороговорке: заматеревший в своей жадности и рвачестве Нагаев где-то «за сценой» исправляется и перековывается, Ермасов — человек сложный и противоречивый — оборачивается в финале добреньким уставшим стариком, отечески внушающим Корышеву свои представления о жизни. Ермасов говорит о строительстве канала, о том, «сколько вокруг мелких страстишек», «сколько несправедливости мы терпим, и сами творим, и ошибаемся, и черт еще знает что», но «канал строится, и вода идет», о том, что «вот для этого — для того, чтобы шла вода, — надо жить». Корышев, выступивший на заседании бюро обкома со страстной речью («как Мочалов в роли Чацкого»), решивший исход борьбы с рутинерами, теперь радостно соглашается с Ермасовым: «И я увидел дело, огромное, гораздо больше старости, больше разлук, и болезней и всего остального, что приходится испытать человеку...»

Что-то холодное и равнодушное появляется в этой, казалось бы, верной мысли. «Жажда справедливости», которой был согрет роман, желание не просто знать всю правду, как бы ни была она горька и жестока, но стремление сделать правду единственной нормой жизни растворяется в абстрактном преклонении перед «делом», которое якобы «больше» человека, его конкретных радостей и несчастий...

«И вот для этого — для того, чтобы шла вода, — надо жить», — рассуждает Ермасов при полном одобрении Корышева и автора. Да, конечно, надо, чтобы шла вода, это очень важно, но откуда этот снисходительный тон: какие-то «мелкие страстишки»,



какие-то «несправедливости» и еще «черт знает что». Корышев забыл, что когда-то именно несправедливость, совершаемая якобы для «пользы дела», перевернула его жизнь, навсегда оставив в нем его «бациллу», он забыл огромные черные толпы людей и окошечко справок на Матросской тишине, людей с выжженными на лбу знаками определенных лет...

Неужели же он согласится теперь на такую формулу: пускай несправедливости и «черт знает что» — лишь бы шла вода! А как быть с «утолением жажды», с тем, чтобы напоить каждого и сделать человека счастливым? Очевидно, все, что делается, в том числе и само «дело», должно быть

ради человека. И потому человек со своими страстями, радостями и бедами больше всего на свете, и потому «утоление жажды» человека — его жажды счастья и справедливости — и составляет пафос нашей жизни.

Можно, конечно, сказать, что все наши рассуждения, претензии и одобрения вызваны самим романом Ю. Трифонова, что его проблемы, главная мысль вызывают живой интерес, зовут к дискуссиям. И это будет справедливо. Достоинства романа бесспорны. Но очевидны и его слабости, о которых нельзя не сказать, коль разговор идет всерьез.

Ф. СВЕТОВ.



### РАХМАНКУЛОВ БОИТСЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ...

Аскад Мухтар. *Рождение*. Роман. Авторизованный перевод с узбекского Алексея Пантелеева. «Советский писатель». М. 1963. 298 стр.

Есть люди, в которых с детства заложен неприятный талант делать жизнь окружающих как можно более будничной и безрадостной. Масштабы их деятельности в этом направлении разнообразны. Один, скажем, весьма недвусмысленно дает понять своей жене в присутствии посторонних, что она есть дрянь и ничтожество; другой внушает сию светлую мысль подчиненным по службе, присовокупляя к этому, что они, такие-сякие подчиненные, только и мечтают обмануть общественность и работать поменьше, а получать побольше; третий разворачивается еще шире и убежденно доказывает — на словах и на деле — чуть ли не государственную необходимость пренебрежения к человеческому в человеке.

В основе здесь лежит, по-видимому, сознание своей социальной исключительности, некий общественный эгоцентризм, гораздо более часто, чем можно предположить, сочетающийся с «принципиальной» бытовой неприязнательностью. Я, мол, граждане хорошие, живу на работе, забываю попить-поесть, сплю на железной койке, погоды и природы не замечаю... А вы, конечно, понять всей важности происходящего не можете, так слушайте, что я вам говорю, вкальзайте там, где велят, и чтобы без сантиментов. Надо учиться «простым и суровым истинам: долг, работа, норма, сроки. Как говорится, гравий, цемент, песок... итог — бетон!»

Последние слова взяты из роман Аскада Мухтара «Рождение», выпущенного издательством «Советский писатель». Кстати сказать, в предельно короткой издательской аннотации к роману шесть раз встречается слово «новый»: «новый роман», в котором «рождается новый город, новый человек, новая молодая семья» и герои которого строят «новую жизнь, новые человеческие отношения».

Насчет новизны почти все верно, стиль же аннотации, к сожалению, обычен для этого жанра. А что касается основного, чем действительно интересна и примечательна книга А. Мухтара, об этом в аннотации не сказано.

Правда, конфликт, положенный в основу романа, не может быть снабжен эпитетом «новый»: в столкновение приходят, с одной стороны, обывательская приземленность, возведенная в ранг административной принципиальности, а с другой — естественное стремление людей чувствовать и понимать окружающее, защищать товарищей от подлости и несправедливости, осмысленно работать и добиваться радости для себя и для других. Но этот не новый конфликт, как, впрочем, и многие другие, постоянно осовременивается, приобретает в зависимости от обстоятельств большую или меньшую социальную значимость и, если говорить о его литературном воплощении, находит иной раз в сюжете произведения весьма острое

решение, «зацепляющее» множество жизненных нитей и узлов.

Так получилось и в романе Аскада Мухтара. Основная сюжетная линия этой книги не может не произвести сильного впечатления на читателя: в ее развитии автор проявляет и цепкую наблюдательность опытного, много повидавшего художника, и точность в определении весьма отдаленных результатов на первый взгляд вполне будничного поступка, и твердость, и необходимую беспощадность. Но — нужно, пожалуй, с самого начала сказать об этом: основной линии романа приходится иногда на протяжении целых глав «пробивать дорогу» сквозь порядочное нагромождение литературных банальностей. Причем переплетение оказывается причудливым — рядом с эпизодом живым и художественно содержательным встречаешь как будто нарочитый штамп; один и тот же герой то радует человеческой глубиной и своеобразием, то вдруг начинает говорить «не своим голосом» и делать деревянные жесты. И часто даже внутренне отмахиваешься от неудачного описания, ибо автор уже привлек тебя «на свою сторону» прочитанными перед этим удачными страницами, а точнее, привлек тебя тем, насколько честно и серьезно относится он к избранной им проблеме.

Самая интересная фигура в романе — Рахманкулов, начальник стройуправления. Немолодой человек, властный — эта властность природы закреплена жизненным опытом «бессменного руководителя», подчеркнуто безразличный к житейскому комфорту, много работавший и хорошо (может быть, слишком хорошо!) знающий, почем фунт лиха. Это именно он произносит слова о «простых и суровых истинах», процитированные в начале рецензии.

Первое появление Рахманкулова на страницах книги, в общем, импонирует. Он входит в барак, куда только что прибыла группа молодых рабочих по комсомольским путевкам. Разные это ребята, и, может быть, кое-кто из них — ну, хотя бы невзрачный «очкарик» Лукмончи — раздражает наивным романтизмом и чересчур напористым желанием сейчас же, сию минуту, увидеть и постичь масштабы лишь недавно развернувшегося строительства горнообогатительного комбината. Суховатые, но трезвые слова Рахманкулова о ближайших задачах строительства, о его трудностях, о немедленной расстановке молодых рабочих

по объектам — на расчистку площадки под цементный склад, на земляные работы, на разгрузку гравия, — все это как будто бы и нужно, чтобы охладить горячие головы, чтобы заставить ребят прямо взглянуть в глаза будням.

Может быть, только одна фраза Рахманкулова режет ухо: «... поскольку участок в основном молодежный, по всем вопросам будете сноситься с моим помощником по комсомольской работе — его вы знаете...» Знают, уже знают. Это Потчаев, глупый и напыщенный демагог, шеголяющий своим не по возрасту солидным портфелем. Зачем нужен Рахманкулову такой помощник? Что это — ошибка «вечно занятого» человека или намеренный выбор? Справедливо последнее: Рахманкулов если уж выбирает помощников, то «послабее». Практически очень неглупый человек и знающий свое дело работник, он бесконечно далек от людей, для него они существуют на строительстве лишь как инвентарь, нужный для выполнения норм. К чему лежит сердце, к чему способны руки Лукмончи, или Джумана, или любого другого из приехавших на стройку ребят, его начисто не интересует. Это бездушие, эту черствость и эмоциональную омертвелость Рахманкулов прикрывает недурно разыгранным пренебрежением к «пустым нежностям»: «Не желаю тратить на это дорогое времечко. Как видите, обхожусь». Обходится. Привык.

Но главное зло, приносимое рахманкуловыми, заключено не в их личном чугунном равнодушии к людям, а в том, что равнодушные их многих подчиняет, оглуляет, заражает, что оно способно сделать людей чужими друг другу. Даже неплохих по сути людей.

По замыслу автора, главным антагонистом Рахманкулова должен стать в романе инженер Эльчибек Давранов, сменивший инженера Казимова, временно работавшего начальником участка. С первого же дня Давранов входит в такой тесный «контакт» с Рахманкуловым, что только, как говорится, искры летят. Темпераментность и размах этой стычки изображены в романе увлеченно. Рахманкулов в конце концов выполняет все требования Давранова: убирать из комсомольских вожakov Потчаева, наладить ремонт ремонтных мастерских, дать ребятам возможность работать там, где они будут полезнее и нужнее и так далее. Рахманкулов не «пасует», здесь нет

примитивной «сдачи на милость»: как человек разумный он раньше Давранова видел пользу всех этих нововведений, только они для него лично были неудобны и невыгодны...

Но сам Давранов как герой книги окзался, увы, существом схематичным. Чем дальше, тем больше теряешь к нему интерес. И автор, пытаясь «поправить дело», старается наделить Эльчибека неким комплексом душевных сложностей: испытывая влечение, а затем любовь к гидрогеологу Ульяне Басовой, Давранов почти против своей воли поддается «чарам» красавицы секретарши Рахманкулова — Хумахон, «страдает», «переживает» и т. д. Это написано в таком плохом мелодраматическом стиле, что становится досадно и неловко. Может быть, автор опасался, что книге его не хватит противоречий, борьбы и осложнений? Если так, то напрасно! К тому же обе женщины выглядят в книге весьма условно.

Но от главы к главе все больше становится очевидным еще одно человеческое противопоставление, тонко понятое Аскадом Мухтаром и уверенно доведенное до конца. Рахманкулов и Лукмонча — вот два «полюса», вот две противоположности во всем, что касается отношения к людям, к жизни, к работе.

Раскрываются они оба медленно и, в общем, в каких-то скупых деталях. Но эта скупость кажется куда более убедительной, чем, например, та щедрость, с которой автор говорит об истории отношений приехавшего на стройку после большого личного краха Джумана и таинственной, почти мистически загадочной, всеми несправедливо гонимой красавицы Адолят.

Рахманкулов несчастлив в семейной жизни. Когда-то давно он предал свою первую жену, отрекся от нее, когда она была репрессирована. Женится второй раз на красивой дряни и потерял сына от первого брака — мальчишка ушел из дому...

Лукмонча влюбился на стройке впервые в жизни в девушку с сорока косичками, Садбар. Он не посмел объясниться, и взбалмошная, самолюбивая Садбар принялась «устраивать свое счастье» с подлецом и пошляком Халдаром, вскоре обманувшим, обворовавшим и бросившим ее. Лукмонча глубоко любит Садбар и хочет связать с ней свою судьбу, несмотря на происшедшее...

Рахманкулов никому ничего не отдает и уже не может отдать — он привык потребительски относиться к людям. Лукмонча не может не отдавать другим всего, чем сам богат, — в этом смысл его существования. Он готов работать сверх сил, он жаждет, чтобы другие узнали то, что знает он, поняли то, что он понимает, и увидели то, что он видит.

Эти два человека — почти старый и совсем молодой — встречаются, так сказать, вплотную, с глазу на глаз, всего один раз: Лукмонча приходит навестить заболевшего Рахманкулова. Лукмонча Рахманкулову непонятен: хлипкий парнишка добился, чтобы его пустили работать в кессоне. Не боится? И почему он собирается жениться на Садбар?

«— Что у вас с ней, в конечном итоге?..

— ...Если пойдет за меня, женюсь...

— С чужим ребенком? Ты кто, Достоевский? Гордость мужская у тебя есть?»

Вот оно снова, мурло мешанина, для которого все ситуации решаются одинаково — при помощи раз навсегда придуманного убогого этического штампа.

Спустя немного времени после этого разговора Лукмонча погибает: он пренебрег правилами выхода из кессона, спеша принять участие в устранении аварии, грозившей гибелью товарищам. Несмотря на все попытки врачей отвести от него смерть, он умирает в больнице. Садбар, пришедшей навестить его, он отдает клеенчатую тетрадь — свои записи, нечто вроде дневника. Встреча с Рахманкуловым нашла в тетради свое отражение. «Интересно, правильно ли я прочитал этого человека? — пишет Лукмонча. — ...Болен тяжело, но боится не своей болезни, а здоровых людей... Работу понимает совершенно первобытно, примерно как Халдар девушку... В личной жизни не имеет взаимности...» И жесткий вывод: «Я бы ему, как говорится, своего ребенка нести на руках не доверил».

Это очень точно — Рахманкулов боится здоровых людей. Так уловить существо его природы мог человек вполне здоровый и душевно чистый — Лукмонча.

Не было на стройке человека, которого не задела бы, не потрясла смерть Лукмончи. Рахманкулов встал и вышел на работу. Может быть, «сдвинулась» с места его душа? Он подписал ордер на квартиру молодой паре, у которой только что родился ребенок, — друзьям Лукмончи Нафисе и Сан-

гину. Он заглянул к ним на новоселье и выпил шампанского. Ушел. И едва ушел, как прибежала Садбар и сообщила, что Рахманкуловым только что отдан приказ об отстранении Давранова от работы — ведь на его участке произошел трагический случай с Лукмончей...

Здесь по существу завершается книга. Но автор написал еще три главы — для «окончательного» развенчания Рахманкулова, хотя, кажется, и до этого все было закончено и ясно. Нет, Рахманкулов еще должен пройти «путь покаяния», и сразу возникает нарочитость и та самая литературная банальность, о которой уже сказано выше. Приехавшая на строительство женщина-следователь оказывается бывшей первой женой Рахманкулова. Подобранный комсомольцами еще по дороге на стройку воришка Бек (потом он «перевоспитался») —

пропавший сын Рахманкулова. Помощник Рахманкулова по хозяйственной части Самандаров — бывший полицей, палач и провокатор. Вторая жена Рахманкулова, живущая в Ташкенте, ушла к другому. В кабинете следователя (бывшей первой жены) Рахманкулов, потрясенный встречей, пытается встать на колени...

Все это как будто написано для читателей, похожих на одну из героинь В. Каверина: ей было непонятно, вышла ли Маша замуж за Дубровского, и она сама придумала желанный конец: «Маша за него вышла»...

Зачем же это Аскаду Мухтару — писателю опытному, талантливому, тонко чувствующему людей и любящему их? Избавленная от украшений дурной литературы, его книга только выиграла бы.

Л. ЛЕБЕДЕВА.



## НАДО ЛИ ЛЮБИТЬ ЛИТЕРАТУРУ?

Ю. А. Андреев. Русский советский исторический роман. 20—30-е годы. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1962. 166 стр.

Вероятно, для того, чтобы не только писать исследования об историческом романе, но и всесторонне оценивать их, надо обладать многими специальными знаниями. Тут уже мало быть читателем, просто влюбленным в наш исторический роман, гордым за его создателей.

Но в данном случае мне хочется говорить именно как читателю. В данном случае сами по себе эти влюбленность и гордость дают право оценки.

Ведь случай и впрямь особый.

В начале этого года на книжных прилавках появилась книга Ю. Андреева «Русский советский исторический роман. 20—30-е годы». Интерес к ней был естествен: именно в эти десятилетия советская литература создала немало поистине выдающихся произведений этого жанра.

Но книга Ю. Андреева повергает в недоумение одной своей особенностью. И вот об этой одной особенности мне и хочется сказать. Не претендуя на большее.

Эта книга начинается таким предисловием: «Цель, которую ставит перед собой автор настоящей работы, скромна. Она состоит в том, чтобы дать историко-литературный очерк развития русского

советского исторического романа в 20—30-е годы».

Может показаться, что это всего лишь традиционное проявление академической скромности. Но очень скоро убеждаешься: Ю. Андреев и впрямь счел свою задачу скромной.

Немало места в его книге занимает разговор о книгах Юрия Тынянова. Это неудивительно. И значительность тыняновских романов, и противоречивая сложность его творчества вызвали на свет целое «тыняноведение».

Ю. Андреев ни с кем не полемизирует и ни с кем не соглашается (точнее, почти ни с кем). Конечно, это его право. Но, если верить его книге, и спорить-то было не о чем. Все чрезвычайно просто.

Ю. Андрееву очень понравился роман «Кюхля». Действительно, трудно найти человека, которому бы эта книга не нравилась. Но как объяснен ее успех? Почему она нравится критику? В его исследовании мы находим четыре «потому».

1. Потому, что Тынянов «смело сделал героями романов лиц исторических» и стал новатором в том отношении, что его «сюжет определяется историческими событиями,

а не романтической вымышленной интригой».

2. Потому, что Тынянов не стал выставить Кюхельбекера в смешном положении, а увидел в нем прежде всего революционера.

3. Потому, что Тынянов показал Кюхлю с разных сторон, а также индивидуализировал всех действующих лиц романа.

4. Потому, что хотя конец книги грустен, она «в целом оставляет светлое, радостное ощущение».

Это не отдельные доказательства Ю. Андреева, это все его доказательства.

Собственно, спорить с ними трудно — конечно, за исключением первого доказательства. Дело в том, что если даже обойти категоричность, с какой определяется новаторство Тынянова в выборе главных героев (как-никак, среди исторических романов были и такие, как пушкинский «Арап Петра Великого»), то нельзя не подивиться крайней подозрительности Ю. Андреева к «вымышленной интриге» в художественном произведении. Например, о романе «Базиль» Л. Рахманова он пишет: героем его «является вымышленный персонаж, однако (!) роман следует расценивать как весьма положительное явление».

Остальные же положения Ю. Андреева справедливы. И все же немедленно возникает ощущение, что, по мнению автора, творить выдающиеся художественные произведения чрезвычайно легко. Успех одного произведения достигается точно так же, как и успех другого, и вообще надо лишь следовать заранее выработанным правилам.

И не мудрено, что когда исследователь обращается к сложнейшей тыняновской вещи — к «Смерти Вазир-Мухтара», — то он и не пытается анализировать действительные ошибки и достоинства книги, а сразу же называет ее «упадочническим произведением». И добавляет: «Формализм, трюкачество, обыгрывание анекдота, внешняя парадоксальность стали сознательными установками автора».

И вновь кажется, что Тынянов, выполнив с прилежностью первого ученика какие-то общеизвестные правила в «Кюхле», вдруг почему-то заупрямился, «испортился» и «Вазир-Мухтара» написал «наоборот».

Большую часть страниц, посвященных «Вазир-Мухтару», Ю. Андреев заполнил раздраженными замечаниями по поводу языка романа. Раздражение его так велико, что он не увидел в книге ни одной удачной фра-

зы. Ни одной — это не преувеличение: «Немало острых, тонких сравнений и эпитетов разбросано по книге, но все (!) они плохи тем...» и т. д. Даже запятые и точки приводят Андреева в раздражение: «Язык ровный, знаки препинания Тынянов часто ставит как придется — лишь бы необычно».

И если даже Тынянов позволит себе самую невинную метафору (к тому же мотивированную на предыдущих страницах): «Леночка опустилась на диван, сливы ее блестя», — то Ю. Андреев не позволит ему и этого: «Не глаза — а сливы». И воскликнет мгновенно спустя: «Парадокс, парадокс прежде всего!»

Но, конечно, дело не только в языке. Исследователь выдвигает против Тынянова два серьезнейших обвинения.

Первое: в романе изображен не Грибоедов, а «карьерист, невысокой нравственности человек, приспособленец и ренегат, автор буржуазных преобразований, своего рода высокоинтеллектуальный Молчалин».

Второе: Тынянов злоумышленно сгустил краски, чтобы провести «голенькую, убогую параллель». Оказывается, выдающийся советский писатель в своем романе ни больше, ни меньше, как сравнил «рабье служение Николаю и его империи» и «переход на сторону народной советской власти бывших ее недоброжелателей».

Здесь можно бы негодуяюще всплеснуть руками. Но лучше удержаться от этого беспомощного жеста — тем более что ничего удивительного не произошло.

Собственно, так и должно было случиться. Крайне одностороннее понимание художественного характера (в данном случае — Грибоедова), нежелание разобраться в различной системе действительно сложного и даже спорного романа, неумение определить истинную позицию писателя — все это естественно привело к политическому обвинению. Остается только подивиться, как этот «упадочнический», да еще с «убогими» параллелями роман до сих пор переиздается...

Мы часто возражаем против наклеивания ярлыков, но чаще тогда, когда речь идет о работающем, существующем писателе. Когда же критик клеймит тех, кто уже не способен на него обижаться, мы относимся к этому сдержаннее. А какая разница? Главное ведь то, что существуют люди, любящие клеймить, припечатывать, обвинять гораздо больше, чем думать.

Как это ни грустно, но все еще живет и не сдает своих позиций тип критика, которого Чапек вывел в своих «Побасенках»: «Критиковать — значит объяснять автору, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел». И еще: «Зачем мне знать, каков мир? Довольно того, что я знаю, каким он должен быть».

Да, иные критики слишком твердо зазубрили, каким должен быть мир, не узнав, каков он на самом деле. Им все кажется, что они знают лучше любого писателя, что и как ему надо делать. И не удивительно, что литература очень часто не оправдывает их ожиданий.

Ю. Андрееву очень многое не нравится в истории советского исторического романа. Он много бранится. Многих учит. С иными спорит, но в этом споре обычно представлена лишь одна сторона — сам Ю. Андреев.

В технике есть известное понятие — «сопротивление материала». Есть оно и в искусстве, в том числе и в искусстве литературной критики. Ей тоже захватывающе интересно вступать в единоборство со сложным материалом, который надо постичь, по-своему победить — не умертвляя и не упрощая. Бой с тенью вести легче, но разве победа будет равнозначной?

У Ю. Андреева много противников среди авторов исторических романов — Тьяннов, Л. Гроссман, Чапыгин, Артем Веселый... Всех и не перечислишь. Но он сражается не с живой плотью искусства. Противников своих он предварительно превращает в плоские серые тени. В тени, не способные возразить и защититься.

Поэтому делает он с ними все, что ему угодно.

Например, говоря о романе Л. Гроссмана «Записки Д'Аршиака», Ю. Андреев вначале добросовестно отмечает, что «все повествование ведется от лица Д'Аршиака — родственника, друга и секунданта Дантеса, члена французского посольства (политического шпиона)». И тут же заявляет, что «Л. Гроссман (заметьте, уже не Д'Аршиак, а сам Гроссман.— С. Р.) мягко, чуть ли не нежно... пишет о старом Геккерне». Тот же Л. Гроссман, по мнению Андреева, «использует... средства эстетического воздействия», чтобы заставить читателей восхищаться Дантесом и возмущаться «неприличными выходками» Пушкина.

Неловко становится при мысли, что Ю. Андреев пытается принудить крупного

пушкиниста оправдываться в неприязни к Пушкину и в нежности к его убийцам. Но это еще не все.

Ю. Андреев замечает, что критика романов Л. Гроссмана велась в свое время в рецензиях, «верных по существу», но «нетерпимых по тону». Рядом — пример такой критики, относящийся к 1929 году: «Совершенно недвусмысленно Гроссмана надо раз навсегда отнести к разряду наших классовых врагов в науке о литературе».

А собственно, где же тут «нетерпимый тон»? Ни одного бранного слова. Просто писатель тихо и корректно объявлен врагом. А это, очевидно, и есть то «существо», против которого Ю. Андреев не возражает.

Итак, «раз и навсегда» заклеен Тьяннов. «Раз навсегда» вынесен приговор Гроссману.

Но они еще в привилегированном положении. С иными писателями Ю. Андреев поступает еще проще — даже не вызывает их на спор, даже не пытается хоть как-то анализировать и доказывать. И, наверное, потому, что их беззащитность особенно очевидна, он уже совсем не стесняется в выборе выражений. Скажем, на Артема Веселого он выливает целый поток ругани, не удостоив его ни одним (ну, хоть для вежливости) добрым словом, — я уж не говорю о доказательствах.

«Рваное, взбаламученное, анархистское повествование», «формальное трюкачество», «гнилая теория» — вот и все, что увидел Ю. Андреев в лучших вещах Веселого. Этому писателю посвящено в книге меньше двух страниц, но на них уместилась и захватская брань, и (конечно же!) резкие политические обвинения («Пролетарская диктатура, по Веселому, несет гибель деревне»), и раздраженные оценки самой личности писателя, и такое заключительное замечание: «Политическая его реабилитация не есть повод для захваливания его как писателя...»

Конечно, книга Ю. Андреева состоит не сплошь из хулы. Порою ее автор прерывает увлеченное поношение для того, чтобы неожиданно (и, к слову, так же бездоказательно) похвалить отдельное произведение писателя, как было с «Кюхлей» Тьяннова. А иногда наоборот. Вот разговор зашел об одном из лучших советских исторических романов, о «Разине Степане» А. Чапыгина, — и в книге Ю. Андреева потоком идет несдержанная, темпераментная хвала. И вдруг — стоп: «Вы-

делением положительных моментов анализ «Разина Степана», однако, только начинается, но не исчерпывается».

Оставим в стороне это «выделение положительных моментов»... Посмотрим лучше, что будет дальше.

А дальше вот что: «История для Чапыгина ни в коей мере (обратите внимание на уже знакомую нам категоричность.— С. Р.) не является процессом закономерным, имеющим объективные предпосылки. Это хаос случайностей».

«Экономических, глубоких предпосылок восстания почти нет: главное, что заставляет народ восставать, это административные притеснения. О порках, пытках по любому поводу говорится бесконечно». (Как будто эти «административные притеснения», порки и пытки не выражали экономических отношений феодальной Руси.)

«Не по-марксистски решена проблема соотношения народа и выдающейся личности. У Чапыгина эта проблема стоит так: герой и толпа».

Естественно, что после таких обвинений от прежних похвал остается очень немного. А кое-какие из них Ю. Андреев просто забирает назад. Если прежде он писал о «Разине Степане», что эта «книга отразила не одну какую-то сторону крестьянской революции, не частный эпизод ее, а весь ее размах», то теперь он уже другого мнения: «Движение Разина в значительной мере изображено не как крестьянское восстание, а как гуляние разбойного казачества и гольтыбы...»

Взгляды исследователя, конечно, могут меняться со временем: прежде думал одно, теперь другое. Но у Ю. Андреева прежде — это 44-я страница, а теперь — 47-я.

И даже само дарование Чапыгина, на той самой 44-й странице еще восхищавшее Ю. Андреева, теперь вызывает у него недо-

брение: «Могучий изобразительный дар Чапыгина, обращенный на такие явления, как пытка, разврат, непристойности, пьянство, отправленные естественных потребностей и т. п., создает ужасающие, отталкивающие картины, тем более отвратительные, что нарисованы они талантливейшим художником».

Словом, чем лучше — тем хуже.

Так Ю. Андреев похвалил Чапыгина...

Странное впечатление производит эта книга. Слишком уж легко, слишком бездоказательно и недружелюбно расправляется ее автор, совсем молодой литератор, со многими интереснейшими книгами. Слишком произвольно сменяют друг друга то безоглядное захваливание, нередко ставящее восхваляемого писателя в несерьезное положение, то столь же увлеченное поношение. Слишком недостает ей понимания художественной ткани произведения, поисков и раздумий.

И еще чего-то недостает книге, очень важного...

Впрочем, и сам автор прямо говорит об этом. Вот как пишет он о недавно изданной книге А. Белинкова «Юрий Тынянов», снисходительно ее одобряя: «Очевидная любовь А. Белинкова к Ю. Тынянову не привела к апологии и не стала препятствием для верного в основных положениях, объективного исследования».

«Любовь... не стала препятствием...» Любовь к писателю — в роли некоего подозрительного грешка, в котором еще надо сперва оправдаться!

Нет, любить литературу и ее создателей все-таки нужно — особенно когда ты о ней пишешь. Иначе может получиться то же, что получилось у Ю. Андреева.

Ст. РАССАДИН.

★

## ОБРАЗ ТЮТЧЕВА

К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 374 стр.

До последнего времени у нас, к сожалению, серьезные, да и не очень серьезные — всякие — работы о Тютчеве появлялись крайне редко. В последние годы они, к счастью, стали появляться чаще, и многие из них весьма значительны и интересны. Эта книга, самая объемная и подробная из

всех такого рода работ, отличается прежде всего не концепциями, с которыми можно соглашаться или спорить, а просто живым ощущением жизни и творчества этого поэта. Именно поэтому о ней трудно писать — не начать же перечислять все места этой книги, где проявляется это живое ощущение.

Пришлось бы пересказать три первых главы и еще последнюю, шестую. Это занятие явно бессмысленное, лучше просто отослать читателя к самой работе или на худой конец к рецензиям специалистов-литературоведов в специальных литературоведческих изданиях.

Но, с другой стороны, человеку, искренне любящему Тютчева, трудно не отозваться на книгу, не поделиться с читателем теми мыслями и чувствами, которые она у него вызывает. Трудно не отметить, что, ведя разговор о тонких и сложных материях, связанных с жизнью и творчеством Тютчева, автор монографии нигде не допускает погрешностей против его образа и духа его поэзии. А это очень нелегко, ибо образ этот крайне сложен. Вульгарного критика он просто ставит в тупик. Чем только не обьявляла Тютчева вульгарная критика! Махровым реакционером, сторонником принципа «искусство для искусства», интимным лириком (что на ее языке тоже не означает ничего хорошего). Потом, правда, поэт был «помилован» за патриотизм, но зато с повестки дня был снят вопрос об общем значении его поэзии. Впрочем, легко понять вульгарного исследователя. С его мерками трудно было подойти к Тютчеву.

Убежденный монархист (хотя и либерального толка), страстный консерватор, добровольно взявший на себя неблагоприятный труд защиты перед европейским общественным мнением репутации российского самодержавия и того самого монархического принципа, который уже тогда был анахронизмом, а самой России стоил обидного поражения в Крымской войне. Высокопоставленный сановник, которому доверили один из цензурных комитетов — комитет цензуры иностранной, наконец просто автор стихов, где шельмуется революция и возносится самодержавие, — все эти факты говорят, что перед нами отпетый реакционер, которым и интересоваться не стоит.

А между тем многие им интересовались. О его стихах восторженно отзывался Пушкин, их очень любили Толстой и Тургенев, в пятидесятые годы их вновь открыл, привлек к ним внимание публики Некрасов, об их серьезности говорил Добролюбов. И наконец именно для Тютчева нашлось место среди самых необходимых книг в кремлевском кабинете Ленина.

Что же привлекало в Тютчеве Ленина? Конечно, не его монархические взгляды.

Думаю, что и не восхищение так называемой формой как чем-то не зависимым от содержания поэзии. Так в чем же дело?

На этот вопрос существует только один ответ. Содержание тютчевских стихов, а значит, и его душевной и духовной жизни не исчерпывалось теми политическими взглядами, которые он исповедовал и проповедовал. И к каким бы выводам он ни приходил, эти выводы были основаны на очень остром и живом ощущении современной ему эпохи, ее противоречий и ее трагедий, на глубоком понимании ценности человеческой души, ее цельности и ее потребностей. Собственно говоря, трагическое столкновение высокой человеческой души, ее пристрастия к жизни, земле, к гармонии, к счастью, и разрушительной силы века — основная коллизия, основное содержание всех стихов Тютчева, всей его лирики — и личной и общественной. Это ощущение — та трагическая подпочва, которая чувствуется буквально во всех его стихах. Именно оно придает ту особую жгучую напряженность, которой стихи заражают читателя. Оно есть даже в таком стихотворении, как хрестоматийно известное «Люблю грозу в начале мая...». Даже идиллическое воспринимается Тютчевым не само по себе, а как противопоставление безысходной дисгармонии жизни. И не в этом ли секрет его особого, тютчевского, обаяния?

Но каким бы трагическим ни было мироощущение стихов Тютчева, самое главное в них — это утверждение той высокой души, с которой происходит трагедия, то высокое пристрастие к земле, цельности и гармонии, которое проявляется в самом этом трагическом мироощущении. И не означает ли это трагическое восприятие неприятие той действительности, которая окружала поэта и с которой боролись его идеологические противники? И именно это привлекало к Тютчеву самых передовых деятелей нашей страны и привлекает нас к стихам Тютчева. Каких бы общественно-политических взглядов ни придерживался сам Тютчев, его поэзию в целом никак нельзя назвать реакционной.

Впрочем, в связи с этим нелишне было бы коснуться, как это хорошо и обстоятельно делает К. Пигарев, самой природы общественно-политических взглядов Тютчева. Из всех обвинений, которые ему предъявлялись, самое нелепое — это обвинение в приверженности к лозунгу «искусство для



искусства». Уж слишком интересуют Тютчева-человека и Тютчева-поэта современные ему события. Войны, революции, сложные политические перипетии — это тот воздух, которым дышит Тютчев. Он прежде всего современник, у него даже есть своеобразная гордость своим временем, которое — какое оно ни сложное — наполнило его душу собой, дало ей содержание и призвание.

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые —  
Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир.

Да, Тютчев был монархистом. Он противопоставлял патриархальную императорскую православную Россию развращенному республиканскому и католическому Западу. Все зло эпохи он видел в революции. Разумеется, это никак не соответствовало представлениям передовых людей России ни в его время, ни когда-либо потом. Это так. Его мировоззрение как будто целиком совпадало с мировоззрением императорского двора, сам Николай I говорил об одной из статей Тютчева, что в ней выражены его мысли и настроения. Все это предполагает, что отношения Тютчева с двором и правительством должны быть безоблачными. Между тем этого не было. Тютчев все время чувствовал, что в стране делается не то и не так, пытался влиять на правительство косвенными средствами (например, используя свое влияние в свете) с тем, чтобы заставить его действовать умно, в его же собственных интересах, и почти всегда безуспешно, что доводило его буквально до отчаяния, до сознания бессилия человеческого разума вообще. Кроме того, его деятельность в цензурном комитете вызвала нарекания со стороны начальства, как правило, тупого и, как правило, преданного монархической идее далеко не так искренне, как Тютчев. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Российский деспотизм (как, вероятно, всякий деспотизм) вообще, а в конце своего существования в особенности, не очень любил и ценил своих сторонников. Гораздо приятней и приятней ему были просто верно-подданные. Ни граф Витте, ни граф Игнатъев, ни любой другой деятель, который пытался спасти монархию, никогда не пользовался его расположением. Во-первых, потому, что по своей природе тяготел к людям тупым и невыразительным и не любил людей ярких

и убежденных; во-вторых, потому, что они оскорбляли его самолюбие. Он любил себя чувствовать прочным и могущественным, находящимся в центре обожающего его народа. Люди, которые напоминали ему об истинном положении вещей, были ему неприятны. К их услугам прибегали от страха и избавлялись от них при первой возможности. Кроме того, убежденные монархисты имели в сравнении с нерассуждающими верно-подданными тот недостаток, что любили в монархизме главным образом свою идею, а не личность обожаемого монарха. То есть они видели в монархии только средство, а не цель, а это уже почти граничило с революционерством.

Излишне доказывать, что Тютчев был монархистом именно этого рода. И если он, служа в цензурном ведомстве, разрешал к распространению сочинения авторов, с которыми не был согласен, то он просто поступал как человек, уважающий свои взгляды и не верящий в то, что можно и нужно их насаждать насильно.

Человек европейской культуры, друг Гейне, переводчик на русский язык произведений многих европейских поэтов, он отрицательно относился к Западу вовсе не потому, что это Запад и у них там все не как у нас. Просто Запад казался ему недостаточно надежным хранителем своей же собственной культуры, такой близкой и дорогой Тютчеву. Гораздо более надежным хранителем и продолжателем этой культуры казалась ему Россия.

Конечно, девятнадцатый век — это век революций в Западной Европе. Конечно, Россия объективно тогда была и в экономическом, и в политическом, и в культурном отношении страной отсталой. Но очень чуткие люди ее, уже тогда внимательно в поисках пути всматриваясь в то, что происходит на Западе, не могли не чувствовать, что развитие Запада идет несколько не в том направлении, как этого хотят и хотели лучшие его умы, что, если о свободе и равенстве еще можно было спорить, формальны они или существуют и прогрессируют на самом деле, то насчет третьего требования буржуазной революции — требования братства между людьми — не заходил даже разговор. Разобшение, взаимонепонимание, разорванность сознания, нецельное мироощущение не только не уменьшились с победой буржуазии, а увеличивались с каждым днем.

Все это оказывало очень сложное и противоречивое влияние на развитие русской культуры. С одной стороны, ее представители знали, что живут в самой рабской и темной стране в Европе. С другой стороны, они ощущали ее гигантские потенциальные возможности и те положительные качества, которые помогут избежать того, что случилось на Западе. С одной стороны, европейская культура их притягивала к себе, с другой — они чувствовали и надвигающийся кризис. Можно без преувеличения сказать, что такое представление о России и Западе — в разных вариантах — было свойственно большинству деятелей бурно развивающейся русской культуры: западникам и славянофилам, Герцену и Достоевскому.

Все это было в высокой степени свойственно и Тютчеву, очень любившему Россию

и хорошо и близко знавшему и любившему Западную Европу.

Обо всем этом с большой любовью и тактом рассказывает К. Пигарев в своей книге. Рассказывает подробно и обстоятельно, в то же время оставаясь «в образе», почти нигде (на мой взгляд, в этом отношении менее удачны главы четвертая и пятая) не погрешив против духа поэзии и личности Тютчева. Эта книга, кроме того, заново воскрешает перед читателем очень интересную страницу не только в истории русской поэзии, но и вообще в истории русской культуры.

В этом заслуга и автора монографии, очень обстоятельно изучившего все, что относилось к жизни, творчеству любимого им поэта, и самого поэта, с жизнью которого связано так много в нашей истории.

Н. КОРЖАВИН.

★

## ЗВЕЗДЫ СЕВЕРА

**Вэйне Линна. Здесь, под северной звездой... Роман. Перевод с финского В. Богачева. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 487 стр.**

В статье, посвященной творчеству финских прозаиков младшего поколения, известный финский писатель Марти Ларни первое место отдает Вэйне Линна. Характеризуя хорошо известную в Финляндии эпопею Вэйне Линна «Здесь, под северной звездой...», писатель говорит, что это произведение, «вероятно, будет иметь непреходящее значение для финской литературы. Роман этот несет в себе заряд живой трепетной жизни, в нем есть люди из плоти и крови, это голос самой гуманности».

Особую заслугу автора Марти Ларни видит в том, что тот сумел «понять сокровенные думы человека из народа, показал влияние народа на ход истории страны».

И это верно. Главным героем реалистической эпопеи Вэйне Линна, первая часть которой опубликована на русском языке, является человек-труженик, народ-созидатель. Сын рабочего, Вэйне Линна сам с детских лет кровно связан с трудовым народом. Нелегко был путь художника. Родившись в 1920 году, Вэйне Линна рано начал свою трудовую жизнь. В поисках куска хлеба будущий писатель переменял немало профессий: батрачил по деревням, трудился на лесозаготовках, работал на заводе в Тампе-

ре. Юноше удалось закончить лишь начальную школу. Но громадный жизненный опыт, кровная связь с народом в сочетании с талантом, умением остро всматриваться в жизнь, мужественно смотреть правде в глаза сделали из Вэйне Линна настоящего писателя.

Правда, два его первых романа «Цель» и «Черная любовь» большого отклика не вызвали. Шум поднялся вокруг третьего романа Линна «Неизвестный солдат». В этом романе Линна реалистически изобразил краткий период войны между Финляндией и Советским Союзом. Это произведение, написанное с прогрессивных позиций, реакционные силы поспешили объявить «непатриотическим». Но успех у читателей был большим и не случайным. Достаточно сказать, что «Неизвестный солдат» разошелся в Финляндии тиражом в 350 тысяч экземпляров.

Следующему произведению — монументальной эпопее «Здесь, под северной звездой...» Линна посвятил десять лет напряженного труда. И снова вокруг книги возникла острая полемика. Реакционеры пытались перечеркнуть роман, окрестив его «красной ложью». Поклонники модернист-

ческой зауми и формалистических выкрутасов объявляли его старомодным.

Роман «Здесь, под северной звездой...» строится на глубоко жизненном материале. В первой книге своей трилогии писатель рассказывает о том, как земледельцы, труженики-торппари, пядь за пядью отвоёвывают у суровой природы каменистые россыпи, превращая их в удобные земли. Обществом-прогрессивное звучание романа «Здесь, под северной звездой...» бесспорно. Книга написана о народе и для народа. Не случайно даже название трилогии Линна позаимствовал из популярной народной финской песни: «Здесь, под северной звездой наша Родина... здесь стонет сердце и глаза наполняются слезами... лишь там, по ту сторону звезд, возрадуется сердце и глаза засияют счастьем...»

Вот к этой «счастливой стороне звезд», мечта о которой звучит в песне, всей душой стремится герой первой книги трилогии, «серьезный мужчина с неулыбчивым взглядом и жестко вырезанным лицом», бедняк-торппарь Юсси.

Вооруженный лишь мотыгой, Юсси взваливает на свои плечи тяжелую задачу. Он должен превратить непроходимое болото в участок плодородной земли.

В первых же строчках романа говорится об этом эпически сильно: «В начале были болото, мотыга — и Юсси».

Затем писатель шаг за шагом рисует картины героического единоборства Юсси с болотом.

Казалось бы, кропотливо детальное описание этой каждодневной битвы не может увлечь читателя. Однако это не так. За каждой строкой романа стоит глубокая жизненная правда, подлинная достоверность. Поэтому все детали романа «весомы и зримы».

Линна внимательно следит за усилиями своего героя.

«Он приспособивал жерди, делал рычаги и скаты и с их помощью выкатывал наверх тяжелые валуны... Когда же напряжение достигало предела, когда каждая мышца трепетала, отдавая последний остаток силы, а требовался еще рывок, то из какого-то чудесного тайника появлялись новые силы. Глаза Юсси застилала тусклая неподвижная пелена, губы сводила судорожная гримаса, в которой было что-то жестокое, — и камень выкатывался наверх».

Наконец в результате нечеловеческого труда Юсси побеждает болото. Но победителем его назвать нельзя. Иные, враждебные силы мешают ему воспользоваться плодами каторжного труда. Когда нищий, вооруженный лишь мотыгой крестьянин превратил болото в плодоносящую землю, на нее предъявил свои права молодой пастор Лаури Салпакари. Он вспомнил, что некогда заболоченная земля принадлежала пасторату, и на этом основании треть участка, политого потом Юсси, должна перейти во владение пастора Салпакари.

Автор говорит о злоключениях Юсси сдержанно, в эпически спокойной манере. Вообще творческому почерку Линны чужда сентиментальность, ходульность, излишняя приподнятость тона. Но за этой сдержанной манерой ощущаются и гнев, и сердечная боль писателя. В этом смысле он органически близок своему герою — немногословному, мужественному Юсси.

Вот сцена объяснения Юсси с ограбившим его пастором. После того, как пастор объявил торппарю, что церковь (то есть он, пастор) отбирает треть его земли, Юсси внешне остается спокойным. Он сразу понимает, что разговоры уже бесполезны. «Так. Ну что же... Тогда, видно, надо переписать договор», — стараясь сдерживаться, говорит Юсси. «Это не нужно. Ведь мы же не меняем договора по существу. Мы только возвращаем часть земель, размер которых в договоре точно не определялся», — юлит пастор. «Да-а... Ну так пусть остается», — сдержанно отвечает ему обворованный Юсси.

Кажется, ничто не может сломить мужества этого человека. Постепенно образ Юсси вырастает в романе в обобщенную фигуру обездоленного, но несгибаемого труженика земли.

Закономерно, что уже первая книга романа как бы подводит к дальнейшим событиям — к народной, погрязшей Финляндии революции 1918 года. Незбежность этого социального взрыва чувствуется уже в первой книге трилогии «Здесь, под северной звездой...».

Торппари Финляндии под водительством пролетариата должны подняться на борьбу за свои поправные права. В романе Вэйне Линна выразительно очерчены борцы за социальную справедливость. Первое место среди них занимает сын Юсси Аскели Коскела. Унаследовав от отца его титаническое

трудолюбие, Аскелн гораздо яснее видит, кто мешает труженикам жить и работать на земле. Юноша становится вожаком крестьянской бедноты, даже возглавляет народную демонстрацию. Нет сомнения, что в будущем Аскелн Коскела найдет свое место в рядах восставшего трудового народа.

Несколько иначе, с мягким юмором, которым хорошо владеет автор, очерчен и другая фигура борца за народное счастье. Это несколько наивный, порой мечтающий о классовом единении «деревенский интеллигент» портной Халме. Расплывчатому идеализму Халме резко противостоит классовая сознательность молодого Аскелн.

Фигурируют в романе Линна и враги революции. Среди них и крупный землевладелец барон, и играющая в либерализм, а по сути дела корыстолюбивая пасторская чета, и представители кулачества. Эти фигуры написаны художником-реалистом без излишнего нажима, не прямолинейно. Так, например, пастор Лаури Салпакари, оттягавший землю у Юсси, порой испытывает чувство вины перед крестьянином, он способен на искреннюю привязанность к своим домашним. Но, конечно, все это не меняет сущности образа, образа эгоистического провинциального карьериста.

Но не только широкое социальное полотно дает в своем произведении Вэйне Линна. Ряд страниц романа говорит об авторе как о тонком лирике, влюбленном в суровую природу родного края. Причем пейзажные зарисовки, рассеянные в романе, свободны от так называемых «красивостей». Они просты и лаконичны.

«Зелень озимой ржи ярко сверкала в лу-

чах вечернего солнца. Освободившиеся из-под снега пашни лежали черным сукном, а на покосах еще сохранился бурый цвет травы, побитой морозом. По краям болота под укрытием ельника белели языки снега».

Или: «Пасхальный день догорал и закатное солнышко вызолотило избу. Снег на дворе, прохваченный вечерним морозцем, уже стал покрываться корочкой наста, но сосульки на стрехе еще роняли радужные капли».

С той же сдержанной лиричностью автор рассказывает и о любви юного Аскелн к Элине. Вот как встречает их первое утро после свадьбы:

«За окном разгорался день. На комод лежали Элинин миртовый венок и крахмальный воротничок Аскелн. На спинке стула раскинулось белое подвенечное платье, все в розоватых отсветах утреннего солнца. Свет падал вкось, и на окно ложилась тень чердачной лестницы. В комнату проникали приглушенные голоса летнего утра: хлопотливое щебетанье ласточек, пение петуха и далекое нетерпеливое мычание коровы».

Финское лето красиво. Но коротко».

Этой простой зарисовкой заканчивается первая книга большого романа.

Несомненно, уже в первой книге романа талантливого финского писателя читатель найдет много ценного. Он увидит достоверно нарисованную жизнь тружеников земли, почувствует всю силу народного стремления к социальной справедливости, ощутит своеобразную красоту северного края и внутреннюю поэтичность его суровых обитателей.

**В. ГЕРАСИМОВА.**

★

## НА ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ ФАКТОВ

**Мирослав Микулашек. Пути развития советской комедии 1925—1934 годов.** Státní pedagogické nakladatelství. Praha (Государственное педагогическое издательство. Прага). 1962. 268 стр.

**В** Праге вышла в свет книга Мирослава Микулашека «Пути развития советской комедии 1925—1934 годов» (на русском языке). Название скучное, «диссертационное», тираж — всего лишь шестьсот экземпляров. Но это — приметы внешние. По существу же книга молодого чешского ученого, закончившего аспирантуру в Ленинградском университете, представляет большой и во многом поучительный интерес.

Мирослав Микулашек написал историю советской комедии в установленных им хронологических пределах. Это значит, что в сферу исследования автора вошли не только лучшие вещи (те, что у нас иногда называют «классическими»), но и комедии, ныне полузабытые, в свое время занимавшие весьма заметное место в литературной и театральной жизни, без которых нельзя воссоздать сколько-нибудь полно

развитие комедийного жанра в нашей драматургии. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание, ибо ограничение драматургии двадцатых или тридцатых годов несколькими названиями из «золотого фонда» долгое время было бедой нашего литературоведения. Теперь, в книгах последних лет, круг изучаемых пьес стал шире. М. Микулашек расширяет его еще. Он поступает совершенно правильно, потому что в урезанном списке мы не досчитывались многих талантливых, несправедливо забытых сочинений, что страшно обедняло нашу драматургию. Не часто, скажем, вспоминался «Выстрел» А. Безыменского, за пределами изучения оказывались удачные комедии В. Катаева, В. Шкваркина. А кроме того, неудачная пьеса Б. Ромашова «Матрац», комедийные сочинения А. Толстого или какая-нибудь «Таракановщина» Л. Никулина и В. Ардова — это тоже история советской комедии. Надо эти явления не замалчивать, а объяснять. Так и поступает М. Микулашек, и оттого развитие комедии в его изложении выглядит как живой, противоречивый процесс.

Дело, однако, не только в этом. Многие лучшие комедии, получившие в пору своего рождения общественное признание или вызвавшие ярые споры, затем (по разным причинам) были несправедливо понижены в критике. Стало общим местом сводить расцвет советской драматургии в середине двадцатых годов к «большой четверке». К «Шторму», «Любови Яровой», «Разлому» и «Бронепоезду» прибавлялась еще иногда «Виринея». Но ведь в год появления «Шторма» (1925) были написаны «Воздушный пирог» Ромашова и «Мандат» Эрдмана! М. Микулашек внимательно анализирует эти интереснейшие, важные для советской комедии вещи и делает верный вывод: героическая, историко-революционная драма развивалась вместе, параллельно с сатирической линией в молодой советской драматической литературе.

Большое достоинство книги чешского ученого состоит в том, что исследование комедии ведется в ней неотрывно от теории и критики тех лет. В солидной библиографии автор называет более четырехсот общих работ по теории и истории советской драматургии, в частности комедии, не говоря о множестве рецензий на пьесы. Это не только свидетельство громадного труда, но основа теоретической оснащенности книги,

проливающей свет на некоторые вопросы нашей драматургии и на современном этапе.

Мы и сейчас печалимся оттого, что слабо развиваем сатирическую ветвь в нашей драматической литературе. Но ведь недоверие к сатире имеет далекую историю. М. Микулашек весьма убедительно критикует давние ликвидаторские по отношению к сатире взгляды Блюма и Нусинова, опираясь при этом на верные суждения Луначарского, Кольцова. Старая дискуссия, оказывается, нужна и сегодня: выводы автора книги о советской комедии имеют отношение к нынешней «сатиروبоязни», к тем, кто полагает, что сатирическое обличение темных сторон жизни грозит «искажением действительности».

Центральное место в книге правомерно занимает глава о драматургии Маяковского. Автор добросовестно изучил бльшую литературу о сатирических комедиях поэта (в библиографии значится сто шесть книг и статей!), с некоторыми критиками согласился, иных опроверг. Но широкое обращение к критике не помешало М. Микулашеку высказать свое, самостоятельное (и, по моему, верное) мнение о «Клопе» и «Бане», о трудной судьбе драматической сатиры Маяковского. Известно, скажем, что тень несправедливого, безоговорочного осуждения театра Мейерхольда пала и на комедии Маяковского — именно здесь одна из причин более чем двадцатилетнего перерыва в их сценической жизни. М. Микулашек, опираясь на факты, устанавливает истину: при некоторых действительных недостатках спектаклей, поставленных Мейерхольдом, именно он открыл дорогу Маяковскому на сцену. И сам Маяковский вовсе не отверг сценическое истолкование Мейерхольдом «Банни», а в целом, в главном принял его. Что же касается того обстоятельства, что комедии Маяковского были не всеми и не сразу поняты (в том числе и доброжелателями поэта), то здесь сказывались совсем иные причины. В связи с этим автор напоминает очень верную и интересную мысль брата Серафимовича, правдиста В. С. Попова-Дубовского. Вот эта мысль:

«Многие, побывавшие на «Бане», вынесли из спектакля смутное впечатление — неудовлетворенность и недоумение. Не отрицание, а именно недоумение. Не «плохо», а «странно». В этом нет ничего удивительного. Мы знаем в истории театра много пьес, которые на первых порах решительно проваливались,

а потом становились общепринятыми образцами... Это значит, что новый стиль, появляясь на театре, должен завоевать себе зрителя, и, лишь завоевавши, он прочно им овладевает. Так и пьесы Маяковского».

Верно. Жаль только, что (не по вине Маяковского и зрителей) для понимания драматического новаторства поэта понадобилось слишком много времени.

На большом, широком пути советской комедии М. Микулашек верно отмечает важнейшие этапы, чутко различает явления определяющие и проходные. Это умение автора помогло ему не захлебнуться в громадном потоке имен и названий, верно поставить вехи на пути развития комедийного жанра в конце двадцатых — начале тридцатых годов. Жаль только, что порой автор словно бы сужает границы комедии. Так, скажем, он справедливо уделяет большое внимание водевилю, в частности «Чужому ребенку» Шкваркина. А вот новые по своей природе комедии Погодина анализирует бегло, в ряду других произведений. Не потому ли, что погодинские пьесы представляются автору не «настоящими», не «чистыми» комедиями? Видимо, так. А дело в том, что Погодин очень расширил жанр комедии, и в этом смысле (не говоря уже о содержании) его пьесы явились несомненным этапом на пути советского комедийного искусства.

Мы уже говорили о том, что в своих размышлениях о путях советской комедии автор широко обращается к критике — соглашается с одними литераторами, полемизирует с другими. Это хорошо, хотя — приходится признать — многим из нас досталось. Но иногда М. Микулашек, проявляя большую требовательность к критикам, теряет это чувство, когда пишет о драматургах. Так, например, мне кажется, что он явно переоценил достоинства «Чудесного сплава» В. Киришона, возложив всю вину за появление в первой половине тридцатых годов безконфликтности в комедии на критиков. Получилось даже так: Киришон — автор коме-

дии одержал победу, а Киришон-теоретик заблуждался. М. Микулашек справедливо не согласен с программной мыслью драматурга о комедии, лишенной критического начала, о «комедии положительных героев». «Тенденции облегченного изображения жизни,— пишет автор,— безобидные и слабо различимые на первый взгляд, имели серьезные последствия, отрицательно сказавшиеся на судьбах комедии позднее, уже во второй половине 30-х годов».

Совершенно верно! Но ведь именно в «Чудесном сплаве» эти тенденции нашли наиболее полное практическое выражение. Автор же, восхищаясь тем, как изображена жизнь в комедии Киришона, лишь робко замечает, что «не вполне удовлетворяет ее конфликтное ядро, конфликтная сторона». Думается, что здесь, при исследовании трудного этапа в развитии советской комедии, М. Микулашеку не хватило глубины анализа, которым отмечена вся его книга.

Как всякая боевая, полемическая книга, работа М. Микулашека рождает желание не только соглашаться, но и спорить об оценках тех или иных литературных явлений. Но бесспорно главное: молодой чешский ученый подошел к исследованию одного из интереснейших этапов развития советской комедии с верных идейных позиций, во всеоружии обширных и прочных знаний. Книга его привлекает тем, что она свободна от иных давно сложившихся неверных представлений — автор встретился с изучаемым предметом как бы впервые, и оттого есть в его суждениях обаяние свежести, непосредственности. Можно с уверенностью сказать, что книга «Пути развития советской комедии 1925—1934 годов» поможет осмыслению истории нашей драматургии. Сейчас она существует у нас в считанных экземплярах. Издательство «Искусство» поступило бы правильно, если бы познакомило с этой книгой широкий круг советских читателей.

**А. АНАСТАСЬЕВ.**

Политика и наука

## ПАРЛАМЕНТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БАЛТИКИ

Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота. 1917—1918. Под редакцией Д. А. Чугаева. Составители И. А. Лившиц и А. А. Муравьев. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1963. 480 стр.

Могучие гиганты дредноутов, строгие красавцы крейсера, стремительные эсминцы... Шестьсот девяносто боевых кораблей и вспомогательных судов насчитывал весной 1917 года Балтийский флот. Многие из них были знамениты: одни — боевыми победами, другие — революционными традициями; третьи — и тем и другим. Казалось, никак не мог соперничать с ними в известности маленький, бывший когда-то пассажирским, пароход «Виола», приткнувшийся к пристани близ Гельсингфорского Совета. Однако именно к «Виоле» было приковано с конца апреля 1917 года внимание всего флота. С борта этого суденышка рассылались на все корабли и в части воззвания и постановления, приказы и резолюции, подлежащие беспрекословному выполнению. И не раз по указанию с «Виолы» изменяли свой курс боевые корабли, отменялись приказы командующего и распоряжения его штаба, отвергались постановления буржуазного Временного правительства.

Над судном развевался необычный для военного флота красный флаг с двумя синими скрещенными якорями и буквами ЦКБФ по углам. О том, что означали эти буквы, каждому стало ясно из первого же постановления, переданного с «Виолы» по флоту: «Центральный комитет Балтийского флота, собравшись на транспорте «Виола», оповещает Балтийский флот о начале своей деятельности».

На «Виоле» поднял свой флаг хозяин флота — Центробалт, «общий Совет депутатов Балтийского флота, в котором были... представители от всех судов и дивизионных комитетов».

С первых протоколов и этого постановления Центробалта, принятого 1 мая 1917 года, и начинается рецензируемый сборник. Публикуемые в нем материалы отражают многогранную деятельность высшего выборного революционно-демократического органа, признанного вожака матросских масс Балтики, показывают, как Центральный комитет Балтийского флота под руководством большевистской партии возглавил политическую, хозяйственную, а затем и военную

деятельность флота и в ходе подготовки социалистической революции превратился во всеильный парламент революционной Балтики.

Деятельность Центробалта полностью отвечала принципам ленинской тактики завоевания позиций в напряженное время апреля—октября 1917 года. «Апрельские тезисы В. И. Ленина, — отмечал впоследствии член Центробалта матрос-большевик Н. А. Ховрин, — определили направление нашей работы».

В публикуемом впервые протоколе от 2 мая 1917 года зафиксированы результаты проведенных тайным голосованием выборов в Исполнительное бюро Центробалта. Из девяти человек, избранных в бюро, шестеро были большевиками и сочувствующими большевикам. Наибольшее число голосов получили матросы-большевики Дыбенко, Соловьев и сочувствовавшие большевикам офицер Заблоцкий, матросы Ефимов, Лопатин, Штарев. Это убедительно показало, на чьей стороне были симпатии широких матросских масс.

Первым председателем Центробалта в результате закрытой баллотировки стал П. Е. Дыбенко, писавший впоследствии: «Президиум Центробалта оказался в своем большинстве большевистским, что в дальнейшей работе Центробалта дало возможность осуществить руководство и влияние во флоте большевиков».

Содержание всех публикуемых протоколов Центробалта — это живой, захватывающий неприкрашенной правдой рассказ об умелой и неустанной борьбе большевиков за проведение своей политической линии при обсуждении самых различных вопросов повседневной жизни флота.

Большой интерес представляет публикуемый впервые один из первых проектов устава Центробалта — «Проект организации Центрального комитета Балтийского флота», составленный матросами-большевиками. Сравнение его с уставами Центробалта, принятыми на первом и втором съездах представителей Балтийского флота, показывает, что он явился для них прочной осно-

вой. Его положение о том, что «ЦКБФ признается высшей инстанцией, без одобрения которой ни один приказ, касающийся жизни Балтийского флота, не может иметь силы», оставалось незабытым и в дальнейших редакциях устава, доставив много хлопот и меньшевистскому Гельсингфорскому Совету, пытавшемуся захватить в свои руки весь Балтийский флот, и командованию флота, и Временному правительству.

Несмотря на то, что Керенский отказался утвердить устав, первый съезд представителей Балтийского флота, проходивший с 25 мая по 15 июня 1917 года в главной базе флота Гельсингфорсе, по предложению большевика Н. Г. Маркина утвердил проект устава, предложенный Центробалтом. Это было открытым вызовом Временному правительству.

Из публикуемых протоколов заседаний Центробалта видно, что он бдительно следил за всеми действиями командующего и его штаба, всюду расставлял своих людей. В июльские дни семнадцатого года Центробалту стала известна секретная провокационная шифровка, направленная командованию флотом. В ней говорилось: «Временное правительство... приказывает принять меры к тому, чтобы ни один корабль без вашего на то приказа не мог идти в Кронштадт, предлагая не останавливаться даже перед потоплением такого корабля подводной лодкой, для чего полагаем необходимым подводным лодкам занять заблаговременно позицию».

Этот контрреволюционный приказ вызвал решительный протест балтийских моряков. На заседании Центробалта представители дивизиона подводных лодок заявили, что «дивизион подводных лодок первый выйдет в море для отражения внешнего врага, но своих братьев топить не будем». В Петроград были направлены две делегации Центробалта с целью высказать недоверие Временному правительству и потребовать передачи всей власти в стране Всероссийскому съезду Советов. Одну из них возглавил председатель ЦКБФ Дыбенко. Обе делегации были арестованы.

После июльских событий восторжествовала реакция. 7 июля Керенский издал приказ о немедленном роспуске Центробалта первого созыва. Временному правительству нужен был орган, беспрекословно исполняющий все его требования. Однако состав Центробалта второго созыва мало отличался

от прежнего и поэтому также получил предписание сложить полномочия к 8 часам утра 11 июля. 25 июля начал работать Центробалт третьего созыва.

Горстка большевиков, сохранившаяся в новом составе Центробалта, — Н. А. Ховрин, А. В. Баранов, Ф. С. Авэрчикин, П. Д. Мальков, И. П. Сапожников и другие, — опираясь на рост революционных настроений матросских масс, вела непримиримую борьбу против эсеров-меньшевистского большинства. Протоколы этого периода показывают, как большевики навязывали эсерам и меньшевикам обсуждение наиболее острых и злободневных вопросов, волновавших моряков, и в ряде случаев добивались принятия решений, осуждающих контрреволюционную политику Временного правительства.

В результате возросшего влияния в матросских массах большевики в сентябре вновь оказались у руководства Центробалтом. В состав ЦКБФ влились вернувшиеся из тюрьмы матросы-большевики во главе с Дыбенко, который был освобожден Временным правительством по требованию судовых комитетов «Республики», «Петропавловска», «Дианы» и других кораблей флота. Каждый протокол Центробалта этого периода говорит о ярком накале революционных настроений на флоте, о том, что флот задолго до Октября готов был идти на баррикады пролетарской революции.

Читатель найдет в сборнике много ранее неизвестных документов, которые позволят шаг за шагом проследить неутомимую работу большевиков Центробалта, распространивших в матросской среде ленинские идеи социалистической революции, разоблачавших контрреволюционную сущность политики Временного правительства.

Под руководством большевиков Центробалт обеспечил активное участие балтийских моряков в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. Девять десятых судовых и береговых комитетов возглавлялись большевиками.

В сборнике помещены протоколы заседаний Центробалта от 9 и 19 сентября 1917 года, на которых были приняты требования о передаче всей власти в стране Советам, и знаменитая резолюция о том, что флот «распоряжений Временного правительства не исполняет и власти его не признает».

В 20 часов 24 октября (старого стиля) радиотелеграфисты паровой яхты «Поляр-



ная звезда», где с сентября размещался Центробалт, приняли лаконичную радиogramму: «Центробалт. Дыбенко. Высылай устав». Это был зашифрованный сигнал о начале восстания в Петрограде.

По приказу Центробалта крейсер «Аврора» вопреки приказу штаба флота остался в Петрограде и вместе с некоторыми другими кораблями и частями перешел в подчинение Военно-Революционного комитета Петроградского Совета.

В дни Октябрьского вооруженного восстания Центробалт отправил в столицу одиннадцать кораблей и более десяти тысяч моряков. Замечательным пафосом борьбы за победу Октября проникнуты постановления этих исторических дней. Таков принятый Центробалтом 19 октября наказ флотским делегатам на II Всероссийский съезд Советов: «Мы поручаем вам, представители Балтики, совместно с представителями Черного моря и представителями трудового пролетариата... взять власть в свои руки, руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Помните, товарищи, мы — ваша поддержка... За вами наша сила, наша мощь и наше оружие». Весьма показательно для оценки деятельности Центробалта то, что в состав первого Советского правительства, сформированного II съездом Советов, вошел председатель Центробалта П. Е. Дыбенко.

После победы революции Центробалт остался полновластным хозяином Балтийского флота, решал многочисленные вопросы преобразования его на демократических началах. Документы рассказывают о борьбе Центробалта с саботажем контрреволюционно настроенных офицеров, о посылке матросов на борьбу с Калединым и г. д.

Вместе с тем на флоте и в самом Центробалте начало сказываться отсутствие ушедшей на фронт наиболее революционной части моряков. Подняли голову эсеры и меньшевики. Но и в этой усложнившейся обстановке Центробалт не сходит с большевистских позиций. Он принимает ряд мер по усилению боеспособности кораблей и частей, приступает к претворению в жизнь декрета о создании Рабоче-Крестьянского Красного флота, отдает приказ о подготовке флота к знаменитому ледовому переходу из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт. 4 марта 1918 года Центробалт сдает дела Совету комиссаров Балтийского флота, со-

зданному по решению Совнаркома для более четкого и крепкого руководства флотом.

Естественно, что в небольшой рецензии невозможно рассказать о содержании всех публикуемых документов, которые охватывают десятимесячный, насыщенный бурными революционными событиями период деятельности Центробалта и представляют собой почти полное собрание его протоколов.

Большое достоинство сборника в том, что тексты сохраняют стилистические особенности оригиналов. Это делает их особенно убедительными, живыми, полными пафоса революционного времени. Составители сборника проделали кропотливую работу, восстанавливая многие документы по черновикам.

Публикуемые документы начисто отвергают ложные и клеветнические измышления и нелепые обвинения в адрес Центробалта и его большевистских членов, которые нередко бытовали в исторической литературе, изданной до 1953 года. Известно, что первый председатель Центробалта, а затем первый нарком по морским делам П. Е. Дыбенко трагически погиб в 1938 году, став жертвой необоснованных репрессий в период культа личности Сталина.

К сожалению, составителям сборника не удалось обнаружить в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота протоколов Центробалта за период с 24 по 29 октября 1917 года. Этот досадный пробел в собрании протоколов следовало бы, может быть, восполнить протоколами объединенных заседаний других организаций, в которых участвовал и Центробалт, а также документами, отражающими постановления Центробалта: телефонограммами, записями разговоров с Петроградом и т. п. Это позволило бы полнее осветить деятельность Центробалта в исторические дни Октября.

Значительно затрудняет пользование сборником отсутствие указателей кораблей и воинских частей, демократических организаций, а также названий географических пунктов, встречающихся в документах. Досадны отдельные фактические неточности.

Однако эти недостатки отнюдь не умаляют значения сборника как первоисточника для изучения не только истории флота, но и истории Великой Октябрьской социалистической революции.

В. И. Ленин и партия большевиков отводили Балтийскому флоту важную роль в

борьбе за власть Советов. Ленин считал флот одной из главных сил Октябрьского вооруженного восстания. 27 сентября 1917 года он писал: «Кажется, единственное, что мы можем вполне иметь в своих руках и что играет серьезную военную роль, это — финляндские войска и Балтийский флот» — и предлагал ряд конкретных мер для практической подготовки расположенных в Финляндии войск и флота к вооруженному восстанию. В успешном осуществлении этих мер большая заслуга принадлежит большевистскому Центробалту.

Сборник «Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота» окажет большую помощь исследователям в разработке истории Великого Октября и позволит широкому кругу читателей познакомиться в первоисточнике с уникальными материалами, передающими дыхание тех незабываемых дней.

**В. ДМИТРИЕВ,**

*капитан 2-го ранга, кандидат исторических наук.*

**Е. ПЕРОВСКИЙ.**

Ленинград.

★

## СЕСТРА ИЛЬИЧА

**Д. А. Ершов.** Мария Ильинична Ульянова. Ульяновское книжное издательство. 1963. 136 стр.

«Мария Ульянова несомненно поддерживает революционные традиции своей семьи, все члены которой отличаются крайне вредным направлением»; по-жандармски лаконично характеризовала в свое время московская охранка семью Ульяновых.

История этой семьи восходит к девятнадцатому веку и к нынешнему молодому поколению приходит почти как легенда. Беспримерная дружба Маркса и Энгельса, восхищавшая Ленина сильнее античных сказаний, быть может, нигде не повторилась с такой силой, как в семье, из которой вышел сам Ленин. Служение революции, дружба и взаимная любовь связывала всех братьев и сестер. Дом Ульяновых был подлинным гнездом будущих революционеров.

Московская охранка засекала время, когда все старшие уже ушли в тернистый путь: Александр казнен, Владимир сослан, Анна, Дмитрий и муж Анны Елизаров — под гласным надзором полиции. Оперлась наконец самая младшая — и тоже «поддерживает революционные традиции своей семьи».

Это Мария — Мария Ильинична, — которая в жандармских донесениях фигурировала как «сестра известного Ленина», а в подполье была известна под кличкой «Боевая».

Вехи ее жизни: двадцать лет подполья, пять лет тюрем и ссылок, двенадцать лет в «Правде», два года в Институте Ленина, пять лет в Бюро жалоб и — смерть на посту, в кабинете, на пороге шестидесятилетия.

Всем своим внутренним обликом сестра Владимира Ильича являла классический тип

большевички. Тот тип, который формировался на заре партии, в неистово страстной борьбе с меньшевиками, закалялся в огне двух революций и развернулся вовсю, когда строили советскую власть.

В дни первого юбилея «Правды» замечательный большевик А. А. Солцы написал о Марии Ильиничне, что она была «солдатом революции». Дисциплинированным солдатом, шагавшим в строю.

И при этом вся биография Марии Ильиничны озарена светом жизни Ленина.

Владимир Ильич был старше Марии на восемь лет, занимался с нею, помогал в уроках, и, вспоминала Мария Ильинична, «такое он внушал к себе чувство, что хотелось без всяких поуканий сделать все на свете, лишь бы он был доволен тобой, лишь бы заслужить его одобрение».

Это чувство, внушаемое Ильичем еще в детстве, младшая сестра пронесла через годы и годы, до конца. Исполнять поручения брата, добывать нужную ему литературу, заботиться, быть рядом, как только выпадает возможность, стало ее назначением. Мария Ильинична не создала своей семьи. Со времени революции она жила в доме Ильича и несла все заботы о быте, хозяйстве. В этом сказались натура — цельная, глубокая, застенчивая, преданная, верная в своих привязанностях...

О жизни и деятельности этой женщины вышла в Ульяновске книжка. Автор ее — Д. А. Ершов — сотрудничал в «Правде» и в Бюро жалоб, которое возглавляла член президиума ЦКК—РКИ М. И. Ульянова. Воспоминания, переписка, документы легли

в основу этого биографического очерка. И хотя автор по большей части использовал уже известные материалы — все же сто тридцать страниц его книги дают достоверное представление о многолетней революционной страде самой младшей из семьи Ульяновых.

К сожалению, автор почему-то совершенно обошел сведения о гимназии (Мария Ильинична училась в Самаре и Москве), педагогах, среде. Между тем период обучения в самарской гимназии очень значителен для духовного становления М. И. Ульяновой.

После смерти отца, казни Александра, исключения Владимира из Казанского университета семья Ульяновых прожила пять лет в Самаре и Алакаевке. В самарской гимназии Мария Ильинична училась одновременно с Екатериной Алексеевной Пешковой. Они встречались затем в доме Горького; приезжала Пешкова, помню, к Марии Ильиничне и в «Правду». В стихотворении Анны Ильиничны описав досуг молодых Ульяновых летними вечерами на хуторе в Алакаевке. Есть там строчка и о сестре, Манюше... Напрасно Д. А. Ершов оставил все эти факты за пределами своей работы. Они, несомненно, могли бы обогатить более живыми красками рассказ о школьных годах М. И. Ульяновой.

На страницах книжки мелькают названия городов России и Европы — маршруты Марии Ильиничны. В Брюсселе и Париже она училась, в Стокгольм и Женеву ездила к Ленину, в Нижний, Самару, Вологду ссылалась, в Саратове руководила большевистской организацией, в Петербурге была секретарем Василеостровского комитета, в Москве выпускала гектографированную листовку — и везде, всегда устраивала конспиративные квартиры, явки, адреса...

Двадцать лет продолжалась эта «незаметная на глаз, неусыпная, непрестанная, изнуряющая», требующая конспираторского искусства работа агента «Искры», пропагандиста, организатора, техника. «Конспиративность Ульяновой» вынуждено было признать и жандармское управление.

К сожалению, автор не ввел в биографию такой значительный эпизод, как организация подпольной типографии в Петербурге. Вопрос об этом поставил Ленин в 1906 году, после закрытия «Новой жизни». Опасное дело взяла на себя Мария Ильинична совместно с рабочими Семянниковского и Судо-

строительного заводов за Невской заставой. Для хранения типографского оборудования и шрифта она использовала богadelьню на Знаменской, с начальницей которой была знакома. Под видом новых икон в богadelьню привезли упакованные рамы и спрятали за иконостасом. Учащиеся, примыкавшие к социал-демократии, приносили в кошелках шрифт, прикрытый булками.

Семнадцатый год застал М. И. Ульянову в Петрограде. С первых дней революции она в «Правде». По возвращении в Россию «за редактирование «Правды» взялся Владимир Ильич. Это был один из наиболее блестящих периодов «Правды», — писала Мария Ильинична.

В «Правде» М. И. Ульянова проработала двенадцать лет. Ее сняли с работы, читаем мы в книге, когда «...газета была круто подчинена культуре личности». А ведь «Правда» была ее вторым домом! Сложное редакционное «хозяйство», оперативную работу по выпуску номера она вела с особой, удивительной, я бы сказала, чисто женской дотошностью и добросовестностью. Помимо того, она возглавила рабкоровское движение в стране. Из ее кабинета тянулись нити к заводам далеких окраин. По образному выражению, помнится, Михаила Кольцова, она «вложила перо в руки рабочего», учила сотни людей писать в газету.

Описывая работу секретаря «Правды», автор, к сожалению, погружается в столь подробный перечень чуть ли не всех газетных задач и кампаний, так часто оперирует «цифрью», датами по истории рабкоровского движения, что биография порой переходит в какой-то всеохватывающий «доклад о деятельности за отчетный период» с прищущим такому докладу стилем.

Приведу для примера хотя бы один отрывок:

«Привлекая к участию в газете не только лучших журналистов, но и партийно-советский актив, рабочих и сельских корреспондентов, читателей, Мария Ильинична обеспечивала освещение важнейших вопросов политики, экономики и культуры, партийной и рабочей жизни, промышленности и сельского хозяйства, международного и внутреннего положения страны. Она добивалась широкого распространения опыта в хозяйственном и культурном строительстве, деятельности критических выступлений газеты, доведения каждого начатого дела до конца».

Между тем страницы «Правды» тех лет с их «обращениями» к рабкорам, к рабочей массе таят в себе живое, горячее слово, в них звучит голос Марии Ильиничны и бьется пульс героического времени. Мария Ильинична чувствовала личную ответственность за тревожную жизнь каждого рабкора и защищала его «труд писания». С разительной силой это проявилось в трагической истории на фабрике б. Циндель, где в 1922 году был убит рабкор Спиридонов, разоблачавший шкурников. Суд над убийцами свел дело к обычной сваре и вынес мягкий приговор. Мария Ильинична в страстной статье вскрывала истинную, полигическую подоплеку убийства. «Приговор не соответствует глубине рабочего возмущения», — писала она. «Что мы должны сказать армии рабкоров — защищены ли их жизни?» — спрашивала она и требовала полной и безусловной свободы каждого честного пролетария высказываться по важным вопросам на страницах рабочей печати. Вскоре, под давлением общественного мнения рабочих, убийц судили вторично, судили строго.

Жаль, что автор не коснулся этого эпизода. В нем обнаруживается, через какие грудные пути, опасные препятствия шло развитие рабкорского движения. В нем проявил себя образ руководительницы этого движения.

Перелистывая страницы книги, мы видим — в какие бы рамки ни была поставлена работа Марии Ильиничны, она непременно раздвигала их до масштабов массовой деятельности. Кабинетная работа была ей не по душе. Так было в «Правде», так было и в Бюро жалоб советского контроля. «На этой работе она как-то особенно развернулась», — писала Надежда Константиновна. Этот «разворот» вполне ощутим в главе «В Бюро жалоб». Направляя сотрудника по поводу жалобы, рассказывает Д. Ершов, Мария Ильинична предупреждала, чтобы он был тактичен к человеку, которого проверяет. «Не горячитесь, крепко держите себя в руках. В противном случае вас могут и спровоцировать. Среди обюрокротившихся работников иногда встречаются такие ловкачи. От вас прежде всего требуется выдержка».

Мария Ильинична ввела суд рабочих заседателей — гласное разбирательство жалоб. Изобличаемые боялись этого суда под председательством М. Ульяновой больше административного взыскания. Как современно

это, как хорошо переключается с нашей действительностью, когда восстановлены ленинские принципы партийно-государственного контроля.

Автор пишет о большой литературной работе М. И. Ульяновой: из-под ее пера вышли биографии Ильи Николаевича, Марии Александровны, очерки об Александре, Ольге, воспоминания о Ленине, предисловие к тому Собранию сочинений В. И. Ленина, содержащему письма к родным. Она — переводчик писем Маркса к Кугельману, которые Ильич сопроводил своим предисловием.

В заключение хочу отметить неправильность утверждения, что в редакции «Правды» в Москве Ленин ни разу не был. Помню, Владимир Ильич однажды заезжал в редакцию и оставил свою статью для газеты...

Все чаще стали появляться жизнеописания известных деятелей нашей революции. Авторы их добросовестно трудятся над архивными документами, но как часто в этих книгах плеяда замечательных большевиков помечена «лица общим выраженьем»! Между тем каждый из этой плеяды — яркая индивидуальность со своими особыми, порой сильными, а порой и слабыми, но очень впечатляющими чертами, свойствами характера, вкусами, влечениями. Революционер не рождается готовым для своей миссии. Он проходит мучительно трудную школу жизни, пока выработает волю, преодолеет слабости, заблуждения. Этот сложный процесс формирования профессионального революционера почему-то порой совершенно выпадает из поля зрения авторов, пишущих биографии. Выпадает из поля их внимания и общий душевный мир, в который входит и влияние литературы, искусства, и круг друзей, и увлечения...

Страдает этим отчасти и рецензируемая книжка. Образ Марии Ильиничны сложней, объемней. В нем отражалось многое — и любимое произведение («Страсти-мордасти»), и увлеченность поэзией пролетарского поэта Филиппченко с его космическими устремлениями, и влечение к музыке, и вспыльчивость, которая преодолевалась усилием воли, и пристрастность, сочетавшаяся с чувством справедливости, и много иных слагаемых.

Все это не может оставаться за пределами жизнеописаний. Книжка о профессиональном революционере должна быть столь же яркой, как и его индивидуальность.

**Софья ВИНОГРАДСКАЯ.**

## ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Имени Владимира Ильича. Составители В. Ф. Богдановский и А. К. Добринская.  
«Московский рабочий». М. 1962. 512 стр.

Московский завод имени Владимира Ильича — одно из ведущих предприятий электромашиностроения. Он участвовал в сооружении первенцев довоенных пятилеток — Днепрогэса, Кузнецкого и Магнитогорского комбинатов, Московского метрополитена. В суровые военные годы за выпуск оборонной продукции завод был дважды награжден орденами. Ильичевцы построили первый самоходный комбайн, они оснащают народное хозяйство нашей страны мощными моторами и передвижными электростанциями. На тысячах предприятий, в колхозах и совхозах работают электростанции с маркой «ЗВИ».

Как же складывались славные традиции завода, как сплотился и вырос прекрасный коллектив ильичевцев? Об этом и рассказывает рецензируемая книга.

Интересна и поучительна история ее написания. Семь лет тому назад по инициативе пенсионеров — ветеранов труда было решено создать заводской музей. Специальная комиссия стала искать материалы в архивах и библиотеках, завязала переписку со старыми ильичевцами, собирала воспоминания. И когда накопился материал, начали писать историю завода. Некоторые страницы ее опубликовала многотиражная газета «За боевые темпы». Обсуждали и уточняли каждый факт, каждое событие в жизни завода.

Авторами книги стали те, кто создавал историю завода — передовые рабочие, ветераны труда, партийный актив. Одно лишь перечисление участников авторского коллектива занимает полторы страницы книги.

В истории завода имени Владимира Ильича отражается история нашей страны, путь ее героического рабочего класса. Это старейшее московское предприятие (бывший завод Михельсона) имеет славные революционные традиции. Рабочие завода были активными членами «Московского рабочего союза», участвовали в мавзках в девяностых годах прошлого века, боролись на баррикадах в 1905 году, с оружием в руках устанавливали советскую власть в 1917 году. Пять раз этот завод посетил Владимир Ильич Ленин. Здесь 30 августа 1918 года на Ленина было совершено покушение. По просьбе коллектива 9 сентября 1922 года заводу было присвоено дорогое имя Влади-

мира Ильича. С этим именем, как со знаменем, идет он вперед в авангарде строителей коммунизма.

Умело использованные в книге документы придают изданию достоверность и убедительность. Вот донесение московского жандармского управления о розысках и арестах рабочих завода — участников мавзки 1892 года. Вот путевка Московского Комитета партии, по которой В. И. Ленин выступал на заводском митинге 30 августа 1918 года. Такие документы врезаются в память и оставляют след в сердце.

В дни ленинского призыва многие рабочие завода вступили в ряды Коммунистической партии. Интересно приведенная в книге выписка из протокола собрания заводской ячейки РКП(б) от 27 февраля 1924 года. Против фамилий вступавших — лаконичные постановления: «Принять в кандидаты РКП», «Ввиду молодости передать в РКСМ». А рядом — беспощадные решения: «Отвести как шкурный элемент», «Отвести за антисемитизм», «Отвести как пьяницу и нахала». Коммунисты-ильичевцы требовательны к тем, кто становится под ленинское знамя.

Перед читателем проходит галерея замечательных людей: здесь и коммунист Н. Киреев, вступивший в партию по ленинскому призыву, и молодой новатор, «зараженный романтикой» рабкор А. Кубарев, и живой носитель революционных традиций член партии с 1902 года Н. Иванов, и бригадир бригады коммунистического труда В. Иванова, и кандидат наук В. Радин — один из энтузиастов технического прогресса на заводе. Это не парадные портреты, а рассказы о главном в жизни этих людей, об их раздумьях, заботах, творчестве.

Подробно рассказывается о возникновении на заводе первых бригад коммунистического труда, о воспитании людей коллективом. Мы видим, как основательно и ответственно определяют ильичевцы свой «до-весок» к государственному плану, вскрывая резервы. Яркие примеры, красноречивые цифры говорят о том, как поощряется здесь творческая рационализаторская мысль рабочего, техника, инженера.

«Коллектив» ныне оценивает своих передовиков не только по процентам выполне-

ния норм,— читаем мы в истории завода,— а по другому, более сложному и истинному счету, где рядом с процентами соседствует другой непреломный критерий: а на что ты готов ради других, что ты делаешь ради общего подъема?» И в книге говорится о богатом духовном мире ильичевцев. Рабочие-корреспонденты, авторы технических книг, популяризаторы новых методов труда, искусствоведы и поэты — вот представители этого рабочего коллектива — коллектива творческого, жизнерадостного, «впередсмотрящего».

«Отцы и дети» — эта тема проходит через всю книгу. Тема дружбы и уважения, передачи традиций. «Наш дядя Саша» — так любовно зовут молодые рабочие А. В. Тюричева, который за тридцать семь лет работы на заводе обучил более ста токарей. Целые семьи династии ильичевцев — гордость завода. Вот только один пример. Андрей Иванович Кузнецов, его жена Екатерина Ивановна, сыновья Михаил, Александр и дочь Валентина отработали на родном заводе в общей сложности три четверти века.

Рассказы о том, какой широкий отклик получили у нас и в других странах социализма творческие начинания коллектива ильичевцев, — едва ли не лучшие в книге. Они показывают органическое единство советского рабочего класса, его большую отзывчивую душу. Недаром республиканская газета Грузии «Заря Востока» посвятила целую полосу идеологической работе на московском заводе имени Владимира Ильича, озаглавив ее «Добрый опыт — общее богатство». Недаром опыт завода изучают наши друзья в Венгрии, Корее и в других странах.

За последние годы у нас вышло немало книг по истории заводов. Однако далеко не все они отвечают высоким требованиям вре-

мени. К некоторым из них приложили руку малоквалифицированные «литературные обработчики», другие составлены сухо, третьи — парадно, и многие — без привлечения к этому делу рабочего коллектива. Думаю, что совершенно справедливы претензии, предъявленные к таким книгам в статье «Коллектив и его судьба», опубликованной в девятом номере «Нового мира». Поэтому хочется особо отметить удачу книги «Имени Владимира Ильича». Она привлекает не только глубиной содержания, ярким, живым языком, но и культурой издания: в конце книги помещена хроника — важнейшие даты истории завода, имеется рекомендательный список «Что читать о заводе», указатель основных литературных и архивных источников.

Молодой рабочий приходит на завод. Его приглашают в заводской музей. Ему вручают книгу об истории завода. Изучай, впитывай в себя драгоценный опыт, накопленный твоими отцами, братьями, твоей новой семьей. Проникнись уважением к коллективу, в ряды которого ты вступил, и будь достоин его. Так говорят новичку на заводе имени Владимира Ильича. Хорошо, если бы так поступали и на других предприятиях. История завода должна быть принята на вооружение в нашей идеологической работе. Вспоминается в связи с этим обращенный к партийным публицистам призыв В. И. Ленина: «Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать историю современности и стараться писать ее так, чтобы наше бытописание приносило посильную помощь непосредственным участникам движения и героям-пролетариям там, на месте действий...»

Истории фабрик и заводов — яркие страницы нашей прекрасной современности.

Л. ЗАК,

*кандидат исторических наук.*

★

## ЦЕННЫЙ СБОРНИК

М. Ф. Орлов. *Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма.* Издание подготовили С. Я. Боровой и М. И. Гиллельсон. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 374 стр.

На массивной плите черного полированного гранита, установленной на могиле генерал-майора М. Ф. Орлова на старом Новодевичьем кладбище в Москве, вместо обычно принятых двух дат названы три: между 1788 годом — датой рождения — и

1842 — датой смерти — указан 1814 год, когда Михаил Федорович Орлов «заклучил условие сдачи Парижа».

Эта промежуточная дата напоминает о нереализованном замысле П. Чаадаева, предлагавшего в написанном им проекте

надгробной надписи отметить, чтобы «современники помнили» об участии Орлова «в самом главном увенчании всенародной войны против Франции», и о том, что он подписал «сдачу Парижа». Но если уже отступать от традиционных двух дат, то за 1814 годом на могильной плите Орлова следовало бы указать и 1825 год — год восстания декабристов.

О связи Орлова с движением декабристов современники, и в первую очередь тот же Чаадаев, помнили не меньше, чем о подписании им документа о капитуляции столицы Франции. Это была дата, которая резко разделила его жизнь после войны 1812—1814 годов на два периода — период активной гвочерческой деятельности (1815—1825) и период вынужденного творческого и физического увядания (1825—1842).

М. Ф. Орлов — в высшей степени яркая и широко одаренная личность. В двадцать шесть лет он был уже прославленным генералом, перед которым открывалась блестящая придворная карьера. Но он избрал для себя иную жизненную дорогу. И в то время, как его брат Алексей Орлов во главе конногвардейцев был вызван 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь для спасения монархии, Михаил ждал там в надежде, что он возглавит восстание с целью низвержения монархии.

Споры вокруг этой личности начались давно, почти сто лет тому назад, когда на страницах «Русской старины» возникла дискуссия между сыном Михаила Орлова и сыном Ивана Якушкина по поводу событий, происшедших на московском съезде Союза благоденствия в 1821 году. Однако в дореволюционной литературе, кроме очерка М. О. Гершензона, привлечшего значительный фактический материал, но совершенно искавшего этот образ, об Орлове, в сущности, ничего написано не было.

Советские «декабристведы» уже давно занялись изучением взглядов и деятельности Орлова. Ценное исследование, посвященное пребыванию Орлова в Союзе благоденствия, было написано еще в двадцатых годах С. Н. Черновым. Много нового в изучение деятельности Орлова в качестве командира 16-й пехотной дивизии было внесено монографиями В. Г. Базанова. В настоящее время, пожалуй, никто из декабристов не привлекает такого внимания исследователей, как Михаил Орлов и Николай Тургенев.

Во многом этот интерес определяется тем, что советские историки вплотную занялись сейчас проблемой возникновения преддекабристских и декабристских организаций. А на этом этапе развития русской передовой мысли роль Орлова и Тургенева была в высшей степени значительна. Опубликован ряд содержательных статей, в различных изданиях появились ценные публикации.

Однако до выхода в свет рецензируемого сборника, включающего все наиболее значительное, что сохранилось из написанного Орловым, его литературное наследство оставалось разбросанным в малодоступных изданиях, а частично и неопубликованным.

Первый раздел избранных сочинений М. Ф. Орлова посвящен событиям 1812—1814 годов и открывается небольшим отрывком «Капитуляция Парижа». В этом ценнейшем мемуарном источнике, созданном вскоре после описываемых событий, ярко переданы и атмосфера, царившая в осажденном Париже, и настроение в верхах наполеоновского командования, и некоторые весьма примечательные факты, характеризующие шаги Наполеона в последние дни существования его и империи.

В особенности большой интерес представляет свидетельство Орлова о словесном приказе, отданном Наполеоном его адъютанту Жирардену, с которым Орлов встретился в Париже в ночь накануне капитуляции. Наполеон прислал, как утверждает Орлов, Жирардена в Париж для того, чтобы «взорвать Гренельский пороховой магазин и в одних общих развалинах погребсти и врагов и друзей, столицу со всеми ее сокровищами, памятниками и бесчисленным умным народонаселением». Помимо включенной в этот раздел «Некрологии генерала от кавалерии Н. Н. Раевского», к нему должны быть причислены напечатанные в дополнениях «Размышления русского военного о 29-м «Бюллетене».

Только в 1958 году было установлено, что этот блестящий памфлет, изданный Главной квартирой русской армии, был написан Орловым. Это яркое публицистическое сочинение полностью разоблачало всю лживость бюллетеня, выпущенного Наполеоном уже после Березинской катастрофы 3 декабря (21 ноября) 1812 года. Вскрывая неуклюжие попытки французского командования замолчать истинные размеры катастрофы и причины, ее обусловившие, Орлов

в то же время прозорливо усматривает в лживой легенде бюллетеня те принципы, которых в будущем будут придерживаться французские историки при описании событий 1812 года. Речь идет о морозах, которые чуть ли не в «разгар лета» истребили французские войска. «Это превосходное объяснение бедствия, постигшего французскую армию,— пишет Орлов,— столь же примечательно, сколь и все подробные рассказы о сражениях, в которых французы беспрестанно побеждают русских, берут пленных и продвигаются вперед... к Неману». И «изучая историю этой памятной войны, — предупреждает Орлов, — надо, стало быть, весьма остерегаться некоторых ложных представлений, которые историки непременно будут стремиться навязать потомству».

Огромный интерес представляют собранные в сборнике политические речи Орлова — речь при вступлении в литературное общество «Арзамас», столь шумевшая в свое время (1817), речь на собрании киевского отделения Библейского общества (1819) и примыкающие к ним как хронологически, так и по политической направленности письма об «Истории государства Российского» Карамзина (1818) и «Военной истории походов россиян в XVIII столетии» Бутурлина (1819—1820).

Традиционное арзамасское остроословие сочеталось у Орлова с призывом к членам этой литературной организации наметить новую цель, определяемую любовью «к стране русской». А выступление в гнезде реакции — Библейском обществе — явилось страстным требованием всенародного просвещения по наиболее демократической в те времена ланкастерской системе.

Замечания Орлова на «Историю государства Российского» всецело находятся в плане той критики, которой подвергали декабристы этот труд, созданный одним из виднейших представителей русской реакционной историографии. Все это являлось важным звеном в теоретической борьбе дворянских революционеров с рабством и абсолютизмом, которая предшествовала их вооруженному выступлению.

Не случайно Вяземский после событий 1825 года остроумно и, в сущности, справедливо отметил, что восстание 14 декабря было не чем иным, как критикой вооруженною рукою на мнение, исповедуемое «Историей государства Российского».

Основной удар наносился Орловым проводимой Карамзиным норманской теории происхождения Российского государства, что, в сущности, было открытым выступлением против идейных основ русского абсолютизма. «...Как может быть,— возглашал Орлов,— чтобы Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи, вдруг обратилась в одно целое государство и, удержавшись на равной степени величия от самого своего начала до наших времен, восторжествовала над междоусобиями князей и даже над самыми гонениями рока...» И вывод его гласил: «Или сие есть историческое чудо, или должно было оное объяснить единственным средством, представленным писателю, то есть блестящею и вероятною гипотезою прежнего нашего величия».

Столь же примечательны и критические замечания Орлова на книгу Бутурлина. Здесь прежде всего значительный интерес представляют его взгляды на задачи современной исторической науки. Указывая на полное невежество Бутурлина в вопросах внутренней политики в крестьянском вопросе, Орлов необычайно смело для своего времени заявляет, что «историк не может быть историком, ежели он не имеет хороших сведений о политической экономии». Что же касается «славы отечества», которую так превозносит Бутурлин, то завоевывается она не только на «поле сражения». «Войди,— призывает Орлов,— в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещение будущего нашего величия!»

Включенные в сборник «Приказы и инструкции по 16-й пехотной дивизии» относятся к 1820—1821 годам — к тому периоду жизни Орлова, когда, исходя из принципов тайного общества, он пытался в условиях аракчеевского режима насаждать во вверенной ему дивизии новые, демократические принципы воспитания и обучения солдат.

Непримиримая борьба с телесными наказаниями, создание широкой сети солдатских школ, воспитание в подчиненных чувства гордости и собственного достоинства, товарищеский характер взаимоотношений командира и подчиненного — все это призвано было сделать дивизию по-настоящему боеспособной.

Следует отметить и особый жанр этих приказов, по всей видимости лично писавшихся Орловым. Они сочетали в себе высо-



кую гражданственность мысли с демократическим литературным стилем, что делало их вполне доступными для солдатской массы.

Впервые в этом сборнике полностью напечатан экономический трактат Орлова «О государственном кредите» — в основной части не переиздававшийся с 1833 года, когда он вышел анонимно. Как справедливо отмечает С. Я. Боровой, посвятивший финансовым сочинениям Орлова ряд ценных исследований, «трактат Орлова остается выдающимся памятником русской общественно-экономической мысли домарксистского периода. Разрабатывая специальные кредитно-экономические вопросы, Орлов связывал их с самыми острыми проблемами социального развития и исходил из плодотворного взгляда о тесной связи между хозяйственной жизнью и политическим строем».

Менее тщательно сделанным представляется нам последний раздел сборника, включающий избранные письма М. Ф. Орлова, хотя некоторые из них и публикуются впервые.

Прежде всего трудно определить, каким принципом руководствовались составители, публикуя тот или иной документ из эпистолярного наследия декабриста. Если они исходили из содержания писем и стремились включить в сборник те из них, которые наиболее ярко раскрывают общественно-политические взгляды автора, то почему в этот раздел не вошли столь ценные в этом плане письма Орлова к сестре и ее мужу Безобразову? Может возникнуть предположение, что составители стремились наиболее полно представить переписку с определенным кругом корреспондентов. Из тридцати вошедших в сборник писем двадцать адресовано П. А. Вяземскому, шесть А. Н. Раевскому, два письма Е. Н. Раевской и по одному — Н. Н. Раевскому и А. С. Пушкину. Но в таком случае почему в рецензируемый том не вошло письмо к А. Н. Раевскому (1819), чрезвычайно важное для ознакомления со взглядами Орлова в период пребывания его в Союзе благоденствия?

Вызывает сомнение характеристика, даваемая составителями переписке Орлова с видным немецким государственным деятелем Штейном, которая велась с 1812 по 1820 год. Круг проблем, которые в это время интересовали как Орлова, так и Штейна — и в первую очередь внешнеполитические дела, крестьянский вопрос, финансовая реформа, — не могли не отразиться в переписке людей, которые не связаны между собой ни узами личной дружбы, ни родственными отношениями. Именно с целью обмена мнениями по вопросам, в равной степени интересующим обе стороны, эта переписка и велась.

Вот почему утверждение составителей, что полученный из ФРГ микрофильм, снятый с этих писем, не представляет «значительного интереса», не подтвержденное никакими доказательствами, не может убедить читателя.

В качестве приложения к книге даются содержательная статья С. Я. Борового «М. Ф. Орлов и его литературное наследие», лаконичные, но исчерпывающие примечания, тщательно составленный список сочинений и писем, не включенных в данное издание, и наконец указатель основной литературы об Орлове.

Отмечая высокие научные достоинства этой публикации, нам представляется, что ее значение не только в том, что исследователи русской общественно-политической мысли, историки русской армии и финансов наконец получили академическое издание сочинений важнейшего представителя русской передовой мысли двадцатых—тридцатых годов прошлого века. На наш взгляд, большая ценность этого сборника заключается еще и в том, что широкий читатель получил возможность познакомиться с талантливым русским публицистом, мемуаристом и экономистом, виднейшим деятелем дворянского этапа освободительного движения в России.

**С. ОКУНЬ,**

*доктор исторических наук.*

## ОТКРЫТИЕ КОНТИНЕНТА

А ф р и к а. Энциклопедический справочник, т. 1. А — Л. Издательство «Советская энциклопедия». М. 1963. 476 стр.

В печати промелькнуло короткое сообщение из Южно-Африканской Республики: «Советская энциклопедия об Африке включена в очередной список книг, ввоз которых в Южную Африку запрещен расистским правительством. Всякий, у кого обнаружат запрещенную книгу, будет оштрафован на 1 000 фунтов стерлингов, приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет или тому и другому наказанию вместе».

Речь идет о первом томе советского энциклопедического справочника «Африка», в котором последовательно и аргументированно разоблачаются ложь и псевдонаучные изыскания, нагроможденные буржуазными учеными вокруг народов великого африканского континента за годы колониализма. Все усилия этих философов, экономистов, историков, социологов сводились к одному: доказать, что Африка не имеет прошлого, что у ее народов нет истории, культуры, традиций государственности, то есть что африканцы — это люди второго сорта и приход белых колонизаторов явился для них благодеянием.

Мне вспоминается музей «Конго» в Бельгии, на окраине Брюсселя. Большое здание в зелени старинного парка. У парадного входа — железобетонная громада, изображающая трубящего слона. В первом, вводном, зале в глубоких нишах — огромные статуи то ли ангелов, то ли миссионеров в длинных одеждах с распростертыми руками и поднятыми к небу благочестивыми глазами. У ног этих статуй из белого мрамора — фигуры из черного камня: туземцы, дикари, «нигеры»... Беломраморные создания принесли цивилизацию черному дикому камню — такова нехитрая мораль колониальной философии.

Немецкий африканист Д. Вестерманн писал в 1937 году: «Африка будет тем, что из нее делают белые... Кооперация между белыми и черными основывается не на координации, а на субординации, ее можно определить как кооперацию между белым мозгом и черной рукой». И еще одно откровенное высказывание (оно принадлежит одному из бывших губернаторов Кении, К. Билфилду): «Мы решили сделать туземцев полезными людьми и считаем лучшим средством для этого заставить их в тече-

ние всей своей жизни работать на европейцев».

Так теоретики и дельцы колониализма раскрывали «идейные» цели своего прихода в Африку. Груды бумаги и мраморные статуи нужны были, чтобы прикрыть грабеж. Образцы награбленного можно увидеть и в брюссельском музее: маленькие коробочки с урановыми и медными рудами. Здесь также множество удивительных фигурок из черного дерева и слоновой кости. Гид-бельгиец с гордостью подчеркивал, что их музей богатейший в мире. Когда ему задали вопрос, есть ли подобный музей в Конго, он пожал плечами, потом сказал, что там нет условий для хранения экспонатов, нет заинтересованных лиц среди местного населения... Колонизаторы пытались духовно ограбить завоеванные народы, опустошить их, лишит культурного наследия. Но это им не удалось. Мне вспоминается в связи с этим другой музей — в Гане, в городе Кумаси. Здесь интеллигенция под руководством известного в стране исследователя народного искусства А. Кьероматена при содействии президента Кваме Нкрума организовала своеобразный национальный парк с музеем народного творчества. Этот музей создан подлинным «заинтересованным лицом» — народом. Его экспонаты принесены в дар не только учителями и чиновниками, но и простыми безграмотными крестьянами. Народы Африки стремятся к воссозданию своей истории, культуры.

«Длительное господство колонизаторов, — говорится в предисловии к энциклопедическому словарю, — тормозило изучение истории, экономики и культуры народов Африки. Буржуазная африканистика, находясь на службе у империалистических монополий, подчинила исследование Африки задачам эксплуатации ее народов. Она не уделяла внимания изучению доколониальной истории, замалчивала или искажала мужественное сопротивление африканских народов колониальному порабощению».

Советские ученые уже долгое время ведут исследовательскую работу, чтобы восстановить подлинную историю народов Африки, показать их борьбу за свободу и независимость. Созданы книги, посвященные и сегодняшнему дню африканских стран, разви-

тию в них экономики и культуры. Выпущенный издательством «Советская энциклопедия» и Институтом Африки АН СССР энциклопедический справочник «Африка» как бы подводит итог первому периоду серьезных исследований советских африканистов.

Эта книга интересна не только для специалистов. Проблемами Африки живо интересуются широкие круги советской общественности. Пожалуй, большинство из нас открывает заново «Черный континент» — характер его народов, литературу, искусство, историю. Нам были близки страдания народов порабощенной Африки. Это чувство братской солидарности воспитано в нас с детства всем строем советской жизни. Но мы очень мало знали о далеком континенте. И вот на наших глазах произошло крушение колониальных империй. Всем памятен 1960 год, названный «Годом Африки», когда один за другим у здания Организации Объединенных Наций поднимались флаги молодых независимых африканских стран.

Мы радуемся сообщениям о строительстве университетов, электростанций, государственных сельских хозяйств, школ в независимых африканских странах. Ведь это успех людей труда, разоблачающих лживые утверждения империалистов о том, что Африка, мол, не может жить самостоятельно, без их руководства. Нас радует также постоянное расширение советско-африканских связей.

Асуан. Короткая, тринадцатистрочная справка. А какое в ней большое содержание! Сотни советских специалистов работают сейчас в Асуане. В сотрудничестве с арабскими инженерами и рабочими они создают грандиозную плотину и электростанцию, равную по мощности Волжской ГЭС имени В. И. Ленина. В пустыню, под палящее африканское солнце наши люди принесли традиции творческого социалистического труда. Они работают с подъемом не ради прибыли. Советские специалисты знают, что их труд поможет покончить с вековой отсталостью, повысит жизненный уровень народа ОАР, укрепит его независимость от империалистических монополий. Мы встречаем подобные примеры бескорыстной помощи и во многих других африканских странах. В этом советские люди видят свой интернациональный долг.

Энциклопедический справочник избрал в себя обширные знания об африканском континенте, накопленные советской африкани-

стикой. Редакционная коллегия под руководством директора Института Африки Академии наук СССР И. И. Потехина нашла для этого, на мой взгляд, удачную форму. Двухтомник открывается общим обзором, характеризующим природные условия и ресурсы Африки, этнический состав и размещение населения, историю Африки, экономику, культуру. Затем публикуется более двух тысяч четырехсот статей и справок, расположенных в алфавитном порядке: о странах Африки, об отдельных физико-географических и экономико-географических районах, о народах, языках, исторических государствах, международных конференциях и соглашениях, памятниках культуры. Много статей посвящено государственным и политическим деятелям африканских стран, исследователям, путешественникам, деятелям культуры. Справочник содержит свыше ста карт и более пятисот других иллюстраций.

Вводные статьи общего обзора, подготовленные ведущими советскими африканистами, насыщены большим количеством фактического материала, широки по временному обзору. Так, например, в историческом очерке авторы прослеживают историю народов Африки от древнейших веков до наших дней — до подъема национально-освободительного движения после второй мировой войны и становления молодых государств. Очерк заканчивается интересным разделом о советско-африканских культурных связях.

В разделе о населении Африки помещена этнографическая карта, дающая яркое представление о необычайной пестроте и разбросанности многочисленных африканских наций, народностей и племен. Здесь рассказывается, как использовали колонизаторы эту раздробленность, разжигая вражду племен, проводя классическую колониальную политику «разделяй и властвуй». Им помогали миссионеры и лингвисты, которые, описывая нравы и обычаи отдельных племен, замалчивали то общее, что их объединяет. Ликвидация этого наследия колониализма — одна из труднейших задач, вставших перед молодыми африканскими государствами.

Авторы экономического очерка обстоятельно анализируют историю и современное положение сельского хозяйства и промышленности континента. Африка занимает видное место в мировом капиталистическом производстве минерального и сельскохозяйственного сырья. Здесь сосредоточено почти

сто процентов мировой капиталистической добычи литиевой руды и алмазов, свыше двух третей добычи золота, кобальтовой и тантало-ниобиевых руд и т. д. Однако доля Африки в мировом капиталистическом промышленном производстве едва достигает двух процентов. Таков результат превращения Африки в аграрно-сырьевой придаток империалистических держав.

Приступая к строительству новой жизни, африканские народы решают, какой путь развития избрать: капиталистический или некапиталистический. Во многих статьях справочника рассказывается о популярности идей социализма в африканских странах, о первых успехах государственного планирования, о кооперировании сельского хозяйства, о широкой помощи Советского Союза и других социалистических стран в становлении экономической независимости многих африканских государств.

Интересные проблемные статьи подготовлены и для второго тома энциклопедического справочника. Среди них такие, как «Работоторговля в Африке», «Языки и письменность народов Африки», «Печать и радио», статьи, посвященные Мали, Марокко, Нигерии, Объединенной Арабской Республике, Танганьике, ЮАР и т. д. Видное место во втором томе найдет освещение и анализ последних событий, связанных с Африкой. Го-

сударства Африки играют важную роль в развитии международных отношений, в борьбе против остатков колониализма, за мир и дружбу между народами. Этой теме будет посвящена специальная статья «Организация Объединенных Наций и Африка».

Несомненно, что читателя, интересующегося искусством, привлекут статьи о культуре народов Африки, помещенные в первом томе. Он найдет много нового и интересного в разделах об африканской архитектуре, музыке, литературе, изобразительном искусстве, театре.

Много нужных и интересных знаний дает читателю энциклопедический справочник «Африка». Его многочисленные авторы проделали большую и полезную работу. Думается, что был бы достигнут еще больший успех, если бы к этой работе были привлечены в качестве авторов прогрессивные африканские ученые и специалисты, с которыми у нашей научной общественности установились хорошие, дружеские отношения. Их участие в сборнике несомненно обогатило бы его.

Энциклопедический справочник «Африка» по-марксистски освещает историю африканских народов и наполнен оптимизмом в отношении их будущего.

**В. ПОПОВ.**



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## Э. Л. ВОЙНИЧ И ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ

Впервые Э. Л. Войнич привлекла внимание царской полиции еще во время своего пребывания в России, в 1889 году, когда она была еще мисс Буль. Но и позже, после ее возвращения в Англию, где она была тесно связана с русскими политическими эмигрантами,— Э. Л. Войнич оказалась в сфере постоянного наблюдения Департамента полиции.

Разнообразные архивные материалы — донесения агентов, перехваченные письма, сообщения провокаторов, всевозможные документы, сохранившиеся в делах Департамента полиции (Центральный государственный архив Октябрьской революции в Москве), — воскрешают перед нами трагические страницы жизни русских революционеров в изгнании, раскрывают новые детали их международных связей. Еще яснее становится обстановка, в которой создавался роман «Овод», еще ярче делается облик самой Э. Л. Войнич.

В первый раз царские жандармы столкнулись с именем мисс Буль весной 1889 года. Среди перлюстрированных писем Департамент полиции отметил письмо, посланное из Петербурга в Варшаву 5 апреля 1889 года за подписью «Лев» и адресованное Давиду Лурье для передачи Ревекке Лурье, в котором упоминалось: «Не знаю, каким путем думает поехать в будущем году мисс Буль, быть может, она из Лондона отправится пароходом во Владивосток; если же сухим путем, то Цецилия могла бы поехать с ней вместе. Если вам угодно, я могу зайти к ней (она живет вместе с Карауловой) спросить об этом».

В этом письме все показалось подозрительным, и в Департаменте полиции завели новое дело, которое получило № 189 и название: «О выяснении круга знакомства и сношения Марии и Розы Гинзбург, Цецилии, Ревекки и Лейбы Лурье».

Первым документом этого дела стала копия секретного отношения директора Де-

партаменты полиции Дурново от 12 апреля 1889 года за № 1241/299 на имя Санкт-Петербургского градоначальника, которое содержало сообщение об этом письме и после соображений о нем

заканчивалось так: «Департамент покорнейше просит не отказать в распоряжении о выяснении личности Льва... Карауловой... мисс Буль... и о последующем не оставить Вашим уведомлением».

По этому делу было тотчас же разослано множество секретных запросов и отношений. Выяснилось, что Лев Лурье был двоюродным братом Цецилии и Ревекки, а они в свою очередь были родственницами Марии Гинзбург — «сожительницы» (как ее именовали жандармы) известного революционера Исаака Дембо, который весной 1889 года, производя в Цюрихе испытания взрывчатых веществ, погиб от взрыва.

А начальник Могилевского жандармского управления, сообщая 28 апреля 1889 года Департаменту полиции подробную родословную семьи Лурье, мудро заключает: хотя, мол, Цецилия и Лейба не замечены ни в чем предосудительном с политической точки зрения, но, принимая во внимание тесную их дружбу с Марией Гинзбург, «благонадежность их в политическом отношении является сомнительной».

И опять Департамент полиции посылает секретные запросы господам начальникам губернских жандармских управлений, и опять господа начальники посылают в Департамент полиции секретные отношения с собранными сведениями, с перехваченными письмами, с адресами, с характеристиками, а их канцелярии опять просматривают свои картотеки и дела, а филеры наблюдают за «подозрительными» и «неблагонадежными» и за теми, кто еще «не замечен ни в чем предосудительном», перехватывают их письма, и господа начальники жандармских управлений опять посылают в столицу дополнительные сведения о крамольных подданных Российской империи...

Двадцать шестого июня 1889 года за № 4546 Санкт-Петербургского градоначальника отделение по охранению общественной безопасности и порядка в столице сообщает в Департамент полиции, что за Львом Лурье установлено наблюдение, установлен круг его знакомств, и теперь можно расшиф-

рывать его письмо: «Изложенные сведения в сопоставлении с содержанием приведенного в отношении Департамента полиции за № 1241/299 письма Лурье, а также того обстоятельства, что вместе с великобританской подданною Этель Лилян Буль проживала женщина-врач Прасковья Васильевна Караулова (жена политического ссыльного Караулова), приводят к выводу, что под инициалами, кличками и фамилиями, упоминаемыми в этом письме, подразумеваются названные выше... Прасковья Караулова и Этель Буль. Лица эти... известны по сношениям своим с личностями политически неблагонадежными. Из числа этих лиц выбыли... Прасковья Караулова 17 мая в Москву и учительница музыки Этель Буль, 24 лет, проживавшая в Санкт-Петербурге с 17 апреля 1887 года по национальному виду от 4 апреля 1882 года за № 13688, выбыла 20-го минувшего мая вместе с сестрою Карауловой, фельдшерницей Петропавловской больницы Александрю Личкус — за границу...»

На следующий день — 27 июня — то же отделение дополнительно доносило в департамент разные сведения, и среди них сообщало адрес Прасковьи Карауловой — дом № 17 по 7-й улице Песков.

Итак, благодаря сведениям департамента для нас сохранились точные даты приезда Э. Л. Войнич в Петербург и ее отъезда, адрес дома, где она жила (впервые его обнаружил в этих документах ленинградский краевед А. Г. Петров), мы узнали о ее связях с революционно настроенной молодежью и узнали, что обо всем этом было известно царским жандармам, что, пробыв два года в России, молодая англичанка уже попала в поле зрения Департамента полиции и имя ее было занесено в его картотеки как имя лица, «известного по сношениям своим с личностями политически неблагонадежными...» И если бы она не уехала из России — кто знает, как сложилась бы ее судьба...

Но она уехала, вернулась в Лондон, встретила со своим русским другом С. М. Степняком-Кравчинским, под влиянием книги которого — «Подпольная Россия» — она заинтересовалась русским революционным движением, который помог ей поехать в Россию, а теперь, после ее возвращения в Англию, всячески побуждал ее заняться литературой, «попробовать свои силы на писательстве», как он выражался, — и стала его соратницей.

Когда С. М. Степняк-Кравчинский организовал группу либеральных англичан и создал английское «Общество друзей русской свободы», Э. Л. Войнич деятельно помогала ему и вскоре стала членом исполнительного комитета этого «Общества». Когда «Общество» стало издавать ежемесячный журнал на английском языке — «Free Russia» («Свободная Россия»), Э. Л. Войнич стала ближайшей помощницей его редактора — Степняка. В доме же Степняка встретила она и с Михаилом Вильфридом Войничем, бежавшим из России, который в эмиграции жил сначала под именем Ивана Келчевского и вместе со Степняком и его друзьями был организатором Фонда Вольной русской прессы, созданного для издания и распространения революционной литературы. Э. Л. Войнич всячески помогала друзьям и в деятельности Фонда.

Из полицейских документов явствует, что царская полиция внимательно следила за деятельностью мисс Буль и в Англии. Заинтересовалась она и неведомым ей Келчевским, только после долгих наблюдений и сопоставлений установив, что это не кто иной, как бежавший из Сибири и давно его разыскиваемый Михаил Войнич. Узнали в Петербурге и о женитьбе Михаила Войнича, но тут их агентура дала промах и ввела департамент в забавное заблуждение.

Чтобы разъяснить, как это все получилось, нужно рассказать о самой агентуре.

Царское правительство ни на день не прекращало преследования русских революционеров и за границей. Русские эмигранты постоянно ощущали действия этой тайной войны.

Транспорты революционной литературы, изданной в Швейцарии, Англии, Франции и посылаемой в Россию, слишком часто попадались в руки царской полиции, несмотря на соблюдение самой строгой конспирации.

Эмигранты, возвращавшиеся нелегально на родину, нередко сразу же замечали за собой слежку или сразу же попадали за решетку.

Пропадали письма, не только посланные в Россию или из России, но даже посланные здесь, из одной страны в другую, из одного города в другой.

Время от времени то тут, то там эмигранты подвергались преследованиям местной полиции, явно вдохновляемой откуда-то извне, — у них устраивали обыски, иногда арестовывали, высылали.

Эмигранты знали, что все это «работа» шпионов, нанятых царской полицией, но иногда чувствовали чуждую, враждебную руку слишком близко. Это порождало тревогу, неуверенность. Возникали подозрения. Вспыхивали ссоры, раздоры, склоки.

И действительно, в царского правительства была прекрасно поставлена осведомительная полицейская служба и за границей.

Русские эмигранты о многом догадывались, кое-что узнавали позднее, но вся сложная система заграничной охраны раскрылась только после 1917 года.

Всей заграничной агентурой заведовал с 1884 года чиновник особых поручений Департамента полиции Петр Иванович Рачковский, обосновавшийся в Париже.

Это был, несомненно, умный, энергичный, образованный, ловкий субъект. Он получал из Петербурга крупные суммы, ему оказывало самую широкую поддержку царское посольство во Франции. У него были обширные связи во всех кругах французского общества — начиная от членов правительства, политических деятелей, журналистов и кончая мелкими полицейскими и консьержами.

Из года в год, из месяца в месяц, через день-два, а иногда и ежедневно Рачковский посылал в Петербург самые подробные доклады о русской революционной эмиграции — и об отдельных фактах, об отдельных лицах, и время от времени давая систематические обзоры о составе, деятельности, материальных средствах и настроениях русской революционной эмиграции. К своим докладом он прилагал перехваченные письма, украденные документы, эмигрантские издания.

Я читала множество докладов Рачковского. Они написаны толково, обстоятельно, умно, иногда с блеском. обнаруживают его незаурядную проницательность, инициативу. Он прекрасно разбирается в политике, прекрасно понимает разницу между самодержавным образом правления в России и буржуазной республикой Франции (сетуя подчас, что во Франции нельзя применять русских полицейских мер) и в то же время прекрасно понимает цену «демократических» свобод и продажность правящих кругов и желтой прессы.

Будущий историк русской революционной эмиграции найдет в докладах Рачковского ценнейший источник.

Агентура Рачковского состояла далеко не

только и не столько из наемных наружных агентов-наблюдателей, но главным образом из шпионов-провокаторов, засылаемых им в среду эмигрантов. Надев личину революционеров, эти шпионы проникали на сходки эмигрантов, устанавливали с ними дружеские отношения, принимали участие в их предприятиях и, узнавая таким образом о всех действиях эмигрантов, сообщали о них Рачковскому.

В своих докладах Рачковский постоянно старался всячески запугивать царское правительство, выдумывая сообщения о разных кознях, якобы затеваемых эмигрантами, о подготовке ими террористических актов и т. п. Это придавало еще больший вес его действиям.

Однако Рачковский вовсе не ограничивался наблюдениями и информацией. О нет! Он придумал, разработал план и осуществил с помощью своих наемников разгром эмигрантской типографии в Женеве, где печатался «Вестник Народной воли». Он значительно ускорил ренегатство Льва Тихомирова своей изощренно-иезуитской тайной травлей. И это он, Рачковский, инспектировал и координировал действия разных шпионов, по личной инициативе предлагавших свои услуги Департаменту полиции.

Царское правительство не оставалось в долгу: Рачковский из года в год, от праздника к празднику получал ордена и денежные награды, с ним совещались и доверительно переписывались министры и высшие чины. Об его успехах неоднократно докладывали царю, и царь был весьма доволен им. (Впоследствии Рачковский, уж слишком бесцеремонно полезший в высшую политику, был отозван из Франции, но был назначен заведующим особым отделом Департамента полиции и был одним из руководителей подавления революции 1905 года.)

За пять-шесть лет своей деятельности Рачковский приобрел большое влияние во Франции и так сумел организовать преследование русских эмигрантов в Париже, что большинство из них вынуждено было покинуть Францию и перебраться в Лондон, где условия для них были гораздо тяжелее: и жизнь там была дороже, и многие из них, хорошо зная французский язык, почти не владели английским.

В 1890 году энергичная деятельность лондонских эмигрантов, вдохновляемая С. М. Степняком-Кравчинским, организация

им «Общества друзей русской свободы», издание журнала «Свободная Россия» заставили Рачковского вплотную «заняться» Англией. В январе 1891 года Рачковский сам отправился туда для выяснения условий «учреждения в Лондоне специального наблюдения», как он сообщал в Петербург.

Через некоторое время, 19/31 марта 1891 года, в докладе № 26 он самодовольно доносил, что приступил уже к организации «постоянного наблюдения за выдающимися эмигрантами в Лондоне» и сообщал первые сведения: «Путем усиленного наблюдения было установлено, что главным средоточием революционных конспираций является отдельный домик, расположенный в одном из отдаленных лондонских кварталов — 13, Grove Gardens, St. Jons, нанятый Кравчинским, и где за его временным отсутствием поселились Волховский, Бурцев и Келчевский...» (Кравчинский в это время действительно находился в США, где собирал деньги на революционную пропаганду, читая лекции о русской революции и о русской литературе.)

Вскоре же директор Департамента полиции П. Дурново самолично отправился во Францию для встречи с Рачковским (они тоже соблюдали осторожность и наиболее деликатные вопросы, например, имена агентов, не доверяли бумаге и обсуждали лично, тем более что эти доверительные беседы происходили весьма приятно — в Ницце, например!).

В результате этих переговоров директор Департамента полиции весьма встревожился — лондонские эмигранты оказались гораздо опаснее, чем он предполагал, и было решено значительно увеличить средства на лондонскую агентуру и расширить ее. Сейчас только три наружных агента, нужно по крайней мере еще столько же, а вообще он был доволен: Рачковский послал туда очень опытного человека — бывшего французского агента, рекомендованного парижским префектом полиции.

Во время этих встреч долго обсуждался вопрос о Келчевском. Его энергия сильно тревожила департамент, и они хотели непременно выяснить, кто же это. Узнав от Рачковского приметы загадочного Келчевского, после долгих сопоставлений директор департамента, обладавший, очевидно, недурной полицейской памятью, предположил, что по всем данным это должен быть бежавший Войнич. Тут началась особая переписка. Из

Петербурга Рачковскому прислали фотографию Михаила Войнича, и наконец в зашифрованной телеграмме от 4 июня 1891 года Рачковский сообщил Департаменту полиции: «Войнич и Келчевский, очевидно, одно и то же лицо...»

С тех пор после получения каждого доклада Рачковского о лондонской эмиграции чиновники 3-го делопроизводства Департамента полиции вносили в дело № 22, литер «А», часть 26 — «О розыске лиц по делам политическим. Дворянина Михаила Леонардова Войнича (он же Келчевский)» — новые данные о его крамольной деятельности. Нередко в этих бумагах мелькало и имя его жены...

Рачковский внимательно следил за группой Кравчинского в Лондоне и, конечно, за Михаилом Войничем. Сообщая о нем постоянно в Петербург в своих официальных докладах, Рачковский писал, между прочим, в конце 1892 года в личном письме директору Департамента полиции: «Я намерен ознакомиться с революционными бумагами Войнича, который, как известно, заведует всеми сношениями упомянутой группы».

Рачковский немало труда затратил на «работы по устройству правильной агентурной организации в Лондоне», которые, как он сообщал в докладе от 21 сентября/3 октября 1891 года, «закончились к настоящему времени с успехом, на который почти нельзя было надеяться; внутренним агентам удалось достигнуть самого тесного сближения с местной эмиграцией и занять среди нее совершенно прочное положение, что дает нам постоянную возможность знать в зародыше о каждом предприятии или замысле как русской, так и польской эмиграции». Таким образом, заключал Рачковский, все лондонские эмигранты, а также все вступающие с ними в сношения — «под нашим полным контролем».

Царские жандармы тщательно оберегали своих наемников. Мы так и до сих пор не знаем, кто же были они — эти внутренние агенты Рачковского, лицемерно делившие тревоги и заботы русских эмигрантов в Лондоне и исправно доносившие в царскую полицию на тех, кто доверял им, считал своими соратниками... Мы не знаем, кто сидел рядом за одним столом с Кравчинским, с Михаилом Войничем и его женой и предавал их...

Однако двое осведомителей, не из числа завербованных Рачковским, а сами добро-



хотно предложившие свои услуги Департаменту полиции, нам известны. И известно, что они оба весьма интересовались и Михаилом Войничем, и его женой.

Один из них, некто Болеслав Малянкевич, живший в Лондоне под именем Виктора Вербицкого, весной 1892 года послал в Петербург заявление с предложением сообщать сведения о лондонской эмиграции, хвалясь, что он «пользуется доверием Кропоткина, Лаврова, Степняка, Волховского и других». Предложение его было принято, и в департаменте было заведено новое дело: «По заявлению проживающего в Лондоне Болеслава Малянкевича» — и номер его по 3-му делопроизводству был 318.

В первом же доносе в мае 1892 года не очень грамотный Малянкевич писал: «В Лондоне существует пять революционных обществ. Самое важное, сердце и голова всех: Free Russia... Предводителями этого общества суть: Кропоткин, Лавров, Мендельсон, Степняк... Вильям Морис, поэт... Келчевский — писатель, он наблюдает за типографией «Free Russia»... Из женщин: морганатическая жена Мендельсона Марья Янковска, мисс Wilson и мисс Bull (вместо: Woole.— E. T.), Люиза Мишель. Все четверо отличные ораторки».

При всей путанице этого донесения, ни Кропоткин, ни Лавров не были, например, «предводителями» «Свободной России» и т. п. — оно весьма любопытно, так как Малянкевич называет действительно выдающихся женщин, близких к «Обществу друзей русской свободы». Не говоря уже о героине Парижской коммуны Луизе Мишель, близкой приятельнице Степняка, любопытно отметить, что упоминаемая им Шарлотта Вильсон была другом и соратником Кропоткина и была близкой приятельницей Э. Л. Войнич, послужив ей прототипом образа героини романа «Овод» — Джеммы.

По этому донесению Малянкевича и по последующим его дополнительным данным Департамент полиции составил «Список лиц, состоящих членами лондонского революционного общества «Free Russia». В этом списке под № 35 значилась «мисс Bull — хорошая ораторша». К этому списку были приложены справки по делам департамента. Пригодились им те сведения, которые были собраны еще в 1889 году, и в справке аккуратно были перечислены все неблагонадежные знакомые английской учитель-

ницы музыки, проживавшей в Петербурге.

Департамент тотчас же связал Малянкевича с Рачковским, и далее Малянкевич действовал по его указаниям. (Летом 1897 года Малянкевич признался эмигрантам, что состоял на службе Рачковского, и застрелился.)

Другой известный нам агент — личность в высшей степени странная. Некий Александр Михайлович Эваленко, человек без определенных занятий, жена которого была опытной мастерицей предметов женского туалета, осенью 1891 года собрался в Нью-Йорк, где жена его хотела открыть корсетную мастерскую. Перед отъездом в Америку Эваленко предложил Департаменту полиции быть осведомителем о русских эмигрантах в Нью-Йорке. Департамент это предложение принял. Договорились о солидном вознаграждении, о том, что «работать» Эваленко будет под именем «Вл. Сергеев», а в Америке он будет получать деньги и указания департамента на имя «Генрих Бодман».

Попав в Нью-Йорк, Эваленко действительно очень скоро разыскал русских эмигрантов — Л. Гольденберга, В. К. Дебагория-Мокриевича, Е. Лазарева и других. Л. Гольденберг, старый эмигрант, бывший еще сподвижником Лаврова по изданию «Вперед», теперь помогал своим лондонским друзьям и ведал американским изданием лондонского журнала «Свободная Россия».

Эваленко сблизился с Гольденбергом и, желая более выяснить себе положение Гольденберга среди революционеров в Лондоне... завел перепуску с Келчевским и Степняком — как он сообщал в Петербург 8 апреля 1892 года.

Аккуратнейшим красивым почерком переписывал этот провокатор все получаемые им письма и посылал их в Департамент полиции.

В 1893 году, когда В. Г. Короленко ездил в Америку на Чикагскую выставку, Эваленко развил бурную деятельность — он старался повсюду сопровождать писателя и подробно доносил о нем.

Довольно скоро Эваленко приобрел доверие эмигрантов и своей энергией, и... своими значительными денежными жертвованиями. Суммы, вносимые им на дело революционной пропаганды, были подчас столь велики, что это озадачивало эмигрантов, но Эваленко ловко умел рассеивать все подозрения и все более и более сбли-

жался с нью-йоркской колонией русских эмигрантов. Лондонские эмигранты также относились к нему с полным доверием. Михаил Войнич писал, например, 29 сентября 1893 года в Нью-Йорк об Эваленко: «Мы смотрели и смотрим на него как на товарища, как на члена нашей организации...»

С апреля 1893 года Эваленко ведал уже книжным складом Фонда Вольной русской прессы в Нью-Йорке, а после отъезда Гольденберга и Лазарева в Европу стал представителем Фонда в Америке.

В донесениях Эваленко в Петербург постоянно мелькают имена Войнич-Келчевского и его жены — мадам Войнич

Эваленко сообщает, что он принимает все меры — писать о коих неудобно! — для прекращения американского издания «Свободной России», и действительно, в скором времени этот журнал перестал выходить в Нью-Йорке...

Эваленко сообщает, что он предложил Фонду на свой страх и риск переправлять в Россию нелегальную литературу, и Фонд посылает ему тюки изданных в Лондоне книг и брошюр. Все это Эваленко или уничтожал сам, или посылал в Россию так, что посылки попадали прямо в руки полиции...

Двадцатого апреля 1895 года Эваленко отправил в Петербург большое донесение с характеристикой положения эмигрантов в Америке и в Англии. К этому донесению он приложил аккуратненько переписанную копию письма Михаила Войнича от 27 февраля 1895 года из Лондона. Кроме письма, М. Войнич послал Эваленко и бланки подписных листов для сбора денег, и обращение вновь организованного им Союзом книгоношей. От имени бюро Союза книгоношей обращение и листы подписали трое: М. Войнич, Лилян Войнич и С. Штейн.

Из литературы известно, что М. Войнич, отойдя от Фонда Вольной русской прессы, в конце 1894 года организовал Союз книгоношей, но подробно о его целях и задачах мы узнаем впервые.

Михаил Войнич писал Александру Эваленко: «Дорогой друг, приступая к практическим работам, намеченным Союзом книгоношей, мы считаем необходимым выяснить Вам, человеку широких симпатий и не кружковому революционеру, подробнее несколько те задачи, которые наметил Союз». Далее М. Войнич перечисляет их: отказ от узконациональных и узкопартийных взглядов, перевозка литературы на польском,

армянском, еврейском и других языках для всех — штундистов, политиков и т. п. Далее он сообщал, что Союз основан уже пять месяцев тому назад, что время очень удачное: после смерти Александра III общество очень разочаровано речью Николая II. «Немало помогло этому теплое, более чем теплое отношение Кропоткина, Степняка, особенно последнего, и сочувствие нескольких представителей европейского социалистического движения. Помогло и то, что люди, поехавшие для Союза в Россию, оправдали возлагавшиеся на них надежды». Затем М. Войнич подробно сообщает, что Союз будет не только ввозить в Россию заграничную литературу, но и переиздавать на тонкой бумаге книги и листовки, изданные в России, и перевозить их на родину. Первым изданием такого рода является переиздание «Открытого письма к Николаю II» по поводу его речи перед земскими представителями. Для этого нужны деньги, а люди и связи имеются. М. Войнич просит Эваленко помочь им и для этого посылает бланки подписных листов.

«Вы, вероятно,—продолжает М. Войнич,—останавливаетесь с недоумением перед фамилией третьего члена бюро Штейна. Это революционер, приехавший из России ко времени основания Союза, химик, ассистент университета по химии, в полном смысле этого слова — бизнесмен, изобретатель нескольких вещей, из которых одно — мыло, не требующее стирки и трения при мытье белья. уже пушено в хол, устроен завод в Англии... Он ушел целиком в Союз книгоношей и революцию, все овои средства отдает делу перевозки... Штейн шлет Вам привет. Жена моя его Вам не посылает, так как она уже месяц как уехала по делам Союза.

Крепко жму Вашу руку. В. Войнич». Действительно, нам известно, что в самом начале 1895 года Э. Л. Войнич уехала из Лондона во Львов для организации транспортировки нелегальной литературы через галицийскую границу, в которой ей обещал помочь Михаил Павлык... Но нам не было известно, что она предприняла эту поездку именно для Союза книгоношей.

Эваленко приложил также к своему донесению и аккуратненькую копию бланка подписного листа с обращением.

Приводим это обращение целиком как единственный известный нам документ, в составлении которого принимала участие

английская писательница, документ, под которым стоит ее подпись.

На обороте подписного листа было напечатано:

«Общественное оживление и явное стремление к более сознательной политической жизни, проявившиеся в последнее время в России, наглядно доказали, что вопрос о свободе печати есть для всех народов, населяющих Российскую империю, коренной вопрос политического и общественного развития и потому требующий немедленного разрешения. Правительство свободы печати не дает и не скоро даст, а потому единственный исход — в возможно широком распространении подпольной литературы.

Чтобы удовлетворить столь насущную потребность всех народов, обществ, групп и отдельных личностей, живущих в пределах Российской империи, основан Союз книгоношей, целью которого будет перевозка и распространение всей литературы, выражающей протест против ныне существующего порядка и, в силу этого, запрещенной теперь в России. Ввиду больших расходов, с которыми сопряжено успешное осуществление намеченной задачи, Центральное бюро Союза книгоношей обращается ко всем, прямо или косвенно заинтересованным в этом деле, за помощью деньгами, а также запрещенными для ввоза в Россию книгами, сведениями и связями.

Все заявления Союза книгоношей, равно как каталоги запрещенной литературы, будут появляться на языках: русском, польском, малороссийском, финском, немецком, еврейском, латышском, литовском, грузинском и армянском.

Всех желающих войти в сношения с Центральным Бюро из-за границы просят писать по адресу: W. Voynich, III Grove Hammersmith, London, W, для получения дальнейших указаний для переписки.

Корреспонденты из России могут сношаться с Центральным Бюро или через общих друзей за границей или же через агентов Союза книгоношей в России.

Жертвователи, желающие остаться неизвестными, могут высылать деньги не почтовыми переводами, а марками или ассигнациями в заказных конвертах.

Члены Центрального бюро Союза книгоношей:

В. Войнич.  
Лилиан Войнич.  
С. Штейн».

В этом документе, сохраненном Департаментом полиции, отчетливо виден размах дела, которому посвящали себя члены Центрального бюро Союза книгоношей. Особенно интересно и показательно для этого документа желание его составителей служить всем национальностям, составляющим Российскую империю.

Известно, что национальный вопрос, столь острый для России, привлекал внимание Э. Л. Войнич, и она была непримирима и к великодержавному шовинизму, и ко всем проявлениям национализма.

Так, например, в одном письме (также неопубликованном) Михаил Войнич писал 16 октября 1894 года Л. Гольденбергу в Нью-Йорк об одном эмигранте, который, бывая у них, «не стеснялся относительно своего антисемитизма. Ну а ни я, ни моя жена не позволим в своем доме употреблять выражение «жид» и прочие обидные клички, не позволим говорить «паршивые полячишки». Ему об этом сказали, ну и с тех пор пошла непримиримая вражда...»

Недаром в своем романе «Оливия Летам» Э. Л. Войнич показывает, как остро национальный вопрос стоял для польских революционеров-социалистов, которым приходилось преодолевать завет предков о борьбе с русскими, для того чтобы вместе с русским народом бороться против русского самодержавия.

Из обращения Союза книгоношей еще раз видно, как близко стояла Э. Л. Войнич к деятельности русских политических эмигрантов.

Нам известно, что Союз книгоношей вскоре прекратил свою деятельность из-за отсутствия средств, об этом писал, как мы увидим в дальнейшем, и Рачковский.

Что же касается первого издания Союза книгоношей, то один экземпляр «Открытого письма к Николаю II», отпечатанный в Лондоне, сохранился в деле М. Войнич. Это небольшой листок очень тонкой бумаги. По сведениям Рачковского, сообщенным им в Петербург, это письмо было отпечатано в Лондоне Союзом книгоношей тиражом в десять тысяч экземпляров.

Это письмо было выпущено как прокламация в Петербурге 19 января 1895 года в ответ на речь Николая II, произнесенную им 17 января 1895 года, в которой он назвал любые попытки земских деятелей принять участие в делах внутреннего управления страной «бессмысленным меч-

таниями». Авторы письма резко протестовали против этой речи и заканчивали свое письмо таким обращением к Николаю II: «Вы первый начали борьбу, и борьба не заставит себя ждать». На лондонском издании была пометка: «Переиздано Союзом книгоношей 7 февраля 1895 года».

Департамент полиции был очень доволен Эваленко и постарался связать его с Рачковским. Осенью 1895 года Эваленко приехал в Европу и встретился с Рачковским. Тот дал ему ряд заданий и указаний, и Эваленко отправился в Лондон для выяснения подробностей деятельности русских эмигрантов в Англии и в первую очередь Фонда Вольной русской прессы.

В начале октября 1895 года всегда сдержанный Рачковский довольно приподнятым тоном сообщает в Петербург о своих встречах с «Сергеевым»: «Сергеев поставил себе задачей выяснить действительную роль и значение Фонда, как революционной единицы, и если в этом случае мы сшибемся во взглядах, то и составим общий план действий к разрушению Фонда. Будучи представителем его в Америке, Сергеев сослужит Вам великую службу. Вообще я думаю, что в лице этого господина департамент сделал драгоценное приобретение и что именно таких серьезных и добросовестных тружеников следует отыскивать для успешной борьбы с нашей революционной язвой, теперь вновь разрастающейся».

А в это время Эваленко был уже в Лондоне, лично перезнакомился со всеми русскими эмигрантами, завоевал еще большее доверие. Бывал у них дома, сидел с ними за одним столом, обсуждал планы издания революционной литературы... И обо всем потом подробно донес в Петербург.

Время от времени кое-кто из эмигрантов начинал подозревать Эваленко в двойной игре. Но у него всегда оказывалось много защитников. Самые честные, самые принципиальные люди заступались за Эваленко, не веря в его предательство. Чтобы не возвращаться больше к этому «драгоценному приобретению» департамента, надо сказать, что в 1898 году в Нью-Йорке состоялся товарищеский суд над Эваленко по обвинению его в шпионаже, и он был оправдан. И только в 1911 году один из бежавших за границу сотрудников Департамента полиции — Л. Меншиков — среди своих многочисленных разоблачений раскрыл и

роль Эваленко, передав эмигрантам копии доносов «Сергеева» в Петербург...

Однако пора обратиться к Рачковскому. Вскоре после успешного устройства «правильной агентуры» в Лондоне, к концу 1891 года, Рачковский убедился, что этого слишком мало.

Лондонские эмигранты успешно развешивали свою «антицаристскую» пропаганду. Известно, что Ф. Энгельс приветствовал деятельность Степняка в этой области. Развившийся в это время страшный голод в России еще раз убедительно доказывал гнилость царского режима. Русские эмигранты организовали во всех странах сбор пожертвований в помощь голодающим.

Чтобы противодействовать этому, Рачковский решил лишить эмигрантов ореола защитников народа. В январе 1892 года он выпустил в Париже гектографированную прокламацию — по виду точно такую же, какие выпускали революционные кружки.

Пасквильный листок этот был озаглавлен: «Вынужденное заявление» и подписан: «Г. Плеханов». В этом листке, обращенном к русской молодежи, заявлялось, что агитация лондонских эмигрантов имеет корыстный характер, намекалось, что эмигранты присваивают деньги, собранные на голодающих, что они шантажируют европейскую публику.

«Жаль, — с пафосом обращался к русской молодежи автор прокламации, — что здесь не место выводить на свежую воду омерзительные проделки, которыми ознаменовали себя разные Кравчинские, Волховские, Войнич, Мендельсоны и остальные подонки русской интеллигенции...»

Конечно, и лондонские, и парижские, и швейцарские эмигранты сразу разгадали полицейское происхождение прокламации, но среди русской молодежи, обучавшейся в Париже, кое-где она породила смуту и недоверие.

Этот пасквиль Рачковский самодовольно послал в Петербург, и он сохранился как неоспоримый документ гнусных методов царской полиции.

Рачковский всячески старался опорочить эмигрантов с помощью печати. Во Франции ему удавалось иногда помещать в парижских газетах сенсационные клеветнические заметки о русских «нигилистах», но английская печать до сих пор была для него неприступной.

Но Рачковский не унывал...

В первый день рождества 1893 года, 25 декабря, обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев с злобным торжеством писал письмо министру внутренних дел Н. И. Дурново.

Бдительное око обер-прокурора усмотрело в новом, только что полученном из Лондона английском журнале «The New Review» за январь 1894 года (английские издатели снабжали своих подписчиков аккуратно и, конечно, по новому стилю, в Англии ведь было уже 7 января 1894 года) статью против русских эмигрантов под названием «Анархисты, их методы и организация». С удовлетворением отмечал Победоносцев, что в статье этой большое место уделялось Кравчинскому, который описывался там как злодей и убийца.

Одновременно с письмом обер-прокурор святейшего синода послал министру внутренних дел — как рождественский подарок! — и самый номер журнала с просьбой по использованию вернуть.

Через три дня старший помощник делопроизводителя А. Миллер уже составил подробную записку по поводу этой статьи в английском журнале, специально отметив, что статья эта, в которой осуждается содействие, оказываемое английским обществом русским эмигрантам, является первым произведением подобного рода, помещенным в английской печати.

Действительно, рождественский подарок!

Через несколько дней пришел очередной доклад Рачковского из Парижа. Заведующий заграничной агентурой в докладе № 12 от 16/28 января 1894 года подробно рассказывал об оживлении деятельности русской эмиграции, о сближении ее с французскими социалистами — Жоресом, Гэдом и другими, о том, что он неустанно «разоблачает» русских эмигрантов, и в конце скромно добавлял: «Затем при посредстве одного из моих сотрудников мне удалось поместить на ту же тему в «The New Review» (январь 1894) статью, которая была перепечатана французскими журналами и вызвала большой переполох среди нашей эмиграции в Париже и Лондоне...»

«Подарок» оказался не столь уж радужным: свой, полицейский автор — это вовсе не независимый англичанин, но в конце концов и это неплохо: ведь английские читатели не знают, кто автор!

Затем Рачковский за подписью «П. Иванов» напечатал и распространил «Открытое

письмо председателю Общества друзей русской свободы доктору Спенсу Ватсону», в котором упрекал Спенс Ватсона, что он дружит с таким злодеем, как Кравчинский, и поддерживает его.

И вот, подкупленные Рачковским, французские газеты одна за другой сочувственно комментируют это открытое письмо.

Царь на всеподданнейшем докладе о всей кампании Рачковского во французской и английской печати «изволил собственноручно начертать: «весьма успешно», о чем 6 мая 1894 года сообщает своему удачливому подручному директор Департамента полиции.

Рачковский пожинает плоды: в апреле сверх обычной суммы — для усиления наблюдений — из Петербурга ему дополнительно переводят десять тысяч франков. В Лондон послан еще один агент, который действует совместно с лондонской полицией.

Имена Кравчинского, Волховского, Войнич не сходят со страниц докладов Рачковского.

И среди всяких фантастических сообщений — о подготовке покушения на Победоносцева, якобы задуманном эмигрантами, о восстановлении страшного «исполнительного комитета», о том, что «Лазарев будет руководить исполнительной революционной властью в России, а в Лондоне продолжение ее составят Кравчинский, Волховский и Войнич. Именно из этих лиц и будет состоять так называемый «исполнительный комитет», — Рачковский, между прочим, сообщает в докладе от 27 марта/8 апреля 1894 года за № 38, что Войнич женился на дочери Волховского, и в сноске упоминается: «Об этом я забыл своевременно доложить Вашему превосходительству».

Очевидно, агент Рачковского напутал и принял англичанку за русскую, за дочь русского эмигранта. Правда, Э. Л. Войнич так хорошо говорила по-русски, что многие считали ее русской, да и друзья называли ее на русский манер: «Лилия Григорьевна».

И так получилось, что в секретный «XVII Обзор важнейших дознаний, производившихся в Жандармских Управлениях Империи по делам о государственных преступлениях за 1892 и 1893 год», изданный Департаментом полиции (такие обзоры издавались ежегодно), вошло и такое важнейшее сообщение — на странице 220 напечатано: «Войнич в 1893 году женился на дочери Феликса Волховского, бывшей с отцом

в Сибири во время его ссылки и прибывшей затем в Англию».

Впоследствии эти же данные — о жене Войнич как о дочери Волховского — вошли и в другие полицейские документы и издания, например, в «Список разыскиваемых лиц по делам о государственных преступлениях» и т. п.

Итак, на одну Э. Л. Войнич в картотеке Департамента полиции были заведены две карточки: и на мисс Буль, и на Лилиан Войнич как на двух разных крамольных особ!

Постоянные нападки французской и английской печати, подкупаемой Рачковским, вынудили русских эмигрантов выступить в свою защиту. «Общество друзей русской свободы» решило издать на английском языке специальный сборник статей и материалов о деятельности русских эмигрантов за границей, о целях русских революционеров.

Э. Л. Войнич принимала самое близкое участие в составлении этого сборника.

Открывался сборник, который решили назвать коротко и ясно — «Нигилизм как он есть», предисловием председателя «Общества друзей русской свободы» доктора Спенс Ватсона, в котором тот решительно отметил клеветнические заявления русских шпионов. Затем следовали три статьи Степняка. Первую, коротенькую, о происхождении этого сборника, Степняк сам написал по-английски, а две другие: «Чего нам нужно?» и «Заграничная агитация», которые уже вышли отдельными брошюрами в издании Фонда Вольной русской прессы, — нужно было перевести на английский язык.

Этель Лилиан Войнич, член Исполнительного комитета «Общества друзей русской свободы», соратник русских революционеров, выполнила эту работу.

На титульном листе книги, вышедшей в середине 1894 года, рядом с именами известных русских революционеров Степняка и Волховского стояло никому еще не известное в Англии имя Э. Л. Войнич.

Так получилось, что будущая английская писательница приняла участие в борьбе русских эмигрантов против царской полиции.

В Департаменте полиции об этом хорошо знали. И относились весьма серьезно.

Департамент полиции посчитал необходимым упомянуть ее имя и в «XVIII Обзоре важнейших дознаний... по делам о государственных преступлениях за 1894 год», сообщая для всей российской жандармерии: «В конце года Войнич отстранился от заведо-

вания делами Фонда с целью исключительно посвятить себя транспортировке из-за границы революционных изданий и распространению их по империи. С этой целью им организован особый Союз книгоношей... в состав коего, кроме самого Войнич, входит его жена Лилиан, урожденная Волховская, и богатый мыловар из эмигрантов-евреев С. Штейн. Союз этот намерен действовать вполне самостоятельно и, находясь вне партий или кружков, содействовать удовлетворению всех революционно-литературных нужд, без различия политических и национальных оттенков».

Дальнейшая судьба Союза книгоношей и его организаторов также постоянно была в поле зрения Департамента полиции.

В деле М. Войнич подшита выписка из донесения Рачковского от 18/30 октября 1895 года. Сообщая о поездке эмигранта Е. Лазарева в Швейцарию с целью объединения эмигрантских кружков, Рачковский сообщает, что «в Цюрихе Лазарев имел свидание с Плехановым и Аксельродом, которое... кончилось новым крупным раздором. Главным поводом в означенном случае послужил Войнич, который, объезжая вместе с женою Швейцарию в 1893 году, произвел на освобожденческую группу (то есть группу «Освобождение труда». — *Е. Т.*) неприятное впечатление своей нетерпимостью к чужим мнениям. Союз книгоношей... распался окончательно...»

На основе этого и других донесений Рачковского в «XIX и XX Обзоры важнейших дознаний за 1895 и 1896 годы» департамент опять включил сведения о Э. Л. Войнич. На странице 290, где речь идет об эмиграции, читаем: «Из наиболее выдающихся явлений местного характера следует отметить, что начало отчетного периода ознаменовалось внутреннею борьбою между членами Лондонского Фонда Вольной русской прессы, из коих некоторые (Войнич, жена его Лилиан, Степанов и др.), видимо, тяготились преобладающим влиянием, которое в делах Фонда захватили в свои руки эмигранты Е. Лазарев и Волховский. Борьба эта, одно время, казалось, угрожавшая самому существованию Фонда, окончилась выходом из него упомянутых Войничей, первоначально посвятивших себя всецело делу основанного ими еще в конце 1894 года «Союза книгоношей»...» и далее, на странице 292: «Кружок «Союза книгоношей»... залавшийся в начале весьма широкими планами, в ско-

рости вынужден был прекратить свое существование ввиду отсутствия денежных средств».

В этом же обзоре несколько раз упоминается изданное Союзом книгоношей «Открытое письмо к Николаю II». В дальнейших обзорах имя Э. Л. Войнич более не встречается. Однако вскоре царскому самодержавию снова пришлось столкнуться с этим именем уже совсем в новом качестве — как именем автора романа «Овод», появившегося в России в 1898 году...

В заключение мне хочется рассказать об одном забавном эпизоде. О том, как, еще не появившись на свет, роман «Овод» встревожил русскую полицию. Обнаружить эту историю мне помогла поправка одной буквы...

Надо сказать, что одновременно с многочисленными заботами по делам русской эмигрантской печати, по делам распространения русской революционной литературы Э. Л. Войнич все время работала над своей первой книгой — романом о революционере Оводе, выкраивая для этого немногие часы.

Но весной 1895 года (сразу же после возвращения из Галиции, куда она ездила по делам Союза книгоношей) Э. Л. Войнич отправилась в Италию для изучения на месте материалов итальянского освободительного движения и для завершения романа.

Э. Л. Войнич не знала и не подозревала, что ее поездка в Италию вызовет переполох в Петербурге...

Вскоре же после ее отъезда из Лондона Департамент полиции получил доклад заведующего румынской агентурой (была и такая!) подполковника Будзиловича из Бухареста от 9 апреля 1895 года за № 120, в котором тот доносил, что по точным данным ему стало известно о следующем факте: 2 апреля 1895 года в городе Филиппополе прибывший туда из Лондона известный эмигрант В. К. Дебагорий-Мокрневич передал находящемуся там другому эмигранту, И. Кашинцеву, письмо от Кропоткина. В этом письме сообщалось, что «Лидия Григорьевна выехала в Италию покончить начатое дело».

(Внимательно разглядывая этот доклад, я заметила, что в имени «Лидия» была сделана поправка. Ясно было видно, что чинов-

ник, писавший доклад, сначала написал «Лилия», а потом переправил на более привычное — «Лидия». Именно эта поправка и остановила мое внимание. Вероятно, чиновник, составляя доклад, имел перед собой подлинник письма и точно переписал из него русское имя Э. Л. Войнич так, как оно было написано Кропоткиным.)

Да, наверное, это было очень важное и крамольное дело, которое собиралась «покончить» в Италии таинственная Лидия Григорьевна, если Кропоткин считал нужным сообщать о нем так далеко!..

И сразу же после получения доклада от Будзиловича директор Департамента полиции в письме от 19 апреля 1895 года за № 3301 сообщил об этом в Париж Рачковскому и предписал ему: «Сообщая о сем для сведений и соображений, прошу Вас проверить достоверность изложенных указаний, установить личность «Лидии Григорьевны» и о последующем уведомить».

На этот раз всезнающий Рачковский опять попал впросак. Ему и в голову не пришло, что неведомая «Лидия Григорьевна» — не кто иная, как хорошо ему известная Лилия Войнич. Но для сохранения престижа он самоуверенно и отважно «уведомлял» департамент в докладе № 30 от 3/15 мая 1895 года: «В ответ на предписание вашего превосходительства от 19 минувшего апреля за № 3301 имею честь донести, что упоминаемая в письме Кропоткина... «Лидия Григорьевна» есть студентка Парижской медицинской школы Куприянова, отец которой служит директором земского банка в Казани». И дальше, верный своему обычаю припугнуть департамент, Рачковский уже беззастенчиво сочиняет: «Названная личность... выказала себя убежденной сторонницей террора и пользуется репутацией весьма серьезной и самоотверженной революционерки».

В Департаменте полиции так и не дознались, в чем заключалось «дело» Лидии Григорьевны, для окончания которого она ездила в Италию.

Каким опасным оказалось это «дело», русские жандармы узнали немного позже, когда роман «Овод» был издан в России...

ЕВГЕНИЯ ТАРАТУТА.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Н. ДЕМИДОВ.** Юность в борьбе. Днепропетровское книжное издательство. 1963. 134 стр. Цена 35 к.

Мемуары, отражающие незабываемые события Октября, занимают видное место в нашей исторической литературе. Они по праву пользуются большим успехом у советских читателей.

В книге «Юность в борьбе» старый коммунист, участник штурма Зимнего дворца Николай Александрович Демидов вспоминает революционные события семнадцатого года в Петрограде, рассказывает о людях, которые стояли в колыбели советской власти.

В главе «Идем на Зимний» речь идет о том, с каким воодушевлением шли красногвардейцы на штурм последнего оплота русской реакции. Отряд залег у дворцового сада. А когда прогремел сигнальный орудийный выстрел, вся масса матросов, солдат, красногвардейцев бросилась вперед к дворцу. «Не знаю, сколько времени продолжалось все это...— пишет автор.— Но вот и двери... Взбежали на высокую лестницу. Гул голосов, топот ног, выстрелы...» Зимний взят!

Рассказ подкупает своей искренностью, правдивостью. С интересом читаются страницы о молодых годах автора, отданных делу революции. А с каким теплым чувством он рисует образ старого большевика Николая Васильевича Барышева, за плечами которого суровая школа полполя, царские тюрьмы и ссылка! Живо и взволнованно рассказывает Н. А. Демидов о своих старших товарищах по заводу, о сверстниках, с которыми вступил в красногвардейский отряд.

Автору посчастливилось несколько раз видеть и слышать Ленина. И страницы, посвященные этим незабываемым встречам, самые волнующие.

Днепропетровское книжное издательство сделало доброе дело, выпустив мемуары Н. А. Демидова. Это еще одно свидетельство того, что краевые и областные издательства имеют большие возможности с помощью местных авторов выпускать интересные книги, отображающие славные традиции нашего рабочего класса, героический путь великой партии Ленина.

**В. Светцов.**

**А. А. ШЕВЧЕНКО.** Прогрессивная оплата труда колхозников. Экономиздат. М. 1963. 120 стр. Цена 19 к.

Автор этой брошюры Алексей Архипович Шевченко в течение двенадцати лет был председателем колхоза имени Ленина Лабинского района, Краснодарского края. Он пишет об опыте этого хозяйства с большим знанием дела и убежденностью человека, который лично участвовал в поисках наиболее совершенных форм организации колхозного производства. Подробно, этап за этапом, он рассказывает о том, как колхоз переходил к такой оплате труда, при которой размер ее находится в прямой зависимости от количества и качества производимой продукции.

Брошюра знакомит читателей с решением многих вопросов, возникающих при внедрении новой оплаты труда. Это планирование производства и затрат труда по отраслям хозяйства и его подразделениям, контроль за выполнением плана и уточнением плановых расценок, применение дополнительной оплаты за сверхплановую продукцию, переход от трудодней к денежным расценкам, организация учета и осуществление внутрихозяйственного расчета.

Еще в 1957 году Н. С. Хрущев указывал, что в сельском хозяйстве «надо установить такую систему оплаты, при которой учитывалось бы количество произведенной продукции, и ее качество, и себестоимость...».

Опыт колхоза имени Ленина, применяющего эту систему, красноречиво говорит о ее большом значении в борьбе за подъем сельскохозяйственного производства. Колхоз увеличил продажу зерна государству с 14,1 тысячи центнеров в 1953 году до 83,7 тысячи центнеров в 1961 году. Продажа молока и мяса увеличилась за это же время почти в четыре раза, яиц — в шесть с лишним раз. Денежный доход колхоза поднялся с 653 тысяч до 2910 тысяч рублей. Жизнь колхозников с каждым годом становится лучше, культурней.

Известно, что после сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС партией и правительством осуществлены крупные меры по крутому подъему сельского хозяйства. Этой же цели служит совершенствование форм оплаты труда, все более умелое применение ленинского принципа материальной заинтересованности.

**Г. Горбатенко.**



**НОРБЕРТ ВИНЕР.** Новые главы кибернетики. Управление и связь в животном и машине. Перевод с английского. Издательство «Советское радио». М. 1963. 62 стр. Цена 23 к.

Автора этой книги, выдающегося американского математика, заслуженно признают одним из основателей кибернетики. Первым трудом, в котором была сделана попытка систематизировать ее основы, была книга Норберта Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», вызвавшая в научном мире бурные споры и вместе с тем поток новых исследований, значительно расширивших первичные представления об этой науке. Второе издание «Кибернетики», вышедшее в США в 1961 году, автор дополнил двумя новыми главами («Об обучающихся и самовоспроизводящихся машинах», «Мозговые волны и самоорганизующиеся системы»). Вполне понятен интерес, который вызывает содержание этих глав не только у ученых, инженеров, конструкторов, но и у широкого круга читателей, поскольку кибернетика становится все более популярной и ее многие поразительнейшие результаты нашли применение в самых различных областях знания и практики.

В новых главах в обычной для Норберта Винера манере научные идеи подкрепляются не только точными математическими выкладками. Автор приводит тонкие наблюдения некоторых явлений повседневной жизни, интересные факты, почерпнутые из фольклора, произведений живописи и кино, художественной литературы.

Несмотря на свою горячую веру в кибернетику и ее возможности, ученый предостерегает против неосмотрительного применения самообучающихся машин. «Самая большая опасность сейчас, — подчеркивает он, — это III мировая война. Заслуживает внимания вопрос: в какой мере часть этой опасности может корениться в неосмотрительном применении обучающихся машин?» И на ряде примеров он показывает, что эти устройства таят в себе опасность, подобную волшебным силам, описанным в стихотворении Гёте «Ученик чародея», или в сказке о рыбаке и джине из «Тысячи и одной ночи», или в притче об обезьяньей лапе, рассказанной английским писателем начала XX века У. У. Джекобсом. Во всех этих произведениях, как и во многих других легендах и народных сказках, волшебные силы выполняют приказания безрассудно, дословно и их могущество оборачивается против человека, вызвавшего эти силы.

Многие социологические высказывания и биологические гипотезы автора отнюдь не бесспорны и требуют критического подхода, но несомненно, что обсуждающиеся в новых главах проблемы интересны и имеют большое значение для бурно развивающейся новой науки.

С. Смуглый.

**В. М. ТРАВИНСКИЙ.** Как погибли миллионы негров. Соцэзгиз. М. 1963. 248 стр. Цена 46 к.

«Много жестокого знает история — крепостные походы, подавление восстаний, инквизицию, но самому утонченному зверству все-таки старались придать гот или другой, почти всегда лживый, однако возвышенный смысл: «ради господ», «ради истины», «ради нации» и т. д. Работорговля никогда не приукрашивалась, все знали, что она существует только для наживы. История «взаимоотношений» европейцев с неграми стоит особняком среди дел человеческих. О ней трудно рассказывать, ее не с чем сравнить».

Это высказывание как нельзя лучше отражает содержание книги.

Да, нелегко рассказывать о том, как Африка превращалась «в заповедное поле охоты на чернокожих», как погибли десятки миллионов людей, а оставшиеся в живых становились рабами. Собрав и обобщив огромное количество фактического материала, автор рассказал о «добыче» негров на просторах Африки, транспортировке их к невольничьим кораблям, ужасающих условиях перевозки по морю... Даже самая яркая фантазия не может воссоздать действительную картину страданий несчастных рабов.

За триста пятьдесят лет работорговли Африка потеряла сто миллионов человек! Из них девяносто миллионов погибли в схватках с колонизаторами, спасаясь от рабства, в невольничьих караванах на пути к кораблям, задохнулись в трюмах. Одна десятая часть негров достигла берегов Америки, где их ожидала непосильный труд, нечеловеческие условия существования, бичи и палки надсмотрщиков, специальные обученные собаки. Самоубийство казалось поначалу неграм самым верным способом борьбы против рабства. Но только поначалу. Многие страницы книги повествуют о бесчисленных бунтах негров-рабов, восстаниях, освободительных войнах.

Автор рисует образы славных героев борьбы негров за свободу: вождя Сан-Доминго генерала Туссена Лувертюра, активных деятелей американского абolicционизма — негров Фредерика Дугласа и Дэвида Уокера, белого Джона Брауна и многих других. Книга заканчивается описанием гражданской войны в США в 1861—1865 годах, приведшей к отмене рабства.

Книга В. М. Травинского посвящена прошлому. Но, читая ее, думаешь о сегодняшнем дне. Еще свирепствует расизм в Соединенных Штатах Америки. Возведена в закон расовая дискриминация в Южно-Африканской Республике. Рабство еще не исчезло с нашей планеты. Вот почему мы можем сказать, что книга не только обращена в прошлое, она клеймит позором современных колонизаторов.

А. Черняк.

**В. ВЛАДИМИРОВ.** Путешествие в далекое и близкое. «Советская Россия». М. 1963. 278 стр. Цена 61 к.

12 (25) ноября 1910 года в московской газете «Русское слово» появилась небольшая заметка под названием «Эдисон и Толстой». В ней рассказывалось о том, что два русских парня, приехавшие в Нью-Йорк и потерявшие надежду найти работу, написали письмо Л. Н. Толстому. Прошло пять недель. К конторе, где их приютили, подкатил автомобиль. Вышедший из него господин представился: «Я Эдисон и хочу видеть двух молодых людей, приехавших из России». При этом, как сообщает «Русское слово», он показал письмо Л. Н. Толстого с просьбой помочь двум его соотечественникам.

Так начинается В. Владимиров очерк «Из Нью-Йорка в Ясную Поляну» — один из многих, помещенных в этой книге. Немало любопытного и в то же время значительного узнает читатель и из других очерков: «Партизан Ермолай», «Толстой, Андреев и кинематограф», «Товарищ Андрей», «Маленькая женщина и большая война», «Честный Эйб из Белого дома». Помещенные в книге редкие, малоизвестные фотографии хорошо иллюстрируют ее содержание.

Повествуя о далеком прошлом, автор показывает, что оно тысячами нитей связано с настоящим. С нескрываемой антипатией пишет, например, он о духовном предке печально известного американского сенатора Маккарти — Франклине Рузвельте. Времена изменились, а американские методы расправы с «красными» остались те же. Разве не близки нам слова Авраама Линкольна, сказанные им, когда шла война между Севером и Югом: «Я хочу мира, я хочу остановить это страшное истребление людей и уничтожение материальных ценностей».

Восхищаясь подвигами покорителей космоса, мы с уважением и благодарностью вспоминаем наших первых пилотов, о которых так любовно рассказал автор на страницах книги. Ведь для того, чтобы в наше время человек мог пронестись над землей на высоте нескольких сот километров, кто-то должен был подняться на первый метр!

Всем своим содержанием книга подтверждает мысль о том, что страницы прошлого особенно ярко подчеркивают величие настоящего.

**А. Захариков.**

★

**ТРАКТАТЫ О ВЕЧНОМ МИРЕ.** Соцэкиз. М. 1963. 278 стр. Цена 81 к.

Историками подсчитано, что за 5559 лет народы перенесли 14 513 войн. Люди всегда воевали — и всегда ненавидели войну. Но можно уверенно сказать, что еще никогда за всю историю род человеческий так много и напряженно не думал об угрозе войны, как теперь, и никогда так не жаждал мира.

«Трактаты о вечном мире» хороши уже тем, что они заставляют снова и снова подумать о войне и мире. Уж кажется, что никто не может лучше современного человека по-

нять и выразить желание мира, но вот читаешь строки давних трактатов и преносишься благодарностью к тем, кто из глубины веков обращает к нам свое слово о мире. На обложке сборника мы видим имена Эразма Роттердамского, Яна Коменского, Вильяма Пенна, Шарля Сен-Пьера, Жан-Жака Руссо, Иммануила Канта, Иоганна Фихте, Иоганна Гердера, Василия Малиновского... В эпоху средневековых, а затем феодально-буржуазных европейских войн, в Европе королей и междоусобиц, культ военщины философы мечтают о вечном мире, строят прекрасные планы содружества народов, доказывают пагубность войн, разоблачают уже тогда существовавшие и лишь впоследствии оформленные Мальтусом и Ницше теории о перенаселении, об очистительной роли войны, о том, что война — в крови человека, в его натуре.

«Большая часть народа, — писал Эразм Роттердамский в 1517 (!) году, — ненавидит войну и молит о мире. Люди немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, желают войны. А справедливо или нет, чтобы их бесчестность имела большее значение и силу, чем воля всех добрых людей...»

Составители сборника И. С. Андреева (И. С. Андреевой принадлежит и интересная вводная статья) и А. В. Гулыга, собрав вместе и издав впервые на русском языке некоторые из старых и, может быть, забытых работ крупнейших мировых философов, дали читателю книгу очень актуальную, полезную. Голос истории, опыт человечества, слово разума присоединяются к силам мира, к нашей мечте и к нашим реальным делам во имя того, чтобы, как говорит один из авторов, «это ужасное слово «война», которое так легко произносится, люди не только возненавидели бы, но не решались бы его выговаривать или написать и произносили бы с таким же трепетом, с каким упоминают о безумии, чуме, голоде, землетрясении, оспе».

**М. Рощин.**

★

**Г. А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ.** Монеты рассказывают (Нумизматика). Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 136 стр. Цена 21 к.

Не любопытно ли, что одним из страстных собирателей монет и медалей был знаменитый поэт эпохи Возрождения Петрарка! Число нумизматов у нас в стране за последнее время значительно возросло. Созданы общества коллекционеров в больших и малых городах Союза.

Увлекательное дело — коллекционирование. Но это только первый этап знакомства с монетами, при котором разговор ведет одна сторона — человек, а монета молчит. А ведь она может рассказать о себе много интересного. Не зря говорят, что монета — это маленький документ, а клад монет — уже целая историческая повесть. Раскрытием тайн монеты занимается особая наука — нумизматика. В настоящее время — уже сложная, хорошо технически оснащенная

наука. Исследователю нужны и тончайшие технические весы для «тысяч взвешиваний», и лаборатории для производства спектральных анализов металла. Под рукой должен быть бинокулярный микроскоп, с помощью которого сличаются штемпели монет.

А клад? Многие хотят найти его. Нумизматы тоже кладоискатели, но ищут они свои клады не в лесу, и не у слияния трех ручьев, и не по карте старого Флинта на необитаемом острове. Ищут они их, роясь в архивах, в музеях и старых газетах.

В двадцатых годах у нас образовалось даже целое общество таких кладоискателей при... Академии наук. Оно тщательно разыскивало и регистрировало находки монет и кладов. Изучение кладов, их состава, месторасположения дает возможность выяснить закономерность денежного обращения, а это патент нумизматики на звание настоящей науки, которая изучает вопросы денежного обращения по его вещественным памятникам.

Как же по монете можно узнать о той эпохе, когда она была сделана, и о той стране, где она обращалась? Ответ на этот и многие другие вопросы дает книга Г. А. Федорова-Давыдова «Монеты рассказывают».

Н. Мец.

★

**С. М. ДУБРОВСКИЙ.** Столыпинская земельная реформа. Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX века. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 600 стр. Цена 2 р. 62 к.

Эта книга рисует картину развития аграрных отношений в Европейской России в период империализма. Опираясь на труды В. И. Ленина, автор на широком, главным образом статистическом материале убедительно показал, что в результате столыпинских реформ не только не ослабели (к чему стремилось правительство), а, наоборот, обострились социальные противоречия в русской деревне, возросли предпосылки буржуазно-демократической революции и перерастания ее в социалистическую. Из книги видно, что с развитием капитализма в сельском хозяйстве задачи демократической революции стали острее, в деревне назрели силы не только для борьбы против полуфеодалного господства помещиков, но и для борьбы против сельской буржуазии — кулачества.

Автор показывает, что крестьянское движение между двумя революциями не прекращалось. Оно принимало разнообразные формы борьбы против мероприятий правительства, против помещиков и кулаков. При этом очень рельефно, на статистических подсчетах, проиллюстрирована связь крестьянских движений с борьбой рабочего класса, влияние подъема стачечной борьбы рабочих на активность крестьянства. Подробно рассмотрено отношение помещиков и буржуазии к столыпинским реформам, борьба по аграрному вопросу в Государственной думе, влияние на позицию господствующих

классов революционного движения рабочего класса и крестьянства.

Чтобы правильно понять революцию в России и переход деревни к социализму, нельзя ни переоценивать пережитки феодализма к моменту революции 1917 года, ни недооценивать степень развития капитализма в сельском хозяйстве. Автор совершенно правильно утверждает, что деревня Европейской России перешла к социализму, не минуя стадию капитализма, а через борьбу с капитализмом.

Значение труда выходит далеко за рамки истории одной страны. В нем на широком фактическом материале конкретизировано ленинское учение о двух возможных путях развития капитализма в сельском хозяйстве, о закономерностях объединения в едином революционном потоке демократических крестьянских движений с борьбой рабочего класса за социализм в период империализма.

П. Галузо.

★

**Н. ДОЛИНИНА.** Сколько стоит хлеб. Рассказы учительницы. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 196 стр. Цена 29 к.

Каким должно быть молодое поколение? Как сделать его достойным идеалов отцов? — эти вопросы относятся, должно быть, к разряду «вечных». На эти темы написано множество книг в самых разных жанрах. Чем же привлекает небольшая книжка очерков Натальи Долининой? Прежде всего чувством ответственности за все, чем и как живет сегодняшняя советская школа. Ответственности не перед педсоветом, рено или родителями, а перед временем.

Долинина — человек, одержимый работой в школе, видящий в ней служение, а не службу, живущий жизнью и интересами своих учеников. А ученики попадают к педагогу самые разные. Одни, забросив все дела и увлечения, самозабвенно танцуют. Кто-то до того развинчен и разболтан, что сами товарищи не хотят терпеть его в школе. У кого-то неудачная любовь. Олега Потапова, считающего обязанностью каждого «следить за справедливостью», кажется, и воспитывать-то не надо — все в нем хорошо. А что делать с Наташей Загорянской — «непогрешимым существом», «Жанной д'Арк двадцатого века», как иронически называет ее одноклассник?

Долинина не умиляется своими учениками или их родителями, не сглаживает трудностей своей работы. Люся Власова — хорошая девочка, спортсменка, человек с золотыми руками — так оберегается мамой от «трудностей жизни», что не знает, сколько стоит хлеб. Сережа Горелов живет с большим отцом-пьяницей. Ему приходится и подрабатывать пилкой дров, и следить за маленьким братом. А Толик Щеглов из вполне благополучной семьи с красивой квартирой, книгами и репродукциями, оказывается уже умеет завидить и использовать «нужные» знакомства. Какими вырастут все эти ребята

та? Долг учителя, как понимает его Долиннина, не только в том, чтобы научить их грамотно писать и бойко говорить,— надо научить их жить: думать, чувствовать, быть человеком.

Долиннина нигде не теоретизирует, не старается подавить читателя своим педагогическим авторитетом, не навязывает своих взглядов. Она как будто дает зарисовки с натуры, рассказывает случаи из собственной практики. Книга ее даже оставляет ощущение некоторой калейдоскопичности. Но из этого калейдоскопа лиц, характеров, случаев, судеб с полной определенностью встают ее педагогические принципы. Чтобы воспитать человека, надо с детства приучить его к самостоятельности, надо научить его думать. Писательница предлагает читателям вместе с ней задуматься над этими важными проблемами.

«Я — учительница,— пишет Наталья Долиннина.— И я этим горжусь. Именно это дает мне радость, ощущение полноты жизни, чувство сохраненной молодости». Ей веришь.

В. Швейцер.

★

**РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ.** Сказки для взрослых. «Советский писатель». М. 1963. 176 стр. Цена 15 к.

Да, это сказки для взрослых — не все; но большая часть, и в этом заглавии нельзя не расслышать вызов: слишком известно доверие детей к этому жанру и недоверие взрослых.

Тут два рода сказок: сатирические и лирические.

Рассуждая о сатире, иногда охотнее употребляют слово «клеят», нежели слово «высмеивают», хотя для множества мишеней смех, пожалуй, страшнее проклятия. Баумволь именно высмеивает — остроумно, легко, едко. Высмеивает льва, который сознает, что ему как царю зверей «надобно знать язык любого существа», обитающего у него в лесах, даже самого маленького, а потьму посылает узнать, на каком языке говорит, например, комар; но так как в конце концов информацию лев получает из уст приближенной львицы, то ему и докладывают, к его удовольствию, что «комары разговаривают вот так: «Рррр»,— и львица зарычала». Вывод владыки прост: «Вот видишь, дорога, самые малые создания и те разговаривают на моем языке. Потому что другого языка не бывает и быть не может...» Сказка так и называется — «Другого языка не бывает...». В другой сказке («В непроходимом лесу») гиппопотам, увидев, что в озере все отражается вверх тормашками, приказывает немедленно «наладить правильное отражение — чего бы это ни стоило», и отражение было налажено. «Ведь гиппопотам ясно сказал: «Чего бы это ни стоило». В подобных сказки нетрудно поверить даже взрослому.

И все же в другом, лирическом роде у Баумволь, на наш взгляд, больше удач.

Ее лирические миниатюры построены на едва уловимых ощущениях, на очень тонких и хрупких душевных движениях. «Рыбак, рыбак, почему ты рыбы не поймал?» — «Я было поймал ее, а она как закричит на меня, я и пустил ее обратно в реку». Ему говорят: «Не может рыба кричать, нет у нее голоса», а он: «Она мне пальцем погрозила». Ему: «Нет у нее рук», а он: «Она как затопает на меня ногами», и т. д. Спрашивают его в последний раз: «Почему же ты все-таки рыбы не поймал?» И тогда рыбак-чудак отвечает всю правду: «Я было поймал ее, да вижу, что у нее нет ни рук, ни ног, ни голоса, вот и пустил ее обратно в реку» («Рыбак-чудак»).

В тоненькой книжечке Баумволь более ста сказок. Есть среди них и довольно претенциозные — их немало, и такие, где больше мудрствования, чем поэзии, и такие, которые просто не получились. Но я думаю, что если бы в этой книжке оказалось всего двести хороших сказки, мы бы и тогда должны были это отметить как удачу в трудном жанре. А в сборнике Баумволь хороших сказок — даже при самом строгом подходе — значительно больше.

Вл. Глоцер.

★

**АЛЕКСАНДР ДУНАЕВСКИЙ.** Иду за Гашеком. Воениздат. М. 1963. 152 стр. Цена 38 к.

Хотя о пребывании в России автора Швейка и написана монография Н. Еланского «Ярослав Гашек в революционной России», многое и многое в пути писателя по полям гражданской войны осталось еще неоткрытым, непроясненным. Александр Дунаевский решил отправиться по «гашековскому маршруту», обозначенному в анкетном листке № 1721, хранящемся в Московском архиве, где на вопрос о пребывании в Красной Армии комиссаром Я. Гашеком были названы города: Самара, Бугульма, Уфа, Челябинск, Омск, Красноярск и Иркутск.

О путешествии по следам «красного чеха», «многоязычного комиссара», «Романыча», как величали на второй родине будущего творца Швейка, и рассказывает книга. Перед нами встает облик политработника Красной Армии первого призыва, незаменимого и на бурном митинге в лагере военных чехов, венгров и австрийцев, с которыми он разговаривает и спорит на их родном языке, и в задушевной беседе с только что освобожденными от Врангеля русскими крестьянами, и в деловой переписке в газете, редактору которой Яну Диману стало «сразу видно, что Гашек за словом в карман не ползет, отвечает так, что волей-неволей захохочешь. Сам же не улыбнется. Он неулыбчатый был...»

Разысканный в Риге А. Дунаевским Ян Диман, которого соратники считали «помершим от сыпняка», — одна из многих находок автора книги, направившего по самым разным адресам, самым различным людям и учреждениям сто девятно шесть писем. «И что примечательно, — сообщает

он,— ни одно из писем, посланных по поводу Гашека, не осталось без ответа». Примечательно и другое: оказалось, что в числе верных друзей Гашека немало и таких, кто никогда не встречался лично с «красным чехом», но уж который год собирает все, что имеет отношение к автору Швейка, как, например, москвич Петр Минович Матко — не литературовед и не историк, а проектировщик гидроэлектростанций, создавший у себя на квартире музей Ярослава Гашека, который открыт — как опять-таки сообщает автор книги — с семи вечера, после того как инженер возвращается с работы домой.

Беглые, живые, точные портреты фронтовых друзей Гашека и людей, влюбленных в его творчество, делают еще рельефнее, зримее портрет самого писателя — комиссара Красной Армии, великого сатирика, о котором классик чешской литературы Иван Ольбрахт писал: «Он снова смеется над целым светом. И только над одним нет: над коммунизмом...»

Бор. Медведев.

★

**Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН.** Герценовский «Колокол». Учпедгиз. М. 1963. 104 стр. Цена 13 к.

Читатели привыкли к тому, что Учпедгиз — это учебники и учебные пособия. Надо изучить, чтобы перейти в следующий класс, сдать экзамены, защитить диплом. Но не так уж часто получаешь удовольствие от учебного пособия, не правда ли?

Тем более хочется поделиться радостью, которую приносит небольшая книжка Н. Эйдельмана о «Колоколе», изданной Учпедгизом.

Огромный фактический материал. Предыстория и сама драматическая история первой Вольной русской типографии. Русская жизнь середины XIX века, жизнь русской эмиграции. Тиражи «Колокола», их динамика, русские корреспонденты, даты — не только замечательные годы 1857—1867, но и месяцы, каждый из которых — борьба, победы, поражения.

Множество цитат — может показаться даже, что их слишком много, — но они отлично подобраны.

Книга Н. Эйдельмана вышла в серии «Историческая библиотека школьника». Разумеется, автор опирается на работы целого коллектива советских ученых. Однако многое в книге добыто и собственным трудом исследователя. Чувствуется, что и сам автор переворочил сотни, тысячи страниц, что он сидел в архивах, терял «след», чтобы найти его вновь. Это ощущение, идущее от самой книги, легко подтвердить: в академическом сборнике «Проблемы изучения Герцена» — большая статья Н. Эйдельмана «Анонимные корреспонденты «Колокола» (ему удалось установить около сорока корреспондентов) и его же сообщение «Переписка Ю. Н. Голыцына с Герценом». И при этом книга за немногими исключениями написана не сухой, квазинаучной, а той живой речью, которой только и можно писать

о Герцене. Автор заботится о том, чтобы мы, читатели, его услышали, чтобы мы действительно перенеслись в Лондон, в 1857 год, чтобы прочитали тот 64-й номер «Колокола», который избран для примера, чтобы разделили заботы, тревоги, огорчения и радости Герцена и Огарева.

Жаль только, что невыразительны внешние портреты Герцена и Огарева, и жаль, что они — в начале книги.

Книжка заканчивается словами, которыми хочется завершить и этот эткичк: «Пока на земле живое бьется с мертвым, пока живые будут живыми,— никогда не перейдет в исключительную собственность прошлого маленький журнал, на всех номерах которого высечен призыв: Зову живых!»

Р. Орлова.

★

**АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ.** Звезда над рекой. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 256 стр. Цена 42 к.

В 1929 году ленинградское издательство «Прибой» выпустило сборник «Разбег», в который вошли стихи четырех начинающих поэтов: Александра Гитовича, Бориса Лихарева, Александра Прокофьева и Александра Чуркина. С тех пор прошло тридцать три года, наполненные величайшими историческими событиями. Главное достоинство поэтической работы Александра Гитовича, определившее жизненность его стихов, состоит в том, что поэт не был сторонним наблюдателем этих событий. Он принимал самое деятельное участие во всем, что совершалось вокруг.

Александр Гитович принадлежит к тому поколению советских людей, которые были мальчишками в годы революции и гражданской войны, которые вступили в сознательную жизнь на рубеже тридцатых годов. На долю этого поколения выпало много трудного и радостного. Это они, сверстники автора книги, штурмовали пустыни, осваивали необжитые земли, прокладывали дороги в тундре. Но они же были свидетелями трагедии тридцать седьмого года.

Жизнь этого поколения пересекла война.

«Нам дан был подвиг как награда», — пишет поэт. И это правда. Война, принесшая столько горя и бед, в то же время заставила каждого человека особенно остро почувствовать свою кровную причастность к судьбе страны и человечества. Она заставила проверить себя, отменить все лишнее, оставляя только то, что по-настоящему необходимо.

Мы все теперь узнали на века:  
И цену хлеба — если хлеба нету,  
И цену жизни — если смерть близка.  
И деревень обугленные трубы,  
И мирный луг, где выжжена трава,  
И схватки рукопашные, и трупы  
В снегах противотанкового рва.

Война была тем рубежом, который разделил жизнь. Поэтому в книге А. Гитовича три раздела: «Перед грозой» (доевственные годы), «Гроза» (война), «После грозы» — послевоенные годы. Но война определила

не только тематические поиски поэта. Она была очень важна для всего его мироощущения. Когда в течение четырех лет смерть стоит у изголовья, когда на твоих глазах гибнут товарищи, особенно дорогой становится каждая подробность бытия. Этим сознанием (столь осязаемым в военных и послевоенных стихах) А. Гитович, думаясь, во многом обязан опыту войны.

В открывающей сборник статье А. Македонова верно определены особенности поэтического стиля А. Гитовича: «Гитович предпочитает резкие, ясно очерченные, иногда жесткие штрихи,— часто его стихи кажутся немножко одноцветными, как рисунки тушью. Но в лучших его стихах жесткость и одноцветность рисунка только кажущиеся, и поэт умеет несколькими штрихами передать сложную и многостороннюю мысль-чувство».

Помимо оригинальных стихов, в книгу А. Гитовича входят переводы лирики китайских классиков.

А. Бельский.

★

**ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ. В двух томах.** Том 1. XVI—XIX вв. 556 стр. Цена 80 к. Том 2. XIX—XX вв. 503 стр. Цена 71 к. Гослитиздат. М. 1963.

Эпиграфом к этому первому за многие годы капитальному труду советской переводческой полонистки можно поставить слова Мицкевича: «Поэзия — это отчизна!» От стихов Рея и великого Кохановского до поэзии Тувима и Броневского путь польского слова — это гордое и смелое служение своему народу, принятие ответственности за его судьбу. Поэзия заменяла полякам родину даже тогда, когда Польша не было на карте Европы, сказал Ярослав Ивашевич в своем содержательном предисловии к двухтомнику. Устремленная в будущее, польская поэзия не могла не быть прогрессивной, общечеловеческой. Она боролась «за нашу и вашу свободу», как было начертано когда-то на знаменах польских повстанцев.

Дух свободолюбия, сознание народного права — такова ведущая идея эпохи польского Просвещения. Влияние французской культуры играло в XVIII веке революционизирующую роль, взгляды французских просветителей совпадали с мощным подъемом национального самосознания.

Вершина польской поэзии — романтизм XIX века. Польский романтизм — весьма примечательная страница мировой культуры.

В нем, видимо, наиболее полно сказался дух и характер польской нации. Мицкевич и Словацкий — фигуры мирового значения, и, может быть, прежде всего потому, что национальная польская основа в их творчестве определилась наиболее отчетливо.

Двухтомник впервые познакомил русского читателя с такой крупной фигурой в братской поэзии, как Циприан Норвид, осветивший светом своего таланта и поэзии нынешнего столетия.

Кроме довольно известных у нас поэтов второй половины XIX века («школы» Копницкой), двухтомник представляет читателю таких оригинальных поэтов, как Каспрович, Лесьмян, Выпянский. Последний был более известен у нас как драматург.

Несколько скупер и не всегда объективно, по-моему, показана поэзия межвоенного двадцатилетия. Но тут были свои трудности, связанные с «живым», «горячим» пока материалом.

В целом двухтомник польской поэзии (собственно, антология) — серьезный, полезный сборник. Краткие справки о поэтах, написанные Б. Стахеевым, — порой шутя, но точные характеристики художественной манеры автора (например, о Лесьмяне, Галчинском, Чеховиче). Много труда вложили в это издание редакторы переводов В. Левик и Д. Самойлов, а также редактор обоих томов Ю. Живова.

К бесспорным достоинствам книги надо отнести широту охвата польской поэзии по именам и то, что в роли переводчиков выступают галантливые русские поэты. Не могу отказать себе в удовольствии хотя бы перечислить некоторые переводы, далеко выходящие за рамки рядовой работы. Это «Сестре» Лесьмяна (Б. Пастернак), «Сиротливые мокнули ели» Каспровича (Е. Благинина), «Превращения» Лесьмяна (Л. Мартынов), «К генералам» Тувима (Д. Самойлов), «Сирень» Тувима (Н. Асеев), «Пейзаж Хелмонского» Ивашевича (В. Луговской), «Блокнот» Слонимского (Б. Слуцкий), «Последнее стихотворение» Броневского (А. Ахматова), «Лирический разговор» Галчинского (Л. Мартынов), «Биография» Яструна (М. Живов), переводы М. Цветаевой из Пшибося.

«Польская поэзия» — начало широкого ознакомления советского читателя с поэзией братской Польши — не может, разумеется, восполнить пробел, который существует у нас в знании современных польских поэтов. Эта задача — на очереди.

Владимир Огнев.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин о работе Советов.** Сборник. 431 стр. Цена 66 к.

**Героини войны.** Очерки о женщинах — Героях Советского Союза. 719 стр. Цена 1 р. 19 к.

**И. Гуро.** Озаренные. Революционер-большевик В. К. Курнатовский. 159 стр. Цена 20 к.

**А. Иванов.** Фриц Платтен. 79 стр. Цена 9 к.

**А. Крушинский.** Взрывы над Днепром. Рассказ о выдающемся руководителе партизанской борьбы в Белоруссии К. С. Заслонове. 136 стр. Цена 17 к.

**Юлиус Мадер.** По следам человека со шрамами. Документальный рассказ о бывшем начальнике секретной службы СС Отто Скорцени. Сокращенный перевод с немецкого. 182 стр. Цена 24 к.

**А. Полищук.** Миллион лет тюрьмы. Популярный очерк о Южно-Африканской Республике. 79 стр. Цена 9 к.

**Средства разные, а цель одна.** Очерки и статьи о советской педагогике. 119 стр. Цена 13 к.

**В. Ядов.** Тайна лжи. Заметки о теории и методах буржуазной пропаганды. 111 стр. Цена 12 к.

### СОЦЭНГИЗ

**А. Я. Кошелев.** Личная собственность в социалистическом обществе. 176 стр. Цена 46 к.

**В. Ф. Лопатин.** Провал антисоветских планов США. Генуя—Гаага. 1922. 336 стр. Цена 82 к.

**Очерк диалектики живой природы.** 528 стр. Цена 1 р. 25 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**З. Аксельрод.** Утренний свет. Стихи. Перевод с еврейского. 124 стр. Цена 14 к.

**А. Алдан-Семенов.** Метель и солнце. Стихи. 140 стр. Цена 16 к.

**И. Багмут.** Кусок пирога. Рассказы. Перевод с украинского. 328 стр. Цена 40 к.

**Е. Горбунова.** Вопросы теории реалистической драмы. О единстве драматического действия и характера. 512 стр. Цена 1 р. 14 к.

**Г. Горышин.** Земля с большой буквы. Повести и рассказы. 304 стр. Цена 43 к.

**З. Дичаров.** По эту сторону океана. Страницы одного путешествия. 216 стр. Цена 30 к.

**А. Еникеев.** Сердце знает. Повесть и рассказы. Перевод с татарского. 144 стр. Цена 26 к.

**И. Жданов.** Взморье. Повесть и рассказы. 242 стр. Цена 29 к.

**Вс. Н. Иванов.** Черные люди. Историческое повествование. 592 стр. Цена 1 р. 21 к.

**Л. Кабо.** Повесть о Борисе Беклешове. 392 стр. Цена 48 к.

**В. Каверин.** Косой дождь. Повести. 456 стр. Цена 53 к.

**К. Киреенко.** Поэма встречи. Стихи. Перевод с белорусского. 92 стр. Цена 13 к.

**Г. Левин.** День в отпуску. Стихи. 144 стр. Цена 13 к.

**Х. Левина.** Первый дождь. Стихи. Перевод с еврейского. 72 стр. Цена 11 к.

**Л. Левицкий.** Константин Паустовский. Очерк творчества. 408 стр. Цена 93 к.

**Ю. Либединский.** Дела семейные. Повесть. 216 стр. Цена 41 к.

**Г. Ломидзе.** В поисках нового. Статьи о проблемах национальных литератур. 352 стр. Цена 83 к.

**Э. Миндлин.** Корабли, степи, товарищи. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 70 к.

**Л. Озеров.** Работа поэта. Статьи. 336 стр. Цена 79 к.

**Б. Полевой.** На диком берегу. Роман. 616 стр. Цена 1 р. 3 к.

**Д. Романенко.** У могучих истоков. Очерки и статьи о литературах народов Российской Федерации. 404 стр. Цена 88 к.

**С. Рустам.** Не могу забыть. Стихи. Перевод с азербайджанского. 128 стр. Цена 16 к.

**И. Рябоняч.** На белом коне. Рассказы. Перевод с украинского. 184 стр. Цена 34 к.

**В. Семякин.** Перекаты. Стихи. 124 стр. Цена 14 к.

**М. Скуратов.** На рубеже времен. Стихотворения и поэмы. 180 стр. Цена 28 к.

**Ю. Смуул.** Морские песни. Стихи и поэмы. Перевод с эстонского. 152 стр. Цена 27 к.

**М. Томчаний.** Отель «Солома». Рассказы и повесть. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 66 к.

**А. Фет.** Стихотворения. 550 стр. Цена 48 к.

**С. Шаховский.** Лирика и лирики. О мастерстве украинской советской поэзии. Перевод с украинского. 372 стр. Цена 81 к.

**З. Штейнман.** ...Плюс улыбка. Сатирические картинки и фельетоны. 200 стр. Цена 27 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Жоржи Амаду.** Город Ильеус. Роман. Перевод с португальского. 391 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Божена Бенешова.** Дон Пабло, дон Педро и Вера Лукашова. Повесть. Перевод с чешского. 112 стр. Цена 18 к.

**З. Богуславская.** Вера Панова. Очерк творчества. 208 стр. Цена 50 к.

**Э. Болстад.** Насмешник с острова Тоска. Рассказы. Перевод с норвежского. 255 стр. Цена 27 к.

**Тадеуш Бреза.** Лабиринт. Роман. Перевод с польского. 320 стр. Цена 55 к.

**Петрусь Бровна.** У родных криниц. Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. 494 стр. Цена 65 к.

**Николай Вагнер.** Голубые земли. Путевые зарисовки. Раздумья. Рассказы. 480 стр. Цена 63 к.

**Франсуа Вийон.** Стихи. Перевод с французского. 215 стр. Цена 34 к.

**Александр Дейч.** Поэтический мир Генриха Гейне. 448 стр. Цена 1 р. 23 к.

**В. Каверин.** Собрание сочинений в шести томах. Том I. 480 стр. Цена 1 р. 15 к.

**А. Твардовский.** Поэмы. 496 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Украинская сатира и юмор XIX — начала XX века.** Повести и рассказы. Перевод с украинского. 496 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Лион Фейхтвангер.** Собрание сочинений в 12-ти томах. Том I. 510 стр. Цена 1 р.

**Фридон Халваши.** Лирика. Перевод с грузинского. 199 стр. Цена 23 к.

**Ион Чобану.** Кодры. Роман. Авторизованный перевод с молдавского. 270 стр. Цена 58 к.

**Габриель Шевалье.** Моя подружка Пом. Повесть. Перевод с французского. 207 стр. Цена 37 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Архангельский.** Юность нового века. Повесть. 344 стр. Цена 84 к.

**Г. Ахунов.** Клад. Роман. Перевод с татарского. 271 стр. Цена 57 к.

**Моника Варненская.** Ребята из города Лодзи. Повесть. Перевод с польского. 224 стр. Цена 60 к.

**Верные заветам Ильича.** Сборник. 159 стр. Цена 40 к.

**Ф. Вигдорова, Т. Печерникова.** 12 отважных. Повесть. 192 стр. Цена 60 к.

**А. Клещенко.** Когда расходитесь туман. Повести и рассказы. 335 стр. Цена 65 к.

**Ю. Марцинявичюс.** Сосна, которая смеялась. Повесть. Перевод с литовского. 144 стр. Цена 16 к.

**В. Мезенцев, Л. Пинчук.** О привидениях, черной кошке и чудесах без чудес. 102 стр. Цена 14 к.

**Наш Чналов.** Сборник. 304 стр. Цена 61 к.

**Лидия Обухова.** Маленькие повести. 160 стр. Цена 33 к.

**Алан Силлитоу.** Одинокий бегун. Рассказы. Перевод с английского. 175 стр. Цена 34 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Д. Д. Благой.** От Пушкина до Маяковского. Закономерности развития русской литературы XIX — начала XX века. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. 87 стр. Цена 19 к.

**И. Б. Брашинский.** Афины и Северное Причерноморье в VI—II вв. до н. э. 175 стр. Цена 73 к.

**В. В. Виноградов.** Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). 33 стр. Цена 10 к.

**Временник Пушкинской комиссии.** 1962. 105 стр. Цена 50 к.

**Вопросы киноискусства.** Вып. 7. Ежегодный историко-теоретический сборник. 317 стр. Цена 1 р. 14 к.

**Вопросы славянского языкознания.** Вып. 7. Взаимосвязи славянских и других языков. 168 стр. Цена 95 к.

**И. Е. Глущенко.** Страны, встречи, ученые Записки биолога. 444 стр. Цена 1 р. 70 к.

**И. Н. Голенищев-Кутузов.** Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). V Международный съезд славистов. 92 стр. Цена 31 к.

**И. М. Дьяконов.** Урартские письма и документы. 142 стр. Цена 78 к.

**Жилища древнего Новгорода.** Труды Новгородской археологической экспедиции. Том 4. 296 стр. Цена 2 р. 32 к.

**Зайн ал-Абидин Мараган.** Дневник путешествия Ибрахим-бека, или Его злоключения по причине фанатической любви к родине. 266 стр. Цена 1 р. 35 к.

**История, фольклор, искусство славянских народов.** V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963 года). 511 стр. Цена 2 р. 22 к.

**Керамика и стекло древней Тмутаракани.** 185 стр. Цена 75 к.

**В. Д. Королюк и др.** Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945 — 1963 гг. V Международный съезд славистов. 84 стр. Цена 25 к.

**М. О. Косвен.** Семейная община и патронимия. 218 стр. Цена 90 к.

**Б. Г. Кузнецов.** Беседы о теории относительности. 220 стр. Цена 33 к.

**М. М. Кузнецов.** Советский роман. 301 стр. Цена 78 к.

**Е. Н. Кушева.** Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI—30-е годы XVII века). 370 стр. Цена 1 р. 47 к.

**Литература славянских народов.** Вып. 8. Выпуск посвящается Международному съезду славистов. 266 стр. Цена 1 р. 46 к.

**А. С. Мыльников.** Павел Шафарик — выдающийся ученый-славист. 111 стр. Цена 18 к.

**Народы Южной Азии** (Индия, Пакистан, Непал, Сингким, Бутан, Цейлон и Мальдивские острова). 964 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Неизвестный памятник книжного искусства.** Опыт восстановления французского легендария XIII века. 96 стр. Цена 77 к.

**В. А. Обручев.** Мои путешествия по Сибири. 288 стр. Цена 93 к.

**Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии.** Вып. 2. 267 стр. Цена 1 р. 52 к.

**Письма И. В. Ягича к русским ученым.** 528 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Полное собрание русских летописей.** Том 28. Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). 410 стр. Цена 3 р.

**А. А. Роде.** Водный режим почв и его регулирование. 115 стр. Цена 17 к.

**М. К. Рожкова.** Экономические связи России со Средней Азией. 40—60-е годы XIX века. 237 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Русская литература XVIII века и славянские литературы.** Исследования и материалы. 189 стр. Цена 83 к.

**Русский фольклор.** Том 8. Народная поэзия славян. 435 стр. Цена 2 р. 45 к.

**Славяно-германские исследования.** Сборник статей. 442 стр. Цена 1 р. 96 к.

**Славянские литературы.** V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации (София, сентябрь 1963). 378 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Славянское языкознание.** Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1960 годы. Часть 1 (1918—1955). 341 стр. Цена 1 р. 90 к. Часть 2 (1956—1960). 450 стр. Цена 2 р. 47 к.

**Славянское языкознание.** V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации (София, сентябрь 1963). 554 стр. Цена 2 р. 33 к.

**И. И. Смирнов.** Очерки социально-экономических отношений Руси XII—XIII веков. 362 стр. Цена 1 р. 74 к.

**П. Н. Третьяков, Е. А. Шмидт.** Древние городища Смоленщины. 192 стр. Цена 1 р. 62 к.

**Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии.** 769 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Философские проблемы физики элементарных частиц.** 381 стр. Цена 1 р. 58 к.

**Формирование социального реализма в литературах западных и южных славян.** Сборник статей. 423 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Эпос сербского народа.** 354 стр. Цена 1 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**З. З. Абдуллаев.** Начало экспансии США в Иране. 96 стр. Цена 35 к.

**Арабские страны.** История. Сборник статей. 212 стр. Цена 80 к.

**Анад. В. В. Бартольд.** Сочинения в 9-ти томах. Том I. 759 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. А. Галкин.** В Йемене. Записки советского врача. 105 стр. Цена 15 к.

**А. Л. Гальперин.** Очерки социально-политической истории Японии в период позднего феодализма. 198 стр. Цена 75 к.

**М. Гасратян, П. Моисеев.** Турция ждет перемен. 94 стр. Цена 25 к.

**И. Б. Греков.** Очерк по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. 374 стр. Цена 1 р. 50 к.



**М. А. Дандамаев.** Иран при первых Ахеменидах. 289 стр. Цена 1 р. 40 к.  
**Э. Добльхофер.** Знаки и чудеса. Перевод с немецкого. 386 стр. Цена 1 р.  
**В. В. Иванов.** Хеттский язык. 221 стр. Цена 65 к.  
**Р. Исмагилова.** Народы Нигерии. 274 стр. Цена 1 р.  
**Новейшая история Вьетнама.** Сборник статей. 194 стр. Цена 65 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Герберт Аптекер.** Американский негр сегодня. Перевод с английского. 130 стр. Цена 41 к.  
**Голоса трех тысяч островов.** Стихи индонезийских поэтов. Перевод с индонезийского. 319 стр. Цена 63 к.  
**Родолюб Чолакович.** Записки об освободительной войне. Сокращенный перевод с сербского. 789 стр. Цена 1 р. 78 к.

#### «ИСКУССТВО»

**А. Н. Анастасьев и др.** Новаторство советского театра. 420 стр. Цена 1 р. 22 к.  
**Б. Брехт.** Театр (Пьесы. Статьи. Высказывания). В 5-ти томах. Том 1. 511 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Н. М. Горчаков.** Работа руководителя театрального коллектива с исполнителями. 108 стр. Цена 28 к.  
**Л. А. Жадова.** Современная керамика Узбекистана. 180 стр. Цена 1 р. 12 к.  
**Н. М. Молева, Э. М. Белютин.** Русская художественная школа первой половины XIX века. 409 стр. Цена 5 р.  
**Очерки истории русской советской драматургии.** В 3-х томах. Том 1. 604 стр. Цена 2 р. 6 к.  
**Ю. М. Юрьев.** Записки. В 2-х томах. Том 1. 659 стр. Цена 2 р.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Богатства Сибири — на службу коммунизму.** 232 стр. Цена 43 к.  
**Н. Данилевская.** Судьба музыканта. Повесть. 152 стр. Цена 34 к.  
**Б. Костюковский.** Судьба друга. Повесть. 176 стр. Цена 31 к.  
**В. Крюков.** Творцы и пророки. Роман. 272 стр. Цена 59 к.  
**М. Лapidус.** Открыватель подземных тайн. 384 стр. Цена 45 к.  
**С. Леонов.** Познай ближнего. Роман. Книга 1. 184 стр. Цена 45 к.

**К. Лисовский.** На разных широтах. Стихи. 80 стр. Цена 12 к.  
**Е. Люфанов.** Накануне счастья. Повесть. 152 стр. Цена 39 к.  
**А. Мусатов.** Твердый шаг. Рассказы. 288 стр. Цена 46 к.  
**Л. Почивалов.** Встречи и расстояния. 144 стр. Цена 16 к.  
**Н. Соколов.** В дождик под радугой. Стихи. 104 стр. Цена 13 к.  
**А. Тараданкин.** Пограничная полоса. Повесть. 184 стр. Цена 29 к.

#### ГОСЮРИЗДАТ

**Л. М. Азов.** Авторский гонорар за издание литературных произведений. 64 стр. Цена 6 к.  
**Правовые вопросы охраны природы в СССР.** Сборник статей. 332 стр. Цена 1 р. 7 к.  
**Развитие марксистско-ленинской теории государства и права XXII съездом КПСС.** Сборник статей. 304 стр. Цена 91 к.  
**В. Р. Скрипко.** Порядок обмена и раздела жилой площади. 60 стр. Цена 5 к.  
**К. Г. Федотов.** Союзные органы власти (1922—1962). 193 стр. Цена 61 к.

#### ВОЛГОГРАДСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. М. Богомолов.** Юность инженеров. Повесть. 112 стр. Цена 31 к.  
**С. С. Мантуров.** Из революционного прошлого Камышина. 148 стр. Цена 28 к.

#### КРАСНОЯРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. А. Урин.** Железный аист. По дорогам Красноярского края. Путевые очерки и стихи. 275 стр. Цена 77 к.  
**Р. Р. Шафиев.** Чтобы увидеть звезды. Повесть. 131 стр. Цена 20 к.

#### СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Н. П. Кожевников.** Гибель дракона. Роман. 467 стр. Цена 91 к.  
**В. А. Стариков.** На Байкале. Рассказы. 183 стр. Цена 43 к.

#### СТАВРОПОЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**И. В. Чумак.** Прапор. Избранное. 256 стр. Цена 54 к.  
**Щедрые люди.** Сборник очерков. 136 стр. Цена 21 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова. 1 Тел. К 5-76-97.  
 Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 14/X-63 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/XI 1963 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup> мм. 9 бум. л.—24,66 печ. л.  
 А 07084. Зак. 1905 Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Продолжается подписка на литературно-художественный и общественно-политический журнал «Новый мир»

В 1964 году в журнале будут опубликованы: вторая книга романа **К. Федина** «Костер», продолжение «Дневных звезд» **О. Берггольц**, повесть **Г. Владимова** «Три минуты молчания», роман **В. Дудинцева** «Неизвестный солдат», вторая книга романа **В. Фоменко** «Память земли», новые главы «Деревенского дневника» **Е. Дороша**, новая повесть **А. Солженицына**, роман **Ю. Бондарева** «Не меч, но мир», роман **А. Бека** «Мои знакомые», воспоминания генерала армии **А. Горбатова**, академика **И. Майского**, шестая книга **И. Эренбурга** «Люди, годы, жизнь», новая книга **Хуана Гойтисоло** «Народ в походе» (эскизы о Кубе), новые романы, повести, рассказы **Ч. Айтматова**, **Г. Бакланова**, **В. Войновича**, **Е. Драбкиной**, **С. Залыгина**, **В. Каверина**, **В. Некрасова**, **В. Овечкина**, **В. Пановой**, **К. Паустовского**, **И. Соколова-Микитова**, **В. Тендрякова**, **А. Яшина** и других.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати» без ограничений.